This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

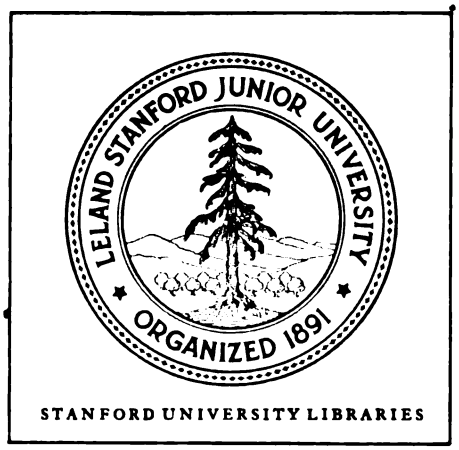
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



78. 123. 135.
319. 320. 322. 341. 359. 368. 372

LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
обозначенного здесь срока

7НЕЗУ

		3150		
			шк. 9	

№ 74. БЦК Книгоцентра

На дом не выдается.

78. 123. 135.
19. 320. 342. 341. 359. 368. 382

LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
обозначенного здесь срока

		3150		
			шк. 9	

№ 74. БЦК Книг. центра

На дом не выдается.

ПРОВЕРЕНО 1959 г.
Shenrok, V. I.
Чит. зал
Провер 1932 г.
пр. 35 г.

МАТЕРІАЛЫ

для

БІОГРАФІИ ГОГОЛЯ

В. И. Шенрока.

БИБЛИОТЕКА
Московского Полиграф
На дом не выдается.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

56378
БИБЛИОТЕКА ФАКУЛЬТЕТЕ
Г. У.

МОСКВА. 1893

Типографія А. И. Мамонтова и К°, Леонтьевскій пер., № 5

10 СЕН 1958

PG3335
S5
v.2

КАБИНЕТ
ПЕЧАТИ
№ 2150
Филологич. ф-та МГУ

Оглавленіе.

Стр.

Предисловіе I

I. Н. В. Гоголь въ періодъ „Арабесокъ“ и „Миргорода“ (1832—1835) (біографическія данныя и матеріалы для исторіи творчества). 1

Общія замѣчанія. 3
Внѣшнія условія жизни Гоголя въ Петербургѣ до лѣта 1832 года. . . . 7
Національныя симпатіи Гоголя и ихъ отраженіе въ произведеніяхъ 1832—1835 годовъ. 36
Повѣсть „Страшная Месть“ и ея отношеніе къ повѣстямъ, вошедшимъ въ „Миргородъ“ 54
Происхожденіе повѣсти „Вій“ и ея отношеніе къ народнымъ малороссійскимъ сказкамъ. 69
Петербургскія повѣсти Гоголя 78
Поѣздка Гоголя въ Москву и новыя литературныя знакомства. 110
Повѣсти, вошедшія въ „Миргородъ“. 123
Внѣшнія условія жизни Гоголя съ лѣта 1832 г. по 1835 годъ 143
Хлопоты Гоголя о профессурѣ въ Кіевѣ. 166
Общее заключеніе о Гоголѣ въ 1832—1835 г. 199

II. Н. В. Гоголь какъ историкъ и педагогъ 213

Предварительныя замѣчанія. 215
Взгляды Гоголя на преподаваніе исторіи и географіи въ среднеучебныхъ заведеніяхъ. 218
Профессорская дѣятельность Гоголя. 226
Разборъ лекціи Гоголя объ Аль-Мамунѣ. 234
Разборъ пьесы Гоголя „Альфреда“ (съ историческимъ сюжетомъ). 239
Общее заключеніе о Гоголѣ, какъ педагогѣ 244
Гоголь какъ историкъ (Критическія замѣтки по поводу статьи г. Витберга). 252
Типы воспитателей и задачи воспитанія по произведеніямъ Гоголя 293

III. Драматическія произведенія Гоголя 315

Общія замѣчанія 317
Комедія Гоголя „Женитьба“ 324
Комедія „Владиміръ 3-ьей степени“ 344
Комедія „Ревизоръ“ 355
Комедія „Игроки“ 375

IV. Приложенія 379

V. По поводу брошюры г. Витберга „Н. В. Гоголь и его новый біографъ“ 385

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ТОМУ.

Не только въ русской, но и во всемірной литературѣ немного найдется именъ, съ которыми былъ бы соединенъ столь обильный и разносторонній интересъ, преимущественно съ точки зрѣнія психологической, какъ съ именемъ Гоголя; но полное разъясненіе такого сложнаго характера станетъ возможно не раньше, чѣмъ тщательная разработка внѣшнихъ біографическихъ фактовъ откроетъ наконецъ путь къ полному и всестороннему объясненію внутренней, интимной жизни нашего писателя. Дружными усиліями изслѣдователей и особенно добросовѣстной взаимной провѣркой добытыхъ результатовъ можно и теперь сдѣлать многое въ этомъ отношеніи, тѣмъ болѣе, что первыя вѣхи удачно поставлены не только современниками Гоголя, напр. въ извѣстномъ сочиненіи г. Кулиша, и въ замѣткахъ, принадлежавшихъ автору „Гоголевскаго періода русской литературы“, но и множествомъ трудовъ позднѣйшихъ, частью притомъ первостепеннаго достоинства. Не говоримъ уже о весьма цѣнныхъ воспоминаніяхъ людей, знавшихъ лично Гоголя и иногда вполнѣ образованныхъ литературно, какъ Анненковъ и С. Т. Аксаковъ. Особенно этотъ матеріалъ былъ обогащенъ прекрасной статьей о Гоголѣ въ „Характеристикахъ литературныхъ мнѣній“ А. Н. Пыпина и чтеніями и статьями профессора Тихонравова (объ отношеніяхъ Гоголя къ Пушкину и къ извѣстному артисту Щепкину). Въ настоящее время по мѣрѣ постояннаго накопленія въ печати новыхъ біографическихъ матеріаловъ и вновь

издаваемыхъ писемъ, нерѣдко дающихъ ключъ къ оцѣнкѣ истиннаго характера отношеній Гоголя къ его многочисленнымъ корреспондентамъ, наступаетъ, повидимому, время для попытокъ проникнуть въ самую сущность этихъ отношеній или, по меньшей мѣрѣ, поставить на очередь вопросы, ожидающіе въ близкомъ будущемъ полнаго и удовлетворительнаго разрѣшенія. Обнародованная до сихъ поръ переписка Гоголя, правда, все еще не полна, хотя пробѣлы становятся уже сравнительно небольшими; только недавно изданы письма къ нему графа и графини Толстыхъ, остаются неизданными письма къ Гоголю Максимовича, Шевырева и отчасти Погодина, но особенно, очень важныя и любопытныя письма его духовника о. Матвѣя; нѣкоторыя письма, конечно, появятся еще въ печати; переписка же съ Пушкинымъ, Жуковскимъ, Ивановымъ, Данилевскимъ, Смирновой и Віельгорскими извѣстна почти въ полномъ объемѣ. Къ сожалѣнію, съ другой стороны, иные изъ высшей степени любопытныхъ и важныхъ документовъ, остающихся до сихъ поръ неизданными, какъ напримѣръ письма о. Матвѣя, едва-ли уже не утрачены безнадежно. Спасти, что́ возможно, и предупредить, насколько позволятъ обстоятельства, исчезновеніе кое-какихъ уцѣлѣвшихъ преданій—вотъ задача, откладывать исполненіе которой, по нашему мнѣнію, не слѣдуетъ ни въ какомъ случаѣ.

Мы встрѣчаемъ, однако, довольно существенное и во многомъ весьма справедливое возраженіе. Если всѣми безповоротно признано право подвергать разбору произведенія живыхъ и умершихъ писателей, то нельзя не признать, что изученіе ихъ личности представляется до сихъ поръ дѣломъ крайне затруднительнымъ и щекотливымъ. „Я не сочувствую стремленію рыться глубоко въ частной, интимной жизни писателя, художника, ученаго“, сказалъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ изъ самыхъ маститыхъ и уважаемыхъ представителей нашей литературы, нынѣ уже покойный Гончаровъ, голосъ котораго имѣетъ безспорное право на вниманіе. „Поэтъ, ученый, живописецъ, ваятель“—читаемъ мы дальше,—„выражаютъ то или другое, что́ они хотѣли выразить такъ или иначе въ своихъ твореніяхъ, и надо бы, по здравому смыслу и чувству справедливости, довольствоваться тѣмъ, что́ выражено въ книгахъ, поэзіи, картинахъ и изданіяхъ этихъ дѣятелей, и подвергать послѣднія суду критики за выраженное

ими“ [1]). Напротивъ, изученіе личной жизни историческихъ дѣятелей по этому взгляду представляется какъ будто нежелательнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, безпристрастный анализъ личности, даже стоящей высоко во всѣхъ отношеніяхъ, но, безъ сомнѣнія, все-таки не свободной отъ недостатковъ, самоуправно сводитъ генія съ занимаемаго имъ пьедестала и, подвергая его суду общественнаго мнѣнія, неизбѣжно открываетъ нѣкоторыя непріятныя стороны, особенно нежелательныя для памяти тѣхъ, чьи созданія такъ прочно стоятъ на недосягаемой высотѣ. Въ жизни не все совершается такъ, какъ бы намъ того хотѣлось; не всѣ воспоминанія о прошломъ одинаково пріятны, и всякое извлеченіе изъ архива фактовъ постепенно забываемаго прошлаго рискуетъ встрѣтить поневолѣ не всегда исключительно отрадныя черты. Но мнѣ кажется, что всѣ указанныя соображенія справедливы ровно настолько, насколько касаются злоупотребленій; непредубѣжденное же уясненіе замѣчательной личности составляетъ, по моему мнѣнію, безспорное право потомства: иначе невозможна никакая біографія. Другое дѣло, когда изслѣдованіе предпринимается въ самомъ дѣлѣ съ цѣлью „судить, трепать, казнить или миловать“. Постараемся поэтому сохранить бережное и осторожное отношеніе ко всѣмъ лицамъ, о которыхъ предполагаемъ говорить въ настоящей книгѣ, не принимая на себя, однако, обязанности избѣгать поводовъ къ раздраженію со стороны чьей-либо чрезмѣрной щепетильности. Если намъ не вездѣ это удастся, то пусть будетъ принято въ соображеніе то прискорбное обстоятельство, благодаря которому, при всемъ желаніи отнестись съ осторожностью къ упомянутымъ щекотливымъ вопросамъ, автору не всегда возможно было обходить ихъ, такъ какъ каждая вынужденная недомолвка встрѣчала со стороны нѣкоторыхъ близорукихъ критиковъ яростныя нападенія, вынуждающія говорить подробно о томъ, чего хотѣлось бы коснуться лишь мимоходомъ [2]).

Въ настоящее время нашъ трудъ, несомнѣнно, не свободенъ отъ довольно существенныхъ и крупныхъ пробѣловъ, для

---

[1]) „Вѣстникъ Европы“, 1889, III, 83—84.

[2]) Мы имѣемъ здѣсь и во многихъ другихъ мѣстахъ въ виду автора брошюры „Н. В. Гоголь и его новый біографъ“.

пополненія которыхъ пока не имѣется данныхъ. Такъ, было бы весьма важно, безъ сомнѣнія, не допустить преобладанія прозаическихъ подробностей обыденной жизни писателя надъ изображеніемъ благороднѣйшихъ сторонъ его духовной природы, обнаруженныхъ (въ разсматриваемый въ предлагаемомъ томѣ періодъ) глубокимъ, задушевнымъ чувствомъ въ заключительныхъ страницахъ „Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ“, во многихъ мѣстахъ „Тараса Бульбы“, въ „Шинели“, въ которыхъ такъ ярко горитъ свѣтлый лучъ высокой безкорыстной любви автора къ людямъ; хотѣлось бы также ввести собранныя данныя о жизни Гоголя въ началѣ тридцатыхъ годовъ въ рамку болѣе широкаго разсказа и подробнѣе и ярче представить участіе нашего поэта во внутренней, интимной жизни того литературнаго круга, котораго онъ составлялъ одно изъ блестящихъ украшеній: но исполненіе этихъ задачъ принадлежитъ уже будущему, такъ какъ, напр., для второй изъ нихъ потребовалась бы предварительная работа очень широкаго объема, едва-ли осуществимая въ данную минуту, при наличномъ состояніи источниковъ.

Но кромѣ того, что́ касается упрека въ томъ, что въ нашемъ трудѣ не вездѣ проведена строгая послѣдовательность въ распредѣленіи во всѣхъ подробностяхъ собранныхъ нами матеріаловъ; то въ оправданіе мы должны указать на большое количество разнородныхъ данныхъ переписки Гоголя, съ самаго начала поступавшей въ наше распоряженіе въ совершенно случайномъ порядкѣ (такъ, напр., отрывки изъ днев. ника А. О. Смирновой, затерянные г-жей Евреиновой, вторично поступили къ намъ отъ О. Н. Смирновой *уже во время печатанія перваго тома*, а иные документы, обѣщанные намъ, до сихъ поръ еще не получены). Конечно, автору было бы гораздо удобнѣе и пріятнѣе, если бы разнообразные матеріалы, касающіеся Гоголя, появлялись въ печати какъ можно скорѣе, особенно такіе, какъ капитальный трудъ Н. С. Тихонравова; но, къ сожалѣнію, это нисколько не зависитъ отъ его воли, и нерѣдко бываетъ, что новыя данныя о какомъ-нибудь періодѣ жизни и литературной дѣятельности Гоголя обнародываются уже тогда, когда возможность своевременнаго пользованія ими въ нашемъ трудѣ совершенно пропущена. Такъ, въ будущемъ году обѣщаны въ „Русской Старинѣ“ новыя письма Гоголя, а въ „Историческомъ Вѣстникѣ“

въ декабрьской книгѣ 1892 г. помѣщены воспоминанія о Гоголѣ его нѣжинскаго товарища Любича-Романовича въ передачѣ г. Шевлякова, касающіяся дѣтства нашего писателя [1]). Въ этомъ и въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ разработка біографіи Гоголя представляетъ совершенно исключительныя трудности, съ которыми справиться вполнѣ возможно было бы только при слѣдующемъ изданіи книги, если бы таковое потребовалось.

Кстати. Если бы оказалось со временемъ, что всѣ спорные вопросы біографіи Гоголя вполнѣ исчерпаны и рѣшеніе ихъ признано критикой, *тогда уже*, послѣ надлежащей переработки и исправленій, можно было бы дать книгѣ названіе не матеріаловъ, а просто біографіи Гоголя. Но это дѣло не близкаго будущаго, а пока названіе „матеріаловъ“ должно между прочимъ служить предупрежденіемъ тѣхъ преувеличенныхъ и несправедливыхъ нападокъ, которымъ подвергается, напр., извѣстный трудъ проф. Висковатова о Лермонтовѣ, почему-то возбуждающій изступленныя придирки даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ за несомнѣнную точность передаваемыхъ данныхъ могъ бы *ручаться* только очевидецъ, и за то, что проф. Висковатовъ не имѣлъ въ виду нѣкоторыхъ показаній, сдѣлавшихся извѣстными другому лицу, хотя и далеко не имѣющихъ значенія несомнѣнныхъ фактовъ, а напротивъ весьма и весьма нуждающихся въ провѣркѣ.

Первый томъ настоящаго труда вызвалъ слѣдующія рецензіи и замѣтки въ нашихъ болѣе или менѣе извѣстныхъ изданіяхъ. Назовемъ ихъ по времени появленія въ печати:

„Вѣстникъ Европы“ (мартъ).
„Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія“ (мартъ).
„Русская Мысль“ (мартъ).
„Книга о книгахъ“.
„Книжный Вѣстникъ“ (мартъ).
„Кіевская Старина“ (апрѣль).
„Наблюдатель“ (апрѣль).
„Историческій Вѣстникъ“ (апрѣль) [2]).

---

[1]) Также въ только-что вышедшей январьской книгѣ того же журнала напечатаны воспоминанія о Гоголѣ И. Ѳ. Золотарева, переданныя г. Ободовскимъ.

[2]) Впрочемъ эта рецензія опровергнута въ слѣдующемъ же № журнала (см. „Историч. Вѣстн.“, V, 583—584).

Относительно моей полемики съ лицами, изучавшими Гоголя, было высказано отчасти лестное для меня мнѣніе (въ „Русскомъ Богатствѣ“), что, будучи всегда вѣской и убѣдительной, полемика эта въ нѣкоторыхъ случаяхъ является впрочемъ излишней и черезчуръ обстоятельной, тогда какъ для опроверженія противоположныхъ мнѣній не было вовсе необходимости входить въ тѣ подробности, которыя казались мнѣ умѣстными. На это я долженъ отвѣтить, что лично мнѣ трудно судить въ каждомъ данномъ случаѣ, насколько слова мои являются убѣдительными для другихъ, вслѣдствіе чего я могъ въ самомъ дѣлѣ переступить должную мѣру въ возраженіяхъ. Такъ, съ опроверженіемъ мнѣнія г-жи Черницкой, будто бы Гоголь былъ влюбленъ въ Александру Осиповну Россетъ, впослѣдствіи Смирнову, согласились гг. академикъ К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, г. рецензентъ „Наблюдателя“ и, повидимому, г. рецензентъ „Русскаго Богатства“; послѣ этого, если такое мнѣніе не будетъ поддерживаться кѣмъ-либо снова въ печати, его можно будетъ считать окончательно отвергнутымъ [1]); но, пока критика не имѣла возможности высказаться о томъ или другомъ спорномъ вопросѣ, или высказалась, но не единодушно, съ нимъ приходится считаться. Быть можетъ, и болѣе, чѣмъ вѣроятно, г. рецензентъ „Русскаго Богатства“ найдетъ и въ настоящемъ томѣ излишнимъ опроверженіе многихъ крайне ничтожныхъ и мелочныхъ придирокъ г. Витберга, но я все-таки считаю это необходимымъ, въ виду заявленія послѣдняго, что невниманіе къ его замѣткамъ показываетъ будто-бы неуваженіе къ самой разработкѣ біографіи Гоголя.

Внесеніе въ книгу вызванныхъ статьями г. Витберга возраженій, поправокъ и дополненій вмѣстѣ со многими другими причинами вынудило насъ дать болѣе обширный объемъ настоящему тому, вслѣдствіе чего вмѣсто обѣщанныхъ трехъ томовъ намъ придется, вѣроятно, выпустить уже четыре.

---

[1]) Наконецъ въ послѣднее время сама редакція журнала, въ которомъ прежде была помѣщена статья г-жи Черницкой, напечатала также вѣское опроверженіе ея неудачныхъ измышленій (см. „Сѣверн. Вѣстникъ“, 1893, январь). Этимъ опроверженіемъ нынѣшняя редакція „Сѣвернаго Вѣстника“ вполнѣ добросовѣстно исправляетъ ошибку, допущенную редакціей г-жи Евреиновой (см. I-ый томъ нашего труда, стр. 327).

Н. В. ГОГОЛЬ

ВЪ ПЕРІОДЪ „АРАБЕСОКЪ“ и „МИРГОРОДА“

(1832—1835 гг.).

(Біографическія данныя и матеріалы для исторіи творчества).

ОБЩІЯ ЗАМѢЧАНІЯ.

Ни одному изъ современниковъ Гоголя не удалось такъ мѣтко и вполнѣ согласно со всѣми біографическими данными въ немногихъ словахъ очертить сущность его задушевныхъ стремленій и характеръ внѣшнихъ условій, въ которыхъ онъ находился въ бытность свою въ Петербургѣ, какъ П. В. Анненкову. „Съ 1830 по 1836 г., т.-е. вплоть до отъѣзда за-границу“,—говоритъ Анненковъ,—„Гоголь былъ занятъ исключительно одною мыслью—открыть себѣ дорогу въ этомъ свѣтѣ, который, по злоупотребленію эпитетовъ, называется обыкновенно большимъ и пространнымъ; въ сущности онъ всегда и вездѣ тѣсенъ — для начинающаго“ [1]). Свидѣтельство такого человѣка, какъ Анненковъ, близко знавшій тогда Гоголя и въ то же время безпристрастный наблюдатель, должно имѣть высокую цѣну. Онъ не былъ, подобно нѣжинскимъ товарищамъ поэта, связанъ съ Гоголемъ воспоминаніями вмѣстѣ проведеннаго дѣтства, но какъ членъ общаго кружка, къ которому примкнулъ еще съ 1832 г. [2]), получилъ полную возможность узнать его коротко. Въ „Запискахъ о жизни Гоголя“ г. Кулишъ упоминаетъ объ энтузіазмѣ, съ которымъ впослѣдствіи относился къ петербургскому періоду жизни своего пріятеля Прокоповичъ [3]); мы лично имѣли случай слышать такой же сочувственный, почти восторженный отзывъ уже престарѣлаго Данилевскаго. Но, съ одной сто-

[1]) „Воспоминанія и критическіе очерки“ Анненкова, т. I, стр. 181.

[2]) Тамъ же, стр. 172.

[3]) „Записки о жизни Гоголя“, т. I, стр. 101.

роны, ни Прокоповичъ, ни Данилевскій, не могли достаточно отрѣшиться отъ субъективнаго отношенія къ Гоголю, что вполнѣ естественно и ясно уже изъ самаго характера ихъ отзывовъ (ихъ воспоминанія гораздо важнѣе фактическимъ матеріаломъ, нежели окончательными выводами, въ которыхъ, по сущности дѣла, они не могли быть нелицепріятными судьями); съ другой стороны,—и это самое главное,—въ настоящемъ случаѣ эти отзывы не даютъ намъ ключа къ пониманію дѣла. Любопытно, что г. Кулишъ, собиравшій матеріалы для біографіи Гоголя непосредственно отъ лицъ близко знавшихъ его и притомъ почти вслѣдъ за кончиной писателя, долженъ былъ выразить сожалѣніе, что изъ разсказовъ о петербургской порѣ его жизни можно было вынести очень немного. Однимъ изъ существенныхъ затрудненій было то обстоятельство, что, чувствуя себя среди товарищей-однокашниковъ совершенно въ родной сферѣ и отдыхая въ ихъ обществѣ отъ свѣтскихъ и служебныхъ отношеній, отъ всякихъ житейскихъ дрязгъ,— Гоголь, несмотря на то, никогда не держалъ себя „на распашку“ и совсѣмъ не былъ склоненъ даже самыхъ близкихъ людей посвящать въ свои завѣтные планы. Наиболѣе любимый имъ изъ кружка, Данилевскій, по его собственному показанію, никогда не рѣшался начинать съ Гоголемъ разговоръ о серьезныхъ его интересахъ, а вступалъ въ откровенную бесѣду о такихъ предметахъ только по приглашенію послѣдняго. По справедливому выраженію г. Кулиша, представляющему, безъ сомнѣнія, итогъ слышаннаго имъ отъ многихъ пріятелей и знакомыхъ Гоголя, послѣдній, „предаваясь врожденной наблюдательности“, самъ какъ бы „защищался личиной человѣка обыкновеннаго отъ наблюдательности другихъ“ и „всегда былъ на-сторожѣ“; подмѣтить въ немъ что-либо можно было только „безъ его вѣдома“ [1]). Понятно поэтому, что товарищи-нѣжинцы, давно хорошо знавшіе Гоголя и считавшіе его своимъ человѣкомъ, но не введенные въ его интимный міръ, удовлетворялись преимущественно своими прочно установившимися личными отношеніями къ нему, и только со стороны радовались или удивлялись его быстрымъ успѣхамъ. Въ иномъ, гораздо болѣе выгодномъ положеніи былъ Анненковъ, впервые познакомив-

[1]) „Записки о жизни Гоголя“, т. I, стр. 100.

шійся тогда съ Гоголемъ и уже заранѣе сильно заинтересованный его личностью и славою: онъ съ самаго начала, насколько могъ, старался незамѣтно проникнуть въ сущность характера Гоголя и его поступковъ, къ чему притомъ гораздо лучше другихъ членовъ кружка былъ подготовленъ болѣе обширнымъ образованіемъ и многосторонне развитымъ умомъ.

Чтобы убѣдиться, насколько вѣрны въ примѣненіи къ разсматриваемой порѣ жизни Гоголя особенно послѣднія изъ приведенныхъ выше словъ Анненкова, достаточно припомнить, какъ, несмотря на почти сказочный успѣхъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, на успѣхъ, превзошедшій его собственныя пылкія мечты и надежды, Гоголю приходилось, однако, упорно бороться съ обстоятельствами, отчасти отстаивая съ напряженными усиліями уже занятую позицію, отчасти, подвигаясь впередъ, употреблять большую энергію для обезпеченія желаемыхъ результатовъ. Такъ было въ началѣ его петербургской жизни, такъ было и при полученіи имъ университетской каѳедры.

Было бы, однако, непростительно-грубой ошибкой видѣть въ заботахъ Гоголя о будущемъ обыкновенный пошлый карьеризмъ. Противъ такого ложнаго толкованія достаточно, напримѣръ, указать одно письмо его къ дядѣ П. П. Косяровскому [1]), въ которомъ выливалось чистое, юношеское, никѣмъ не подсказанное желаніе посвятить свои лучшія силы на служеніе общественному благу. Конечно, не изъ скромной и довольно патріархальной домашней среды, вѣроятно, также и не изъ школы (судя по всѣмъ даннымъ) вынесъ онъ эти возвышенныя и, можетъ быть, притязательныя стремленія. Напротивъ, въ натурѣ самого Гоголя всегда было что-то выводившее его далеко изъ предѣловъ рутинныхъ рамокъ, и онъ всюду являлся оригинальнымъ, въ лучшемъ значеніи слова. Въ этомъ сказывался тотъ присущій геніальнымъ людямъ инстинктъ, который пробуждаетъ въ нихъ большія надежды на себя и внушаетъ имъ обширные замыслы. Поэтому-то и Гоголь, какъ бы отмѣченный особой печатью свыше, съ самаго дѣтства былъ непримиримымъ врагомъ заурядняго ничтожества, и это одно не позволяетъ намъ смѣшивать его

[1]) „Русская Старина“, 1876, т. I, стр. 41—42.

съ толпою алчущихъ земныхъ благъ безъ всякаго помышленія о какомъ-либо нравственномъ совершенствѣ. Какъ въ школѣ Гоголь не щадилъ насмѣшекъ надъ самолюбивой бездарностью, такъ, по наблюденіямъ Анненкова, и въ пору усиленныхъ заботъ о карьерѣ онъ питалъ ожесточенную ненависть къ пошлости во всѣхъ ея видахъ и съ особымъ наслажденіемъ разоблачалъ мелкое искательство и голый, циническій разсчетъ. „Честь безкорыстной борьбы за добро, во имя только самаго добра и по одному только отвращенію къ извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголемъ этой эпохи“,—говоритъ Анненковъ,—„*даже и противъ него самого, еслибы нужно было*“ [1]). Впрочемъ, едва-ли можно сомнѣваться и безъ того, что одинъ только талантъ, какъ бы онъ ни былъ колоссаленъ, никогда не могъ бы вдохнуть такое воодушевленіе и энергію для борьбы съ общественнымъ зломъ, какія создали „Ревизора“ и „Мертвыя Души“; мало того, онъ не получилъ бы даже такого направленія, какое мы находимъ у Гоголя, всего меньше испытавшаго на себѣ дѣйствіе прогрессивнаго движенія своего времени. Если жизненная волна со временемъ исказила до нѣкоторой степени чистыя юношескія стремленія Гоголя, то самое ихъ существованіе отрицать невозможно. Намъ кажется даже, что въ извѣстныхъ словахъ: „нынѣшній пламенный юноша отскочилъ бы съ ужасомъ, еслибы показали ему его же портретъ въ старости“,—Гоголь имѣлъ въ виду не только другихъ, но прежде всего себя и мечты лучшей поры своей жизни.

Какое же значеніе имѣютъ въ такомъ случаѣ приведенныя выше слова Анненкова? Разъяснить это всего лучше можно его же словами: „Онъ былъ весь обращенъ лицомъ къ будущему, къ расчищенію себѣ путей во всѣ направленія, движимый потребностью развить всѣ силы свои, богатство которыхъ невольно сознавалъ въ себѣ“ [2]).

---

[1]) „Воспоминанія и критическіе очерки“ Анненкова, т. I, стр. 190.

[2]) Тамъ же, стр. 181.

ВНѢШНІЯ УСЛОВІЯ ЖИЗНИ ГОГОЛЯ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ ДО ЛѢТА 1832 ГОДА.

I.

Первые два года петербургской жизни Гоголя прошли для него не даромъ: онъ научился мириться съ обстоятельствами, постепенно подготовляя ихъ улучшеніе, но отказавшись отъ неисполнимыхъ и дѣтски-рѣшительныхъ плановъ. Особенно неудачная поѣздка за-границу не осталась безъ пользы. Пришлось подавить въ себѣ на время страстное желаніе выбиться скорѣе изъ общей колеи; пришлось подумать и о выборѣ болѣе вѣрнаго пути для достиженія намѣченныхъ цѣлей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Гоголь становится еще замкнутѣе, еще осторожнѣе въ откровенныхъ изліяніяхъ; если прежде они вырывались въ исключительныхъ случаяхъ и имѣли характеръ исповѣди (письмо къ Косяровскому), то теперь мы не могли бы указать ни одного примѣра подобной откровенности. А между тѣмъ теперь бывали времена, когда ему было гораздо больше причинъ волноваться опасеніями о томъ, что „неумолимое веретено судьбы зашвырнетъ его съ толпой самодовольной черни въ самую глушь ничтожности и отведетъ ему черную квартиру неизвѣстности въ мірѣ“ [1]), тѣмъ болѣе, что житейскія трудности заявляли о себѣ самымъ настоятельнымъ образомъ и становились все яснѣе и очевиднѣе.

Въ интересахъ болѣе отчетливаго разъясненія дѣла, постоянно затемняемаго односторонними изслѣдованіями, позволимъ себѣ остановиться на нѣкоторыхъ второстепенныхъ по-

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. I, стр. 58.

дробностяхъ, тѣмъ болѣе, что въ предыдущихъ главахъ нашего изслѣдованія (вошедшихъ въ первый томъ) остались почти неразсмотрѣнными внѣшнія матеріальныя условія жизни Гоголя во время его жизни въ Петербургѣ. Эта сторона дѣла представляется намъ не особенно важной, и мы коснулись бы ея лишь вскользь, если бы съ нею не связывалось разъясненіе нѣкоторыхъ вопросовъ, которые уже не разъ возбуждали вниманіе нашей печати и на основаніи которыхъ дѣлались иногда невѣроятныя попытки составить сужденіе объ отношеніяхъ Гоголя къ его семьѣ [1]). Въ сущности всѣ такія сужденія всегда будутъ спорными, и составлять характеристики на основаніи приходорасходныхъ таблицъ или извѣщеній о посылкѣ денегъ, какого-нибудь подарка и т. п. по меньшей мѣрѣ рискованно и безцѣльно, такъ какъ нельзя опредѣлять и высчитывать, насколько именно Гоголь долженъ былъ помогать своей матери или сестрамъ. До такой мелочности никогда прежде

---

[1]) Намъ могли бы не безъ основанія сдѣлать упрекъ въ непослѣдовательности, такъ какъ въ предыдущемъ томѣ, исчерпавъ приблизительно вопросъ объ отношеніяхъ Гоголя къ матери, мы предполагали затѣмъ „какъ можно меньше обращаться въ дальнѣйшемъ изложеніи къ характеристикѣ щекотливыхъ семейныхъ отношеній“. Уже тогда въ виду совершенно противоположныхъ выводовъ, къ которымъ пришли на основаніи тѣхъ же данныхъ г-жи Бѣлозерская и Черницкая, мы сочли нужнымъ остановиться на этомъ вопросѣ больше, нежели это представлялось намъ неизбѣжнымъ въ самомъ началѣ. Затѣмъ мы имѣли извѣстія отъ обѣихъ этихъ писательницъ, что онѣ согласны съ нашими объясненіями такъ несходно охарактеризованныхъ у нихъ отношеній Гоголя къ матери, и вопросъ могъ считаться рѣшеннымъ и оконченнымъ. Къ сожалѣнію однако, замѣчанія, сдѣланныя г. Витбергомъ въ рецензіи на мою книгу (въ „Истор. Вѣстникѣ“, 1892, апрѣль), показываютъ такое ложное пониманіе дѣла въ данномъ случаѣ, и притомъ, какъ послѣ выяснилось изъ его же статьи: „Гоголь, какъ историкъ“ („Истор. Вѣстникъ“, 1892, августъ) это ложное пониманіе частнаго вопроса біографіи Гоголя находится въ такой тѣсной связи съ весьма существенными заблужденіями того же автора относительно личнаго характера нашего писателя, признаваемаго г. Витбергомъ, совершенно въ разрѣзъ со всѣми извѣстными данными, *вполнѣ искреннимъ и вполнѣ* правдивымъ, чуть не открытымъ,—что остановиться нѣсколько подробнѣе на вопросѣ, казалось бы уже покончennомъ, представляется теперь совершенной необходимостью. Въ виду этого намъ приходится не ограничиваться только тѣми краткими упоминаніями объ отношеніяхъ Гоголя къ дѣламъ домашнихъ, какъ мы предполагали сначала и какъ это сдѣлано въ нашей статьѣ о Гоголѣ въ 1832—1835 годахъ, напечатанной недавно въ „Вѣстникѣ Европы“, — но и войти въ нѣкоторыя подробныя разъясненія, первоначально записанныя только для памяти и не предназначавшіяся для печати.

не опускались біографическія изслѣдованія; но, къ сожалѣнію, въ наши дни являются примѣры какъ ярыхъ нападеній, такъ и неумѣреннаго прославленія Гоголя, основаннаго нерѣдко на данныхъ самаго мелочного свойства. Слѣдовать этимъ примѣрамъ мы, разумѣется, не станемъ; но, оставляя въ сторонѣ въ этомъ щекотливомъ случаѣ произвольные и шаткіе выводы, постараемся только сгруппировать возможныя данныя и представить общую картину внѣшнихъ условій, среди которыхъ жилъ Гоголь въ петербургскіе годы. При этомъ обзорѣ позволимъ себѣ возвратиться нѣсколько назадъ.

Нѣтъ сомнѣнія, какъ мы уже говорили, что извѣстная доля упрековъ въ эгоизмѣ, сыпавшихся на голову Гоголя изъ-за его частыхъ обращеній къ матери за денежной помощью, сильно преувеличена. Очень часто, если смотрѣть на дѣло съ точки зрѣнія голаго факта, можно произнести осужденіе тамъ, гдѣ въ сущности ему не должно быть мѣста. Нужно имѣть слишкомъ много данныхъ, чтобы рѣшиться на безпощадные приговоры.

Положеніе дѣла было въ началѣ такое: въ столицу пріѣхалъ молодой человѣкъ, еще не привыкшій жить на своемъ отчетѣ, почти не знавшій жизни и совершенно незнакомый съ условіями, въ которыхъ очутился. Очень естественно, что размѣры тратъ, въ числѣ которыхъ были также совершенно лишнія, первое время превышали ту мѣру, которую указало бы благоразуміе при бо́льшей степени житейской опытности. Мы знаемъ, что впослѣдствіи Гоголь умѣлъ сильно ограничивать свои матеріальныя потребности, но въ ранней юности онъ не тотчасъ понялъ въ совершенствѣ суровую науку практической жизни. Онъ не могъ сначала даже установить необходимый масштабъ своихъ расходовъ и въ самомъ перечисленіи неизбѣжныхъ тратъ указывалъ многое, противъ чего можно было бы возразить. Самая форма выраженій, въ которыхъ Гоголь говоритъ о своей нуждѣ, наивное удивленіе по поводу неожиданной быстроты опустѣнія его кармана, его увѣренное заявленіе, что онъ отказывается отъ франтовства—послѣ отчета о полной обмундировкѣ [1]), показываетъ ясно, что передъ нами молодой человѣкъ, еще не научившійся жизни. Да и откуда было ему сразу примѣниться къ требо-

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 78.

ваніямъ еще не выяснившихся условій незнакомой петербургской жизни? [1]).

Изъ второго же письма Гоголя видно, что онъ, затративъ не малую сумму въ дорогѣ и на платье, собирался на привезенный имъ неисчерпаемый капиталъ сдѣлать еще подарки роднымъ, при чемъ хотѣлъ подарить непремѣнно что-нибудь цѣнное, *заграничное*. Онъ, разумѣется, по юношеской опрометчивости, и не подумалъ при этомъ о возможности экстренныхъ нуждъ, а онѣ какъ разъ и не заставили себя ждать, такъ какъ по пріѣздѣ на берега Невы ему пришлось принести дань петербургскому климату. Надежды его въ это время большей частью не оправдывались, но присутствіе духа не покидало его, а заграничную поѣздку онъ задумалъ именно въ то самое время, когда приходилось очень тяжело и въ Петербургѣ, и въ результатѣ являются новыя просьбы о помощи и обѣщанія не докучать ими въ будущемъ. Отъ надежды Гоголь переходилъ къ унынію, уныніе смѣнялось надеждами,—словомъ, все шло такъ, какъ всего чаще случается съ молодыми людьми, только-что вступающими въ жизнь. Въ трудную минуту занимается шуба и бѣлье у товарища [2]), съ легкимъ сердцемъ дѣлается заявленіе матери, что „деньги вы можете адресовать прямо въ опекунскій совѣтъ Императорскаго воспитательнаго дома. Можно просрочить по самый ноябрь, но лучше, если бы они получили въ половинѣ, или началѣ октября“. „Не забудьте“, прибавляетъ мимоходомъ нашъ юноша: „*съ тысячи по пяти рублей въ мѣсяцъ штрафу*“ [3]). Взвѣсилъ ли онъ эти слова, когда писалъ: „поступокъ рѣшительный, безразсудный; но что же было мнѣ дѣлать“?— Здѣсь дѣло ясно, и никакими натяжками оправдать Гоголя невозможно [4]), но его можно извинить до извѣстной степени

---

[1]) Стр. 81.

[2]) Стр. 88.

[3]) Стр. 89.

[4]) Къ полному оправданію Гоголя въ данномъ случаѣ, повидимому, склоненъ г. Витбергъ, судя по его рецензіи на мою книгу въ „Историч. Вѣстникѣ“. Въ своей брошюрѣ: „Н. В. Гоголь и его новый біографъ“ онъ также прямо говоритъ: „въ разсказѣ о первой поѣздкѣ Гоголя за-границу, *всѣ письма* его къ матери объ обстоятельствахъ, вызвавшихъ эту поѣздку, *признаны авторомъ* (т.-е. мною) неискренними, и онъ видѣлъ въ нихъ хитрость со стороны Гоголя, подходы издалека и т. п. Такое недовѣріе возлагаетъ на автора обязанность на мѣсто отвергнутыхъ показаній самого Гоголя поставить какія-нибудь другія причины

безъ всякихъ натяжекъ его молодостью и неудержимымъ стремленіемъ къ чему-то необычайному. Когда Гоголь писалъ: „всѣ деньги, слѣдуемыя въ опекунскій совѣтъ, я оставилъ себѣ и теперь могу рѣшительно сказать: больше отъ васъ не потребую“ [1]), то эта была вынужденная рѣшимость виновнаго, въ чемъ убѣждаютъ насъ также и ниже его слова: „Не огорчайтесь, добрая, несравненная маменька! Этотъ переломъ для меня необходимъ. Это училище непремѣнно образуетъ меня: я имѣю дурной характеръ, испорченный, избалованный нравъ (въ этомъ признаюсь я отъ чистаго сердца); лѣнь и безжизненное для меня здѣсь пребываніе непремѣнно бы упрочили ихъ на вѣкъ“. Послѣ этого слѣдуетъ извѣстная намъ ссылка на несуществовавшую любовь и вообще во всемъ письмѣ ясно сконфуженное настроеніе писавшаго. Такъ какъ Гоголю много расточали упрековъ по этому поводу, то не лишнее будетъ здѣсь напомнить, что затраченныя деньги предназначались не на что-либо преступное и что все дѣло рѣшилъ въ сущности порывъ, который, правда, подготовлялся прежними мечтами и въ концѣ концовъ привелъ къ безразсудному поступку, послѣ чего вскорѣ и остылъ; да и казной-то Гоголь располагалъ не такой обширной, какъ ему, повидимому, казалось, а товарищи его, по свидѣтельству Данилевскаго, не смотря на собственную юность и неопытность, ясно видѣли въ этомъ путешествіи только рискованную затѣю. Соображая всѣ эти данныя, на которыхъ мы остановились нѣсколько долѣе въ виду между прочимъ неосновательнаго упрека г. Витберга въ его рецензіи, помѣщенной въ „Историческомъ Вѣстникѣ“, относительно будто бы преступнаго нашего сомнѣнія въ словахъ Гоголя, мы снова приходимъ къ выводу, что, не смотря на нѣкоторые задатки практичности, Гоголь во многомъ поступалъ еще какъ юноша, рано вышедшій на свободу. Подтвержденіе находимъ всюду, хотя бы, напр., въ этихъ словахъ того же письма его къ матери: „Прошу васъ покорнѣйше также, если случатся деньги когда-нибудь, выслать Данилевскому сто рублей“ [2]). Выслать деньги Данилевскому, выслать въ опекунскій совѣтъ, не безпокоиться—всѣ

его поѣздки. Но онъ этого не сдѣлалъ, такъ какъ и сдѣлать этого нельзя, ибо *никакихъ другихъ причинъ не было*“ (стр. 29).—Мы ихъ, однако, приводимъ.

[1]) Стр. 87.

[2]) Стр. 88.

эти просьбы, какъ и наивное объясненіе, что когда всѣ хлопоты кончились, то одна остановка была, наконецъ, за деньгами", совершенно наглядно рисуютъ положеніе юнаго Гоголя, раньше приготовившагося къ отъѣзду и раздобывшаго заграничный паспортъ, а потомъ уже вспомнившаго о деньгахъ.

И такъ, по нашему мнѣнію, равно ошибаются какъ лица, подыскивающія натянутыя оправданія поступку Гоголя и каждому слову его въ этомъ письмѣ, какъ, напр., г. Витбергъ и г-жа Черницкая (послѣдняя вѣритъ также въ любовь Гоголя, а г. Витбергъ, сверхъ того, и въ его замыселъ написать сочиненіе на иностранномъ языкѣ, о которомъ Гоголь говоритъ въ томъ же письмѣ, и онъ же, наконецъ, сверхъ того, упрекаетъ меня въ своей рецензіи въ излишнемъ скептицизмѣ къ словамъ Гоголя),—такъ и другія лица, безпощадно осуждающія Гоголя.

Не берусь рѣшать, насколько искренно вѣрилъ Гоголь въ свои слова въ слѣдующемъ письмѣ: „Я въ Петербургѣ могу имѣть должность, которую и прежде хотѣлъ, но какія-то глупыя людскія предубѣжденія и предразсудки меня останавливали. *Имѣніемъ, сдѣлайте милость, располагайте, какъ хотите.* Продайте, ради Бога, продайте, или заложите хотя и все. Я слово далъ, что *болѣе не потребую отъ васъ* и не стану разорять васъ такъ безсовѣстно. Должность, о которой я говорилъ вамъ, не только доставитъ мнѣ годовое содержаніе, но даже возможность доставлять и вамъ вспоможеніе въ вашихъ великодушныхъ попеченіяхъ и заботахъ" [2]). Здѣсь мы находимъ признаніе въ томъ, что Гоголь могъ бы уже прежде имѣть должность, что согласно между прочимъ и съ показаніемъ г. Пашкова (со словъ товарища Гоголя Пащенко), что по пріѣздѣ въ Петербургъ онъ легко смотрѣлъ на службу и нѣсколько разъ опредѣлялся и увольнялся, очевидно пренебрегая тѣми занятіями, къ которымъ у него не лежало сердце. „Мнѣ предлагаютъ мѣсто"—писалъ онъ раньше, „съ 1,000 рублей жалованья въ годъ. Но за цѣну ли, едва могущую выкупить годовой наемъ квартиры и стола, мнѣ должно продать свое время? и на совершенные пустяки,—на что это похоже? въ день имѣть свободнаго времени не болѣе, какъ

---

[1]) Стр. 90.

[2]) См. объ этомъ въ первомъ томѣ, стр. 227 и „Берегъ", 1880, № 268.

два часа, а прочее все время не отходить отъ стола и переписывать старыя бредни и глупости господъ столоначальниковъ“ [1]). Перспектива дѣйствительно печальная и совсѣмъ не идущая къ лицу Гоголя, котораго судьба совсѣмъ не предназначала для черной работы въ канцеляріяхъ. Когда Гоголь думалъ уже о возвращеніи изъ заграничнаго путешествія въ Петербургъ, онъ писалъ: „я чувствую себя несравненно лучше и здоровѣе; климатъ здѣшній ощутительно поправилъ меня; короче сказать, тѣло мое совершенно здорово; одна только бѣдная душа моя страдаетъ“ [2]). Это увѣреніе въ замѣтной пользѣ, принесенной поѣздкой, обѣщаніе матери въ будущемъ полнаго спокойствія на основаніи надежды, которая будто бы исходила отъ самого Бога, увѣренность въ томъ, что, такъ какъ „лѣто въ Петербургѣ уже прошло, то тамошній климатъ уже не можетъ быть такъ вреденъ“—все это различныя проявленія того же самаго вполнѣ естественнаго конфуза и старанія какъ-нибудь загладить свой проступокъ,— старанія, которое мы замѣчали не разъ въ предыдущихъ письмахъ. Наконецъ, еще одно доказательство этого конфуза: въ письмѣ отъ 27 окт. Гоголь между прочимъ говоритъ: „Въ скоромъ времени я надѣюсь опредѣлиться въ службу. Тогда съ обновленными силами примусь за трудъ и посвящу ему всю жизнь свою. Можетъ быть, Богу будетъ угодно даровать мнѣ возможность *загладить со временемъ мой безразсудный поступокъ* и хотя нѣсколько приблизиться къ высокимъ качествамъ нашего благодѣтеля, ангела между людей“ [3]). (Въ этихъ и дальнѣйшихъ строкахъ мы читаемъ похвалы дядѣ А. А. Трощинскому, сказанныя въ виду того, что письмо будетъ имъ прочитано, и похвалы такія, которыя непріятно читать. Но Трощинскому Гоголь былъ въ самомъ дѣлѣ немало обязанъ и дѣйствительно любилъ какъ его, такъ и всю эту семью).

Возвращаясь теперь къ вопросу о матеріальномъ обезпеченіи Гоголя въ началѣ тридцатыхъ годовъ и объ отношеніяхъ его къ семьѣ, мы должны сказать, что если онъ былъ вынужденъ нѣкоторое время затруднять своихъ, то это было естественнымъ и неизбѣжнымъ послѣдствіемъ сдѣланнаго имъ

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 83.

[2]) Стр. 93. Гоголь подтверждаетъ это потомъ еще разъ (тамъ же, стр. 187).

[3]) Стр. 97.

ложнаго шага во время поѣздки за-границу. Весь вопросъ только *въ этомъ* поступкѣ, *въ этомъ* неосмотрительномъ порывѣ. Но у кого же было ему, не имѣя службы, просить денегъ, какъ не у матери? Положеніе его было крайне мучительное: прежде всего ему совѣстно было передъ матерью, совѣстно до того, что онъ долго не зналъ, какъ заговорить съ ней прежнимъ спокойнымъ тономъ (см., напр., въ письмѣ отъ 12 ноября: „одна моя молитва, одно мое прошеніе у Бога, чтобы даровалъ вамъ средства и силы доставить вамъ утѣшеніе *послѣ толикихъ испытанныхъ вами горестей*“) [1]; но все-таки, къ чести его слѣдуетъ указать, что Гоголь долго выдерживалъ характеръ и не просилъ больше денегъ у матери при самой крайней нуждѣ, хотя положеніе его было невыразимо тяжело. „Нечего дѣлать, нужно будетъ прибѣгнуть снова къ Андрею Андреевичу, хотя онъ и слишкомъ много издержался въ Петербургѣ“ (Трощинскій временно проживалъ тамъ по дѣлу и вскорѣ уѣхалъ). „*Однакожъ все-таки гдѣ-нибудь достану 300 р., а передъ вами сдержу свое слово*“. И затѣмъ прибавляетъ: „Боже сохрани, чтобы я осмѣлился просить у васъ, а особливо еще въ нынѣшнее время“ [2]). Послѣднія слова, какъ не трудно догадаться, даже, помимо всякихъ экстренныхъ невзгодъ, вполнѣ объясняются разстройствомъ денежныхъ дѣлъ Марьи Ивановны вслѣдствіе необходимости покрыть расходы, вызванные необдуманной поѣздкой сына, который теперь могъ пока только надѣяться „получить довольно порядочное мѣсто въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ; но жалованія“—прибавлялъ онъ—„*не могу получить раньше, какъ черезъ два мѣсяца*“. Замѣтимъ кстати, что въ это-то время до Марьи Ивановны дошла нелѣпая сплетня, будто онъ роскошно угощаетъ друзей, и это было для него новой непріятностью.

Объ этой трудной порѣ своей жизни Гоголь, по свидѣтельству Ольги Николаевны Смирновой, любилъ часто разсказывать ея матери. Вотъ что сообщила намъ объ этомъ Ольга Николаевна по поводу замѣтки Мундта о попыткѣ Гоголя поступить въ актеры, замѣтки, перепечатанной изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ 1861 г. [3]) въ „Новомъ Времени“ въ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ:

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 98.

[2]) Тамъ же.

[3]) № 235.

„Не понимаю“,—говоритъ О. Н. Смирнова,—„почему г. Мундтъ прибавляетъ нелѣпыя размышленія, что будто Гоголь не хотѣлъ его признать потомъ, когда они встрѣчались у Одоевскаго: Гоголь не скрывалъ своей бѣдности, не гнушался своего одиночества; всѣ знали, что онъ искалъ уроковъ, что ему не повезло въ департаментѣ и что его мать помогала ему деньгами. Брошенный на чуждой ему петербургской почвѣ, бѣдный, одинокій, онъ долженъ былъ искать себѣ занятій и заботиться о кускѣ насущнаго хлѣба; онъ этого и не скрывалъ, онъ никогда не гнушался своей бѣдностью и никогда не краснѣлъ при воспоминаніи о томъ, какъ ему приходилось временами трудно и жутко. Обо всемъ этомъ онъ часто любилъ говорить моей матери“ [1]).

II.

Между тѣмъ жизненный опытъ Гоголя расширялся, и онъ постепенно научился отказывать себѣ въ томъ, что казалось ему заманчивымъ и необходимымъ. Въ немъ нерѣдко происходила борьба между желаніями и требованіями тѣхъ условій, въ которыхъ онъ находился, борьба, естественно оканчивавшаяся чаще всего перевѣсомъ послѣднихъ. Остановимся на одномъ примѣрѣ.

Когда старый деревенскій домъ въ Васильевкѣ подвергался ремонту, Гоголь въ одномъ изъ писемъ по обыкновенію принялъ совѣтами живѣйшее участіе въ этомъ дѣлѣ. Притомъ, какъ мы знаемъ изъ предыдущаго изложенія, Марья Ивановна давно привыкла обращаться въ такихъ вопросахъ къ вкусу и небольшой доли опытности своего сына, еще когда послѣдній сидѣлъ на школьной скамьѣ. Очень понятно, что и теперь она снова прислала на его цензуру планъ новаго дома, составленный работниками. Какъ и всегда, Гоголь съ любовью принялся за дѣло, составилъ другой, *собственный*, планъ,

[1]) Замѣтимъ, впрочемъ, что воспоминанія Гоголя въ его бесѣдахъ съ А. О. Смирновой о трудныхъ обстоятельствахъ въ самомъ началѣ его петербургской жизни относятся, вѣроятно, къ болѣе поздней порѣ, когда Гоголь значительно перемѣнился. Кромѣ того, не слѣдуетъ забывать, что Александра Осиповна Смирнова принадлежала къ числу самыхъ задушевныхъ и интимныхъ друзей Гоголя, такъ что, безспорно, что многое, охотно сообщаемое ей, Гоголь ни за что не сказалъ бы многимъ и многимъ другимъ, даже близкимъ пріятелямъ.

въ которомъ весьма замѣтна борьба требованій вкуса съ экономическимъ разсчетомъ. Сначала ему хотѣлось поставить дѣло на болѣе широкую ногу и примѣнить въ своемъ планѣ тѣ познанія, которыя онъ вынесъ изъ своей заграничной поѣздки. Чувство изящнаго дало ему возможность въ короткое время собрать большую жатву въ данномъ отношеніи во время его пребыванія въ чужихъ краяхъ; многое ему понравилось и завлекло его—и вдругъ представился счастливый случай воспользоваться пріобрѣтеннымъ на практикѣ. Въ его воображеніи рисовались уже фасады, колонны, устройство оконъ и дверей по заграничному. Гоголь много думалъ, какъ легко догадаться, преимущественно о красотѣ будущаго дома. Но пришлось соображаться и съ обстоятельствами и постепенно отказываться отъ многихъ заманчивыхъ предположеній. „Теперешнія ваши обстоятельства требуютъ сколько возможно больше экономіи“ — говоритъ онъ въ началѣ письма и нѣсколько разъ повторяетъ потомъ, что нужно какъ можно больше избѣгать передѣлокъ. „Сначала думалъ я“—пишетъ онъ—„увеличить домъ пристройками, но теперь вижу, что это дѣло несбыточное, потому что издержки значительно бы увеличились и домъ остался бы опять неоконченымъ на многіе вѣка“ [1]). Пришлось сдѣлать большія уступки; но, насколько позволяла возможность, Гоголь все-таки хотѣлъ отстоять требованія изящества и красоты. „Что касается до фасада“—объяснялъ онъ,—„то я старался дать ему сколько возможно лучшій видъ, и такъ, чтобы передѣлокъ было очень мало. Я хотѣлъ было также сначала дать ему фасадъ совершенно въ новомъ вкусѣ, на манеръ видѣнныхъ мною въ образованной Европѣ; но, поразмысливъ, что это стоило бы многихъ передѣлокъ, притомъ еще не поймутъ, переиначатъ и выйдетъ Богъ знаетъ что,—рѣшился оставить лишнія затѣи и приложить фасадъ, осуществленіе котораго ничего почти не будетъ стоить“ [2]). Такимъ образомъ Гоголю уже въ эти года по собственному опыту становилась понятной та борьба изящнаго вкуса съ неумолимыми прозаическими соображеніями дешевизны и прочности, о которой онъ говоритъ въ „Мертвыхъ Душахъ“ при описаніи дома Собакевича.

1) Стр. 100.
2) Стр. 101.

„Было замѣтно,“—читаемъ мы тамъ,—„что при постройкѣ дома зодчій безпрестанно боролся со вкусомъ хозяина. Зодчій былъ педантъ и хотѣлъ симметріи, хозяинъ—удобства и, какъ видно, вслѣдствіе того заколотилъ на одной сторонѣ всѣ отвѣчающія окна и провертѣлъ на мѣсто ихъ одно маленькое, вѣроятно, понадобившееся для темнаго чулана. Фронтонъ тоже никакъ не пришелся посреди дома, какъ ни бился архитекторъ, потому что хозяинъ приказалъ одну колонну съ боку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, какъ было назначено, а только три“ [1]). Также и Гоголю во всемъ сильно мѣшали денежныя соображенія, между прочимъ и въ вопросѣ о тѣхъ же колоннахъ: старыя четыре колонны на балконѣ онъ предположилъ замѣнить восемью по двѣ вмѣстѣ, при чемъ сильно озаботился, конечно, о соблюденіи требованій красоты („колонны эти дорическаго ордена, съ дорожками или выемками по всему продолженію ихъ, что̀ служитъ также не малымъ украшеніемъ“) [2]); но поневолѣ приходилось прибѣгать къ компромиссамъ: „прежнія колонны можно перепилить на двое и изъ четырехъ будетъ восемь; коротки онѣ не будутъ, если же это и случится, то можно употребить незамѣтныя подмостки подъ верхними капителями“. Но тотчасъ затѣмъ прибавляетъ: „въ гостиной и въ спальной окна и стеклянныя двери въ садъ будутъ имѣть готическій вкусъ“—въ этихъ словахъ видимъ снова уступку идеалу. Хотя Гоголю почти не суждено было жить въ деревнѣ и онъ даже не мечталъ объ этомъ, но изъ любви къ дѣлу и подъ обаяніемъ носившагося передъ нимъ архитектурнаго идеала горячо отнесся къ составленію плана и желалъ склонить свою мать къ возможно точному исполненію его между прочимъ слѣдующими словами: „Зная, почтеннѣйшая маменька, ваше рѣдкое благоразуміе, я увѣренъ, что вы одобрите мой планъ“...

III.

Между тѣмъ служебныя дѣла Гоголя не удовлетворяли его, и онъ постоянно стремился къ улучшенію своего матеріальнаго положенія. Въ виду упрека, сдѣланнаго мнѣ однимъ изъ

1) Соч. Гог., изд. X, т. III, стр. 90.
2) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 110—111.

критиковъ, что я недостаточно остановился на этой сторонѣ дѣла въ первомъ томѣ моего труда, приведу нѣсколько относящихся сюда цифровыхъ данныхъ, не задерживаясь, однако, на нихъ слишкомъ долго. Изъ приложенной Гоголемъ къ одному изъ его писемъ таблицы расходовъ мы узнаемъ, что въ концѣ 1829 г. онъ опредѣлился, наконецъ, на должность [1]). Еще въ письмѣ отъ 27 октября 1829 г. онъ писалъ: „въ скоромъ времени я надѣюсь опредѣлиться на службу“ [2]) и въ слѣдующемъ отъ 12 ноября: „Я надѣюсь получить довольно порядочное мѣсто въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ; но жалованіе не могу получить раньше, какъ черезъ два мѣсяца“ [3]). Жалованье это онъ и началъ уже получать съ новаго года, тогда какъ передъ тѣмъ оно шло сполна на вычеты за переименованіе въ чинъ, на инвалидовъ, на госпиталь“. Размѣры жалованья опредѣлялись весьма скромной цифрой (20 р. въ мѣсяцъ), и Гоголь справедливо выражался объ этомъ, что онъ „жалованія получаетъ сущую бездѣлицу“ [4]), такъ что первые же литературные заработки показались ему настолько значительными, что онъ даже сказалъ о нихъ: „это составляетъ мой хлѣбъ“ или: „весь мой доходъ состоитъ въ томъ, что иногда напишу или переведу какую-нибудь статейку для гг. журналистовъ“. Въ этихъ словахъ могло и не быть намѣреннаго преувеличенія, потому что Гоголь уже получилъ или долженъ былъ получить тогда нѣсколько гонораровъ.

Но для насъ любопытнѣе всего то, что, прибѣгая къ помощи дяди, Гоголь имѣлъ возможность не тревожить пока мать такими же просьбами; когда же приходилось очень трудно и прежнее неловкое положеніе стало понемножку забываться, Гоголь опять заговорилъ намеками о помощи, такъ какъ Андрей Андреевичъ, помогавшій ему въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, по окончаніи своихъ дѣлъ въ Петербургѣ собирался уѣхать. Гоголь понемногу начинаетъ уже жаловаться „на бѣдность своего состоянія“ и упоминаетъ, что „многіе *получаютъ достаточное количество для своего содержанія изъ дому*, а мнѣ должно жить однимъ жалованьемъ“ [5]).

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 110—111.

[2]) Стр. 97.

[3]) Стр. 98.

[4]) Стр. 103.

[5]) Стр. 105 —Марья Ивановна Гоголь писала П. И. Косяровскому: „Ни-

Но надо знать также, что онъ едва только черезъ силу перебивался и во всемъ былъ стѣсненъ. Собственно вся первая половина письма отъ 2 апрѣля 1830 г. носитъ характеръ жалобный и недовольный: на немъ сказались слѣды досаднаго гнета нужды и вѣчной необходимости во всемъ себя ограничивать и сжимать, такъ какъ и на самыя непритязательныя желанія была наброшена узда. Послѣ относительнаго домашняго приволья Гоголю приходилось сжиматься до того, что ему нельзя было и думать о театрѣ, о дачѣ, и необходимо было мириться даже съ неимѣніемъ приличнаго костюма. Судьба сильно тѣснила его. Изъ того же названнаго письма мы видимъ, что Гоголь не угодилъ матери на этотъ разъ и составленнымъ имъ планомъ дома, и опять по самой прозаической причинѣ: онъ слишкомъ мало мѣста отвелъ въ своемъ проектѣ для необходимыхъ комнатъ — для дѣтской и дѣвичьей, и предполагаемыя имъ пристройки ради украшеній оказывались слишкомъ дорогими, быть можетъ, впрочемъ—больше по непрактичности Марьи Ивановны, съ которой плотники потребовали такую цѣну, какая и въ Петербургѣ не назвалась бы дешевой... [1]). При сильномъ отвращеніи Гоголя отъ неизбѣжной будничной прозы она стучалась

коша мой служитъ въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ. Андрей Андреевичъ (Трощинскій) по милости своей поддерживаетъ его тамъ, а я не въ состояніи теперь послать ему ничего, тѣмъ болѣе, что домъ начала отдѣлывать, и не могу вспомнить безъ ужасу, что онъ мнѣ будетъ стоить, но полагаюсь на Бога и не предаюсь отчаянію". (Письмо это относится къ апрѣлю 1830 г., но помѣтки на немъ нѣтъ; начинается словами: „Христосъ воскресъ". Ср. письмо Гоголя къ матери отъ 2 апрѣля 1830 г. „Хорошо еще, что я въ это время имѣлъ такого рѣдкаго благодѣтеля, какъ Андрей Андреевичъ. До сихъ поръ я жилъ однимъ его вспомоществованіемъ").— Нерѣдко Марья Ивановна безпокоилась также о здоровьѣ сына; напр. 5 мая 1830 г. она писала: „Четвертый мѣсяцъ уже, какъ не получаю отъ Николеньки писемъ. Послѣднее отъ 2 февраля получила. Писалъ, что былъ боленъ и уже выздоровѣлъ и опять началъ заниматься должностью, и опять простудился и могъ впасть – Боже сохрани— въ рецедиву. На сихъ дняхъ я получила письмо отъ Авдотьи Семеновны Леонтьевой и ни одного слова не пишетъ о Никошѣ". Но тревога оказалась преувеличенной и 11 іюля М. И. сообщила П. П. Косяровскому: „Сынъ мой слава Богу, здоровъ. Я получила отъ него вскорѣ послѣ написанія къ вамъ письмо. Я бы не воображала безпокоиться о немъ, но Авдотьи [illegible] письмо было въ такомъ страшномъ родѣ написано, что напугало меня [illegible]". Всѣ эти письма показываютъ, что положеніе какъ Гоголя, такъ и [illegible] долго было во всѣхъ отношеніяхъ весьма тяжелое.

[1]) Стр. 108.

во всѣ ворота. Любопытно обратить вниманіе на улучшеніе настроенія Гоголя во второй половинѣ письма, послѣ того какъ онъ получилъ извѣстіе отъ начальника о прибавкѣ жалованья: эта счастливая перемѣна въ положеніи нашего юноши смягчила неловкость его просьбы о помощи, которая теперь опредѣлялась уже болѣе умѣренной цифрой (не въ 100, а только 80 р. въ мѣсяцъ). Все это, однако, по нашему мнѣнію, не должно нисколько служить уголовнымъ актомъ противъ Гоголя, такъ какъ траты его были умѣренныя и, наконецъ, повторяемъ опять, къ кому же ему было обращаться за помощью, какъ не къ матери? Вообще все дѣло *въ одномъ*, но крупномъ безразсудномъ поступкѣ,—въ поѣздкѣ за-границу; все наше отношеніе къ Гоголю въ данномъ вопросѣ зависитъ отъ того, взглянемъ ли мы на этотъ шагъ, какъ на юношескій порывъ, который нельзя же ставить въ непрощаемое преступленіе, какъ не ставила его и сама мать Гоголя, или же держаться напротивъ того мнѣнія, что всякое лыко слѣдуетъ ставить въ строку и что никакой пощады, никакого снисхожденія къ ошибкѣ молодости не полагается. Впрочемъ, судить объ этомъ предоставляемъ уже самимъ читателямъ. Г. Витбергъ находитъ возможнымъ упрекать меня въ томъ, что, признавая искренность сыновней любви Гоголя, я тѣмъ не менѣе не довѣряю безусловно всѣмъ его словамъ; но есть разница между искренностью чувства и искренностью словъ, и эта разница бо̀льшей частью замѣчается именно тогда, когда человѣкъ чувствуетъ себя въ неловкомъ положеніи, а положеніе Гоголя было совершенно неловкое. Кромѣ того, извѣстно, что крайность часто вынуждаетъ человѣка къ заключенію такихъ невыгодныхъ сдѣлокъ, которыя только способствуютъ ухудшенію дѣла. Такъ было и съ Гоголемъ, признававшимся, что „часто большія неудобства встрѣчаются иногда и (sic) отъ замедленія присылки, и тогда принужденъ я бываю продавать за безцѣнокъ самыя нужнѣйшія вещи, которыхъ пріобрѣтеніе становится впослѣдствіи мнѣ несравненно дороже“ [1]). Въ числѣ самыхъ крупныхъ непріятностей для Гоголя была между прочимъ невозможность позволить себѣ маленькую роскошь—нанять хотя бы самую скромную дачу на лѣто. О дачѣ онъ начинаетъ вспоминать еще съ

[1]) Стр. 119.

февраля и, конечно, совершенно искренно жалѣетъ о невозможности ѣхать къ роднымъ въ Малороссію. „Часто“—говоритъ онъ матери—„наводитъ на меня тоску мысль, что, можетъ быть, долго еще не удастся мнѣ увидѣться съ вами. Какъ бы хотѣлось мнѣ хотя на мгновеніе оторваться отъ душныхъ стѣнъ столицы и подышать хотя на мгновеніе воздухомъ деревни! Но неумолимая судьба истребляетъ даже надежду на то. Какъ подумаю о будущемъ лѣтѣ, теперь даже томительная грусть залегаетъ въ душу. Вы помните, я думаю, какъ я всегда рвался въ это время на вольный воздухъ, какъ для меня убійственны были стѣны даже маленькаго Нѣжина. Что же теперь должно происходить въ это время, когда столица пуста и мертва, какъ могила, когда почти живой души не остается въ обширныхъ улицахъ, когда громады домовъ, съ вѣчно раскаленными крышами, однѣ только кидаются въ глаза, и ни деревца, ни зелени, ни одного прохладнаго мѣстечка, гдѣ бы можно было освѣжиться! Немудрено, когда прошлый годъ со мною произошло такое *странное, безразсудное явленіе:* я былъ утопающій, хватавшійся за первую попавшуюся ему вѣтку“ [1]). Замѣтимъ кстати, что и эти слова также совершенно не вяжутся съ прежними утвержденіями Гоголя, будто ему необходимо было ѣхать за-границу, чтобы лѣчиться, что онъ поѣхалъ по причинѣ безнадежной любви и т. п. Всѣ эти объясненія *теперь оставлены*, и оказывается уже, будто онъ уѣхалъ вслѣдствіе неимѣнія денегъ на дачу, хотя наемъ недорогой дачи и безъ всякаго сравненія дешевле заграничнаго путешествія [2]). Но Гоголь въ сношеніяхъ съ Марьей Ивановной не особенно заботился о правдоподобіи объясненій своего поступка, зная, что она не мастерица замѣчать непослѣдовательности и противорѣчія; онъ даже не обдумывалъ особенно въ данномъ случаѣ выставляемыя имъ причины и отнюдь не хитрилъ систематически, такъ что мы считаемъ все это не столько признакомъ неоткровенности съ матерью вообще, сколько слѣдствіемъ того ложнаго положенія, въ которое онъ себя поставилъ, и тѣмъ менѣе это могло бы противорѣчить искренности его чувства

[1]) Стр. 103.

[2]) Все это намъ приходится разъяснять въ виду странной рецензіи и не менѣе странной брошюры г. Витберга, доходящаго въ своемъ некритическомъ отношеніи къ источникамъ *до неподражаемой наивности и до какого-то суе-*

любви къ ней [1])... Мысль о дачѣ все-таки долго и сильно занимала Гоголя, такъ что онъ никакъ не хотѣлъ оставить ее до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, не пришлось убѣдиться въ ея окончательной неосуществимости: „Не смотря на всѣ старанія свои“—писалъ онъ въ іюнѣ,—„я не могъ, однако жъ, имѣть никакой возможности переѣхать на дачу. Судьба никакимъ образомъ не хотѣла свесть меня съ высоты моего пятаго этажа въ низменный домикъ на какомъ-нибудь изъ острововъ.

вѣрнаго рабольпства даже передъ такими заявленіями Гоголя, что онъ собирался будто бы писать сочиненіе о Малороссіи на иностранномъ языкѣ („Историч. Вѣстникъ“, 1892, VII, стр. 393—394).

[1]) Г. Витбергъ торжественно уличаетъ меня въ мнимыхъ противорѣчіяхъ, приводя слѣдующія выраженія изъ моей книги: «едва ли слѣдуетъ въ дѣтскихъ увѣдомленіяхъ Гоголя видѣть *одинъ* неискреннія фразы. Правда, въ оправданіяхъ Гоголя звучитъ отчасти *какая-то* фальшивая нота, но нельзя согласиться съ тѣмъ, что его слова были только *одной* «реторикой въ трагическомъ вкусѣ». На планы Гоголя и его юношескія стремленія не обращено вниманія, а заподозрѣнное притворство, можетъ быть, *слишкомъ* подчеркнуто» *и въ другомъ мѣстѣ:* «усиленно обращаемъ вниманіе на выразившееся въ нихъ» (въ словахъ г. Коняовича) «довѣріе къ искренности сыновнихъ *чувствъ* Гоголя, и еще разъ замѣтимъ, что сомнѣнія, высказываемыя въ этомъ смыслѣ въ нашей печати, представляются и намъ *излишне* преувеличенными». Г. Витбергъ, позаботившись съ непонятнымъ усердіемъ выписать всѣ приведенныя мѣста, по какому-то комическому недоразумѣнію не обратилъ вниманія на то, что *во всѣхъ* этихъ случаяхъ я говорю объ искренности *любви* Гоголя къ матери, но отнюдь не безусловно *каждаго слова*, сказаннаго Гоголемъ въ письмахъ къ ней, и притомъ я *всякій разъ* стараюсь уловить *степень* искренности или неискренности Гоголя, тогда какъ самъ г. Витбергъ никакихъ промежуточныхъ ступеней ни въ какомъ случаѣ не допускаетъ и не признаетъ. („См. Н. В. Гоголь и его новый біографъ“, стр. 28).

Кстати, г. Витбергъ пытается ловить меня и на другихъ мнимыхъ противорѣчіяхъ. По поводу моихъ словъ о томъ, что мнѣ «фантастическая любовь Гоголя кажется такимъ же отважнымъ вымысломъ съ его стороны, какъ сообщеніе о великодушномъ другѣ и покровителѣ, будто бы обѣщавшемъ везти его на свой счетъ за-границу», г. Витбергъ вспоминаетъ о товарищѣ Гоголя Высоцкомъ и приводитъ другія мои слова, что Высоцкій въ Петербургѣ «еще до пріѣзда Гоголя успѣлъ составить со своими новыми, петербургскими, товарищами проектъ заграничнаго путешествія, въ которомъ не забылъ и своего нѣжинскаго пріятеля», и «что эта мечта едва ли не послужила отдаленной причиной совершенной Гоголемъ вскорѣ по пріѣздѣ въ Петербургъ поѣздки заграницу». *Но тутъ нѣтъ противорѣчія*, потому что, по словамъ Данилевскаго, пріятеля и товарища какъ Гоголя, такъ и Высоцкаго, ни о какихъ сборахъ съ другомъ онъ и не слыхалъ отъ Гоголя, какъ это тутъ же съ моихъ словъ указываетъ г. Витбергъ, иронически, впрочемъ, подсмѣиваясь почему-то надъ моимъ довѣріемъ къ словамъ Данилевскаго. Данилевскій же говорилъ мнѣ также, что Вы-

Необходимости должно повиноваться, но я всячески стараюсь услаждать свое заключеніе“ [1]) и проч.

Въ это же время Гоголь переходилъ изъ одного вѣдомства въ другое, желая сколько-нибудь сносно устроить свои служебныя и домашнія дѣла. Изъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ онъ перешелъ въ департаментъ Удѣловъ на нѣсколько бо́льшее жалованье (500 р. въ годъ) [2]). Переходъ этотъ состоялся въ первой половинѣ 1830 г. Обезпеченіе было все-таки *незавидное* и Гоголь именно этимъ словомъ характеризуетъ свое новое мѣсто, которое удалось ему найти „послѣ безконечныхъ исканій“. Въ департаментъ Удѣловъ Гоголь поступилъ 10 апрѣля 1830 г. Новая служебная обстановка была для него довольно благопріятна, какъ видно изъ его отзывовъ о начальствѣ и товарищахъ. Гоголь даже получилъ вскорѣ повышеніе, занявъ мѣсто столоначальника [3]). Къ началу

соцкій совсѣмъ отдалился въ Петербургѣ отъ Гоголя и что они не встрѣчались тамъ, вскорѣ окончательно потерявъ другъ друга изъ виду. Жаль, что, не предвидя мелочныхъ возраженій г. Витберга, я не разспросилъ Данилевскаго о томъ, куда переселился потомъ Высоцкій; но фактъ тотъ, что *никто* изъ товарищей Гоголя не называлъ его въ числѣ лицъ, которыя принадлежали къ тогдашнему нѣжинскому кружку, и при томъ, по свѣдѣніямъ Гербеля въ книгѣ «Гимназія высшихъ наукъ и Лице́й кн. Безбородко», Высоцкій значится здравствовавшимъ и состоявшимъ въ отставкѣ еще *въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ* («Лицей кн. Безбородко», CXXX), тогда какъ воображаемый великодушный другъ, по словамъ Гоголя, тогда же умеръ. На стр. 340 V т. «Соч. и писемъ Гоголя» также упоминается фамилія Высоцкаго, но по тону словъ письма ясно, что рѣчь идетъ уже о другомъ лицѣ (о танцмейстерѣ). (См. «Н. В. Гоголь и его новый біографъ», стр. 31).—Ясно, что всѣ эти и подобные упреки въ противорѣчіяхъ явились просто вслѣдствіе невниканія критика въ читаемое.

[1]) Стр. 114.

[2]) Стр. 106.

[3]) По свѣдѣніямъ, собраннымъ покойнымъ В. П. Гаевскимъ, въ его статьѣ: «Замѣтки для біографіи Гоголя», («Современникъ». 1852, X, отд. VI, стр. 144—145) Гоголь 10 іюля 1830 г. былъ опредѣленъ помощникомъ столоначальника, а незадолго передъ тѣмъ 3 іюня онъ былъ утвержденъ въ чинѣ коллежскаго регистратора; послѣднее свѣдѣніе заимствовано изъ аттестата объ отставкѣ Гоголя изъ департамента Удѣловъ.

О полученіи мѣста въ Министерствѣ Удѣловъ Н. В. Гоголь сообщалъ матери въ письмѣ отъ 3 іюня, гдѣ онъ говоритъ: «Служу я еще только третій мѣсяцъ въ департаментѣ Удѣловъ, находящемся въ вѣдѣніи Министерства Двора». («Соч. и письма Гоголя», т. V, стр. 112). Послѣ этого онъ перечисляетъ своихъ начальниковъ, отзываясь о каждомъ изъ нихъ съ похвалой.—Всѣ эти данныя Марья Ивановна Гоголь вскорѣ въ точности передала П. П. Косяровскому, употребляя почти тѣ же выраженія: «Николенька мой пишетъ» —

1831 г. завязавшіяся литературныя отношенія и надежда на улучшеніе матеріальнаго положенія вслѣдствіе обѣщанной прибавки жалованья сильно подняли бодрость нашего героя и тогда онъ могъ не только свободно вздохнуть самъ, но и думать уже о помощи родным. Любопытны слѣдующія строки его письма отъ 19 декабря 1830 г.: „Чувствительно благодарю васъ, почтеннѣйшая маменька, за присланныя вами деньги сто рублей. *Вѣрьте, что я знаю имъ цѣну: могу ли я что-либо изъ нихъ употребить на ненужное, когда на каждой изъ сихъ ассигнацій читаю я тѣ величайшіе труды, съ которыми онѣ достаются вамъ.* Давно уже меня занимаетъ одна и та же мысль—доставить вамъ въ этомъ отношеніи облегченіе. Мои удвоившіеся труды, мои успѣшныя занятія и лестное вниманіе ко мнѣ,—все заставляетъ меня думать, что участь моя, къ моему и вашему удовольствію, перемѣнится, и что въ наступающемъ 1831 году, съ которымъ заблаговременно поздравляю васъ, предвижу я для себя много хорошаго". Теперь Гоголь, вѣроятно, въ самомъ дѣлѣ уже не позволялъ себѣ *ничего ненужнаго,* тогда какъ прежде, какъ мы говорили, ему все-таки казалось необходимымъ то, въ чемъ онъ, можетъ быть, могъ бы и отказать себѣ при бо́льшей опытности и знаніи жизни. Гоголь продолжаетъ еще нѣкоторое время обращаться къ матери съ просьбой о деньгахъ. „Я вамъ обѣщалъ"—пишетъ онъ въ апрѣлѣ 1831 г.,— „въ этомъ году потребовать отъ васъ 500 рублей, какъ послѣдніе: послѣ чего, я уже не буду имѣть права просить у васъ" (придирчивые судьи замѣтили бы, что такое обѣщаніе онъ даетъ уже *вторично*); „и это обѣщаніе выполнилъ бы непремѣнно, хотя бы обстоятельства мои и не приняли бы теперешняго" (т. е. сравнительно благопріятнаго) „оборота" [1]). Въ это время онъ уже оставилъ службу въ департаментѣ Удѣловъ и вскорѣ поступилъ преподавателемъ въ Патріотиче-

сообщала она,—«что онъ теперь служитъ въ департаментѣ Удѣловъ въ Министерствѣ Двора, куда онъ попалъ черезъ одно изъ своихъ сочиненій, или, лучше сказать, по произволу Божію. Гофмейстеръ въ томъ отдѣленіи г. Перовскій. Начальникъ отдѣленія г-нъ Панаевъ, очень хорошій и добрѣйшій человѣкъ. Николя пишетъ, что онъ душою къ (sic) нему преданъ». Передача словъ сына въ этомъ письмѣ Марьи Ивановны показываетъ въ ней то наивное благоговѣніе передъ чинами и должностями, которое всегда очень не нравилось ея сыну.

[1]) Стр. 129.

скій институтъ, говоря о своей прежней должности, что „душевно былъ радъ оставить ничтожную службу“...

Между тѣмъ для Гоголя при его наблюдательности не малую пользу принесла жизнь среди небогатой части петербургскаго населенія: онъ подмѣтилъ между прочимъ многое, что̀ касалось практическихъ дѣлъ, напр., веденія домашняго хозяйства, и сравненіе имъ быта безпечныхъ малороссійскихъ помѣщиковъ съ разсчетливой жизнью петербургскихъ семействъ средней руки было не въ пользу первыхъ. „Домоводство великое дѣло“, говоритъ онъ: „Я бы непремѣнно послалъ многихъ помѣщиковъ учиться въ Петербургъ. Они бы увидѣли, какъ огромнымъ дворомъ и домомъ управляетъ одинъ человѣкъ, и все въ величайшемъ порядкѣ, какъ знатные люди знаютъ совершенно все, что̀ дѣлается въ ихъ имѣніяхъ, издерживаютъ менѣе многихъ незнатныхъ и въ кругу своего семейства гораздо болѣе находятъ удовольствія, нежели въ клубахъ и балахъ. Не удивительно, что богатство ихъ возрастаетъ безпрестанно“ [1]). Столичная разсчетливость и осторожность также не укрылась отъ Гоголя и нашла въ немъ себѣ усерднаго защитника: „Я часто думаю“—писалъ онъ,— „что, если бы одна изъ здѣшнихъ знатныхъ дамъ рѣшилась на время пріѣхать въ Малороссію пожить, она бы тотчасъ прослыла гордою, недоступною, и никто бы не понялъ, какой драгоцѣнный брильянтъ переселился къ нимъ. Нигдѣ столько не скупы на знакомство, какъ здѣсь. Кругъ знакомыхъ всегда бываетъ тѣсенъ; но зато знакомые всѣ соединены между собою неразрывно, зато знакомые выбираются съ величайшею разборчивостью, такъ чтобы ни одинъ изъ нихъ не былъ въ тягость и каждый могъ доставить пріятное и полезное общество“.

Устроившись нѣсколько съ практическими дѣлами, Гоголь началъ понемногу исполнять свои обѣщанія о помощи матери. И здѣсь мнѣ приходится опять поневолѣ выразить крайнее изумленіе по поводу забавной критики г. Витберга, выписавшаго совершенно неудачно двѣ строчки цитатъ [2]) для мнимаго опроверженія слѣдующихъ моихъ словъ: „Гоголь питалъ даже надежду помогать матери матеріально, но по

---

[1]) Стр. 131.

[2]) «Н. В. Гоголь и его новый біографъ», стр. 17.

безпечности и собственному безденежью ограничивался *преимущественно* обѣщаніями“ [1]). Не признавая вообще никакихъ степеней и оттѣнковъ, г. Витбергъ оставляетъ совершенно безъ вниманія слово *преимущественно* и въ видѣ грозной улики желаетъ поразить меня длиннымъ рядомъ цифръ, изъ которыхъ значительная часть указываетъ только именно на *намѣреніе* Гоголя послать деньги матери (стр. 129: „въ 1833 году *надѣюсь* помочь вамъ“; стр. 149: „лишнихъ денегъ теперь не имѣю, и потому пусть сестра возьметъ *немного терпѣнія*, *но послѣ надѣюсь* удовлетворить ее“; стр. 150: „*мнѣ*, *можетъ быть*, *удастся* сколько-нибудь сберечь для васъ денегъ“); въ другихъ же мѣстахъ рѣчь идетъ или объ одной и той же посылкѣ на 90 р., которая долго пропадала и, наконецъ, отыскалась (стр. 141, 144, 145, 146), или же говорится о подаркѣ по совершенно исключительному случаю—на свадьбу сестры (стр. 148). Впрочемъ, несомнѣнно, что уже этотъ послѣдній подарокъ на сумму 500 р. стоилъ чего-нибудь недавно едва только перебивавшемуся Гоголю и первыя свободныя деньги пожертвовавшему своей семьѣ. Кромѣ того, Гоголю случалось посылать своимъ мелкіе подарки, и однажды, напр., онъ писалъ: „Очень радъ, что вамъ пришлись очень кстати посланныя мною бездѣлицы, и сожалѣю только, что не въ состояніи послать вамъ лучшаго. Но чего теперь не сдѣлаю, *то сдѣлаю послѣ*“ [2]). Здѣсь также замѣчается обычный у Гоголя перевѣсъ обѣщаній надъ исполненіемъ, очень понятнымъ въ его положеніи; но во всякомъ случаѣ нельзя изо всѣхъ бѣглыхъ упоминаній, большей частью объ одной и той же пропавшей посылкѣ, частью же о нѣсколькихъ, но незначительныхъ, выводить смѣлое заключеніе о томъ, что эти подарки такъ и посылались одинъ за другимъ. Впрочемъ, относительно послѣдующаго времени г. Витбергъ уже не могъ бы съ такой дерзкой развязностью приводить подобныя цитаты. Приведенные два-три примѣра, кажется, достаточно показываютъ мелочность и неосновательность критики этого рецензента, вслѣдствіе чего всѣ дальнѣйшія опроверженія его замѣтокъ считаемъ возможнымъ отнести просто въ приложенія.

Но лучше всего, минуя мелочныя исчисленія, мы можемъ

---

[1]) См. первый томъ, стр. 210.

[2]) «Соч. и письма Гоголя», стр. 136—137.

познакомиться съ отношеніями Гоголя къ семьѣ изъ простого, но правдиваго разсказа его сестры Елизаветы Васильевны.

„Братъ“—сообщаетъ она—„пріѣзжалъ къ намъ изъ Петербурга почти каждый годъ, и это былъ для насъ истинный праздникъ. Со мною онъ былъ ласковѣе, чѣмъ съ другими, и чаще игралъ и шутилъ. У старшей сестры была огромная датская собака „Дорогой“: братъ часто сажалъ меня на нее и заставлялъ катать, и самъ погонялъ. Пріѣзжая, братъ всегда привозилъ много разныхъ гостинцевъ, конфектъ и проч., очень любилъ намъ дѣлать подарки и никогда не отдавалъ ихъ всѣ вдругъ. Дома онъ очень входилъ въ хозяйство и занимался усадьбой и садомъ; въ самомъ домѣ онъ самъ раскрасилъ красками стѣны и потолки въ залѣ и гостиной: надѣнетъ бывало бѣлый фартукъ, станетъ на высокую скамейку и большими кистями рисуетъ,—такъ онъ нарисовалъ бордюры, букеты и арабески.

По утрамъ занимался со мною и Annette и училъ насъ географіи и исторіи; разскажетъ сначала самъ, а потомъ заставитъ повторить сперва Annette, потомъ меня.

Когда братъ не бывалъ съ нами, мы часто писали ему, и мои письма всегда были наполнены пустяками: я была въ дружбѣ съ собаками и всегда переполняла свои письма разсказами о своихъ любимицахъ, передавала ему отъ нихъ поклоны и прочее, вообще же мы писали ему всегда очень подробныя письма. Иногда братъ просилъ насъ прислать ему малороссійскихъ сказокъ, и мы съ удовольствіемъ посылали ему ихъ писанныя нашими іероглифами, изъ которыхъ врядъ ли что можно было понять. За это онъ намъ часто присылалъ конфектъ, а матери и старшей сестрѣ—подарки“ [1])...

IV.

Съ 1832 г. сильно измѣнилось внѣшнее матеріальное положеніе Гоголя, и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько измѣнился тонъ и характеръ его писемъ. Просьбы о помощи умолкаютъ окончательно, но, съ другой стороны, въ каждомъ упоминаніи о дѣлаемыхъ Гоголемъ подаркахъ и о вѣсѣ и значеніи его въ Пе-

[1]) „Русь“, 1885, № 26, „Отрывокъ изъ записокъ Елизаветы Васильевны Быковой, родной сестры Гоголя“, стр. 6.

тербургѣ слышится нѣкоторое самодовольство. Гоголь гордится сдѣланными связями и знакомствами и оскорбляется, если замѣчаетъ, что его значеніе недостаточно понятно для матери. Самолюбіе его проявляется какъ въ томъ тонѣ, какимъ онъ говоритъ о своихъ подаркахъ, о своихъ родственныхъ попеченіяхъ, такъ и въ болѣзненной обидчивости безъ всякой серьезной причины. Иногда онъ употребляетъ удачно въ дѣло свои знакомства, и этимъ вполнѣ оправдываются его слова о достигнутомъ вліяніи. Такъ это случилось именно съ затерявшейся денежной посылкой въ Васильевку, странствовавшей неизвѣстно гдѣ въ теченіе цѣлыхъ трехъ мѣсяцевъ (отъ октября 1831 года до января 1832 г.). Въ этой посылкѣ были браслеты для сестеръ, пряжка, конфекты, даже кушакъ для няни его меньшихъ сестеръ (Варвары Семеновны),—всего на девяносто рублей. Гоголь выходилъ изъ себя, недоумѣвая объ участи отправленной посылки, что̀ было тѣмъ обиднѣе, что это былъ именно первый болѣе серьезный подарокъ, но онъ-то и затерялся. Гоголь сильно волновался и досадовалъ. „Вы никакъ не упускайте этого изъ виду“, пишетъ онъ матери: „сдѣлайте полтавскому почтмейстеру строгій допросъ: гдѣ находится слѣдуемая вамъ посылка, и почему онъ не далъ вамъ знать тотчасъ по полученіи ея? Это дѣло такого рода, за которое сажаютъ подъ судъ“ [1]). „Вы, пожалуйста, не забывайте, маменька, *увѣдомлять* меня, если *будете получать* какую бы то ни было отъ меня посылку, въ какомъ видѣ вы ее получите, что̀ такое именно вы въ ней найдете; потому что, какъ мнѣ кажется, вездѣ не безъ плутней. А это происшествіе вы не оставляйте безъ вниманія и хорошенько подопросите почтмейстера“. Гоголю особенно досадно, что подарки, посланные къ празднику, опоздаютъ, хотя бы они и отыскались; заботы его о качествахъ подарковъ также могли пропасть даромъ. И вотъ онъ снова пишетъ уже послѣ новаго года: „Непонятно! Опять письмо отъ васъ, и опять ни слова о посылкѣ, посланной мною вамъ еще въ октябрѣ, цѣною на девяносто рублей, съ браслетами, пряжкою, перчатками, ридикюлемъ, конфектами и письмомъ, при которомъ она слѣдовала. Ради Бога, извѣстите меня! Я бы теперь же послалъ кое-что сестрѣ, но боюсь. Скажите негодяю полтав-

[1]) «Соч. и письма Гоголя», т. V, стр. 141.

скому почтмейстеру, что я на днях, видѣвшись съ княземъ Голицынымъ, жаловался ему о неисправности почтъ. Онъ замѣтилъ это Булгакову, директору почтоваго департамента; но я просилъ Булгакова, чтобы не требовалъ объясненія отъ полтавскаго почтмейстера до тѣхъ поръ, покамѣстъ не получу его отъ васъ. И такъ прошу васъ, сдѣлайте милость, не заставьте меня долго ждать. Мнѣ хочется непремѣнно вывесть на чистую воду это мошенничество“ [1]). Очень возможно, что именно жалобы Гоголя вліятельнымъ лицамъ и помогли разъясненію дѣла и отысканію застрявшей на дорогѣ посылки, и уже въ письмѣ отъ 19 января, черезъ двѣ-три недѣли послѣ жалобы, Марья Ивановна извѣщала Гоголя о полученіи посылки [2])...

Настроеніе Гоголя въ это время становилось временами даже нѣсколько горделивое, и ему, кажется, льстили сдѣланныя имъ связи, въ чемъ, впрочемъ, однажды онъ и самъ сознается, говоря: „Мнѣ любо, что не я, а моего ищутъ знакомства“. Знакомыхъ и притомъ занимавшихъ довольно видное положеніе у него въ это время (1832 г.) было уже не мало: мы только-что видѣли, что онъ можетъ свободно обращаться къ князю Голицыну, къ директору почтоваго департамента Булгакову, что онъ уже сознавалъ себя силой передъ маленькими людьми, подобными полтавскому почтмейстеру. Знакомства эти были разнородныя и въ разныхъ сферахъ и черезъ нихъ-то Гоголь могъ иногда дѣйствовать; такъ онъ пишетъ: „директоръ опекунскаго совѣта мнѣ знакомъ, и мнѣ, можетъ быть, очень бы легко удалось склонить его къ отсрочкѣ“ [3]). У Гоголя уже срывались съ языка такія выраженія: „Одного молодца вы пристроили. Онъ вамъ больше уже ничего не будетъ стоить, а съ слѣдующаго года, можетъ быть, будете получать съ него проценты [4]). Государыня приказала мнѣ читать въ институтѣ благородныхъ дѣвицъ“ [5]) и проч.

Марья Ивановна также уловила въ письмахъ сына указываемую нами ноту; она писала однажды П. П. Косяровскому: „Я получила отъ Николеньки письмо очень пріятное,

---

[1]) «Соч. и письма Гоголя», т. V. стр. 144.

[2]) Стр. 144 и 145.

[3]) Стр. 136.

[4]) Тамъ же.

[5]) Стр. 129.

что онъ счастливо продолжаетъ службу и благодаритъ Бога за всѣ претерпѣнныя имъ нужды *и разнообразія*, которыхъ иному во весь вѣкъ не придется испытывать. За то пишетъ: „Какая теперь тишина въ моемъ сердцѣ“ и какая твердость въ душѣ моей, и какъ пріятно мнѣ, что я не ищу, но моего ищутъ знакомства“ (Ср. въ письмѣ Гоголя къ матери отъ 10 февраля 1830 г.: Вѣрьте, что Богъ ничего не готовитъ намъ въ будущемъ, кромѣ благополучія и счастья“).

V.

Хотя склонность къ широкимъ задачамъ и вполнѣ понятное сознаніе превосходства надъ массой никогда не угасали въ душѣ Гоголя, но излишества въ этомъ отношеніи послѣ первой его заграничной поѣздки начинаютъ уже отчасти умѣряться жизненнымъ опытомъ и съ другой стороны составляютъ нерѣдко полезный противовѣсъ удручающимъ впечатлѣніямъ отъ неудачъ. Самонадѣянность была въ немъ не поколеблена, но получила иной характеръ и значеніе. Такъ, черезъ нѣсколько дней послѣ грустнаго извѣщенія о томъ, что онъ „холодно и безжизненно встрѣтилъ наступающій 1830 годъ“ [1]), Гоголь писалъ уже матери: „въ столицѣ нельзя пропасть съ голоду имѣющему хотя скудный отъ Бога талантъ“ [2]). Гораздо позднѣе, уже въ половинѣ 1830 года, у Гоголя, судя по его письмамъ, какъ будто еще и не мелькала мысль о перемѣнѣ служебной карьеры; могло бы казаться,—хотя едва-ли это было такъ,—что онъ колебался тогда только между дилеммой—оставаться ли въ Петербургѣ, или переѣхать служить въ провинцію [3]), постоянно склоняясь, впрочемъ, въ пользу перваго рѣшенія,—такъ какъ, по его словамъ, выгоды служить непремѣнно должны быть „для того, кто имѣетъ умъ, знающій извлечь пользу, предположившій впереди себѣ мѣту, ставши на которую, онъ въ состояніи дать обширный просторъ своимъ дѣйствіямъ, *сдѣлаться необходимымъ огромной массѣ государственной*“ (въ послѣднихъ словахъ звучитъ нота прежняго Гоголя). „Черезъ годъ, а можетъ быть и ранѣе“,—продолжаетъ

---

1) Тамъ же, стр. 100.
2) Тамъ же, стр. 103.
3) Тамъ же, стр. 105.

онъ,—„надѣюсь я получить штатное мѣсто. *Это составляетъ покамѣстъ единственное мое желаніе*“. Когда въ сентябрѣ штатное мѣсто было, наконецъ, получено, Гоголь не переставалъ преимущественно заботиться объ успѣхахъ департаментской карьеры и однажды просилъ мать переговорить съ ея знакомыми (Шамшевыми), чтобы черезъ нихъ найти способъ повліять на одного изъ начальниковъ, прибавляя при этомъ: „Словца два отъ хорошихъ людей всегда не помѣшаютъ“ [1]). Въ томъ же положеніи находилось дѣло и въ октябрѣ; но къ новому году Гоголь уже сообщаетъ, что впереди онъ „предвидитъ для себя много хорошаго“, послѣ чего извѣщаетъ въ каждомъ письмѣ о новыхъ удачахъ. Вскорѣ, въ началѣ 1831 года, съ поступленіемъ на службу въ Патріотическій институтъ и и съ пріобрѣтеніемъ литературныхъ знакомствъ, въ судьбѣ Гоголя произошла крупная перемѣна, тотчасъ благопріятно отразившаяся на его настроеніи, такъ что самый тонъ переписки замѣтно измѣняется, становясь постоянно увѣреннѣе и авторитетнѣе.

Любопытно, что когда Марья Ивановна Гоголь обращалась къ сыну съ просьбами о совѣтѣ или протекціи для своихъ знакомыхъ, которымъ было что-нибудь нужно въ Петербургѣ, то послѣдній сталъ отвѣчать ей тономъ опытнаго и знающаго дѣла человѣка, слова котораго показываютъ зрѣлость сужденія и не лишены практическаго значенія. Приведу нѣсколько примѣровъ.

Въ числѣ членовъ коммиссіи по построенію храма Спасителя въ Москвѣ находился нѣкто Клименко (сосѣдъ родителей Гоголя по имѣнію), жена котораго, несмотря на отрѣшеніе мужа отъ должности, по смерти его не теряла надежды исходатайствовать себѣ пенсію и просила Марью Ивановну справиться о томъ черезъ сына въ Петербургѣ. Отвѣтъ былъ полученъ слѣдующій: „Насчетъ дѣла г-жи Клименко удовлетворительнаго ничего не могу сказать. Одна только сильная протекція могла бы сдѣлать что-нибудь въ ея пользу, но и то не въ такихъ обстоятельствахъ, какъ ея нынѣшнія. Вамъ. я думаю, извѣстно, что коммиссія построенія храма въ Москвѣ уничтожена по причинѣ страшныхъ суммъ, истраченныхъ ея чиновниками. Всѣ они находятся едва ли не до сихъ

[1]) Тамъ же, стр. 113 и 121.

поръ подъ слѣдствіемъ; слѣдовательно, не только не въ правѣ требовать себѣ пенсіи, но даже могутъ ожидать непріятностей. Впрочемъ, Государь милостивъ. Если бы она нашла себѣ другой какой предлогъ требовать, можетъ быть, тогда было бы это успѣшнѣе. *Въ томъ и другомъ случаѣ не совѣтуйте ей слишкомъ надѣяться и ожидать многаго. Если и получитъ успѣхъ, пусть лучше успѣхъ этотъ будетъ для нея неожиданный. Ничего нѣтъ хуже и горестнѣе для человѣка несбывшихся надеждъ*“ [1]).

Нѣкто Шостакъ, родственникъ Гоголя по матери [2]), „былъ одинъ изъ числа откупщиковъ, взявшихъ на себя городъ Петербургъ“ [3]). Дѣло пошло сначала, повидимому, успѣшно, и онъ могъ даже прислать всѣмъ сестрамъ по десяти тысячъ, но вскорѣ разорился, подвергся за долги домашнему аресту и наконецъ скрылся неизвѣстно куда. На просьбу матери разузнать объ немъ Гоголь отвѣчалъ, что найти его не можетъ, но встрѣчалъ его прежде и кое-что объ немъ слышалъ. „Откупщики эти“—писалъ онъ—„не получили никакихъ совершенно выгодъ; въ разговорѣ, однакожъ, со мною онъ старался не давать этого замѣтить. Мнѣ странно только было найти въ этомъ человѣкѣ, можно сказать, изжившемъ всю жизнь свою прожектами, черты юношеской неосновательности. Бывшіе съ нимъ въ короткихъ связяхъ говорятъ, что онъ при рѣдкомъ счастьѣ всегда бывалъ почти самъ причиною его утраты. Впрочемъ, одинъ поступокъ тотъ, посредствомъ котораго онъ помогъ роднымъ своимъ, извиняетъ его много“.— Вообще сужденія Гоголя постоянно становятся рѣшительнѣе и отражаютъ явный подъемъ духа. Вскорѣ онъ уже не могъ не чувствовать себя вознесеннымъ обстоятельствами и быстро подхваченнымъ вверхъ благопріятной волной, и въ самомъ дѣлѣ сознаніе успѣха сквозитъ всюду, а на первыхъ порахъ проявляется даже не совсѣмъ въ скромной формѣ, на что́ уже указывалось въ нашей печати съ большимъ осужденіемъ, *но вѣтъ связи съ причинами, вызвавшими такое настроеніе* [4]). Такъ однажды онъ пишетъ матери: „мнѣ любо, когда не я ищу,

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, I т., стр. 127.

[2]) Родной братъ Маріи Ильиничны Косяровской, матери М. И. Гоголь.

[3]) „Соч. и письма Гоголя“, I т., стр. 126.

[4]) „Николай Васильевичъ Гоголь и неизданныя его письма“ („Русская Старина“ 1875, IX, стр. 101).

но моего ищутъ знакомства“ [1]); въ другой разъ онъ прямо говоритъ: „Я душевно былъ радъ оставить ничтожную мою службу, *ничтожную, я полагаю, для меня*, потому что иной Богъ знаетъ за какое благополучіе почелъ бы занять оставленное мною мѣсто. Я могъ бы остаться теперь безъ мѣста, если бы не показалъ уже нѣсколько себя. Государыня приказала читать мнѣ въ находящемся въ ея вѣдѣніи институтѣ благородныхъ дѣвицъ. Впрочемъ, вы не думайте, чтобы это много значило. Вся выгода въ томъ, что я теперь немного больше извѣстенъ, и лекціи мои мало-по-малу заставляютъ говорить обо мнѣ“ [2]). Надо, впрочемъ, сказать, что Гоголь долго не писалъ потомъ въ этомъ тонѣ, до времени позднѣйшаго своего проповѣдничества, и этотъ тонъ въ данномъ случаѣ совершенно объясняется какъ ранней молодостью, такъ и временнымъ чрезмѣрнымъ упоеніемъ отъ неожиданныхъ удачъ. Въ самомъ дѣлѣ, новый родъ карьеры слишкомъ выгодно отразился на всемъ строѣ жизни молодого писателя: вмѣсто прежняго обязательнаго сидѣнія по цѣлымъ утрамъ въ департаментѣ, онъ пользуется теперь значительнымъ просторомъ для любимыхъ литературныхъ занятій, посвящая всего по шести часовъ въ недѣлю на лекціи, надѣясь, впрочемъ, занять, вскорѣ до 20 часовъ въ другихъ институтахъ [3]). Матеріальное положеніе его улучшилось, пріобрѣталась извѣстная независимость; не надо было уже на каждомъ шагу одолжаться матери или дадѣ [4]). Теперь Гоголь былъ воодушевленъ уже не мнимыми надеждами, но имѣющими дѣйствительное основаніе, хотя при всемъ томъ онъ все-таки остается по-прежнему въ положеніи человѣка упорнымъ трудомъ пробивающаго себѣ дорогу и, по собственному его выраженію, „живетъ на чердакѣ“ [5]).

Необходимо отмѣтить еще одну черту въ Гоголѣ въ разсматриваемое время: онъ сильно гордился Патріотическимъ институтомъ и своею службою въ немъ. Къ его репутаціи и молвѣ объ немъ онъ относился очень ревниво. Такъ однажды

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 128.

[2]) Тамъ же, стр. 129.

[3]) Это ожиданіе потомъ не исполнилось.

[4]) А. А. Трощинскому.

[5]) „См. Соч. и письма Гоголя“, т. V, 234; такъ же называлъ квартиру Гоголя и Пушкинъ. См. Соч. Пушкина, изд. лит. фонда, т. VII, стр. 332.

его задѣло заживо освѣдомленіе одной сосѣдки по имѣнію о томъ, что не обучаются ли въ Патріотическомъ институтѣ дѣти разночинцевъ и неблагородныхъ, которыя не пара ея дочерямъ и роднымъ. „Зеленецкую“ [1]) — писалъ Гоголь матери—„вы можете успокоить насчетъ ея опасенія: она слышала, что звонятъ, только не знаетъ на которой колокольнѣ. Въ Патріотическій институтъ благородныхъ дѣвицъ, въ которомъ я служу [2]), не принимаютъ ни изъ купцовъ, ни изъ мѣщанъ. Уже самое его названіе показываетъ это. Стало быть, родственница Зеленецкой должна радоваться и посылать своихъ дѣтей: они попадутся въ хорошія руки“ [3]).

Очень естественно, что, имѣя искреннее высокое мнѣніе о тѣхъ институтахъ, въ которыхъ онъ преподавалъ, и которые, слѣдовательно, зналъ хорошо, Гоголь сталъ думать о помѣщеніи въ одномъ изъ нихъ своихъ подроставшихъ сестеръ и вскорѣ осуществилъ свою мечту. Однажды онъ такъ писалъ матери: „Что̀ касается до маленькихъ сестрицъ, то онѣ, можетъ быть, лучшее получатъ воспитаніе, нежели мы. Если бы вы знали, моя безцѣнная маменька, какія здѣсь превосходныя заведенія для дѣвицъ, то вы бы, вѣрно, радовались, что ваши дочери родились въ нынѣшнее время. Я не могу налюбоваться здѣшнимъ порядкомъ. Здѣсь воспитанницы получаютъ свѣдѣнія обо всемъ, что̀ нужно для нихъ, начиная отъ домашняго хозяйства до знанія языковъ и опытнаго обращенія въ свѣтѣ, и вовсе не выходятъ тѣми вѣтренными, легкомысленными дѣвчонками, какими дарятъ институты“ [4])...

Всѣ приведенные примѣры согласно свидѣтельствуютъ о томъ, что юный Гоголь уже начиналъ понемногу придавать вѣсъ себѣ и своему значенію, и настроеніе это замѣчается у него не разъ въ первой половинѣ тридцатыхъ годовъ.

Но вотъ въ это-то время какого-то, правда довольно кратковременнаго, упоенія быстрой перемѣной въ своей судьбѣ Гоголь однажды получаетъ отъматери письмо съ совѣтомъ искать

---

[1]) Въ изданіи Кулиша фамилія этой сосѣдки Гоголя обозначена инициаломъ, но А. С. Данилевскій называлъ намъ съ увѣренностью ее полнымъ именемъ.

[2]) Въ изданіи писемъ явная опечатка: *не служу*, вм. служу, ибо Гоголь оставилъ службу въ Патріотическомъ институтѣ только въ 1835 г.

[3]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 147—148.

[4]) Тамъ же, стр. 136.

протекціи одного полтавскаго знакомаго. Надо замѣтить, что Марья Ивановна нерѣдко принималась хлопотать за сына и обыкновенно совершенно некстати. Одно время она вдругъ стала сильно заботиться о томъ, чтобы сынъ ея поѣхалъ познакомиться съ отправившимся на нѣкоторое время въ Петербургъ богатымъ сосѣдомъ, Базилевскимъ. По словамъ А. С. Данилевскаго, мать Базилевскаго, извѣстная своимъ скряжничествомъ, нажила огромное состояніе; самъ Базилевскій былъ очень занятъ своимъ богатствомъ и былъ крайне непривлекательная личность. Ѣхать къ нему, по мнѣнію Данилевскаго, было бы просто неприлично и не нужно.

Этотъ, не имѣвшій смысла совѣтъ, по словамъ Данилевскаго, объясняется только крайней непрактичностью Марьи Ивановны и ея полнымъ незнаніемъ жизни. Гоголь былъ сильно оскорбленъ: „Мнѣ очень странно, маменька, что вы столько хлопочете о Базилевскомъ“, писалъ онъ—и, конечно, былъ правъ, говоря: „вы очень мало знаете приличія, маменька, или лучше сказать, и знаете приличія, но не знаете *моихъ отношеній въ свѣтѣ*. Касательно состоянія его быть мнѣ полезнымъ скажу вамъ вотъ что. Вы все еще, кажется, привыкли почитать меня за нищаго, для котораго всякій человѣкъ *съ небольшимъ именемъ и знакомствомъ* можетъ надѣлать кучу добра. Попрошу васъ объ этомъ не безпокоиться. Путь я имѣю гораздо прямѣе и, признаюсь, не знаю такого добра, которое бы могъ мнѣ сдѣлать человѣкъ. Добра я желаю отъ Бога, и именно быть всегда здоровымъ и видѣть васъ всегда здоровыми“ [1]).—Ясно, что ненамѣренный уколъ попалъ прямо въ сердце Гоголю и онъ не могъ сдержать своего крайняго негодованія. Обидчивость относительно вопроса Зеленецкой объ институтѣ, также невиннаго и неумышленнаго, переполнила чашу.

Отмѣчаемъ эти мелкія подробности въ виду ложнаго старанія нѣкоторыхъ писателей совершенно затушевать всѣ двусмысленныя черты въ личности Гоголя и представить его въ безусловно безукоризненномъ свѣтѣ, чѣмъ грубо нарушается основное требованіе безпристрастія біографіи.

---

[1]) Стр. 147.

НАЦІОНАЛЬНЫЯ СИМПАТІИ ГОГОЛЯ И ИХЪ ОТРАЖЕНІЕ ВЪ ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ 1832—1835 ГОДОВЪ.

I.

Мы только-что разсмотрѣли внѣшнія условія жизни Гоголя въ Петербургѣ. Но мы уже говорили, что его во всякомъ случаѣ нельзя смѣшивать съ тѣми заурядными личностями, для которыхъ приличное положеніе и извѣстная степень матеріальнаго обезпеченія составляютъ все. Напротивъ, онъ хранилъ въ своей груди искру стремленія къ идеаламъ и старался по временамъ уходить въ созданный имъ и тщательно оберегаемый интимный міръ, чтобы забыться иногда отъ неизбѣжной, но несносной будничной прозы. По основнымъ свойствамъ характера Гоголя міръ этотъ въ его зрѣлые годы былъ нисколько не фантастическій; его составляло все, что онъ любилъ и чему былъ особенно преданъ; но въ силу особенностей своей южной природы, онъ настолько же имѣлъ склонность придавать въ своемъ воображеніи блестящую окраску любимымъ образамъ и предметамъ и окружать ихъ яркимъ ореоломъ, иногда преувеличивая ихъ достоинства, насколько въ обыкновенныхъ случаяхъ тонко схватывалъ и безпристрастно изображалъ повседневную дѣйствительность.

Какъ въ личности, такъ и въ творчествѣ Гоголя необходимо строго различать двѣ существенно несходныя стороны: несомнѣнно, что Гоголь-практическій человѣкъ сильно отличался отъ Гоголя-идеалиста; точно также въ его произведеніяхъ, несмотря на преобладающее изображеніе отрицательныхъ сторонъ жизни, встрѣчаются нерѣдко картины и образы въ высокой степени привлекательные и несвободные подчасъ

отъ пламенной идеализаціи. И здѣсь не можемъ также не привести, въ подтвержденіе своихъ словъ, нѣсколько строкъ изъ цитированной не разъ статьи Анненкова: признавая въ Гоголѣ глубоко практическую натуру, онъ замѣчаетъ съ другой стороны, что „природа его имѣла многія изъ свойствъ южныхъ народовъ, которыхъ онъ такъ цѣнилъ вообще. Онъ необычайно дорожилъ внѣшнимъ блескомъ, обиліемъ и разнообразіемъ красокъ въ предметахъ, пышными, роскошными очертаніями. Полный звукъ, ослѣпительный поэтическій образъ, мощное, громкое слово, все исполненное силы и блеска потрясало его до глубины сердца. Въ жизни онъ былъ очень цѣломудренъ и трезвъ, если можно такъ выразиться, но въ представленіяхъ онъ совершенно сходился со страстными, внѣшне-великолѣпными представленіями южныхъ племенъ“ [1]). Г-нъ Скабичевскій, сравнивая (въ своей статьѣ: „Нашъ историческій романъ въ его прошломъ и настоящемъ“) историческія повѣсти Пушкина и Гоголя, на основаніи ихъ разбора, приходитъ къ заключенію, совершенно сходному съ тѣмъ, что̀ Анненковъ уловилъ въ характерѣ послѣдняго по впечатлѣніямъ личнаго знакомства, и такое совпаденіе, по нашему мнѣнію, должно служить вѣскимъ доказательствомъ вѣрности взглядовъ обоихъ. „Въ то время, какъ Пушкинъ“ — замѣчаетъ г. Скабичевскій — „все необычайное и выдающееся старается свести къ будничному, показать намъ, что необычайнымъ оно кажется только издали, а на самомъ дѣлѣ тонетъ въ уровнѣ повседневной жизни, Гоголь, наоборотъ, всѣ образы въ своемъ романѣ („Тарасъ Бульба“) освѣщаетъ бенгальскимъ огнемъ, и они рисуются въ дивномъ, волшебномъ сіяніи“ [2]). Несомнѣнно, что̀ внимательное изученіе Гоголя можетъ привести только къ этому выводу, который слѣдуетъ распространить также на всѣ тѣ случаи, гдѣ Гоголь говоритъ вообще о предметахъ и лицахъ ему сочувственныхъ, и, по нашему мнѣнію, все, что̀ возбуждало въ немъ идеализацію, требуетъ никакъ не меньшаго вниманія сравнительно съ остальной сокровищницей его произведеній, такъ какъ въ этой идеализаціи именно и выливалось его завѣтное внутреннее содержаніе, въ ней находили себѣ отго-

[1]) „Воспоминанія и критическіе очерки“, т. I, стр. 186—187.
[2]) Сочиненія А. Скабичевскаго, т. II, стр. 678.

лосокъ самыя задушевныя его чувства и мечты. Если другіе образы имѣютъ несравненно бо́льшее общественное значеніе, если, можетъ быть, они вообще гораздо вѣрнѣе дѣйствительности, то для цѣлей біографическихъ едва-ли не бо́льшее значеніе имѣютъ тѣ, въ которыхъ съ бо́льшей непосредственностью отразилась личность автора [1]).

Въ „Вечерахъ на Хуторѣ", какъ мы говорили раньше [2]), всего ярче бросается въ глаза страстная идеализація юной женской красоты, проявившаяся въ цѣломъ рядѣ послѣдовательныхъ образовъ, но нашедшая себѣ законченное выраженіе только въ „Миргородѣ" въ лицѣ панночки и въ повѣсти „Тарасъ Бульба", точно также какъ пламенныя юношескія мечты о женщинѣ всего ярче воспроизведены въ симпатичномъ образѣ Андрія. Въ періодъ, слѣдующій за „Вечерами", потребность южной натуры автора въ энтузіазмѣ нашла себѣ также другую, болѣе возвышенную цѣль, избравъ своимъ излюбленнымъ предметомъ апоѳеозъ національнаго чувства. Мысль Гоголя останавливалась теперь съ особенной любовью на изображеніи наиболѣе сочувственныхъ ему сторонъ сперва малороссійскаго, а потомъ вообще русскаго характера.

Любовь къ отечеству, какъ инстинктъ, сильно отличающійся отъ отвлеченнаго, такъ сказать, головного патріотизма, обыкновенно коренится въ какихъ-либо опредѣленныхъ симпатіяхъ, часто не легко поддающихся объясненію. Лермонтовъ прекрасно выразилъ это въ своемъ стихотвореніи „Родина". Такъ и Гоголю нравилась особенно русская и еще болѣе казацкая широкая удаль, беззавѣтная отвага и безразсчетная щедрость. Изученіе малороссійскихъ народныхъ преданій и собираніе пѣсенъ должно было еще болѣе углубить и упрочить это чувство.

Начало пламенной любви въ Гоголѣ къ украинскимъ пѣснямъ, къ національнымъ танцамъ и вообще ко всему малороссійскому, безъ сомнѣнія, слѣдуетъ искать еще въ самыхъ раннихъ впечатлѣніяхъ, когда при захватывающихъ душу звукахъ родныхъ мелодій и при видѣ разудалаго, бѣшенаго гопака, его дѣтское сердце переполнялось трепетомъ невыра-

[1]) Г. Кояловичъ въ статьѣ: „Дѣтство и юность Гоголя", также отмѣчаетъ „двѣ основныя стихійныя силы его характера: комизма и лиризма" (см. „Московскій Сборникъ", 1887, стр. 210).

[2]) См. „Матеріалы для біографіи Гоголя", т. I, стр. 267—281.

зимаго восторга. Это почти безотчетное сладостное обаяніе сохранило навсегда свою власть надъ нимъ, и во всю жизнь свою Гоголь никогда не могъ относиться равнодушно къ тому, что ему напоминало далекое дѣтство и родину, затрогивая самыя отзывчивыя струны его души. Такъ, кромѣ прекраснаго лирическаго отступленія о дѣтствѣ въ началѣ VI-ой главы „Мертвыхъ Душъ", Гоголю не разъ случалось и въ другихъ мѣстахъ вспоминать съ задушевнымъ чувствомъ впечатлѣнія, запавшія въ его душу въ нѣжномъ возрастѣ. Укажемъ, напр., слѣдующее мѣсто въ „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ": „Я знаю, что многимъ очень не нравится (этотъ) звукъ (поющихъ дверей); но я его очень люблю, и если мнѣ случится иногда услышать скрипъ дверей, тогда мнѣ вдругъ такъ и запахнетъ деревней: низенькой комнаткой, озаренной свѣчкой въ старинномъ подсвѣчникѣ, ужиномъ, уже поставленномъ на столѣ; майской темной ночью, глядящею изъ сада, сквозь растворенное окно, на столъ, уставленный приборами; соловьемъ, который обдаетъ садъ, домъ и дальнюю рѣку своими раскатами; страхомъ и шорохомъ вѣтвей... и Боже, какая длинная навѣвается мнѣ тогда вереница воспоминаній!" [1]). Мы видимъ, что впечатлѣнія были слишкомъ ярки, чтобы не оставить по себѣ глубокаго слѣда навсегда. Извѣстно также, что Гоголь въ интимной бесѣдѣ охотно предавался воспоминаніямъ о своей школьной жизни, и притомъ не только въ бесѣдѣ съ Данилевскимъ или Прокоповичемъ, но нерѣдко и съ А. О. Смирновой, а однажды внесъ яркую картину своихъ школьныхъ развлеченій въ „Мертвыя Души". Всѣ подобныя воспоминанія Гоголя, какъ поэта, поражаютъ богатствомъ глубоко запавшихъ въ душу и слившихся навсегда образовъ. Такъ, описывая недоумѣніе школьника, проснувшагося отъ засунутаго въ носъ „гусара", Гоголь по этому поводу даетъ намъ прекрасную картину солнечнаго ранняго утра: „Потянувши въ просонкахъ весь табакъ къ себѣ со всѣмъ усердіемъ спящаго, онъ" (школьникъ) „пробуждается, вскакиваетъ, глядитъ какъ дуракъ, выпучивъ глаза во всѣ стороны, и не можетъ понять, гдѣ онъ, что съ нимъ было, и потомъ уже различаетъ озаренныя косвеннымъ лучомъ солнца стѣны, смѣхъ товарищей, скрывшихся по угламъ, и глядящее

---

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 127.

въ окно наступившее утро, съ проснувшимся лѣсомъ, звучащимъ тысячами птичьихъ голосовъ, и съ освѣтившеюся рѣкою, тамъ и тамъ пропадающею блещущими загогулинами между тонкихъ тростниковъ, всю усыпанную нагими ребятишками, зазывающими на купанье, и потомъ уже, наконецъ, чувствуетъ, что въ носу у него сидитъ гусаръ“ [1]).

Но ни въ чемъ поэзія дѣтскихъ воспоминаній не сказалась въ Гоголѣ такъ сильно, какъ въ его горячей любви къ малороссійскимъ пѣснямъ и къ тому танцу „самому вольному, самому бѣшеному, какой только видѣлъ когда-либо свѣтъ, и который, по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, названъ казачкомъ“. Особенно нравилась Гоголю въ этомъ танцѣ и вообще въ казацкомъ разгулѣ какая-то отчаянная, заразительная веселость, которую онъ считалъ общимъ достояніемъ и преимуществомъ славянской натуры. Казакъ, по словамъ его, „вслушиваясь въ звуки пѣсни, чувствуетъ себя исполиномъ; душа и все существованіе раздвигается, расширяется до безпредѣльности. Онъ отдѣляется вдругъ отъ земли, чтобы ударить въ нее блестящими подковами и взнестись опять на воздухъ“ [2]).

Эту могучую веселость, какъ потребность національнаго темперамента, Гоголь рѣзко отличаетъ отъ пошлаго, отвратительнаго пьянства, находя въ ней, напротивъ, высокую поэтическую прелесть. „Пѣсни сочиняются не съ перомъ въ рукѣ“,—говоритъ онъ,—„не на бумагѣ, не съ строгимъ разсчетомъ, но въ вихрѣ, въ забвеніи, когда душа звучитъ и всѣ члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положеніе, становятся свободнѣе, руки вольно вскидываются на воздухъ и дикія волны восторга уносятъ его отъ всего“ [3]).

Ту же особенность Гоголь охотно признаетъ и за любимыми представителями романской расы, именно итальянцами. Описывая римскій карнавалъ, онъ восклицаетъ: „Эта невоздержность и порывъ развернуться на всѣ деньги—замашка сильныхъ народовъ. Эта свѣтлая, непритворная веселость, которой нѣтъ у другихъ народовъ, веселость эта прямо изъ природы; ею не хмель дѣйствуетъ; тотъ же самый народъ освищетъ

---

[1]) Тамъ же, т. III, стр. 189.
[2]) Тамъ же, т. V, стр. 293.
[3]) Тамъ же, т. V, стр. 292.

пьянаго, если встрѣтитъ его на улицѣ“ [1]). Послѣднія слова замѣчательно сходятся съ подобнымъ описаніемъ въ „Тарасѣ Бульбѣ“, гдѣ изображенъ разгулъ казака, который „беззаботно предавался волѣ и товариществу такихъ же, какъ самъ, гулякъ, не имѣвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромѣ вольнаго неба и вѣчнаго пира души своей. Веселость была пьяна, шумна, но при всемъ томъ это не былъ черный кабакъ, гдѣ мрачно искажающимъ весельемъ забывается человѣкъ; это былъ тѣсный кругъ школьныхъ товарищей“ [2]). Но всего ярче эта особенность русскаго характера обрисована, конечно, въ извѣстномъ лирическомъ отступленіи о „птицѣ-тройкѣ“: „И какой же русскій не любитъ быстрой ѣзды? Его ли душѣ, стремящейся закружиться, загуляться, не сказать иногда: „чортъ побери все!“ его ли душѣ не любить ея? Ея ли не любить, когда въ ней слышится что-то восторженно-чудное?“ [3]) Нельзя не отмѣтить также, что съ этой точки зрѣнія Гоголь относился, можетъ быть, слишкомъ снисходительно и къ наклонности всякаго молодого русскаго „жить на фу-фу“, между тѣмъ какъ нѣмецъ „еще съ двадцатилѣтняго возраста, съ этого счастливаго времени, уже размѣряетъ всю свою жизнь и никакого ни въ какомъ случаѣ не дѣлаетъ исключенія“ [4])...

Такъ вылились въ окончательной формѣ національныя симпатіи Гоголя; посмотримъ теперь, какъ онѣ постепенно слагались.

II.

Для ближайшаго ознакомленія съ образомъ жизни и бытомъ малороссійскихъ помѣщиковъ времени дѣтства Гоголя и особенно съ тѣмъ кругомъ, къ которому принадлежало семейство его родителей, мы можемъ въ настоящее время воспользоваться довольно живымъ и занимательнымъ историческимъ матеріаломъ, появившимся въ печати преимущественно въ послѣдніе годы. Очень благопріятнымъ обстоятельствомъ является въ данномъ случаѣ извлеченіе изъ-подъ спуда, хотя, можетъ быть, нѣсколько запоздалое, такихъ любопытныхъ ме-

1) Тамъ же, т. II, стр. 155.
2) Тамъ же, т. I, стр. 268 - 269.
3) Тамъ же, т. III, стр. 248.
4) Тамъ же, т. V, стр. 282.

муаровъ, какъ записки С. В. Скалонъ и др., доставляющія намъ данныя о жизни близкихъ съ родителями Гоголя семействъ: Трóщинскаго (воспоминанія Скалонъ и статья г. Ореуса), Капнистъ (въ „Воспоминаніяхъ Скалонъ“), наконецъ отчасти о ихъ собственномъ семействѣ („М. И. Гоголь“, біографическій очеркъ г. Трахимовскаго) [1]). Всѣ эти источники болѣе или менѣе сходятся въ томъ, что изображаютъ намъ въ весьма привлекательномъ свѣтѣ старинный украинскій бытъ. Въ этомъ радужномъ отраженіи былого добродушія и приволья, безъ сомнѣнія, очень много идеализаціи, безъ которой трудно было обойтись самымъ правдивымъ людямъ, воскрешавшимъ въ своей памяти наиболѣе свѣтлыя впечатлѣнія жизни. Всѣ названные авторы мемуаровъ говорятъ намъ о кровномъ, дорогомъ, и самый разсказъ ихъ при этомъ носитъ замѣтные слѣды естественнаго увлеченія и желанія передать бумагѣ хоть часть тѣхъ чувствъ, которыя пробуждались въ нихъ при одной мысли о родинѣ и золотой порѣ молодости. Но всѣ эти разсказчики заслуживаютъ полнаго довѣрія и самое ихъ пристрастное увлеченіе даетъ жизнь и смыслъ даже незначительнымъ подробностямъ пережитого и перечувствованнаго. Мы видимъ изъ этихъ записокъ, какъ дружественныя отношенія нѣсколькихъ семействъ, связанныхъ между собой не простымъ знакомствомъ, но сердечной и теплой пріязнью, обусловливали живое участіе во всемъ, что̀ касалось судьбы каждаго изъ нихъ. При тогдашнихъ медленныхъ и неудовлетворительныхъ путяхъ сообщенія, при нѣкоторой замкнутости вслѣдствіе этого тогдашняго помѣщичьяго круга, который составлялъ особый мірокъ въ губерніи, при сохранявшемся еще тогда радушіи и гостепріимствѣ, взаимныя посѣщенія знакомыхъ помѣщиковъ носили характеръ самый задушевный и почти родственный, минуты свиданія были отраднѣе, а прощаніе передъ болѣе или менѣе продолжительной разлукой было менѣе натянуто и формально, чѣмъ мы это часто̀ видимъ теперь. Василій Аѳанасьевичъ и Марья Ивановна встрѣчались, напримѣръ, съ Капнистами и у себя въ домѣ, и въ ихъ имѣньи Обуховкѣ, и въ Кибенцахъ у Трóщинскаго, и всегда одинаково дружески и искренно. Иногда

[1]) См. названныя статьи въ „Русской Стар.“, 1882, VI; „Историческій Вѣст.“, 1891, V—VII; „Русская Стар.“, 1888, VII.

ихъ могло стѣснять многолюдство, если душевное настроеніе не благопріятствовало шумнымъ бесѣдамъ, какъ это ясно изъ словъ одного письма Марьи Ивановны, жаловавшейся, „что надобно было помѣщаться въ Кибенцахъ съ Капнистами и съ другими женщинами и поздно слишкомъ ложиться, потому что послѣ ужина всѣ молодые люди всегда собираются, а для моей Машеньки не годится поздно ложиться, и мы отъ ужина тотчасъ уходили въ свою квартиру“ [1]). Но это всегда относилось только къ случайностямъ момента, и ни мало не свидѣтельствовало о холодности или равнодушіи. Если тѣ же лица, при извѣстныхъ обстоятельствахъ мѣшавшія желанію М. И. остаться съ собой наединѣ, навѣщали ее и особенно въ болѣе счастливые часы въ Васильевкѣ, то она бывала имъ отъ души рада и не знала, какъ ихъ принять и гдѣ посадить, относясь къ нимъ, какъ къ самымъ дорогимъ, близкимъ роднымъ. „Связи родственныя“—говоритъ г. Трахимовскій [2])—„были тѣснѣе, отношенія теплѣе“,—и мы, на основаніи этого почтеннаго и достовѣрнаго свидѣтельства, съ большой увѣренностью позволяемъ себѣ предположить, что, если въ то время, какъ всегда и вездѣ, къ добрымъ сосѣдскимъ и родственнымъ отношеніямъ присоединялись иногда зависть, лукавые умыслы, интриги (примѣры этого мы видѣли въ первомъ томѣ настоящаго труда); если въ бесѣдѣ близкихъ знакомыхъ таились кое-когда заднія мысли или невысказанныя насмѣшки по адресу собесѣдниковъ, безъ чего трудно представить себѣ какое бы то ни было общество, гдѣ вообще искренность трудно иногда отдѣлить хотя бы отъ условной свѣтской лжи, — то все-таки было, безъ сомнѣнія, больше истинной пріязни и взаимнаго участія, нежели это бываетъ въ настоящее время. До насъ случайно сохранилась, благодаря воспоминаніямъ Скалонъ, одна незначительная подробность, но подробность характерная и во многихъ отношеніяхъ драгоцѣнная. Прощаясь съ С. В. Капнистъ (позднѣе Скалонъ), передъ отъѣздомъ изъ Нѣжина въ Петербургъ, юный Н. В. Гоголь сказалъ нѣсколько многозначительныхъ и прочувствованныхъ словъ, какихъ не говорятъ поверхностно знакомымъ людямъ, а слѣдовательно тѣмъ болѣе такихъ словъ

---

[1]) „Матеріалы для біографіи Гоголя“, т. I, стр. 67.

[2]) „Русск. Стар.“, 1888, VII, 44.

мы не могли бы ожидать отъ скрытнаго Гоголя, если бы онъ не придавалъ въ эту торжественную минуту своей жизни серьезнаго значенія самому прощанію. Соображая эти слова со всѣми остальными данными, извѣстными намъ о Гоголѣ того времени, мы смѣло можемъ заключить, что слова эти не были пустой фразой хвастливаго юноши, но вырвались изъ души и были сказаны съ искреннимъ чувствомъ, иначе они бы и не врѣзались навсегда въ память уже взрослой женщины, тогда еще очень мало обращавшей вниманія на слова казавшагося ей заурядnымъ знакомаго юноши. Вѣдь въ ея глазахъ онъ былъ, по ея собственнымъ словамъ, (да это тогда и не могло быть иначе), только сыномъ Марьи Ивановны, въ которомъ если и обращала на себя вниманіе его необыкновенная задумчивость, то собственно потому, что это безпокоило его мать, ея добрую знакомую. Впрочемъ и по личнымъ впечатлѣніямъ даже отъ разсказовъ людей, за давностью лѣтъ припоминающихъ теперь лишь въ общихъ чертахъ это время (точнѣе—припоминавшихъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ), мы могли бы, независимо отъ всѣхъ предыдущихъ соображеній, придти къ такой же точно характеристикѣ помѣщичьяго быта времени и среды родителей Гоголя. Всѣ эти разсказы, можно сказать, дышали отголосками навсегда исчезнувшаго быта и строя жизни, и тѣ же самыя лица, говоря о своихъ современныхъ отношеніяхъ, передавали ихъ совершенно другимъ тономъ, безъ того задушевнаго воодушевленія, безъ какого-то особеннаго участія до послѣдней мелочи, касавшейся отдаленнаго прошлаго ихъ былыхъ друзей, къ которымъ они относились бо́льшей частью, какъ къ лучшимъ и самымъ дорогимъ роднымъ. Конечно, здѣсь трудно отдѣлить общечеловѣческое отъ свойственнаго данному историческому моменту, за что я и не берусь; но мнѣ хотѣлось бы въ дополненіе къ извлеченному изъ печатныхъ источниковъ передать здѣсь и то непосредственное впечатлѣніе, которое, будучи вполнѣ согласно съ другими источниками, ихъ дополняетъ и подтверждаетъ. Г. Трахимовскій живо рисуетъ намъ въ немногихъ строкахъ этотъ прежній бытъ малороссійскихъ помѣщиковъ круга родителей Гоголя, разсказывая о родственникахъ и многочисленныхъ сосѣдяхъ, „посѣщавшихъ Васильевку, проводившихъ цѣлые дни подъ кровомъ Марьи Ивановны, катавшихся по обширному живо-

писному пруду, осѣненному старыми деревьями, пользовавшихся широкимъ гостепріимствомъ всегда милой, любезной, веселой и гостепріимной хозяйки“ [1]). Мы обращаемъ особенное вниманіе на эти строки, въ виду ихъ полнаго соотвѣтствія съ другими свидѣтельствами и той характерной черты, что авторы всѣхъ названныхъ воспоминаній, какъ будто сговорившись, упоминая о тогдашнемъ бытѣ, рисуютъ его радушіе, чистосердечіе и приволье. Чудная природа Малороссіи является другой причиной, вслѣдствіе которой во всѣхъ ихъ описаніяхъ мы встрѣчаемъ тѣ же роскошныя краски, неизбѣжно требуемыя характеромъ изображаемой мѣстности и внѣшней обстановки; очень естественно и понятно, что всюду мы встрѣчаемъ въ ихъ разсказѣ прелесть тѣнистыхъ садовъ, привлекавшихъ своимъ привольемъ самихъ помѣщиковъ и ихъ гостей въ жаркіе дни малороссійскаго лѣта, когда оживленные разговоры и веселый смѣхъ раздавались въ бесѣдкахъ и по дорожкамъ, вездѣ чувствуемъ и слышимъ присутствіе неподражаемаго малороссійскаго юмора въ шуткахъ и въ разсказахъ, вездѣ встрѣчаемъ геній малороссійскаго благодушія и безпечности. Очень понятно, что ни одинъ изъ разсказчиковъ не могъ позабыть въ своемъ мемуарѣ описанія малороссійской природы, обаяніе которой внушаетъ всегда такую пламенную привязанность малороссамъ къ ихъ родинѣ. (Здѣсь мы имѣемъ въ виду не только семейство Данилевскихъ, но и близкую съ дѣтства къ семейству М. И. Гоголь Александру Ивановну Псіолъ, жившую недавно въ Москвѣ вмѣстѣ съ княжной Варварой Николаевной Репниной и скончавшуюся въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ).—Затѣмъ довольно часто встрѣчающейся особенностью въ средѣ малороссійскихъ помѣщиковъ являлась наклонность къ общественнымъ развлеченіямъ, какъ въ тѣсномъ кругу отдѣльныхъ семействъ, такъ и въ такихъ широкихъ мѣстныхъ центрахъ, какими были притягивавшія въ свои нѣдра многочисленныхъ гостей изъ окрестныхъ деревень и ближайшихъ городовъ богатыя помѣстья такихъ магнатовъ, какъ Трощинскій, Гудовичъ и другіе. Здѣсь мы находимъ много блеска и великолѣпія, веселья и роскоши. Кромѣ широкаго гостепріимства здѣсь поражаетъ и неразлучное съ нимъ въ тѣ времена при-

[1]) „Русск. Стар.“, 1888, VII, 30.

живательство; напримѣръ, у Трóщинскаго поселился на нѣсколько лѣтъ заѣзжій офицеръ Барановъ, въ семействѣ графовъ Капнистъ нѣкто Григоровскій [1]), у Марьи Ивановны Гоголь—какая то Лукерья Ѳедоровна, (отплатившая потомъ ей черною неблагодарностью), Марья Борисовна, Е. П. Грибоѣдова и проч. [2]).

Въ одномъ изъ названныхъ мемуаровъ мы находимъ слѣдующее описаніе обычнаго лѣтняго времяпровожденія помѣщиковъ даже не самыхъ богатыхъ, а скорѣе средней руки, какими было семейство графовъ Капнистъ: въ праздничные дни утромъ всѣ домашніе отправлялись въ церковь, по возвращеніи домой садились за столъ, завтракали, потомъ спѣшили насладиться прохладой гдѣ-нибудь въ тѣни, недалеко отъ рѣки; по колокольчику сходились къ обѣду, вечеромъ устраивали гулянье въ окрестностяхъ деревни и т. д.

Въ домахъ помѣщиковъ, даже незажиточныхъ, всего было вдоволь: „домъ Гоголей“,—по словамъ Трахимовскаго,—„былъ всегда—полная чаша; домъ небольшой, но помѣстительный, обширный и живописный садъ и прудъ, многочисленная прислуга, сытный обѣдъ, конечно деревенскій, приличные экипажи и лошади“ [3]) и проч. Къ этому перечню предметовъ, дающихъ намъ представленіе о скромномъ счастьѣ помѣщиковъ со средствами родителей Гоголя, мы прибавили бы еще для дополненія картины красивое мѣстоположеніе и такую очаровательную роскошь, какъ неумолкаемое пѣніе соловьевъ въ саду по вечерамъ, а въ имѣньи семейства Капнистовъ—Обуховкѣ, по словамъ С. В. Скалонъ, „при восходѣ солнца или вечеромъ при лунномъ свѣтѣ видъ бывалъ очарователенъ: особенно онъ бывалъ хорошъ, когда луна серебристымъ столбомъ блестѣла надъ рѣкой, въ которую смотрѣлись покрытыя густымъ лѣсомъ горы, при шумѣ мельницъ, похожемъ на вѣчный шумъ водопада и при немолчныхъ трелях и раскатахъ соловьевъ, оглашавшихъ чутко-спящій воздухъ упоительнымъ пѣніемъ“. Въ панскихъ домахъ этихъ помѣщиковъ, гораздо болѣе богатыхъ, нежели семейство Марьи Ивановны Гоголь, была, конечно, уже замѣтная роскошь, давав-

---

[1]) „Историческій Вѣст.“, 1891, VI, 611.

[2]) Онѣ упоминаются въ письмахъ Гоголя (V т., стр. 38, 67, 107, 114, 162).

[3]) „Русская Стар.“, 1888, VII, 30.

шая себя знать и въ мелочахъ, напр., во множествѣ домашнихъ украшеній, птицъ, цвѣтовъ, оранжерей....

Отношенія помѣщиковъ Гоголевской среды къ крестьянамъ были, вообще говоря, сравнительно очень добрыя и хорошія. „Возвращаясь изъ церкви“,—повѣствуетъ С. В. Скалонъ,—„мы видѣли толпы крестьянъ, бѣжавшихъ въ нарядныхъ и пестрыхъ одеждахъ къ господскому дому и на островъ, гдѣ въ разныхъ мѣстахъ, между деревьями, приготовлялись столы для ихъ угощенія, гдѣ уже играла музыка и были устроены различныя качели. Молодые крестьяне и старики подходили съ радостнымъ видомъ къ дядѣ и теткѣ [1]), усердно поздравляя ихъ съ праздникомъ“. Но, конечно, этого нашего заключенія не слѣдуетъ распространять слишкомъ широко; если мы обратимся за свѣдѣніями для полной характеристики всего обширнаго класса малороссійскихъ помѣщиковъ начала нынѣшняго столѣтія къ запискамъ путешественниковъ, то намъ придется отмѣтить въ большинствѣ случаевъ противоположныя и очень неутѣшительныя явленія стариннаго малороссійскаго быта. Нѣкоторые изъ нашихъ путешественниковъ, заглянувшихъ между прочимъ въ отдаленные уголки Малороссіи, представляютъ намъ положеніе малороссійскихъ помѣщичьихъ крестьянъ въ общемъ крайне незавиднымъ: очевидно, гуманные помѣщики составляли не частое явленіе. Матеріальное и экономическое положеніе крестьянъ было въ большинствѣ случаевъ бѣдственное: ихъ жилища, не смотря на извѣстную любовь малороссіянъ къ чистотѣ и опрятности, часто поражали крайней нищетой; скота у крестьянъ было крайне недостаточно; среди всего крестьянскаго населенія свирѣпствовали болѣзни, при чемъ наиболѣе ужаснымъ бичемъ являлись болѣзни венерическія, по словамъ одного путешественника, сдѣлавшіяся почти національной украинской болѣзнью. Вездѣ „дома-хижины, трубы на нихъ—хворостяныя, иногда связанныя соломой“. При такомъ устройствѣ домовъ и при отсутствіи пожарныхъ инструментовъ, упомянутый путешественникъ выражаетъ изумленіе, какъ по всей Малороссіи еще не выгорѣли всѣ города и деревни. Всякому, кто знаетъ достаточно нашъ національный характеръ, не покажется удивительнымъ рѣзкое противорѣчіе послѣднихъ словъ съ пре-

[1]) „Историческій Вѣстникъ“, 1891, V, 356.

дыдущей характеристикой отношеній къ крестьянамъ нѣкоторыхъ помѣщиковъ средней руки. Дѣло въ томъ, что недостаточная степень развитія и крайняя безпечность вполнѣ объясняютъ, какъ легко могло у нашихъ помѣщиковъ иногда даже дѣйствительно доброжелательное отношеніе къ крестьянамъ уживаться съ преступнымъ нерадѣніемъ о самыхъ насущныхъ ихъ потребностяхъ.

Но совсѣмъ иную картину представляла въ большинствѣ случаевъ жизнь крестьянъ въ помѣстьяхъ богатыхъ магнатовъ. Рядомъ съ безумною роскошью, выражавшейся въ пышномъ убранствѣ богатыхъ барскихъ домовъ, блиставшихъ изяществомъ архитектуры, съ ихъ обширными службами и образцовыми домашними приспособленіями, съ парками и украшеніями роскоши во вкусѣ блестящаго вѣка Екатерины Второй,—къ чести нѣкоторыхъ изъ этихъ помѣщиковъ, мы встрѣчаемъ у нихъ иногда заботы не только объ экономическомъ благосостояніи, но и о нравственномъ развитіи своихъ крестьянъ. Въ нѣкоторыхъ такихъ имѣніяхъ процвѣтало скотоводство (мѣстами даже встрѣчались цѣлые обширные конные и овечьи заводы), оживленная фабричная дѣятельность и проч. Но санитарныя условія были вездѣ совершенно неудовлетворительны, начиная съ полнѣйшаго почти отсутствія врачей; такъ, по словамъ одного путешественника, врача Гуна, даже въ Яготинѣ (имѣньи графа Алексѣя Кирилловича Разумовскаго, впослѣдствіи перешедшаго въ руки малороссійскаго военнаго губернатора Н. Г. Репнина) „врачебная часть находилась въ самомъ жалкомъ состояніи“. Тотъ же Гунъ свидѣтельствуетъ, что во время его поѣздки по Малороссіи, отъ Почепа до Кіева, на разстояніи пятисотъ верстъ, „ни доктора, ни лѣкаря“, такъ что „даже города страдали отъ полнаго отсутствія врачебнаго персонала“ [1]). Приводя эти слова, мы имѣемъ въ виду не столько указать на равнодушіе помѣщиковъ къ нуждамъ крѣпостныхъ, сколько обрисовать культурный уровень этого сословія и всей страны. Въ уѣздномъ городѣ Черниговской губерніи, Почепѣ, въ первомъ десятилѣтіи нынѣшняго вѣка, былъ всего только одинъ штатный лѣкарь, „за глубокой старостью къ врачеванію не способный“. Послѣ этого нельзя не оцѣнить просвѣщеннаго

[1]) „Кіевская Стар.“, 1892, II, 234.

почина, сдѣланнаго Трощинскимъ, державшимъ при себѣ врача и предоставлявшимъ пользоваться его услугами, этой исключительной роскошью даже среди тогдашнихъ богатыхъ вельможъ, своимъ пріятелямъ и знакомымъ (извѣстному поэту Василію Васильевичу Капнисту, Василью Аѳанасьевичу Гоголю и многимъ другимъ). Зато, съ другой стороны, мелкое тщеславіе и наклонность къ блеску заставляли такихъ помѣщиковъ окружать себя сказочной обстановкой, разрѣшать себѣ всевозможныя развлеченія и удовольствія, не исключая и весьма предосудительныхъ и грѣховныхъ, въ родѣ соблазнительныхъ отношеній къ своимъ крѣпостнымъ дѣвушкамъ, красы которыхъ нерѣдко служили также предметомъ угощенія заѣзжихъ сосѣдей. Вообще, какъ и въ другихъ мѣстностяхъ Россіи, помѣщики въ Украйнѣ купались въ блаженствѣ счастья и изобилія, отчасти погружаясь въ грязную тину разврата и срывая всевозможные цвѣты удовольствія, и удѣляя иногда лакомые куски своимъ пріятелямъ и угодникамъ. „Весело и роскошно жили такіе помѣщики“—разсказываетъ г. Синицкій:—и сами веселились и, принимая массу гостей, давали возможность веселиться и другимъ, а своихъ крѣпостныхъ умѣли заставить доставлять себѣ не только все необходимое для жизни, но и эстетическія удовольствія“... [1]). На зиму помѣщики переѣзжали иногда въ столицы или въ губернскій городъ.

Что касается послѣдняго, то онъ въ началѣ нынѣшняго вѣка имѣлъ довольно жалкій видъ: каменныхъ домовъ почти не было; если же они попадались, то это были почти навѣрное казенныя зданія. Общество губернское было въ огромномъ большинствѣ глубоко невѣжественное. Сколько-нибудь просвѣщенная часть населенія могла быть раздѣлена, по словамъ сотрудника „Московскаго Вѣстника“ и друга Погодина, Мельгунова, на три разряда: на дилеттантовъ, читающихъ все безъ разбора и безъ малѣйшаго представленія о системѣ и цѣли чтенія,—на заносчивыхъ недоучекъ, которымъ полученные правдами и неправдами дипломы среднихъ, а иногда даже и высшихъ учебныхъ заведеній, внушали притязаніе на роль непогрѣшимыхъ литературныхъ судей, которые пускались вкривь и вкось критиковать литера-

[1]) Тамъ же, стр. 256.

турныя произведенія съ большой развязностью и апломбомъ,— и наконецъ на весьма немногочисленную горсть дѣйствительно образованныхъ людей, которые естественно старались держаться особнякомъ среди такого общества.

Такимъ представляется намъ помѣщичій кругъ во времена дѣтства Гоголя на основаніи свѣдѣній, не только касающихся знакомыхъ ему семействъ, но и на основаніи свидѣтельствъ нѣкоторыхъ путешественниковъ вообще о бытѣ малороссійскихъ помѣщиковъ. Несмотря на всѣ недостатки этого быта, представлявшіеся иногда вопіющими холодному взору посторонняго наблюдателя, въ немъ было также много въ высшей степени привлекательныхъ и симпатичныхъ сторонъ, которыя способны вмѣстѣ съ очаровательной природой этой страны вдохнуть къ себѣ вполнѣ искреннее и глубокое чувство любви, никогда не умирающей особенно въ благодарныхъ сердцахъ коренныхъ сыновъ Украйны.

III.

Гоголь былъ всегда однимъ изъ самыхъ горячихъ почитателей родины. Начиная съ тѣхъ лѣтъ, какъ ребенкомъ заслушивался онъ мастерскихъ разсказовъ отца, дышавшихъ всей силой свѣтлаго малороссійскаго юмора, въ немъ зашевелилось сочувствіе къ этой „рѣзкой чертѣ, которою отличается донынѣ отъ другихъ русскихъ братьевъ своихъ южный россіянинъ“. Глядя на сцену деревенскаго театра Трощинскаго, онъ впервые переживалъ сильныя художественныя впечатлѣнія, и они также были неразрывно связаны съ родной Украйной, ея бытомъ и нравами. Вообще въ его домашней обстановкѣ не было недостатка въ пищѣ для развитія глубокихъ патріотическихъ симпатій: его мать прекрасно знала малороссійскія народныя преданія и повѣрія, одна изъ бабушекъ [1]) обладала тонкимъ малороссійскимъ юморомъ, одна изъ тетокъ съ увлеченіемъ пѣла по цѣлымъ днямъ малороссійскія пѣсни, такъ что Гоголь въ одномъ изъ писемъ къ Данилевскому, гостившему однажды въ его отсутствіе въ Васильевкѣ, высказываетъ увѣренность, что она уже напѣла ему уши пѣснями *по богрендомъ-духтеромъ* (напѣвъ одной полу-

[1]) Агаѳья Матвѣевна Лукашевичъ.

цыганской пѣсни). По свидѣтельству П. А. Кулиша, подтверждаемому воспоминаніями родственниковъ Гоголя, тетка эта, Катерина Ивановна Ходаревская, была его любимой пѣвицей малороссійскихъ пѣсенъ [1]). Между сосѣдями Гоголя не было также недостатка въ людяхъ, представлявшихъ собой коренные малороссійскіе типы. Такъ какъ Гоголь такимъ образомъ воспитался въ чисто національной сферѣ, то въ немъ всегда, при каждомъ поводѣ, просыпался истинный малороссіянинъ. При своей извѣстной скрытности онъ былъ несравненно общительнѣе съ земляками; въ Петербургѣ, напр., по воспоминаніямъ не только Анненкова, но Данилевскаго, Прокоповича, Пащенка [2]) и другихъ, Гоголь въ кружкѣ нѣжинцевъ являлся истинно-добрымъ товарищемъ, а въ первые же пріѣзды въ Москву общая любовь къ Украйнѣ, въ силу какого-то магическаго притяженія, сразу сблизила его съ Максимовичемъ и особенно съ Щепкинымъ, съ которымъ они всегда уединялись вдвоемъ гдѣ-нибудь въ уголкѣ и отводили душу въ сердечной бесѣдѣ; то же чувство симпатіи въ немъ, еще застѣнчивомъ юношѣ, побѣдило неловкую робость передъ блестящей фрейлиной Россети, лишь только она заговорила съ нимъ объ Украйнѣ, въ которой провела самое раннее дѣтство. Со временемъ недоброжелатели Гоголя, замѣчая въ немъ эту страсть къ Малороссіи, усматривали что-то недружелюбное, какое-то „невольно вырвавшееся небратство“, напр., въ такомъ невинномъ выраженіи, какъ „два русскихъ мужика“, и провозгласили его за это „врагомъ Россіи“, утверждая съ другой стороны, что „вся хохлацкая душа Гоголя вылилась въ „Тарасѣ Бульбѣ“ [3]). Въ самомъ Римѣ, упоенный прелестью Италіи, Гоголь между прочимъ цѣнилъ ее и за находимое въ ней сходство съ Малороссіей. Въ одинъ изъ послѣднихъ пріѣздовъ на родину Гоголя покоробило и непріятно поразило смущеніе одной матери-баловницы при малороссійскомъ произношеніи ея маленькимъ сыномъ слова вареники [4]). Подобныхъ мелкихъ и крупныхъ случаевъ можно было бы указать множество. Наконецъ, еще за годъ до кончины, когда онъ

1) См. „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 174.

2) Въ передачѣ г. Пашкова, см. «Берегъ», 1880, № 268, дек. 18.

3) См. „Русск. Стар.“, 1888. X, стр. 133. Ср. враждебные отзывы о Гоголѣ, переданные ему К. С. Аксаковымъ („Русск. Арх.“, 1890, VIII, стр. 87).

4) „Берегъ“, 1880, № 268.

страшно состарѣлся душевно, достаточно было ему услышать звуки родныхъ мелодій, чтобы все въ немъ встрепенулось и ярко вспыхнула едва тлѣющая искра воодушевленія. Кн. Репнина разсказывала намъ, какъ Гоголь, во время своей жизни въ Одессѣ въ домѣ ея отца, пріобрѣлъ себѣ этимъ поэтическимъ энтузіазмомъ общую любовь, не исключая даже прислуги и дворни, которая восхищалась, во-первыхъ, тѣмъ, что „сочинитель“ молится совсѣмъ какъ простой человѣкъ, кладетъ земные поклоны и, вставая, сильно встряхиваетъ волосами [1]), и во-вторыхъ, что онъ любитъ пѣть и слушать простыя пѣсни [2]). Кромѣ того, той же кн. Репниной случилось и раньше убѣдиться въ страстномъ чувствѣ любви Гоголя къ Украйнѣ, ярко выразившемся однажды, когда, гуляя съ нею, по возвращеніи изъ Іерусалима, въ саду родового помѣстья Репниныхъ, въ Яготинѣ (въ Малороссіи), онъ вдругъ началъ восторгаться высокими, рослыми деревьями (кленами) и вообще растительностью Украйны. Сначала этотъ внезапный приливъ восхищенія показался княжнѣ напускной аффектаціей, но когда она переѣхала потомъ съ отцомъ въ Одессу и убѣдилась въ преимуществѣ малороссійской растительности, она припомнила этотъ случай и поняла Гоголя...

Въ „Запискахъ о жизни Гоголя“ Кулиша читаемъ также разсказъ о немъ Н. Д. Бѣлозерскаго, рисующій Гоголя въ разсматриваемую пору довольно живо между прочимъ и со стороны его національныхъ симпатій. „Одинъ изъ моихъ пріятелей, Н. Д. Бѣлозерскій“,—сообщалъ г. Кулишъ,—„посѣщая въ Нѣжинѣ бывшаго инспектора гимназіи князя Безбородко, Бѣлоусова, видалъ у него студента Гоголя, который былъ хорошо принятъ въ домѣ своего начальника и часто приходилъ къ его двоюродному брату, тоже студенту, Божко, для ученическихъ занятій. Онъ описываетъ будущаго поэта въ то время немного сутуловатымъ и съ походкою, которую всего лучше выражаетъ слово *пѣтушкомъ*. Впослѣдствіи они

[1]) Гоголь обыкновенно становился за печкой домовой церкви Репниныхъ, но его оттуда все-таки видѣли.

[2]) Для той цѣли Гоголь любилъ собирать дѣтей и молодыхъ людей и аккомпанировалъ имъ. Онъ вообще любилъ хорошую, вокальную и инструментальную музыку. См. также въ дневникѣ Никитенка („Русская Старина“, 1889, X) о пѣніи малороссійскихъ пѣсенъ, по просьбѣ Гоголя, на вечерѣ у Аксакова. О томъ же см. въ „Русск. Архивѣ“, 1890, VIII, 195.

встрѣтились уже какъ старые знакомые въ Петербургѣ, въ эпоху „Вечеровъ на Хуторѣ“ и „Миргорода“. Бѣлозерскій нашелъ Гоголя уже пріятелемъ Пушкина и Жуковскаго, у которыхъ онъ проживалъ иногда въ Царскомъ Селѣ. Это была самая цвѣтущая пора въ жизни поэта. Онъ писалъ все сцены изъ воспоминаній родины, трудился надъ „Исторіею Малороссіи“ и любилъ проводить время въ кругу земляковъ. Тутъ-то чаще всего видѣли его такимъ оживленнымъ, какъ разсказываетъ Гаевскій въ своихъ „Замѣткахъ для біографіи Гоголя“ [1]).

[1]) „Записки о жизни Гоголя“, т. I, стр. 100—101. Упоминаемыя здѣсь слова Гаевскаго приводимъ ниже: описывая на основаніи разсказовъ многихъ лицъ, хорошо знавшихъ Гоголя, о необыкновенной скрытности его характера, В. П. Гаевскій говоритъ: „О характерѣ Гоголя намъ удалось собрать только весьма немного общихъ чертъ. По словамъ одного изъ товарищей Гоголя, В. М. П-ки, жившаго съ нимъ нѣсколько времени въ Петербургѣ, *не было человѣка скрытнѣе Гоголя*: по словамъ его, онъ умѣлъ сообразить средства съ цѣлью, удачно выбрать средство и самымъ скрытнымъ образомъ достигать цѣли. Нѣкоторые изъ нашихъ художниковъ, въ Римѣ коротко знавшіе Гоголя, *твердили* то же самое, прибавивъ только, что онъ былъ молчаливъ въ высшей степени. Бывало, отправится съ кѣмъ-нибудь бродить по сожженнымъ лучами солнца полямъ обширной римской Кампаніи, пригласитъ своего спутника сѣсть вмѣстѣ съ нимъ на пожелтѣвшую отъ зноя траву, послушать пѣнія птицъ, и, просидѣвъ или пролежавъ такимъ образомъ нѣсколько часовъ, тѣмъ же порядкомъ отправляется домой, не говоря ни слова. По временамъ только онъ предавался порыву неудержимой веселости и являлся такимъ, какимъ представляютъ его себѣ, суди по произведеніямъ, всѣ незнавшіе его лично. Въ эти рѣдкія минуты онъ болталъ безъ умолку, острота слѣдовала за остротой, и веселый смѣхъ его слушателей не умолкалъ ни на минуту“ („Современникъ“, т. XXXV, 1852, октябрь, смѣсь, стр. 143—144).—Приводя эти слова Гаевскаго, напомнимъ еще разъ, что всѣ приводимые въ нихъ отзывы о характерѣ Гоголя и особенно о его скрытности совершенно совпадаютъ со словами Анненкова и Данилевскаго и опровергаютъ мнѣніе г. Витберга, будто Гоголь былъ *вполнѣ* искренній и общительный человѣкъ.

ПОВѢСТЬ „СТРАШНАЯ МЕСТЬ“ И ЕЯ ОТНОШЕНІЕ КЪ ПОВѢСТЯМЪ, ВОШЕДШИМЪ ВЪ „МИРГОРОДЪ“.

I.

Мы говорили, что въ 1831 г. Гоголь далеко уже не былъ тѣмъ неоперившимся и неопытнымъ птенцомъ, какимъ онъ явился въ Петербургъ двумя годами раньше. Но вмѣстѣ съ пріобрѣтеніемъ опыта и познанія жизни отъ него навсегда отлетѣла та безпечная веселость, которая излилась въ „Вечерахъ на Хуторѣ“ и оставила по себѣ такія отрадныя воспоминанія. Онъ самъ сознавалъ это и, издавая „Вечера“, какъ бы прощался съ той счастливой порой, которая никогда не возвращается, съ порой, когда, по позднѣйшему его признанію, его „подталкивала“ (на смѣхъ и веселье) „молодость, во время которой не приходятъ на умъ никакіе вопросы“. Переходомъ къ болѣе зрѣлымъ произведеніямъ должно считать вторую часть „Вечеровъ“, заключающую въ себѣ: „Страшную Месть“, повѣсть, во многомъ близкую уже къ „Вію“, и „Тарасу Бульбѣ“, а также повѣсть о Шпонькѣ, гдѣ фантастическій элементъ впервые всецѣло уступаетъ мѣсто строгому реализму и изображенію бытовыхъ картинъ, вообще тѣмъ элементамъ творчества Гоголя, окончательное торжество которыхъ находимъ уже въ „Мертвыхъ Душахъ“. Оставляя теперь въ сторонѣ повѣсть объ „Иванѣ Ѳедоровичѣ Шпонькѣ и его тетушкѣ“, остановимся подробнѣе на „Страшной Мести“ и постараемся указать ея отношеніе къ „Вечерамъ“ и связь съ другими сочиненіями Гоголя, получившими общее названіе „Миргорода“.

Не подлежитъ сомнѣнію, что первый неясный еще замыселъ такихъ фантастическихъ разсказовъ, какъ „Вій“ и „Страшная Месть“, зародился въ головѣ Гоголя одновременно съ мыслію воспользоваться для повѣстей собственнымъ знаніемъ малороссійскаго быта и пополнять ихъ иными матеріалами, изъ которыхъ впослѣдствіи создались „Вечера“. Отдѣльно стоятъ лишь недоконченные юношескіе опыты, какъ „Страшный Кабанъ“, и сохранившійся только въ двухъ отрывкахъ историческій романъ, заглавіе котораго намъ неизвѣстно. Но уже и эти опыты указываютъ на одинаково раннее пробужденіе въ Гоголѣ интереса къ прошлому и настоящему своей родины,—интереса, позднѣе постоянно возраставшаго. Составивъ планъ собирать, при помощи родныхъ, матеріалы для задуманныхъ литературныхъ работъ, Гоголь съ самаго начала, на ряду съ изученіемъ современнаго быта и собираніемъ костюмовъ сельскихъ дьячковъ и крестьянскихъ женщинъ, ставитъ вопросъ уже о подготовленіи свѣдѣній иного характера и о присылкѣ костюмовъ, касающихся временъ до гетманскихъ, прося вмѣстѣ съ тѣмъ почаще сообщать страшныя сказанія, простонародныя повѣрія, анекдоты. Но, конечно, готовые образцы въ заученныхъ наизусть съ дѣтства комедіяхъ отца и бо́льшая вообще доступность первой серіи матеріаловъ должны были направить творчество Гоголя прежде всего на созданіе повѣстей съ сюжетами изъ современной малороссійской жизни. Притомъ собираніе данныхъ, такъ сказать, историческаго характера все-таки меньше интересовало Гоголя въ началѣ, хотя онъ и включилъ ихъ въ программу, которою должны были руководиться въ своемъ сотрудничествѣ его домашніе, но поставилъ на второмъ планѣ и въ дальнѣйшей перепискѣ долго не возобновлялъ о нихъ напоминаній [1]). Въ „Вечерѣ наканунѣ Ивана Купала“ Гоголь говоритъ устами разсказчика: „Ни дивныя рѣчи про давнюю старину, про наѣзды запорожцевъ, про ляховъ, про молодецкія дѣла Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачнаго, не занимали насъ такъ, какъ разсказы про какое-нибудь старинное дѣло, отъ которыхъ всегда дрожь проходила по тѣлу,

[1]) См. Соч. Гог., изд. Кул., т. V, стр. 81, 99, 103 и проч.; *только во второй половинѣ 1831 года* Гоголь снова не разъ настоятельно просилъ мать прислать ему старинные малороссійскіе костюмы („Соч. и письма Гог.“, т. 5, стр. 135 и 140).

нія изъ приведенныхъ словъ „Страшной Мести“ явно повторяютъ мысль, проведенную подробно во всемъ описаніи свадебнаго веселья въ отрывкѣ изъ „Вечера наканунѣ Ивана Купала“ до самыхъ заключительныхъ словъ: „Словомъ, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы“. Изображеніе пани Катерины съ ея „бѣлымъ лицомъ и черными, какъ нѣмецкій бархатъ, бровями“ сходно съ описаніемъ дивчинъ въ первой части „Вечеровъ“, а описаніе ея наряда—полутабенекъ, серебряныя подковы, синій кунтушъ, корабликъ на головѣ—почти безъ перемѣнъ или съ самыми незначительными варіаціями воспроизводитъ описаніе женскихъ нарядовъ въ „Вечерѣ наканунѣ Ивана Купала“. Въ послѣднемъ, напр., молодицы изображены въ „*синихъ, изъ лучшаго полутабенека кунтушахъ*“ — въ „Страшной Мести“ находимъ просто „голубой полутабенекъ“; тамъ — у женщинъ *сапоги* на высокихъ желѣзныхъ *подковахъ*—здѣсь тѣ же самые сапоги, но желѣзныя подковы замѣнены серебряными; въ „Вечерѣ“ у молодицъ „синій кунтушъ“ и „корабликъ на головѣ“ — въ „Страшной Мести“ (VI глава) [1]) — на Катеринѣ „развѣвается зеленый кунтушъ и горитъ на головѣ золотой корабликъ“. Вездѣ, слѣдовательно, незначительная разница сводится къ тому, что убранство пани Катерины является болѣе великолѣпнымъ и изящнымъ сравнительно съ тѣмъ, что̀ носятъ обыкновенно дѣвушки и бабы. Все это не имѣло бы особаго значенія, если бы намъ не было извѣстно *навѣрное*, что Гоголь не только собиралъ точныя описанія нарядовъ, но и нарочно покупалъ ихъ,—слѣдовательно, очевидно, пользовался въ обоихъ случаяхъ одинаковымъ, полученнымъ имъ, матеріаломъ; притомъ указанными кунтушами и корабликами не исчерпываются, конечно, женскіе малоро̀ссійскіе наряды [2]). Послѣ этого намъ нѣтъ нужды сопоставлять почти перефразированное описаніе гопака въ обоихъ сравниваемыхъ мѣстахъ, гдѣ весьма сходно представлено, какъ по одиночкѣ выступали изъ рядовъ молодицы, а паробки, „схватившись въ боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись имъ навстрѣчу“ (послѣдній о́бразъ встрѣчается почти въ

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 162.

[2]) По словамъ П. А. Кулиша, кунтушъ, корабликъ, намітка, составляли принадлежность праздничнаго наряда украинскихъ женщинъ, но особаго *свадебнаго* костюма не было.

такомъ же видѣ еще въ „Сорóчинской Ярмаркѣ“, гдѣ Солопій Черевикъ, „гордо подбоченившись, выступилъ впередъ и пустился въ присядку“ (передъ своей дочерью); не станемъ также перечислять разныя мелочныя, но не случайныя совпаденія въ названіяхъ блюдъ, музыкальныхъ инструментовъ и проч. На это сходство имѣлъ вліяніе, конечно, одинаковый матеріалъ, и если, напр., у Гоголя всегда находимъ вмѣстѣ цимбалы, скрипки и бубны, то у Нарѣжнаго встрѣчаются въ разныхъ мѣстахъ названія другихъ инструментовъ [1]). Не будемъ также настаивать и на томъ, что воображеніе автора одинаково занято въ обѣихъ сравниваемыхъ повѣстяхъ изображеніемъ уродливыхъ существъ, имѣющихъ сношенія съ нечистой силой, тѣмъ болѣе, что эти образы должны были возникнуть хотя подъ вліяніемъ подобныхъ, но не тождественныхъ сказаній. Здѣсь поразительно сходство лишь во второстепенныхъ подробностяхъ; такъ, волшебный красный свѣтъ, которымъ все покрылось въ глазахъ Петра послѣ убійства Ивася и которымъ озарило хату, когда потомъ Ивась явился ему привидѣніемъ, соотвѣтствуетъ тонкому розовому свѣту, разливающемуся по комнатѣ колдуна передъ вызовомъ души Катерины.

Самая душа Катерины представлена, напротивъ, сходно съ русалкой въ повѣсти „Вій“—также въ видѣ облака. Здѣсь опять встрѣчаемъ варіацію тѣхъ же образовъ: то же фантастическое изображеніе женщины въ видѣніи, тѣ же аттрибуты волшебства—чудные звуки, непонятныя отраженія, игра цвѣтовъ и проч. Приводимъ оба эти мѣста. „Звуки стали сильнѣе и гуще, тонкій розовый свѣтъ становился ярче, и что-то бѣлое, *какъ будто бѣлое облако, вьяло посреди хаты*, и чудится пану Данилѣ, *что облако то не облако, что то стоитъ женщина*; только изъ чего она—*изъ воздуха, что-ли выткана*? Отчего же она стоитъ и земли не трогаетъ, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвѣчиваетъ розовый свѣтъ и мелькаютъ на стѣнѣ знаки?“ [2]) Не похоже ли это описаніе въ „Страшной Мести“ на нижеслѣдующее въ „Віи“: „Онъ“ (философъ Хома Брутъ) „слышалъ, какъ голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенѣли; онъ видѣлъ, какъ изъ-за

[1]) У Нарѣжнаго обыкновенно упоминаются изъ „мусикійскихъ орудій“: гудки, волынки и цимбалы (См. „Два Ивана“, ч. 3, стр. 148).

[2]) Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 158—159.

осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога—выпуклая, упругая, вся *созданная изъ блеска и трепета, и облачныя перси* ея, матовыя какъ фарфоръ, не покрытый глазурью, просвѣчивали передъ солнцемъ по краямъ своей бѣлой, эластически-нѣжной окружности" [1]). Тонкіе серебряные колокольчики, въ свою очередь, являются одинаково аттрибутами волшебства въ „Віи" и въ „Вечерѣ наканунѣ Ивана Купала": „И почудилось ему" (Петру), „будто трава зашумѣла, цвѣты начали между собой разговаривать голоскомъ тоненькимъ, *словно серебряные колокольчики*" — описаніе въ „Вечерѣ наканунѣ Ивана Купала" [2]);—„дикіе вопли издала вѣдьма; сначала были они сердиты и угрожающи, потомъ становились слабѣе, пріятнѣе, чище, и потомъ уже тихо, едва звенѣли, *какъ тонкіе серебряные колокольчики*" [3])—описаніе впечатлѣній философа Хомы Брута въ „Віи". Отмѣчая всѣ эти черты сходства въ нѣкоторыхъ подробностяхъ повѣстей „Страшная Месть" и „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала", мы, кажется, имѣемъ право большинство изъ нихъ отнести на долю той естественной внутренней связи, которую сообщаетъ „Вечерамъ на Хуторѣ" фантастическій элементъ, перешедшій и въ „Миргородъ", хотя бы только въ одной повѣсти „Вій"; такое же сходство встрѣчается въ ней въ описаніяхъ природы, напр., съ „Майской Ночью" (напр. въ описаніи восхода мѣсяца) [4]); но при сличеніи эпизодовъ о свадьбѣ мы убѣждаемся, что мысль объ изображеніи стариннаго быта созрѣла у Гоголя въ промежутокъ, отдѣляющій время написанія обѣихъ повѣстей. Если въ предисловіи къ первому тому уже дается обѣщаніе разсказать о томъ, что дѣлалось въ старину, то оно было написано уже въ 1831 г., а повѣсть „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала" — въ 1829 году. Воспользовавшись однажды описаніемъ старинной свадьбы и истощивъ весь собранный матеріалъ хотя и въ искусственно введенномъ въ повѣсть эпизодѣ (въ „Вечерѣ наканунѣ Ивана Купала"), Гоголь долженъ былъ позднѣе прибѣгнуть къ варіаціямъ, что онъ дѣлалъ вообще нерѣдко въ тѣхъ случаяхъ, когда пользовался намѣченнымъ матеріаломъ, но пользовался чрез-

1) Тамъ же, т. I, стр. 373—376.
2) Тамъ же, т. I, стр. 44.
3) Тамъ же, т. I, стр. 377.
4) Сравните Соч. Пуш., изд. V, т. I, стр. 146 и стр. 57.

вычайно искусно, какъ истинный художникъ, нисколько не впадая въ однообразіе.

II.

Съ другой стороны, въ повѣсти „Страшная Месть“ мы находимъ и новые элементы, ясно указывающіе на поворотъ въ творчествѣ Гоголя и сближающіе ее съ „Віемъ“ и „Тарасомъ Бульбой“.

Уже въ первыхъ строкахъ видно желаніе автора ввести разсказъ въ историческую обстановку. На это указываетъ самое перенесеніе мѣста дѣйствія изъ предѣловъ Полтавской губерніи въ историческій городъ—въ Кіевъ. Въ этомъ отношеніи „Страшная Месть“ рѣшительно выдѣляется изъ всѣхъ остальныхъ разсказовъ въ „Вечерахъ“ и стоитъ особнякомъ. Въ „Вечерахъ“ мы всюду встрѣчаемъ Псёлъ, Яреськи, Диканьку, Гадячъ, Миргородъ, Сорочинцы; въ „Страшной Мести“ авторъ какъ будто совершенно забываетъ о вечерахъ пасѣчника и пренебрегаетъ личностью дьячка-разсказчика. Не указываетъ ли это на позднѣйшее сравнительно включеніе „Страшной Мести“ въ „Вечера“, вслѣдствіе отчасти случайныхъ причинъ, такъ сказать, хронологическихъ, какъ съ тѣмъ же правомъ можно было бы внести въ нихъ и „Вія“, если бы онъ былъ уже написанъ во время печатанія „Вечеровъ“, тогда какъ по своему характеру повѣсть „Страшная Месть“ уже во многомъ отличается отъ „Вечеровъ“ и притязаніемъ изображать старинный бытъ примыкаетъ къ „Миргороду“ [1]). Какъ „Сорочинская Ярмарка“ и „Майская Ночь“, начатыя, по всей вѣроятности, до знакомства съ Плетневымъ и изобрѣтенія послѣднимъ извѣстнаго псевдонима, еще не знаютъ ни дьячка, ни пасѣчника, такъ точно „Страшная Месть“, какъ позднѣйшая повѣсть, забываетъ о нихъ по причинѣ противоположной, вслѣдствіе того, что надобность въ псевдонимѣ перестала чувствоваться и онъ сдѣлался пустой формальностью. Конечно, все это нуждается въ окончательномъ подтвержденіи, но мы все-таки считаемъ небезполезнымъ высказать эти и многія другія соображенія, провѣрить которыя предстоитъ, на основаніи дальнѣйшихъ изслѣдованій, такимъ знатокамъ Гоголя, какъ уважаемый академикъ Н. С. Тихонравовъ и П. А. Кулишъ.

[1]) Т.-е. собственно къ „Тарасу Бульбѣ“.

Слѣды явной заботы объ исторической обстановкѣ въ „Страшной Мести“ видны и изъ слѣдующихъ словъ въ началѣ повѣсти: „Пріѣхалъ (на свадьбу) на гнѣдомъ конѣ своемъ и запорожецъ Микитка прямо съ разгульной попойки съ Перешляя [1]) поля, гдѣ поилъ онъ семь дней и семь ночей королевскихъ шляхтичей краснымъ виномъ“ [2]). Это мѣсто, незначительное само по себѣ, имѣетъ для насъ нѣкоторый интересъ въ томъ отношеніи, что такъ какъ нигдѣ больше во всей повѣсти ни однимъ словомъ не упоминается названный здѣсь запорожецъ, то, очевидно, здѣсь сказалась потребность автора воспользоваться мелькнувшимъ въ его творческой фантазіи образомъ, возникшимъ подъ впечатлѣніемъ народныхъ пѣсенъ, собирать и изучать которыя съ особенною ревностью Гоголь сталъ, сдѣлавшись преподавателемъ исторіи въ Патріотическомъ институтѣ. Тогда же у него явилась также мысль написать малороссійскую исторію.

Сравненіе битвы съ пиромъ вообще весьма употребительно въ южно-русской поэзіи и встрѣчается еще въ извѣстной картинѣ въ „Словѣ о полку Игоревѣ“ („Ту кроваваго вина не доста; ту пиръ докончаша храбріи Русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю русскую“). Гоголь воспользовался имъ въ качествѣ эпическаго пріема съ первыхъ же строкъ настроивая свое повѣствованіе на пѣсенный ладъ во вкусѣ народныхъ думъ и былинъ. Впрочемъ у него вообще нерѣдко встрѣчаются въ „Страшной Мести“ и „Тарасѣ Бульбѣ“ эпическіе отголоски, какъ, напр., въ вопросахъ Тараса съ куреннымъ: „А что паны? есть еще порохъ въ пороховницахъ? не ослабѣла ли казацкая сила? не гнутся ли казаки?“ [3]) или: „гдѣ прошли незамайковцы—такъ тамъ и улица! гдѣ поворотили—такъ ужъ тамъ и переулокъ!“ [4]) Такъ точно и излюбленное Гоголемъ сравненіе битвы съ пиромъ повторяется не разъ въ обѣихъ названныхъ повѣстяхъ (въ „Страшной Мести“: „посполитство будемъ угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуютъ и отъ батоговъ“, или: „не забудьте набрать

---

[1]) По мнѣнію П. А. Кулиша, Гоголь выдумалъ названіе этого урочища, и выдумалъ не по-малорусски. „Слова *шлях* — говоритъ г. Кулишъ—„у насъ нѣтъ, а прибавка къ нему предлога *пере* еще больше портитъ названіе“.

[2]) Соч. Гог., т. I, стр. 144.

[3]) Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 334.

[4]) Соч. Гог., стр. 332.

свинцоваго толокна: съ честью нужно встрѣтить гостей"; но особенно въ слѣдующихъ словахъ: „И пошла по горамъ потѣха; и запировалъ пиръ: гуляютъ мечи, летаютъ пули, ржутъ и топочутъ кони; отъ крику безумѣетъ голова", и проч. Послѣднее мѣсто особенно сходно съ слѣдующимъ описаніемъ въ „Тарасѣ Бульбѣ": „Андрій весь погрузился въ очаровательную музыку пуль и мечей. Онъ не зналъ, что̀ такое значитъ обдумывать, или разсчитывать, или измѣрять заранѣе свои и чужія силы. Бѣшеную нѣгу и упоеніе онъ видѣлъ въ битвѣ: что-то пиршественное зрѣлось ему въ тѣ минуты, когда разгорится у человѣка голова, въ глазахъ все мелькаетъ и мѣшается, летятъ головы, съ громомъ падаютъ на землю кони, а онъ несется какъ пьяный, въ свистѣ пуль въ сабельномъ блескѣ, и наноситъ всѣмъ удары и не слышитъ нанесенныхъ" [1]). До какой степени Гоголь проникался духомъ народныхъ пѣсенъ и самымъ строемъ ихъ міросозерцанія, видно изъ того, что въ статьѣ „О малороссійскихъ пѣсняхъ" онъ высказываетъ мимоходомъ чрезмѣрную идеализацію боевой жизни въ духѣ воззрѣній казачества: „Вездѣ видна та сила, радость, могущество, съ какою казакъ бросаетъ тишину и безпечность жизни домовитой, чтобы вдаться *во всю поэзію битвъ*, опасностей и разгульнаго пиршества съ товарищами" [2]). Но статья о малороссійскихъ пѣсняхъ была написана уже гораздо позднѣе, когда Гоголю многое представлялось яснѣе, что̀ еще смутно носилось въ его воображеніи во время сочиненія имъ „Страшной Мести". Статья „О малороссійскихъ пѣсняхъ" имѣетъ уже самую тѣсную, самую непосредственную связь съ „Тарасомъ Бульбой", какъ въ частности приведенныя строки указываютъ на возникновеніе у Гоголя подъ вліяніемъ народныхъ пѣсенъ той сцены въ „Тарасѣ Бульбѣ", гдѣ Тарасъ неожиданно приходитъ къ рѣшенію ѣхать въ Сѣчь, а также и другихъ сценъ (напр. [illegible] къ битвѣ въ IV-ой главѣ исправленнаго изданія). Вообще [illegible] нужно обстоятельныхъ сравненій, чтобы убѣдиться [illegible] образы, сложившіеся у Гоголя послѣ изученія [illegible] и бѣгло намѣченные въ статьѣ „О малороссій[illegible]", въ значительной степени пошли въ дѣло въ „Тарасъ [illegible]

---

[1]) См. эти мѣста въ томъ же I томѣ, стр. 154 [illegible] и [illegible]

[2]) Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 288

одновременно ли создавались оба эти произведенія, или же статья о пѣсняхъ служила переходнымъ звеномъ къ „Бульбѣ“ отъ „Страшной Мести“. Такъ и въ слѣдующихъ за приведенными выше словахъ мы снова находимъ продолженіе той же канвы для первой главы „Тараса Бульбы“: „Ни чернобровая подруга, удерживающая за стремя коня его, ни престарѣлая мать, разливающаяся какъ ручей слезами, которой всѣмъ существованіемъ завладѣло одно материнское чувство,—ничто не въ силахъ удержать казака. Упрямый, непреклонный, онъ спѣшитъ въ степи, въ вольницу товарищей“ [1]).

Такимъ образомъ „Тарасъ Бульба“, какъ намъ кажется, является лишь настолько вѣрнымъ воспроизведеніемъ старинаго украинскаго быта и изображенныхъ въ поэмѣ историческихъ событій, насколько геніальная отгадка автора позволила ему, на основаніи преимущественно пѣсенъ, возсоздать отжившее прошлое [2]), исходя, однако, первоначально *изъ личныхъ, довольно субъективныхъ представленій*, только впослѣдствіи все болѣе получавшихъ опору въ тѣхъ историческихъ источникахъ, которыми пользовался авторъ. Все то, любовь къ чему Гоголь всосалъ съ молокомъ матери, что̀ запало въ его душу въ дѣтствѣ и потомъ такъ или иначе находило себѣ пищу и поддержку въ впечатлѣніяхъ жизни, мало-по-малу нашло здѣсь исходъ, служа основаніемъ для разработки воспринятыхъ образовъ на основаніи внѣшнихъ пособій. Такимъ образомъ, въ строго-научномъ отношеніи, очевидно, такое произведеніе художественнаго творчества можетъ имѣть лишь очень условное значеніе. Но оцѣнка послѣдняго уже сдѣлана г. Скабичевскимъ въ его статьѣ: „Нашъ историческій романъ въ его прошломъ и настоящемъ“, а историческіе источники обстоятельно указаны въ примѣчаніяхъ къ „Тарасѣ Бульбѣ“, Н. С. Тихонравова [3]).

Кромѣ указанныхъ выше чертъ сходства между „Страшной Местью“ и „Тарасомъ Бульбой“, укажемъ еще на изображеніе въ нихъ казацкой удали и безстрашія, трогательной любви къ отчизнѣ до самопожертвованія, непримиримой не-

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 288.

[2]) См. мнѣніе объ этой поэмѣ Максимовича, „Русская Бесѣда“, 1858, № 1, Критика, стр. 15; „День“, 1861, № 3, стр. 15.

[3]) См. Соч. Скабичевскаго, т. II, стр. 675—682, и Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 569 и слѣд.

нависти къ католикамъ [1]), наконецъ—высокаго чувства товарищества и безпощаднаго презрѣнія къ перенимающимъ чужіе обычаи. Въ послѣднемъ случаѣ разница лишь та, что панъ Данило изливаетъ накипѣвшее чувство негодованія только въ разговорѣ съ женой, тогда какъ Бульба произноситъ воодушевленную рѣчь въ присутствіи цѣлаго войска. Въ изображеніи Бульбы, осыпающаго градомъ сабельныхъ ударовъ непріятельское войско („схвативши саблю наголо, началъ чествть первыхъ попавшихся на всѣ боки"), опять большое сходство съ изображеніемъ пана Данила въ подобномъ же случаѣ („какъ птица мелькаетъ онъ; покрикиваетъ и машетъ дамасской саблей и рубитъ съ праваго и лѣваго плеча". Слѣдующее затѣмъ лирическое обращеніе автора къ пану Данилѣ: „руби, казакъ! гуляй, казакъ!" и пр. или „казакъ, на гибель идешь!"—имѣетъ соотвѣтствующее и въ „Тарасѣ Бульбѣ": „Казаки, казаки! не выдавайте лучшаго цвѣта нашего войска!" Наконецъ, описаніе смерти пана Данила, сражавшагося за отчизну, дало какъ бы программу для цѣлаго ряда подобныхъ описаній въ „Тарасѣ Бульбѣ"; но предсмертная забота его о семьѣ замѣнена въ послѣднихъ трогательными и глубоко-поэтическими пожеланіями вѣчнаго процвѣтанія родины. Явное сочувствіе автора къ умирающимъ на полѣ чести за благородное дѣло защиты отчизны и вѣры, кажется, вполнѣ объясняетъ причину отмѣченнаго распространенія въ „Бульбѣ" въ нѣсколькихъ мѣстахъ одного и того же образа. Въ „Страшной Мести" сказано только: „вылетѣла казацкая душа изъ дворянскаго тѣла; посинѣли уста; спитъ казакъ непробудно"; въ „Тарасѣ Бульбѣ" изображается смерть Шила („и зажмурилъ ослабѣвшія очи свои, и вынеслась казацкая душа изъ суроваго тѣла"), Гуски, Бовдюга и Кукубенка. Особенно замѣчательно описаніе смерти послѣдняго, въ которомъ съ наибольшей силой проявился лиризмъ Гоголя, не только въ прекрасномъ сравненіи убитаго съ драгоцѣннымъ сосудомъ, но и въ его явномъ подражаніи духовнымъ стихамъ: „И вылетѣла молодая душа. Подняли ее ангелы подъ руки и понесли къ небесамъ. Хорошо будетъ ему тамъ".—„Садись, Кукубенко, одесную Меня!" скажетъ

[1]) Ср. изображеніе поляковъ въ „Страшной Мести" (т. I. стр. 165. 166 и 312 и др.).

ему Христосъ: „ты не измѣнилъ товариществу, безчестнаго дѣла не сдѣлалъ, не выдалъ въ бѣдѣ человѣка, хранилъ и сберегалъ мою церковь“. Возвращаясь далѣе снова къ „Страшной Мести“, не можемъ не отмѣтить причитанія Катерины по убитомъ мужѣ, снова навѣянныя народной поэзіей. Тризна, совершаемая есауломъ Горобцемъ по панѣ Данилѣ, напоминаетъ такую же тризну по Остапѣ Тараса, а пробужденіе Катерины отъ тяжелаго сна послѣ смерти пана Данила — то мѣсто въ „Бульбѣ“, гдѣ Гоголь изображаетъ послѣдняго очнувшимся отъ бреда. Наконецъ, есть сходство и во внѣшнемъ описаніи старинной казацкой избы не только въ „Страшной Мести“ и въ „Тарасѣ Бульбѣ“, но и въ отрывкахъ изъ историческихъ романовъ.

Въ заключеніе нашего обзора сходныхъ чертъ въ „Страшной Мести“ и „Тарасѣ Бульбѣ“, отмѣтимъ еще двѣ-три мелочныя подробности.

Въ концѣ первой главы „Страшной Мести“ есть разительное сходство въ разсказахъ наперерывъ цѣлой толпы о колдунѣ и въ изображеніи послѣдовавшаго затѣмъ разгула съ подобными же разсказами казаковъ объ ихъ подвигахъ,— разсказами, заканчивающимися общей пирушкой въ III-ей главѣ „Тараса Бульбы“ и отчасти въ концѣ VII-ой главы того же произведенія [1]). Оно еще рѣзче бросается въ глаза при сличеніи послѣднихъ словъ, тамъ и здѣсь эффектно завершающихъ картину. Въ „Страшной Мести“ читаемъ: „Пировали до поздней ночи, и пировали такъ, какъ теперь уже не пируютъ. Стали гости расходиться, но мало побрело восвояси: много осталось ночевать у есаула на полу, возлѣ коня, близъ хлѣва: *идъ пошатнулись съ хмеля, тамъ и лежатъ и храпятъ на весь Кіевъ*“ [2]). Въ „Тарасѣ Бульбѣ“ сходное мѣсто немного распространено: „Наконецъ, хмель и утомленіе стали одолѣвать крѣпкія головы. И видно было, какъ то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ падалъ на землю казакъ; какъ товарищъ, обнявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вмѣстѣ съ нимъ. Тамъ гурьбою улеглась цѣлая куча; тамъ выбиралъ иной, какъ бы получше ему улечься,

[1]) Т. I, стр. 275 и 319 („Потомъ сѣли кругами всѣ курени вечерять и долго говорили о дѣлахъ и подвигахъ, доставшихся въ удѣлъ каждому, на вѣчный разсказъ пришельцамъ и потомству“).

[2]) Т. I, стр. 146.

и легъ прямо на деревянную колоду“ и проч. Правда, приведеннаго отрывка нѣтъ въ первоначальной редакціи повѣсти, и онъ внесенъ въ нее многими годами позднѣе „Страшной Мести“, но это тѣмъ болѣе подтверждаетъ высказанную нами не разъ мысль, что Гоголь любилъ пользоваться въ своихъ произведеніяхъ излюбленными образами, всегда подвергая ихъ новой переработкѣ, и причиной этого было такое же пристрастіе къ нѣкоторымъ изъ нихъ, какое мы встрѣчаемъ иногда и у другихъ поэтовъ, особенно у Лермонтова. По этимъ часто повторяющимся образамъ можно отчасти слѣдить за постепеннымъ зарожденіемъ въ душѣ поэта цѣльныхъ картинъ и даже произведеній, а, съ другой стороны, это можетъ оказать помощь при болѣе точномъ опредѣленіи источниковъ послѣднихъ. Во всякомъ случаѣ ими нельзя пренебрегать ни для цѣлей біографіи, ни тѣмъ болѣе для уясненія исторіи творчества Гоголя. Даже такія мѣста, какъ описаніе ночлега казаковъ въ „Бульбѣ“, сперва до́ма, а потомъ въ дорогѣ, имѣютъ себѣ соотвѣтствующее описаніе въ „Страшной Мести“: „казаку лучше спать на гладкой землѣ при вольномъ небѣ; ему не пуховикъ и не перина; онъ мостигъ себѣ подъ голову свѣжее сѣно и вольно протягивается на травѣ; ему весело взглянуть, проснувшись середи ночи, на высокое, засѣянное звѣздами небо, и вздрогнуть отъ ночного холода“ [1]) и пр. Въ „Бульбѣ“, какъ и въ другихъ случаяхъ, прежній образъ сильно распространенъ и украшенъ новыми картинными штрихами. Всѣ эти совпаденія едва-ли случайны [2]), даже Стецько „Страшной Мести“ явно соотвѣтствуетъ Товкачу въ „Тарасѣ Бульбѣ“. Разумѣется, впрочемъ, далеко не всѣ образы, заимствованные Гоголемъ въ „Страшной Мести“ изъ народной поэзіи, непремѣнно повторены потомъ въ болѣе современной обработкѣ въ позднѣйшихъ произведеніяхъ. Такъ, едва-ли не пѣснями навѣяно, напр., слѣдующее мѣсто въ „Страшной Мести“: „Блеснулъ день, но не солнечный; небо хмурилось, и тонкій дождь сѣялся на поля, на лѣса, на широкій Днѣпръ. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна

[1]) Ср. т. I, стр. 150 и 254, 264.

[2]) Мы не дѣлаемъ здѣсь сопоставленій мѣстъ изъ „Тараса Бульбы“ и „Остраницы“, такъ какъ найти ихъ весьма легко, и пропускаемъ уже сдѣланныя г. Скабичевскимъ (Соч., т. II, стр. 681).

и неспокойна". По крайней мѣрѣ, въ имѣющихся у насъ собственноручныхъ тетрадяхъ Гоголя, въ которыхъ имъ записывались малороссійскія и русскія пѣсни, встрѣчаются неразъ сходные пѣсенные пріемы; напр.:

Слала зоря до мисяца:
Ой мисяцю, мой товарищу!
Не заходи ты раній меня
И зайдемо оба разомъ,
Освятимо небо и землю:
Зрадуется звѣрь у поли, гость у дорози.
Слала Марусечка да до Ивашка:
„Ой, Ивасе! мій суженый!
Не сідяй на посяду раній меня,
Обсадимо оба разомъ,
Свеселимо два двора разомъ:
Ой первый дворъ батька твоего,
Ой другой дворъ батька моего".

ПРОИСХОЖДЕНІЕ ПОВѢСТИ „ВІЙ“ И ОТНОШЕНІЕ ЕЯ КЪ НАРОДНЫМЪ МАЛОРОССІЙСКИМЪ СКАЗКАМЪ.

„Страшной Местью“ и повѣстью „Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка“ заканчиваются произведенія перваго періода литературной дѣятельности Гоголя, признанныя имъ впослѣдствіи незрѣлыми ученическими опытами. Обѣ эти повѣсти во многомъ представляютъ очень замѣтный переходъ къ „Арабескамъ“ и „Миргороду“ и къ цѣлому ряду драматическихъ произведеній Гоголя, начатыхъ въ серединѣ тридцатыхъ годовъ. Діалогическая форма изложенія, наклонность къ которой сильно чувствуется уже въ „Сорочинской Ярмаркѣ“ и въ другихъ разсказахъ перваго тома „Вечеровъ на Хуторѣ“,—въ „Страшной Мести становится очень замѣтною. И тамъ, и здѣсь собственно-повѣствовательный элементъ весьма часто уступаетъ мѣсто какъ описаніямъ природы, такъ и разговорамъ дѣйствующихъ лицъ. Если вообще трудно указать какое-нибудь эпическое произведеніе, въ которомъ не только не являлся бы діалогъ, но и не занималъ бы весьма виднаго мѣста, то между тѣмъ какъ у большинства другихъ писателей онъ лишь не надолго заступаетъ мѣсто разсказа, составляющаго во всякомъ случаѣ главную форму изложенія, у Гоголя нерѣдко, особенно въ „Страшной Мести“, наоборотъ, діалогъ, чередуясь съ описаніями и характеристиками, оставляетъ мало мѣста повѣствованію въ строгомъ смыслѣ слова [1]. Собственно повѣствовательный элементъ является у Гоголя господствующимъ уже позднѣе—кое гдѣ въ „Арабескахъ“, но особенно въ повѣсти „Римъ“ и, наконецъ, въ „Мертвыхъ Душахъ“; но онъ имѣетъ еще весьма второстепенное значеніе

въ „Вечерахъ“ и „Миргородѣ“, при чемъ матеріалъ, которымъ пользовался для него авторъ, чаще всего оказывается заимствованнымъ. Происходила ли эта особенность творчества Гоголя исключительно отъ потребности въ живыхъ картинахъ и образахъ и отъ пристрастія къ яркимъ драматическимъ положеніямъ, или отъ другихъ причинъ — рѣшить не беремся; но, кажется, уясненіе этого вопроса облегчается собственнымъ признаніемъ Гоголя въ „Авторской Исповѣди“, что онъ „никогда ничего не создавалъ въ воображеніи и не имѣлъ этого свойства“. „У меня“—говорилъ Гоголь—„только то и выходило хорошо, что̀ взято было мной изъ дѣйствительности, изъ данныхъ, мнѣ извѣстныхъ. Угадывать человѣка я могъ только тогда, когда мнѣ представлялись самыя мельчайшія подробности его внѣшности“. Основываясь на этихъ словахъ Гоголя и на многихъ примѣрахъ въ его произведеніяхъ, можно предположить, что господствующую роль въ его творчествѣ игралъ скорѣе даръ тонкой проницательности, нежели способность воображенія. „Воображеніе мое до сихъ поръ не подарило меня“—продолжаетъ онъ—„ни однимъ замѣчательнымъ характеромъ и не создало ни одной такой вещи, которую гдѣ-нибудь не подмѣтилъ мой взглядъ въ натурѣ“ [2]). Впрочемъ, творческая работа фантазіи Гоголя несомнѣнно проявляется въ художественномъ воспроизведеніи поразившихъ его характеровъ и картинъ природы, но на основаніи матеріала, добытаго личной наблюдательностью. Такъ, съ изумительнымъ искусствомъ онъ рисуетъ въ „Тарасѣ Бульбѣ“ роскошную картину дѣвственныхъ новороссійскихъ степей въ періодъ войнъ казаковъ съ поляками; а звуки народныхъ пѣсенъ, какъ мы видѣли, находили въ чуткой душѣ поэта горячій сочувственный отголосокъ, пробуждая въ немъ длинную вереницу думъ и чувствъ, озаренныхъ пламеннымъ энтузіазмомъ южной натуры. Отдаваясь неизъяснимому очарованію этихъ звуковъ, Гоголь переживалъ минуты, въ которыя передъ его умственнымъ взоромъ рисовались картины, просившіяся на бумагу, такъ что для него пѣсни были дѣйствительно „надгробнымъ памятникомъ бы-

[1]) Ср., напр., съ произведеніями Достоевскаго, гдѣ часто встрѣчается почти сплошная повѣствовательная форма, напр. въ повѣсти „Маленькій Герой“, въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“ и проч.

[2]) Соч. Гог., изд. X, т. IV, стр. 256 и 257.

лого", въ которыхъ было все: „и поэзія, и исторія, и отцовская могила" [1]).

Особенно любопытно заимствованіе повѣствовательнаго матеріала и переработка его примѣнительно къ любимымъ образамъ поэта—въ „Віи". Въ примѣчаніи къ повѣсти Гоголь ясно указываетъ ея происхожденіе: она представляетъ передѣлку народнаго преданія, которое, впрочемъ, оставлено будто бы почти безъ измѣненія. Но такое объясненіе нельзя принимать въ буквальномъ смыслѣ: въ сущности въ основаніе разсказа положено нѣсколько варіантовъ одной малороссійской сказки, во многихъ своихъ частяхъ настолько отличающихся одинъ отъ другого, что ихъ можно считать самостоятельными произведеніями украинской народной словесности. Сверхъ того, авторомъ въ большой степени введенъ также посторонній матеріалъ, созданный его творческой фантазіей и не разъ прерывающій основную нить разсказа, заимствованнаго изъ сказокъ. Такъ, начало повѣсти написано подъ несомнѣннымъ впечатлѣніемъ отъ романа Нарѣжнаго „Бурсакъ", чѣмъ, между прочимъ, объясняется замѣна главнаго героя сказокъ дьячка или просто парня, бурсакомъ, философомъ Хомой Брутомъ, и выборъ нѣкоторыхъ другихъ лицъ изъ семинарской среды (считая здѣсь также отца-ректора).

Намъ кажется, однако, что вообще придаютъ слишкомъ большое значеніе мнимому вліянію Нарѣжнаго на Гоголя, основываясь на сходствѣ начала „Віи" съ „Бурсакомъ",—и „Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ" съ романомъ „Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ". Фабула Нарѣжнаго, безъ сомнѣнія, слишкомъ слаба и незначительна въ „Бурсакѣ", чтобы она могла привлечь Гоголя; предположить подражаніе было бы совсѣмъ несообразно съ силой дарованія обоихъ; но Нарѣжный могъ быть полезенъ Гоголю, какъ предшественникъ въ простомъ и сравнительно правдивомъ изображеніи стариннаго малороссійскаго быта, притомъ особенно быта частнаго, домашняго, или—какъ въ „Бурсакѣ" — семинарскаго. Знакомство съ старинным бурсацкимъ бытомъ несомнѣнно почерпнуто Гоголемъ изъ „Бурсака" и притомъ онъ воспользовался этимъ

[1]) Т. V, стр. 287.

матеріаломъ не только въ „Віи“, но отчасти и во второй главѣ „Тараса Бульбы“ [1]). Онъ взялъ изъ „Бурсака“ преимущественно изображеніе бурсы съ ея богословами, философами, риторами и грамотниками [2]), съ консулами, ликторами и цензорами; изображеніе быта, нравовъ и обычаевъ бурсы, между которыми встрѣчались столь оригинальные, какъ обычай своеобразнаго покровительства побоями и проч.; далѣе можно отмѣтить описаніе нападеній бурсаковъ на чужіе огороды, возвращенія ихъ домой на каникулы, пѣнія по дорогѣ кантовъ передъ домомъ какого-нибудь зажиточнаго малороссійскаго пана. Всѣ эти цѣнныя данныя весьма искусно извлечены Гоголемъ изъ массы мелочныхъ приключеній главнаго героя, среди которыхъ они тонутъ въ „Бурсакѣ“, — и собраны въ одну яркую картину. Необходимо, однако, замѣтить капитальное различіе въ пріемахъ и характерѣ творчества обоихъ писателей: вся сила Нарѣжнаго заключалась единственно въ извѣстномъ умѣніи развивать фабулу, обставляя разсказъ во вкусѣ тогдашняго времени, сплетеніемъ болѣе или менѣе занимательныхъ подробностей и приключеній, если ужъ признать за ними это свойство,—но у него почти совсѣмъ не встрѣчаются описанія природы, характеристики и нигдѣ нѣтъ діалогической формы изложенія; у Гоголя, наоборотъ, послѣдніе элементы являются преобладающими. При такомъ существенномъ несходствѣ Гоголю могло пригодиться у Нарѣжнаго очень немногое; но романы послѣдняго дали извѣстный толчокъ и пищу фантазіи Гоголя заключающимся въ нихъ бытовымъ матеріаломъ. То, что составляетъ главное содержаніе „Бурсака“, какъ и естественно, оставлено Гоголемъ безъ вниманія; но зато нѣкоторыя черты, которымъ, можетъ быть, не придавалъ особаго значенія Нарѣжный, были замѣчены и выдвинуты Гоголемъ. Но замѣчательно, что, взявъ у Нарѣжнаго матеріалъ для сжатой характеристики семинарскаго быта, Гоголь существенно измѣнилъ дѣло, надѣливъ главнаго героя *сочувственными ему чертами удали и веселости*, тогда какъ у Нарѣжнаго нигдѣ не выступаютъ замѣтно именно эти черты казацкаго характера. „*Казакъ, слава Богу, ни чертей, ни ксендзовъ не боится*“ [3]), отвѣчаетъ панъ

[1]) Ср. т. I, стр. 258—260 и 368—369.

[2]) У Нарѣжнаго упоминаются также поэты, целеры, этимологи.

[3]) Т. I, стр. 48.

Данило Катеринѣ на ея застращиваніе колдуномъ (въ „Страшной Мести“): „Много было бы проку, если бы мы стали слушаться женъ? *Наша жена—люлька да острая сабля!*“—„*Да, что я за казакъ, когда бы устрашился?*“ [1]) одобряетъ себя Хома Брутъ во время ночныхъ ужасовъ при чтеніи имъ псалтыри по покойницѣ-вѣдьмѣ. Онъ тоже не прочь по-казацки въ затруднительныхъ случаяхъ прибѣгнуть къ куренію люльки или нюханію табака. Замѣтимъ также, что соотвѣтствующія черты часто встрѣчаются и въ „Тарасѣ Бульбѣ“: „пусть теперь подвернется какая-нибудь татарва“,—говоритъ Андрій,—„будетъ знать она, что̀ за вещь казацкая сабля!“ [2]). А словамъ: „наша жена—люлька да острая сабля“ и „много было бы проку, если бы мы стали слушаться женъ?“—въ „Тарасѣ Бульбѣ“ совершенно соотвѣтствуютъ слѣдующія: „Не слушайся, сынку, матери: она баба, она ничего не знаетъ. Какая вамъ нѣжба? Ваша нѣжба—чистое поле да добрый конь—вотъ ваша нѣжба“ [3]). Таковъ идеалъ браваго казака и таковы же самыя завѣтныя мечты его о будущемъ сыновей въ „Страшной Мести“: „какъ вихорь, будешь ты летать передъ казаками, съ бархатной шапочкой на головѣ, съ острой саблей въ рукѣ“ [4]); въ „Тарасѣ Бульбѣ“: „теперь онъ“ (Бульба) „тѣшилъ себя заранѣе мыслью: какъ онъ явится съ двумя сыновьями своими въ Сѣчь и скажетъ: „Вонъ посмотрите, какихъ я молодцовъ привелъ вамъ“ [5]). Подобно Остапу въ „Бульбѣ“, философъ часто пробовалъ „крупнаго гороху“, но съ совершенно философическимъ равнодушіемъ, говоря, что „чему быть, того не миновать“ [6]). Философъ мастеръ лихо танцовать, и какъ на танецъ запорожца съ восхищеніемъ любуются въ „Тарасѣ Бульбѣ“ окружающіе; такъ, глядя на него, дворня сотника приговариваетъ съ удивленіемъ: „Вотъ

---

[1]) Тамъ же, стр. 394.

[2]) Тамъ же, стр. 251.

[3]) Тамъ же, стр. 248.

[4]) Тамъ же, стр. 153.

[5]) Тамъ же, стр. 253. Ср. также изображеніе Петра въ „Вечерѣ наканунѣ Ивана Купала“: „если бы одѣть его въ новый жупанъ, затянуть краснымъ поясомъ, надѣть на голову шапку изъ черныхъ смушекъ съ щегольскимъ синимъ верхомъ, привѣсить къ боку турецкую саблю, дать въ одну руку малахай, въ другую люльку въ красивой оправѣ, то заткнулъ бы онъ за поясъ всѣхъ паробковъ тогдашнихъ“ (стр. 40).

[6]) Тамъ же, стр. 371.

это какъ долго танцуетъ человѣкъ!“ [1]). Всѣхъ этихъ чертъ нѣтъ у Нарѣжнаго, но у Гоголя онѣ далеко не лишены значенія.

Переходя теперь къ сличенію „Вія“ съ его главными источниками, остановимся сперва на напечатанной въ сборникѣ Драгоманова („Малороссійскіе народные преданія и разсказы“) былицѣ: „Відьма та вильмак“ [2]).

Она начинается такъ: „Була собі мати та дочка, і обидві відьми. От дочка і полюби парня. Так і чипляється на ёго, а він не хоче, значить, ночувать, а вона, як узнала, давай на ёго сідать; він вертається з вулеці, а вона очепеться за ёго, та він и таска ії до світа“ и проч.

Эти немногія строки были распространены Гоголемъ въ связи и соотвѣтствіи съ предыдущимъ разсказомъ, при чемъ мѣстами введена и любимая имъ діалогическая форма; далѣе, при переходѣ къ изображенію вѣдьмы, онъ, по своему обычаю, пользуется нѣкоторыми излюбленными художественными образами. Такъ онъ рисуетъ ее, уже послѣ превращенія въ красавицу, „созданною изъ блеска и трепета“, подобно тому какъ въ „Майской Ночи“ о тѣлѣ утопленницы сказано, что оно „какъ будто изваяно изъ прозрачнаго облака, и будто свѣтилось насквозь при серебряномъ мѣсяцѣ“ [3]) (другой сходный образъ въ „Страшной Мести“ уже указанъ выше, какъ отмѣчено сходство въ сравненіи звука, слышимаго Хомой Брутомъ, съ „тонкими серебряными колокольчиками“, и такого же звука, слышимаго Петромъ въ „Вечерѣ наканунѣ Ивана Купала“). Самое превращеніе старухи-вѣдьмы въ красавицу находится, очевидно, въ связи съ другимъ малороссійскимъ сказаніемъ, помѣщеннымъ въ первомъ томѣ „Трудовъ“ Чубинскаго [4]), которое начинается такъ: „Въ еднымъ селі не мігъ ны еденъ дячокъ довго жыти: поступыть на прыходъ, послужыть місяцівъ пъять — и умре. Прычыною тому було то, що у едного хозяіна *була дуже гарна дочка*, которая була дуже велыка відьма“.—Такимъ образомъ превращеніе старухи-вѣдьмы въ чудную красавицу понадобилось Гоголю, чтобы скомбинировать нѣкоторыя подробности обоихъ разсказовъ (между прочимъ ухаживаніе старухи за философомъ), а дальше

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 402.
[2]) Драгомановъ, стр. 71—73.
[3]) Соч. Гог., изд. X, т. I. стр. 76.
[4]) Т. I, стр. 200—202.

онъ также говоритъ устами Дороша о прежнихъ поступкахъ вѣдьмы (причемъ превращеніе ея въ собаку и полученіе ею удара отъ Шепчихи напоминаетъ обращеніе жены сотника—въ „Утопленницѣ“—въ кошку и нанесеніе ей сабельнаго удара [1]). Какъ въ билицѣ „Відьма та відьмак“, такъ и въ другой сказкѣ читатель находитъ нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ, намѣренно пропущенныхъ въ разсказѣ Гоголя; такъ, дьяку своими совѣтами помогаетъ баба, у которой онъ нанялъ квартиру, и которая была посвящена во всѣ тайны вѣдьмы; въ первомъ разсказѣ парня постоянно выручаетъ батька-відьмакъ. И парень, и дьячокъ одинаково сознаютъ свое ничтожество передъ нечистой силой и охотно прибѣгаютъ къ посторонней помощи. Этого не могъ удержать въ своей повѣсти Гоголь, желавшій представить въ своемъ героѣ безстрашнаго, полагающагося на собственную отвагу казака. Въ разсказѣ, напечатанномъ въ „Трудахъ“ Чубинскаго, баба объясняетъ дьяку, что вѣдьма разгнѣвалась на него за то, что онъ не оказалъ ей почтенія при встрѣчѣ и не отвѣтилъ на ея заискивающій привѣтъ; предсказывая дальнѣйшіе поступки вѣдьмы, она даетъ такой совѣтъ: „Якъ сядешъ на нюю, то вона тебе буде дуже носыты и поверхъ воды и поверхъ ліса. Вона схоче тебе скынуты, а ты держыся и бый ii, скілько зможешъ и куда попадешъ“. Далѣе, въ „Віи“, возвращеніе Хомы Брута въ Кіевъ представляетъ дополненіе со стороны автора къ народному преданію, допущенное имъ для того, чтобы имѣть возможность связать оба разсказа, которые легли въ основу повѣсти. Вторичное прибытіе философа въ хуторъ по требованію сотника соотвѣтствуетъ слѣдующимъ словамъ народной сказки: „Отъ на третій день та дівка заслабла, полежала дві неділі, та й умерла. Але якъ умірала, то батька просыла: „Якъ я вмру, то візмішь мене на тры добі до церквы и дякъ нехай тры ночы чытае надо мною псавтыру, и що вінъ схоче, то ёму й дайте. Батько зробывъ такъ, якъ вона хотіла“ и проч. Въ передачѣ Гоголя здѣсь вставленъ цѣлый эпизодъ объ отправленіи Хомы Брута ректоромъ изъ бурсы и рядъ дорожныхъ сценъ, при чемъ, какъ и ниже, въ промежуткахъ между описаніями ночныхъ страховъ философа, мимоходомъ очерчено нѣсколько простонародныхъ типовъ, изображается

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 56 и 392.

ихъ застольная бесѣда, подобно тому, какъ такія сцены уже являлись у Гоголя въ „Вечерахъ на Хуторѣ“, въ „Сорочинской ярмаркѣ“ и „Утопленницѣ“ [1]) (разговоръ головы съ винокуромъ); внесено также описаніе малороссійской панской усадьбы и, наконецъ, въ уста философа вложены задушевныя въ то время мечты самого автора о привольной жизни на живописныхъ берегахъ Днѣпра, а въ описаніи сада уже мелькаютъ черты, имѣющія хотя и отдаленное сходство съ описаніемъ сада Плюшкина. Разговоромъ съ сотникомъ Гоголь, повидимому, имѣлъ цѣлью связать предыдущее изложеніе съ послѣдующимъ и объяснить, какимъ образомъ философу пришлось читать псалтырь надъ гробомъ умершей панночки. Тогда какъ въ народной сказкѣ распоряженіе вѣдьмы по отношенію къ дьяку выходило вполнѣ просто и естественно, Гоголю пришлось сдѣлать небольшую натяжку, рѣшительно незамѣтную, впрочемъ, при обыкновенномъ чтеніи, благодаря мастерскому діалогу между сотникомъ и философомъ. У него, между прочимъ, на вопросъ сотника философъ объясняетъ такъ странную просьбу панночки: „Извѣстное дѣло, что панамъ подчасъ захочется такого, что̀ и самый наиграмотнѣйшій человѣкъ не разберетъ“ [2]), и онъ же потомъ, желая освободиться отъ непріятнаго порученія, напоминаетъ, что „для чтенія псалтыри приличнѣе требовалось бы дьякона или по крайней мѣрѣ дьячка“ [3]). Описаніе ночныхъ ужасовъ въ церкви заимствовано частью изъ того же разсказа, частью имѣетъ сходство со сказкой: „Упирь и Миколай“ особенно въ подробностяхъ („церква тріщить,—ставники падають, образі падають... Господи, яке лихо! А труна тільки: лусь! лусь! И знов вона піднимаецця... Устала з труни, та як шугнѐ по церкві... То це що прискочить до вальків“ (Святой Николай совѣтовалъ обложиться ими и взять съ собой грушъ, потомъ разсыпать ихъ; вѣдьма станетъ собирать, пока не запоютъ пѣтухи, и опасность минуетъ; но отнюдь не должно оглядываться)—„хоче його вхопить, то й одскочить; що прискочить—то одскочіть.... А полумъя так з рота й паше, так и па́ше. Металась, вона металась по церкві—скрізь по кутках; а він

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 21—25.
[2]) Т. I, стр. 385.
[3]) Т. I, стр. 386.

тоді у труну“ [1]) и проч.—Въ варіантѣ, напечатанномъ Чубинскимъ, когда поиски вѣдьмы въ третью ночь остаются безуспѣшными, она посылаетъ за той самой старой бабой, которая покровительствовала дьяку, но баба его снова щадитъ. У Гоголя вмѣсто старой бабы является Вій („Иде дякъ знову чытаты до церквы. Чытае вінъ, чытае, тріснуло разъ труна, а вінъ хутко зірвався та въ шафу, вона за нымъ та й утратыла: тутъ був та нема. Шукала, шукала, а далі и пійшла за товарышкамы: „Глядіть ёго, зпередъ моіхъ очей утікъ“. Гляділы, гляділы,—нема!—„Васъ выдно нема всіхъ. Нема ще старої: підіть за нею, прышліть іі сюды“). Въ этомъ же варіантѣ идетъ рѣчь и объ огражденіи кругомъ („Візмы собі свяченый роговый ніжъ и, якъ трісне третій разъ, то скоро падай на землю и обцірклюйся тымъ ножемъ“). Въ билицѣ „Відьма та відьмак“ роль Вія заступаетъ тетка вѣдьмы изъ Кіева („Шукали ёго, шукали—не найдуть.—„Э, постойте, кае, у мене в Киеві е тітка, та ёго найде“). Тамъ же, какъ и въ „Віи“, было, наконецъ, найдено мѣсто, гдѣ находился философъ („Як метнулись вони за тіею, зараз і привели; вона туди-сюди повернулась.—„Ось він, кае! так в лоб чуть не пхнула“). Всѣ три сказки оканчиваются благополучно, а въ концѣ сказки „Упирь и Миколай“ вѣдьма принимаетъ даже крещеніе, и нечистая сила изгоняется изъ нея. Гоголь, существенно измѣнивъ народное преданіе, какъ извѣстно, оканчиваетъ повѣсть смертью философа [2]).

[1]) Рудченко, „Южно-русскія народныя сказки“, т. II, стр. 27–31.

[2]) Въ числѣ источниковъ для творчества Гоголя въ сборникахъ малороссійскихъ сказокъ и преданій можно еще отмѣтить сказку „Музыканты и Черти“, имѣющую нѣкоторое сходство относительно сюжета съ „Пропавшей Граматой“ (см. Драгомановъ: „Малороссійск. народн. пред. и разсказы“, т. I, 52—53; также Рудченка: „Народныя южно-русскія сказки“, т. I, стр. 74, и Чубинскаго, т. I, стр. 186). Кромѣ того, по мнѣнію П. А. Кулиша, къ повѣсти Гоголя „Ночь передъ Рождествомъ“ можетъ имѣть нѣкоторое отношеніе явившаяся въ концѣ царствованія Екатерины опера „Черевички“ (см. объявленіе о ней въ „Моск. Вѣд.“, 1786 г., 11-го іюля, и дневникъ Храповицкаго подъ 12-мъ іюля того же года).

Что̀ касается повѣсти „Вій“, то въ недавней статьѣ г. Сумцова („Кіевская Старина“, 1892, III) указаны нѣкоторыя другія параллели къ ней, также найденныя въ сборникахъ произведеній украинской народной словесности; о нихъ мы сообщимъ въ приложеніяхъ.

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ПОВѢСТИ ГОГОЛЯ.

I.

Между тѣмъ, подъ вліяніемъ впечатлѣній петербургской жизни, въ воображеніи Гоголя накоплялся обширный запасъ новыхъ картинъ и образовъ, требовавшихъ, въ свою очередь, выраженія въ словѣ. И здѣсь, какъ въ другихъ случаяхъ, его творчество работало методически, постепенно переходя отъ небольшихъ отрывковъ къ цѣлымъ, законченнымъ произведеніямъ. Въ одной изъ записныхъ книжекъ Гоголя сохранился небольшой отрывокъ неоконченной повѣсти подъ заглавіемъ „Страшная Рука“, въ которомъ нельзя не узнать первыхъ набросковъ возникшихъ въ душѣ его новыхъ образовъ, послужившихъ первоначальной основой для такъ-называемыхъ „петербургскихъ повѣстей“. Это особенно явно при сличеніи одного мѣста третьяго отрывка съ нижеслѣдующей выдержкой изъ „Записокъ Сумасшедшаго“: „Я надѣлъ старую шинель и взялъ зонтикъ, потому что шелъ проливной дождикъ. На улицахъ не было никого; однѣ только бабы, накрывшись полами платья, да русскіе купцы подъ зонтиками, да курьеры попадались мнѣ на глаза. Изъ благородныхъ только нашъ братъ, чиновникъ, попался мнѣ. Я, какъ увидѣлъ его, тотчасъ сказалъ себѣ: „*Эге! нѣтъ, голубчикъ, ты не въ департаментъ идешь, ты спѣшишь вонъ за тою, что́ бѣжитъ впереди, и глядишь на ея ножки*“ [1]). Въ третьемъ отрывкѣ повѣсти „Страшная Рука“ это мѣсто читается такъ [2]): „Чортъ возьми, люблю

---

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 346.

[2]) Тамъ же, стр. 96.

я это время! Ни одного зѣваки на улицѣ. Теперь не найдешь ни одного изъ тѣхъ господъ, которые останавливаются для того, чтобы посмотрѣть на сапоги, на штаны, на фракъ или на шляпу, и потомъ, разинувши ротъ, поворачиваются нѣсколько разъ назадъ для того, чтобы осмотрѣть задній фасадъ вашъ [1]). Теперь раздолье мнѣ закутаться крѣпче въ свой плащъ. Какъ удираетъ этотъ любезный молодой франтъ, съ личикомъ, которое можно упрятать въ дамскій ридикюль. Напрасно: не спасетъ новенькаго сюртучка, красу и загляденіе Невскаго проспекта. Крѣпче его, крѣпче, дождикъ! пусть онъ бѣжитъ, какъ мокрая крыса, домой. *А вотъ и суровая дама бѣжитъ въ своихъ пестрыхъ тряпкахъ* [2]), *поднявши платье, далѣе чего нельзя поднять, не нарушая послѣдней благопристойности. Куда дѣвался характеръ! и не ворчитъ, видя, какъ чиновная крыса въ вицъ-мундирѣ съ крестикомъ, запустивъ свои зеленые, какъ его воротникъ, глаза, наслаждается видомъ полныхъ, на каждомъ шагу трепещущихъ ногъ*". Здѣсь промелькнула мимоходомъ и черта, напоминающая „Невскій Проспектъ". Это сличеніе показываетъ, однако, что въ позднѣйшей переработкѣ Гоголь не распространилъ, какъ онъ дѣлалъ прежде, но съузилъ первоначальный набросокъ.

Другая картина, въ началѣ второго отрывка изъ „Страшной Руки", повторена съ нѣкоторымъ измѣненіемъ въ „Шинели", а именно вотъ это мѣсто: „Какъ страшно, когда каменный тротуаръ прерывается деревяннымъ, когда деревянный даже пропадаетъ, когда отдаленный будочникъ спитъ, когда кошки, безсмысленныя кошки, однѣ спѣвываются и

[1]) Ср. въ „Невскомъ Проспектѣ": „Есть множество такихъ людей, которые, встрѣтившись съ вами, непремѣнно посмотрятъ на сапоги ваши, и если вы пройдете, они оборотятся назадъ, чтобы посмотрѣть на ваши фалды. Я до сихъ поръ не могу понять, отчего это бываетъ. Сначала я думалъ, что они сапожники, но однакоже, ничуть не бывало: они большею частью служатъ въ разныхъ департаментахъ" и пр. (тамъ же, стр. 255; въ „Шинели": „Ни одинъ разъ въ жизни не обратилъ онъ (Акакій Акакіевичъ) вниманія на то, что̀ дѣлается и происходитъ всякій день на улицѣ, на что̀, какъ извѣстно, всегда посмотритъ его же братъ, молодой чиновникъ, простирающій до того проницательность своего бойкаго взгляда, что замѣтитъ даже, у кого на другой сторонѣ тротуара отпоролась внизу панталонъ стремешка,—что̀ вызываетъ всегда лукавую усмѣшку на лицѣ его" (Т. II, стр. 89).

[2]) Ср. въ „Запискахъ Сумасшедшаго": „И зачѣмъ ей выѣзжать въ такую дождевую пору! Утверждай теперь, что у женщинъ не велика страсть до всѣхъ этихъ тряпокъ".

бодрствуютъ! Но человѣкъ знаетъ, что онѣ не дадутъ сигнала и не поймутъ его несчастья, если внезапно будетъ атакованъ мошенниками, выскочившими изъ этого темнаго переулка, который распростеръ къ нему мрачныя объятія“ [1]).

Всѣ эти сопоставленія ясно показываютъ, что въ душѣ Гоголя всегда жила потребность естественнаго и правдиваго изображенія дѣйствительности, являвшаяся неизбѣжнымъ слѣдствіемъ его тонкой наблюдательности, о которой мѣтко выразился Анненковъ, что „его лица не покидала постоянная, какъ бы приросшая къ нему наблюдательность“ („Воспоминанія и критическіе очерки“ Анненкова, т. I, стр. 188). Гоголю не было, такимъ образомъ, нужды придумывать сложные сюжеты и обставлять ихъ постепенное развитіе вымученными эффектами; ему необходима была только внѣшняя фабула, въ которую онъ и вкладывалъ уже готовое содержаніе. Потому онъ высоко понимаетъ и цѣнитъ значеніе простоты въ истинно художественныхъ произведеніяхъ, и охотно допуская въ нихъ высокіе, вдохновенные лирическіе порывы, въ то же время онъ—отъявленный врагъ всего натянутаго и напускного. Образцомъ ложной аффектаціи и заказныхъ восторговъ былъ для него со школьной скамьи товарищъ его Кукольникъ, котораго онъ всегда презиралъ какъ писателя, и которому далъ насмѣшливое прозвище „Возвышеннаго“. Гоголь, напримѣръ, никакъ не могъ мириться съ его безвкусіемъ и отъ всей души возмущался на него за то, что онъ „Пушкина все попрежнему не любитъ; „Борисъ Годуновъ“ ему не нравится“ [2]). Надо помнить при этомъ, что эстетическій вкусъ Гоголя въ значительной степени образовался самъ собою, независимо отъ постороннихъ вліяній, которыя и не могли бы имѣть особаго значенія для него, даже если бы они и существовали, потому что онъ чувствовалъ непреодолимое внутреннее отвращеніе ко всему навязываемому извнѣ и особенно ко всему ходульному,—отвращеніе, которое не могло быть заглушено ничѣмъ. Если въ раннемъ дѣтствѣ, какъ говорятъ, онъ и поддался не надолго вліянію произведеній, написанныхъ въ реторическомъ духѣ, то это была неважная, почти неизбѣжная уступка естественной неустойчивости возраста.

---

[1]) Т. V, стр. 95.

[2]) „Соч. и письма Гог.“, т. V, стр. 152.

Въ статьѣ о Пушкинѣ Гоголь разсказываетъ, между прочимъ, слѣдующее: „Я всегда чувствовалъ въ себѣ маленькую страсть къ живописи. Меня много занималъ писанный мною пейзажъ, на первомъ планѣ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жилъ тогда въ деревнѣ; знатоки и судьи мои были окружные сосѣди. Одинъ изъ нихъ, взглянувши на картину, покачалъ головою и сказалъ: „Хорошій живописецъ выбираетъ дерево рослое, хорошее, на которомъ бы и листья были свѣжіе,—хорошо растущее, а не сухое. Въ дѣтствѣ мнѣ казалось досадно слышать такой судъ, но послѣ я изъ него извлекъ мудрость знать, что́ нравится и не нравится толпѣ“ [1]). Очевидно, сужденіе взрослаго сосѣда нисколько не поколебало Гоголя-ребенка въ его намѣреніи нарисовать сухое дерево, точно также какъ въ школѣ на него не произвели ни малѣйшаго впечатлѣнія увѣщанія начальства, направленныя противъ смѣлаго реализма его игры на сценѣ гимназическаго театра; Гоголь твердо стоялъ на своемъ и не могъ перемѣнить мнѣнія, потому что внутренній голосъ говорилъ въ немъ громче и убѣдительнѣе. Та же самостоятельность сужденій отличала его и впослѣдствіи.

Въ статьѣ о Пушкинѣ, развивая далѣе свою мысль и объясняя особенно причины непониманія въ нѣкоторыхъ случаяхъ поэта толпою, Гоголь говоритъ между прочимъ: „Поэту остаются два средства“ (чтобы привлечь на свою сторону толпу): „или натянуть, сколько можно выше, свой слогъ, дать силу безсильному, говорить съ жаромъ о томъ, что́ само въ себѣ не сохраняетъ сильнаго жара: тогда толпа почитателей, толпа народа—на его сторонѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и деньги; или быть вѣрну одной истинѣ: быть высокимъ тамъ, гдѣ высокъ предметъ, быть рѣзкимъ и смѣлымъ, гдѣ истинно рѣзкое и смѣлое, быть спокойнымъ и тихимъ, гдѣ не кипитъ происшествіе. Но въ этомъ случаѣ—прощай, толпа! ея не будетъ у него, развѣ когда самый предметъ, изображаемый имъ, уже такъ великъ и рѣзокъ, что не можетъ не произвесть всеобщаго энтузіазма“. Ниже онъ заключаетъ статью словами: „Но, увы! это неотразимая истина: что чѣмъ болѣе поэтъ становится поэтомъ, чѣмъ болѣе изображаетъ онъ чувства, знакомыя однимъ поэтамъ, тѣмъ замѣтнѣе уменьшается кругъ

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 211.

обступившей его толпы, и, наконецъ, такъ становится тѣсенъ, что онъ можетъ перечесть по пальцамъ всѣхъ своихъ истинныхъ цѣнителей". И здѣсь Гоголь, какъ всегда, остается вполнѣ самостоятельнымъ въ своихъ сужденіяхъ, не слушая толковъ никакого общепризнаннаго ареопага. „Мнѣ всегда было странно слушать"—говорилъ онъ—„сужденія многихъ, слывущихъ знатоками и литераторами, которымъ я болѣе довѣрялъ, покамѣстъ еще не слышалъ ихъ толковъ о небольшихъ поэтическихъ произведеніяхъ. Эти мелкія сочиненія можно назвать пробнымъ камнемъ, на которомъ можно испытывать вкусъ и эстетическое чувство разбирающаго ихъ критика". Эти толки заурядныхъ литераторовъ, какъ извѣстно, были Гоголемъ потомъ охарактеризованы въ „Театральномъ Разъѣздѣ". Во всю жизнь свою Гоголь исключительно дорожилъ мнѣніемъ Пушкина и, можетъ быть, нѣкоторыхъ членовъ пушкинскаго кружка, напр. Жуковскаго. По словамъ всѣхъ знавшихъ Гоголя, онъ ставилъ гораздо выше мнѣнія обыкновенныхъ людей, какихъ-нибудь узкихъ спеціалистовъ, нежели толки литераторовъ. Сужденія же толпы воспроизводятся имъ не только въ „Театральномъ Разъѣздѣ", но и въ другихъ произведеніяхъ, напр. въ „Портретѣ", гдѣ напр. квартальный, по-своему любившій оцѣнивать произведенія искусства, совѣтуетъ отнести тѣнь „куда-нибудь въ другое мѣсто", такъ какъ подъ носомъ слишкомъ видное мѣсто, а домохозяинъ высказываетъ согласіе повѣсить „на стѣну генерала со звѣздой, или князя Кутузова портретъ" и негодуетъ на Черткова за то, что онъ „вонъ мужика нарисовалъ, мужика въ рубахѣ"...

Такимъ образомъ, задолго до „Мертвыхъ Душъ", Гоголь касался столь занимавшаго его впослѣдствіи вопроса объ изображеніи обыденной стороны жизни. Высказаннымъ здѣсь принципамъ Гоголь оставался вѣренъ и впослѣдствіи, но одно изображеніе пошлости никогда не удовлетворяло его, и въ немъ постоянно жило стремленіе къ чему-то высокому, исключительному, подъ вліяніемъ котораго поэтъ создавалъ себѣ свой собственный идеальный міръ.

Несомнѣнно, что вопросы объ искусствѣ были для Гоголя всегда не только однимъ предметомъ отвлеченнаго, теоретическаго интереса; такими они дѣйствительно были и остались для него въ сферѣ живописи, музыки, скульптуры; но все, что̀ касается области слова и особенно поэзіи, имѣло всегда

для него значеніе близкое, первостепенное, захватывающее. Въ статьѣ о Пушкинѣ впервые были имъ высказаны взгляды на художественное творчество, и замѣчательно, что въ нихъ Гоголь обсуждаетъ вопросъ не со стороны, какъ присяжный литературный критикъ, но говоритъ преимущественно то, что̀ имѣло въ его глазахъ самое близкое къ нему и обширное значеніе и болѣе или менѣе, хотя бы косвеннымъ образомъ, относилось къ его трудамъ или къ созданіямъ наиболѣе дорогихъ для него писателей.

Тонко оцѣнивъ художественныя красоты „Бориса Годунова“ Пушкина, Гоголь былъ сильно возмущенъ невниманіемъ къ этому произведенію со стороны публики и такихъ литераторовъ, какъ Кукольникъ, и тогда же, въ недавно изданномъ отрывкѣ: „Борисъ Годуновъ“, сдѣлалъ попытку охарактеризовать нелѣпые толки профановъ, какъ позднѣе онъ повторилъ это въ болѣе совершенномъ видѣ въ „Портретѣ“ [1]) и наконецъ въ „Театральномъ Разъѣздѣ“. Такимъ образомъ уже тогда былъ сдѣланъ первый шагъ къ созданію этихъ произведеній. Кромѣ того, въ статьѣ о Пушкинѣ мы встрѣчаемъ слѣдующія строки, показывающія, что идея „Портрета“ созрѣвала въ умѣ Гоголя одновременно съ статьей о Пушкинѣ, т. е. въ 1832 г.: „Масса публики, представляющая въ лицѣ своемъ націю, очень странна въ своихъ желаніяхъ; она кричитъ: изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинѣ, представь дѣла нашихъ предковъ въ такомъ видѣ, какъ они были“. Но попробуй поэтъ, послушный ея велѣнію, изобразить все въ совершенной истинѣ и такъ, какъ было, она тотчасъ заговоритъ: „это вяло, это слабо, это нехорошо, это ни мало не похоже на то, что̀ было“. *Масса народа похожа въ этомъ случаѣ на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ совершенно похожій; но горе ему, если онъ не умѣлъ скрыть всѣхъ ея недостатковъ*“ [2]). Основываясь на поразительномъ совпаденіи мыслей, заключающихся въ этихъ строкахъ, съ главной идеей „Портрета“, а также на томъ внѣшнемъ, повидимому незначительномъ обстоятельствѣ, что оба произведенія слѣдуютъ одно за другимъ въ той же самой записной тетради Гоголя, мы имѣемъ, ка-

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 209.

[2]) Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 209—210.

жется, несомнѣнное право сдѣлать заключеніе о существованіи между ними внутренней, органической связи. Съ другой стороны, повѣсти „Портретъ“ и „Невскій Проспектъ“, написанныя почти одновременно, въ свою очередь связаны одной общей нитью, представляя одна—художника-идеалиста, гибнущаго отъ полнаго незнакомства съ пошлостью обыденной жизни, другая—художника, погибающаго отъ поглощенія этою самою пошлостью его высшихъ стремленій. Къ этимъ двумъ произведеніямъ мы теперь и обратимся.

II.

Въ обѣихъ повѣстяхъ, какъ „Портретъ“, такъ и „Невскій Проспектъ“, прежде всего обращаетъ на себя вниманіе самый выборъ сюжета и главныхъ дѣйствующихъ лицъ.

Появленіе художниковъ въ качествѣ героевъ обѣихъ повѣстей, принадлежащихъ къ одному и тому же времени, никакъ нельзя считать случайнымъ совпаденіемъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, необходимо обратить вниманіе на значительную близость Гоголя въ первые годы его петербургской жизни къ кружку художниковъ, посѣщавшихъ классы академіи художествъ. Любовь къ рисованію, замѣтно проявлявшаяся еще въ Гоголѣ-ребенкѣ, съ новой силой заговорила въ немъ тотчасъ по пріѣздѣ въ столицу, гдѣ онъ получалъ возможность на досугѣ иногда заниматься любимымъ искусствомъ подъ руководствомъ опытныхъ и свѣдущихъ людей; въ тяжелое время своей департаментской службы Гоголь находилъ иногда часы для посѣщенія музеевъ и картинныхъ галлерей. Страсть ко всему изящному была въ немъ очень сильна еще въ юности: по свидѣтельству Данилевскаго, во время своей первой заграничной поѣздки Гоголь накупилъ множество разныхъ небольшихъ, но чрезвычайно изящныхъ и красивыхъ вещей, которыя особенно пришлись ему по вкусу; извѣстно также, что онъ жадно присматривался за-границею къ произведеніямъ архитектуры и наслаждался живописью и величественной музыкой католическихъ храмовъ. Вскорѣ у него сложились опредѣленные взгляды и симпатіи въ сферѣ изящнаго, но особенно онъ восторгался готической архитектурой, какъ это видно изъ его статьи: „Объ архитектурѣ нынѣшняго вре-

мени“ [1]). По возвращеніи въ Петербургъ, при его живомъ интересѣ къ искусству, онъ, конечно, нерѣдко посѣщалъ Эрмитажъ и выставки академіи художествъ и, наконецъ, въ свободное время поспѣшилъ воспользоваться возможностью продолжать свои любимыя занятія живописью. Общая страсть скоро сблизила его съ петербургскими художниками. Хотя отношенія Гоголя въ этой сферѣ намъ неизвѣстны, за исключеніемъ развѣ знакомства его съ Брюлловымъ [2]), и, можетъ быть, даже ни съ кѣмъ изъ художниковъ Гоголь не былъ связанъ особой пріязнью, но сочувствіе его этой горсти честныхъ тружениковъ, поклонниковъ искусства, скромно уединившихся въ своихъ бѣдныхъ студіяхъ отъ бѣшеной суеты многолюдной столицы,—не подлежитъ сомнѣнію. Во всякомъ случаѣ кругъ этотъ былъ достаточно извѣстенъ Гоголю и онъ относился къ нему совершенно иначе, нежели къ прозаической толпѣ петербургскихъ чиновниковъ, полицейскихъ и военныхъ.

Лѣтомъ 1830 года Гоголь по три раза въ недѣлю отправлялся въ пять часовъ вечера въ академію художествъ для занятій живописью и оставался тамъ часа два. Впечатлѣнія, вынесенныя имъ отъ знакомства съ міромъ художниковъ, были таковы: „Не говоря уже объ ихъ талантѣ“,— писалъ Гоголь матери:—„нельзя отказаться отъ нихъ навѣки! Какая скромность при величайшемъ талантѣ! Объ чинахъ и въ поминѣ нѣтъ, хотя нѣкоторые изъ нихъ статскіе и даже дѣйствительные статскіе совѣтники“ [3]). Въ самомъ дѣлѣ, въ тѣ времена это что-нибудь значило. Такое же выгодное мнѣніе о художникахъ отразилось и въ произведеніяхъ Гоголя.

Въ „Невскомъ Проспектѣ“ Гоголь даетъ подробную характеристику петербургскаго художника и его обстановки, и видно, что жизнь художника и бытъ его были ему хорошо извѣстны. „Это исключительное сословіе“,—говоритъ Гоголь,—„очень необыкновенное въ томъ городѣ, гдѣ все или чиновники, или купцы, или ремесленники-нѣмцы. Это былъ художникъ. Не правда ли, странное явленіе—художникъ въ землѣ снѣговъ, въ странѣ финновъ, гдѣ все мокро, гладко, ровно,

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. V, стр.213—234.
[2]) „Историч. Вѣстникъ“, 1881, 1, стр. 135—138.
[3]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 115.

блѣдно, сыро и туманно". При этомъ противоположеніи художниковъ почти всему остальному населенію Петербурга нѣтъ никакого сомнѣнія, на чьей сторонѣ симпатія автора, и это немедленно подтверждается дальнѣйшимъ изложеніемъ. „У нихъ всегда почти на всемъ сѣренькій, мутный колоритъ— неизгладимая печать сѣвера. При всемъ томъ они съ истиннымъ наслажденіемъ трудятся надъ своей работой. Они часто питаютъ въ себѣ истинный талантъ, и еслибы только дунулъ на нихъ свѣжій воздухъ Италіи, онъ бы, вѣрно, развился такъ же вольно, широко и ярко, какъ растеніе, которое выносятъ, наконецъ, изъ комнаты на чистый воздухъ" [1]).

Желая воплотить въ художественный образъ торжество суровой дѣйствительности надъ восторженной юношеской идеализаціей, Гоголь представляетъ въ „Невскомъ Проспектѣ" обаятельный образъ разукрашенной пылкимъ юношескимъ воображеніемъ прекрасной женщины какимъ-то лживымъ, обманчивымъ призракомъ, скрывающимъ за собой довольно пошлое и совсѣмъ не поэтическое содержаніе. Его собственныя прежнія горячія мечты, подъ вліяніемъ которыхъ онъ создалъ своихъ граціозныхъ Пидорку, Ганну и Оксану, теперь, повидимому, представляются ему прекраснымъ сномъ, отъ котораго онъ пробудился, и возвращеніе къ которому болѣе невозможно. Въ „Невскомъ Проспектѣ" молодую, очаровательную своей красотой женщину ставитъ на пьедесталъ уже не авторъ, а мечтатель-художникъ, неисправный идеалистъ, грёзы котораго не имѣютъ ровно ничего общаго съ жалкой дѣйствительностью. Художникъ Пискаревъ полнъ восторговъ безкорыстнаго юношескаго увлеченія, высоко цѣнимаго Гоголемъ: сила его впечатлительности далеко превосходитъ впечатлительность обыкновенныхъ людей. Это натура избранная. Вѣдь и его, какъ Гоголя, влекутъ къ себѣ тѣ стороны женской красоты, которыя могутъ возбуждать чисто-художественное наслажденіе. „Боже! какія божественныя черты!" [2]) восклицаетъ Пискаревъ, увидя очаровавшую его брюнетку. „Ослѣпительной бѣлизны прелестнѣйшій лобъ осѣненъ былъ прекрасными, какъ агатъ, волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть ихъ, падая изъ-подъ шляпки,

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 258—259.
[2]) Тамъ же, стр. 259.

касалась щеки, тронутой свѣжимъ, тонкимъ румянцемъ, проступившимъ отъ вечерняго холода. Уста были замкнуты цѣлымъ роемъ прелестнѣйшихъ грёзъ. Все, что остается отъ воспоминанія о дѣтствѣ, что даетъ мечтаніе и тихое вдохновеніе при свѣтящейся лампадѣ,—все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось въ ея гармоническихъ устахъ“ [1]). Во всемъ этомъ описаніи нельзя не замѣтить чего-то общаго со статьей Гоголя „Женщина“. И здѣсь, и тамъ мы замѣчаемъ совершенно одинаковое чисто художническое благоговѣніе передъ женской красотой. Это наслажденіе, когда-то и еще не очень давно такъ близкое и родное Гоголю, теперь наблюдается имъ со стороны, какъ фантастическая утопія человѣка не отъ міра сего, настолько далекаго отъ познанія жизни, насколько самъ Гоголь въ періодъ „Вечеровъ на Хуторѣ“ въ этомъ отношеніи отстоялъ отъ будущаго Гоголя, творца „Миргорода“ и „Арабесокъ“. Впечатлительность Пискарева представлена съ необычайной яркостью; но особенно искусно изобразилъ Гоголь недовѣріе художника-идеалиста къ его собственнымъ впечатлѣніямъ, слишкомъ чудовищнымъ, слишкомъ возмутительнымъ для того, чтобы ихъ приняла чистая душа неиспорченнаго юноши. „Нѣтъ, это фонарь обманчивымъ свѣтомъ своимъ выразилъ на лицѣ ея подобіе улыбки; нѣтъ, это собственныя мечты его смѣются надъ нимъ. Но дыханіе занялось въ его груди, все въ немъ обратилось въ неопредѣленный трепетъ, всѣ чувства его горѣли и все передъ нимъ окинулось какимъ-то туманомъ; тротуаръ несся подъ нимъ, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мостъ растягивался и ломался на своей аркѣ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка валилась къ нему навстрѣчу, и алебарда часового, вмѣстѣ съ золотыми словами вывѣски и нарисованными ножницами, блестѣла, казалось, на самой рѣсницѣ его глазъ“ [2]). Гоголь, очевидно, имѣлъ намѣреніе выразить въ своемъ героѣ не просто пылкій порывъ обыкновеннаго юноши, но исключительный идеализмъ высшей натуры. Поэтому въ Пискаревѣ, можетъ быть, слѣдуетъ видѣть, не копію, основанную на наблюденіи надъ другими, а скорѣе отраженіе собственнаго былого очарованія. Пискаревъ „не

[1]) Стр. 259.
[2]) Стр. 260.

чувствовалъ никакой земной мысли; онъ не былъ разогрѣтъ пламенемъ земной страсти,—нѣтъ, онъ былъ въ эту минуту чистъ и непороченъ, какъ дѣвственный юноша, еще дышащій *неопредѣленной духовной потребностью любви*“ [1]). Эту „духовную потребность любви“, какъ извѣстно, всего лучше удалось Гоголю изобразить въ Андріи, одной изъ самыхъ привлекательныхъ и поэтическихъ личностей въ его произведеніяхъ. Гоголь, въ силу своей южной натуры, всегда представлялъ себѣ любовь пламенною, готовою сразу и безъ сожалѣнія пожертвовать всѣмъ, все поставить на карту. Передъ такой любовью не устоитъ ничего; все самое священное въ мірѣ готовъ отдать за нее человѣкъ, и отдать безъ малѣйшаго колебанія. Такъ Андрій говоритъ у него: „А что мнѣ отецъ, товарищи и отчизна?“ и пр., и послѣ этого авторъ патетически прибавляетъ: „И погибъ казакъ! пропалъ для всего казацкаго рыцарства!“ [2]) Такая любовь, горячая, безумная, страстная, по представленію Гоголя, можетъ вести только къ гибели [3]), и дѣйствительно, она является у Гоголя исключительно источникомъ страданій, началомъ паденія, ведущаго къ смерти физической и духовной. Въ одномъ письмѣ къ Данилевскому Гоголь называетъ это чувство „сильнымъ и свирѣпымъ энтузіазмомъ, потрясающимъ надолго весь организмъ человѣка“. Про себя Гоголь говоритъ Данилевскому, что онъ, благодаря судьбѣ, любви не испыталъ. „Я потому говорю *благодаря*“,—прибавляетъ онъ въ поясненіе,—„что это пламя меня бы превратило въ прахъ въ одно мгновеніе“ [4]).

Женщина въ дѣйствительности и въ мечтѣ неиспорченнаго юноши—по нынѣшнему мнѣнію Гоголя—два разныхъ существа, нисколько не похожія другъ на друга. И вотъ Гоголь, вслѣдъ за изображеніемъ чистой страсти идеалиста, рисуетъ, можетъ быть, съ цѣлью произвести особенно потрясающее впечатлѣніе ужаснымъ контрастомъ, презрѣнный притонъ разврата и, не удовлетворяясь этимъ, заставляетъ своего героя

---

[1]) Стр. 261.

[2]) Т. I, стр. 306.

[3]) Ср. у Скабичевскаго (сочиненія, т. II, стр. 681).—Г. Скабичевскій усматриваетъ у Гоголя архаическій взглядъ на любовь, принадлежащій къ тѣмъ вѣкамъ, когда въ женщинѣ „видѣли сосудъ діавола, а въ плотской любви гибельное „сатанинское прельщеніе“.

[4]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 165.

вторично вернуться туда, чтобы предложить несчастной жертвѣ соблазна руку помощи и воскресить ее къ новой разумной жизни, но вмѣсто того испытать убійственное поруганіе надъ своимъ святымъ чувствомъ. Это поразительное сопоставленіе чистаго энтузіазма съ мертвящею пошлостью ясно указываетъ на совершившійся въ Гоголѣ со времени „Вечеровъ“ нравственный переворотъ, послѣ котораго въ мірѣ Божіемъ, представлявшемся ему чуднымъ художественнымъ созданіемъ, отъ него уже не были скрыты многочисленные, встрѣчающіеся въ немъ, язвы и изъяны. Мысль Гоголя не можетъ легко мириться съ тѣмъ поруганіемъ женщины, которое хладнокровно и съ спокойной совѣстью совершается въ жизни на каждомъ шагу. Въ этомъ случаѣ въ немъ говоритъ чуткая душа художника. „Въ самомъ дѣлѣ“, — писалъ онъ, — „никогда жалость такъ сильно не овладѣваетъ нами, какъ при видѣ красоты, тронутой тлетворнымъ дыханіемъ разврата. Пусть бы еще безобразіе дружилось съ нимъ, но красота, красота нѣжная... Она только съ одной непорочностью и чистотой сливается въ нашей мысли“ [1]). И въ самомъ дѣлѣ, въ „Вечерахъ на Хуторѣ“ образы Параски, Пидорки, Ганны и Оксаны свободны отъ всего пошлаго, отъ какого-либо представленія о грязномъ развратѣ. Гоголь отъ глубины души возмущался тѣмъ, что „женщина, эта красавица міра, вѣнецъ творенія, обратилась въ какое-то странное, двусмысленное существо“; но въ то же время неумолимый анализъ заставлялъ его видѣть въ этомъ прежнемъ своемъ кумирѣ такія черты, которыя разрушили все былое очарованіе („Она раскрыла свои хорошенькія уста и стала говорить что-то, но все это было такъ глупо, такъ пошло“) [2]). Мечта художника ставитъ ужаснувшую его своимъ позоромъ женщину въ различныя положенія: она представляется ему то въ мирной семейной сферѣ, то въ обществѣ, и рисуется въ такихъ привлекательныхъ образахъ, которые создаетъ его сладостная поэтическая греза, но увы! эта женщина-идеалъ является не въ дѣйствительности, но въ прекрасномъ и мгновенномъ сновидѣніи мечтателя... Пискаревъ видитъ цѣлый рядъ сновъ, и въ каждомъ изъ нихъ женщина увѣнчана ореоломъ обаянія и высочайшей нравственной кра-

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 263.
[2]) Тамъ же.

соты, тогда какъ на самомъ дѣлѣ она является слишкомъ обыденнымъ существомъ, а въ „Невскомъ Проспектѣ“—даже презрѣнной жертвой разврата. Чѣмъ болѣе въ представленіи Гоголя женщина лишалась чудной поэтической окраски, тѣмъ болѣе ее украшала его *мечта* лаврами недосягаемаго физическаго и нравственнаго совершенства.

III.

Другую, болѣе широкую идею хотѣлъ выразить Гоголь въ „Невскомъ Проспектѣ“, — печальную идею о торжествѣ въ жизни начала пошлаго надъ возвышеннымъ, благороднымъ и честнымъ. Это горькое убѣжденіе, вынесенное авторомъ изъ горькаго опыта жизни, проявляется различнымъ образомъ, но съ одинаковой силой, въ „Невскомъ Проспектѣ“ и „Портретѣ“. Въ послѣднемъ Гоголь, очевидно, хотѣлъ выразить какъ свои мысли объ искусствѣ и о томъ, какъ слѣдуетъ служить ему, такъ и показать гибельное столкновеніе между пошлостью свѣта и самыми прекрасными, самыми святыми идеалами юноши-художника.

Въ исправленной редакціи остается та же мысль, что̀ и въ первоначальной, но существенно измѣнены нѣкоторыя, впрочемъ довольно важныя, подробности. Такъ, самый портретъ въ первоначальной редакціи имѣетъ мистическое значеніе, аналогичное съ тѣмъ, которое приписывается обыкновенно сверхъестественной силѣ; этотъ страшный, демоническій ростовщикъ исполняетъ здѣсь назначеніе обольстителя, развращающаго молодого человѣка приманками богатства и почестей. Въ исправленной редакціи смыслъ въ этомъ отношеніи значительно измѣненъ: портретъ служитъ тамъ единственно механическимъ источникомъ обогащенія, не развратившимъ неопытнаго художника, но только давшимъ ему случай и возможность пойти по той дорогѣ, о которой онъ мечталъ и раньше. Отсюда замѣтное различіе въ подробностяхъ: въ самомъ началѣ повѣсти, оставшемся почти безъ измѣненій въ исправленномъ изданіи, о Чертковѣ сказано: „Старая шинель и нещегольское платье показывали въ немъ того человѣка, который съ самоотверженіемъ преданъ былъ своему труду, и не имѣлъ времени заботиться о своемъ нарядѣ, всегда имѣющемъ таинственную привлекательность для

молодежи“ [1]). Въ этомъ изображеніи мы можемъ узнать отголосокъ мнѣнія Гоголя о художникахъ-идеалистахъ, о которыхъ онъ такъ сочувственно отозвался въ письмѣ къ матери. Въ исправленномъ изданіи эти строки удержаны вполнѣ, хотя съ ослабленіемъ въ немъ, подъ вліяніемъ указаній критики, фантастическаго элемента: вступленіе художника на скользкій путь моднаго живописца, главнымъ образомъ, объясняется уже задатками его собственной натуры, въ которой именно весьма сильно естественное желаніе юноши широко пользоваться жизнью. Какъ бы забывая о приведенныхъ выше строкахъ, цѣликомъ внесенныхъ изъ первоначальнаго эскиза повѣсти, Гоголь далѣе говоритъ: „Иногда нашему художнику, точно, хотѣлось кутнуть, *щегольнуть*, — словомъ, кое-гдѣ показать свою молодость, *но при всемъ томъ онъ могъ взять надъ собою власть. Временами* онъ могъ позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался отъ нея не иначе, какъ отъ прекраснаго, прерваннаго сна“ [2]). Но все это и слѣдующее затѣмъ мѣсто, внесенное Гоголемъ въ позднѣйшую редакцію, уже существенно измѣняетъ самую постановку вопроса, и намъ кажется, что, строго говоря, слова: „Чертковъ *съ самоотверженіемъ былъ преданъ своему труду* и не имѣлъ времени заботиться о своемъ нарядѣ“, въ позднѣйшей редакціи не вполнѣ согласны съ послѣдующимъ изложеніемъ. По крайней мѣрѣ тамъ, только-что получивъ чудесно доставшіяся ему деньги, Чертковъ немедленно спѣшитъ ихъ употребить прежде всего на свой костюмъ, о которомъ, надо полагать, онъ не слишкомъ мало заботился, если, получивъ деньги, онъ тотчасъ же устремился накупить духовъ, помады да „купилъ *нечаянно* въ магазинѣ дорогой лорнетъ, *нечаянно накупилъ тоже бездну всякихъ галстуховъ, болѣе чѣмъ было нужно, завилъ у парикмахера себѣ локоны*“ и проч. Гоголь даже прямо говоритъ въ исправленной редакціи: „*Прежде всего* зашелъ къ портному, одѣлся съ ногъ до головы и, какъ ребенокъ, сталъ осматривать себя безпрестанно“. Ниже мы укажемъ причину, вслѣдствіе которой, по нашему мнѣнію, Гоголь допустилъ эти перемѣны; теперь отмѣтимъ только, что въ первоначальной редакціи, напротивъ, *ничего* не говорится о страсти Черткова къ нарядамъ. Тамъ

[1]) Соч. Гог., изд. X. т. II, стр. 30.
[2]) Стр. 35.

Гоголь хотѣлъ изобразить въ немъ только столь сочувственную ему прыть молодого человѣка, о которомъ онъ выражается такъ: „Нѣсколько червонцевъ въ карманѣ—и что̀ не во власти исполненной силъ юности! Притомъ русскій человѣкъ, *а особливо дворянинъ или художникъ*, имѣетъ странное свойство: какъ только завелся у него въ карманѣ грошъ — ему все трынъ-трава и море по колѣна“ [1]). Въ устахъ Гоголя послѣднія слова имѣютъ сочувственное значеніе, и въ этой „широтѣ натуры“ онъ не могъ отказать симпатичному для него типу художника. Зато въ исправленной редакціи нѣтъ уже этой поэтической стороны, а выставлена вмѣсто нея, безъ сомнѣнія осуждаемая авторомъ, пошлость: „Вино нѣсколько зашумѣло въ головѣ, и онъ вышелъ на улицу живой, бойкій, по русскому выраженію—„чорту не братъ“. Прошелся по тротуару гоголемъ, *наводя на всѣхъ лорнетъ*. На мосту замѣтилъ онъ своего прежняго профессора и *шмыгнулъ мимо мимо его*, какъ бы не замѣтивъ его вовсе“ [2]), и проч. Итакъ, въ позднѣйшей редакціи Чертковъ представленъ уже далеко не такимъ самоотверженнымъ, служащимъ только возвышеннымъ идеаламъ художникомъ, но, напротивъ, такимъ, въ которомъ сильно борются готовность служить Богу и мамонѣ, пока, наконецъ, не одерживаетъ верхъ послѣдняя. Недаромъ въ исправленной редакціи введено лицо профессора, который давно замѣчалъ въ Чертковѣ наклонность къ щегольству и опасался за гибель его таланта. „Берегись, тебя ужъ начинаетъ свѣтъ *тянуть;* ужъ, я вижу, *у тебя иной разъ на шеѣ щегольской платокъ, шляпа съ лоскомъ*“ [3]).

Мы останавливаемся на этихъ мелочахъ съ тѣмъ, чтобы указать нѣкоторыя соображенія, дающія ключъ къ объясненію перемѣнъ, сдѣланныхъ Гоголемъ въ позднѣйшей редакціи повѣсти. Такъ, отмѣченная нами перемѣна, пока совершенно внѣшняя, какъ намъ кажется, объясняется притокомъ новыхъ впечатлѣній, испытанныхъ Гоголемъ въ Римѣ, гдѣ онъ, кромѣ извѣстнаго Иванова и немногихъ другихъ, встрѣчалъ преимущественно глубоко несимпатичныхъ ему, мало развитыхъ, но чрезмѣрно самонадѣянныхъ русскихъ художниковъ, пенсіонеровъ академіи художествъ. Слѣды этихъ новыхъ впечат-

[1]) Т. V, стр. 169.
[2]) Т. II, стр. 47.
[3]) Т. II, стр. 35.

лѣній сильно замѣтны въ повѣсти: въ самомъ дѣлѣ, все мѣсто, въ которомъ Гоголь говоритъ о художественныхъ сужденіяхъ юнаго Черткова, о непониманіи имъ Рафаэля, хотя онъ увлекался Гвидо и Тиціаномъ,—все это было результатомъ позднѣйшаго близкаго знакомства Гоголя съ великими мастерами Италіи и съ сужденіями о нихъ жившихъ въ Римѣ художниковъ. Между прочимъ удержана одна черта, списанная съ натуры: разбогатѣвшій и вошедшій въ славу Чертковъ отзывается съ презрѣніемъ о предшественникахъ Рафаэля, которые будто бы писали „не фигуры, а селедки“ [1]). По свидѣтельству О. Н. Смирновой, эти именно слова принадлежали одному изъ художниковъ, жившихъ въ Римѣ [2]); кромѣ того, есть и въ перепискѣ Гоголя явные слѣды его презрѣнія къ ихъ неосновательному самомнѣнію. „Ты спрашиваешь о художникахъ русскихъ“,—писалъ онъ Данилевскому:—„Я, право, ихъ почти не вижу. А Дурнова твоего если гдѣ увижу, право, тошнитъ. Что̀ за народъ! Каневскій, Никитинъ, Ефимовъ! ужасъ какая тоска! И всякій изъ нихъ увѣренъ отъ души, что имѣетъ много таланту“. Или: „Дурновъ мнѣ надоѣлъ страшнымъ образомъ тѣмъ, что ругаетъ совершенно наповалъ все, что̀ ни находится въ Римѣ“...[3])

Мы сказали, что въ гибели Черткова есть несомнѣнное сходство съ гибелью Пискарева: и въ томъ, и въ другомъ идеализмъ не выдерживаетъ роковой встрѣчи съ развращающимъ свѣтомъ. Но кромѣ этого Гоголь имѣлъ въ виду въ „Портретѣ“ при случаѣ высказать свои взгляды объ искусствѣ. Взгляды эти съ теченіемъ времени частью уяснились и расширились, частью измѣнились. Въ этомъ исправленная редакція уже замѣтно и существенно отличается отъ первоначальной. Въ послѣдней Гоголь хотѣлъ высказать, во-первыхъ, что истинный жрецъ искусства долженъ ставить служеніе ему выше всѣхъ земныхъ соблазновъ и обольщеній; что только тѣ таланты могутъ найти истинную дорогу, которые стойко выдержатъ всѣ жизненныя испытанія; что все, что̀ кажется такимъ естественнымъ и вылившимся прямо изъ души художника, повидимому доставшееся ему безъ труда

[1]) Т. II, стр. 56.

[2]) „Указатель къ письмамъ Гоголя“, I изд., стр. 40, примѣч.

[3]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 364 и 324—325, также 321.

въ сущности требуетъ упорныхъ и самоотверженныхъ усилій; что художникъ не можетъ пренебречь своимъ талантомъ безъ угрызеній совѣсти, такъ какъ на немъ лежитъ серьезная нравственная отвѣтственность, наконецъ, что въ искусствѣ существуетъ извѣстный предѣлъ въ приближеніи художника къ дѣйствительности, перейдя который, по мнѣнію Гоголя, онъ уже перестаетъ создавать достойные его кисти образы и впадаетъ въ посредственность. „Какая странная, какая непостижимая задача! [1]) Или для человѣка есть такая черта, до которой доводитъ высшее познаніе искусства, и черезъ которую шагнувъ, онъ уже похищаетъ несоздаваемое трудомъ человѣка, онъ вызываетъ что-то живое изъ жизни, одушевляющей оригиналъ. Отчего же этотъ переходъ за черту, положенную границею для воображенія, такъ ужасенъ? Или за воображеніемъ, за порывомъ слѣдуетъ, наконецъ, дѣйствительность,— та ужасная дѣйствительность, на которую соскакиваетъ воображеніе съ своей оси какимъ-то постороннимъ толчкомъ,— та ужасная дѣйствительность, которая представляется жаждущему ея тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружается анатомическимъ ножомъ, раскрываетъ его внутренность и видитъ отвратительнаго человѣка? Или черезъ-чуръ близкое подражаніе природѣ такъ же приторно, какъ блюдо, имѣющее черезъ-чуръ сладкій вкусъ". Эти мысли въ исправленной редакціи перенесены въ измѣненномъ видѣ во вторую часть повѣсти, гдѣ онѣ высказаны устами самого художника, написавшаго портретъ и признавшагося потомъ сыну, что онъ былъ „бездушно вѣренъ природѣ" [2]), вслѣдствіе чего приведенное выше разсужденіе автора въ первой части также нѣсколько передѣлано. Со временемъ, подъ вліяніемъ обстоятельствъ жизни писателя и особенно толковъ, возбужденныхъ выходомъ въ свѣтъ „Ревизора", эта идея получила дальнѣйшее развитіе, и тогда начали постепенно вырабатываться позднѣйшіе взгляды Гоголя на творчество, выраженные имъ въ „Мертвыхъ Душахъ", „Развязкѣ Ревизора" и „Театральномъ Разъѣздѣ", гдѣ Гоголь разъясняетъ значеніе „презрѣннаго и ничтожнаго" въ творчествѣ и „неизмѣримую пропасть между созданіемъ и простой копіей съ при-

[1]) Т. V, стр. 159.
[2]) Т. II, стр. 83.

роды". Но это сличеніе уже сдѣлано Н. С. Тихонравовымъ въ его прекрасныхъ и обстоятельныхъ примѣчаніяхъ [1]).

Укажемъ еще нѣсколько отличій первоначальнаго текста отъ исправленнаго. Желая, согласно указаніямъ критики, ослабить фантастическій элементъ повѣсти, Гоголь сглаживаетъ между прочимъ случайность въ самомъ нахожденіи чудеснаго портрета въ мелкой картинной лавочкѣ. Исправленная редакція, въ противоположность первоначальной, заботясь почти всюду устранить сверхъестественное сцѣпленіе происшествій, какъ бы заранѣе предупреждаетъ читателя о возможности подобной находки размышленіемъ Черткова („Художникъ думалъ втайнѣ: „Авось что-нибудь и отыщется". Онъ *не разъ слышалъ разсказы* о томъ, какъ иногда у лубочныхъ продавцовъ были отыскиваемы въ сору картины великихъ мастеровъ") [2]). Соотвѣтственно этому также въ исправленной редакціи читаемъ дальше такія строки: „Въ воображеніи его воскресли вдругъ всѣ исторіи о кладахъ, шкатулкахъ съ потаенными ящиками" [3]) и проч. Затѣмъ совершенно выпущенъ разсказъ объ импровизированномъ аукціонѣ въ картинной лавочкѣ между Чертковымъ и его неожиданнымъ соперникомъ, но онъ замѣненъ сходнымъ описаніемъ во второй части (послѣ словъ: „Аукціонъ, казалось, былъ въ самомъ разгарѣ"). Зато внесено вновь изображеніе чувствъ и размышленій художника послѣ неожиданной для него самого покупки портрета, описаніе лѣстницы, „облитой помоями и украшенной слѣдами кошекъ и собакъ", всей обстановки Черткова и проч. Нѣкоторыя изъ этихъ подробностей въ сходномъ видѣ встрѣчались уже въ другихъ повѣстяхъ, написанныхъ не позже исправленной редакціи, напр., описаніе черной лѣстницы въ „Шинели", также разговоръ Черткова съ слугой напоминаетъ отчасти сходныя сцены въ „Женитьбѣ" и „Игрокахъ" (Гоголь, напримѣръ, чрезвычайно удачно схватилъ обычный характеръ отвѣтовъ многихъ слугъ съ ихъ равнодушнымъ лаконизмомъ и привычкой объявлять о самомъ важномъ только въ концѣ доклада, и проч.). Фантастическое появленіе изображеннаго на портретѣ Петромихали передъ кроватью Черткова въ позднѣйшей редакціи замѣнено мастерскимъ изображеніемъ

[1]) Т. II, стр. 588 и слѣд.
[2]) Т. II, стр. 31.
[3]) Стр. 45.

сна послѣдняго(въ первоначальномъ эскизѣ фантастическій элементъ введенъ сознательно и намѣренно). Этотъ безсвязный, тревожный сонъ, какъ извѣстно, смѣняется непріятнымъ пробужденіемъ, и смѣна грезъ впечатлѣніями дѣйствительности нарисована чрезвычайно живо, но особенно замѣчательно изображеніе свѣта луны, „несущаго съ собой бредъ мечты и облекающаго все въ иные образы, противоположные положительному дню". Въ „Невскомъ Проспектѣ", написанномъ около того же времени, находимъ сходныя описанія („Онъ лжетъ во всякое время, этотъ Невскій Проспектъ, но болѣе всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжетъ на него и отдѣлитъ бѣлыя и палевыя стѣны домовъ, когда весь городъ превратится въ громъ и блескъ, миріады каретъ валятся съ мостовъ, форейторы кричатъ и прыгаютъ на лошадяхъ, *и когда самъ демонъ зажигаетъ лампы для того только, чтобы показать все не въ настоящемъ видѣ*") [1]). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ позднѣйшая редакція представляетъ просто распространеніе или сокращеніе первоначальной. Такъ слова: „какое-то дикое чувство, не страхъ, но то неизъяснимое ощущеніе, которое мы чувствуемъ при появленіи странности, представляющей безпорядокъ природы,—это самое чувство заставило вскрикнуть почти всѣхъ" (при взглядѣ на портретъ) — замѣнены описаніемъ испуга женщины, воскликнувшей: „глядитъ! глядитъ!" [2]).

Вторая часть „Портрета" въ исправленной редакціи немногимъ отличается отъ первоначальной; только въ началѣ, когда неизвѣстный художникъ приступаетъ къ разсказу объ исторіи портрета, по первоначальной редакціи, „аукціонъ еще не начинался", а въ исправленной, напротивъ, послѣ того какъ въ первой части была выпущена сцена импровизированнаго аукціона въ лавочкѣ на Щукиномъ дворѣ, представилась возможность перенести ее въ измѣненномъ видѣ во вторую часть.

Описаніе Коломны является въ повѣсти явно эпизодической частью, въ сущности даже мало связанной съ главнымъ изложеніемъ, что́ невольно наводитъ на мысль, не составляло ли оно первоначально отдѣльный отрывокъ, подобно тому,

[1]) Т. II, 38 и т. V, 161, 286; т. II, стр. 41 и т. V, стр. 259.
[2]) Т. V, стр. 158—159 и т. II, стр. 32.

какъ другіе такіе же отрывки представляются намъ въ описаніи Невскаго проспекта въ началѣ повѣсти этого названія и въ позднѣйшей сравнительной характеристикѣ Москвы и Петербурга. Фактъ внесенія этого эпизода въ повѣсть и притомъ именно въ разсказъ неизвѣстнаго художника представляетъ, по нашему мнѣнію, нѣкоторую натяжку со стороны автора. На это отчасти указываютъ слова художника: „*Я для того привелъ это,* чтобы показать вамъ, какъ часто этотъ народъ находится въ необходимости искать одной только внезапной, временной помощи“ [1]). Такая характеристика, какъ напр.: „Тутъ совершенно другой свѣтъ, и, въѣхавши въ уединенныя коломенскія улицы, вы, кажется, слышите, какъ оставляютъ васъ всѣ молодые желанія и порывы. Здѣсь все тишина и отставка. Здѣсь все, что̀ осѣло отъ движенія столицы“,—имѣетъ себѣ соотвѣтствующее мѣсто въ характеристикѣ Невскаго проспекта. („Едва только взойдешь на Невскій проспектъ, какъ уже пахнетъ однимъ гуляньемъ“ [2]), и проч.). Весьма возможно, что Гоголь сначала имѣлъ въ виду представить живую характеристику разныхъ частей Петербурга и связать ихъ потомъ въ одну яркую картину, но послѣ оставилъ эту мысль и воспользовался готовымъ матеріаломъ для новыхъ повѣстей. Иначе къ чему бы предлагать нетерпѣливо ожидающимъ разсказа слушателямъ обстоятельную характеристику той части города, которая едва-ли можетъ быть совершенно неизвѣстна петербуржцу, хотя Гоголь и заставилъ разсказчика начать такъ: „*Безъ сомнѣнія, немногимъ изъ васъ хорошо извѣстна* та часть города, которую называютъ Коломной“. Замѣчательно притомъ, что въ исправленной редакціи разсказчикъ говоритъ напротивъ: „*Вамъ извѣстна та часть города*“ [3])... Укажемъ еще нѣсколько сходныхъ чертъ въ „Портретѣ“ и „Невскомъ Проспектѣ“ съ другими произведеніями Гоголя.

Подобно разнымъ бѣсовскимъ подаркамъ въ „Вечерахъ на Хуторѣ“, и волшебный портретъ въ повѣсти этого названія не погибаетъ, когда его хотятъ истребить; такъ, когда отецъ разсказчика бросилъ его въ огонь, то портретъ вскорѣ снова очутился передъ нимъ (см. первонач. редакцію); точно

[1]) Т. II, стр. 69.
[2]) Т. II, стр. 67 и т. V, стр. 251.
[3]) Т. V, стр. 180 и т. II, стр. 67.

также портретъ причиняетъ неисчислимый вредъ всѣмъ, кому попадетъ въ руки. Здѣсь, наконецъ, въ заключеніи повѣсти уже сказались задатки будущаго религіозно-мистическаго настроенія Гоголя: онъ прямо утверждалъ, что „въ отвратительныхъ живыхъ глазахъ удержалось бѣсовское чувство“, и есть такія патетическія восклицанія, какъ напр.: „Горе, сынъ мой, бѣдному человѣчеству!“ [1]) Отмѣтимъ еще, что въ исправленной редакціи есть также весьма любопытныя строки, представляющія намекъ на гоненія литературы и искусствъ послѣ паники, наступавшей въ разныя времена вслѣдъ за революціями, и по этому поводу въ разсказѣ появляется мимоходомъ, какъ и въ прежнихъ повѣстяхъ, личность императрицы Екатерины Второй („Во всѣхъ сочиненіяхъ вельможа сталъ видѣть дурную сторону, толковать криво всякое слово. Тогда на бѣду случилась французская революція“... „Государыня замѣтила, что не подъ монархическимъ правленіемъ угнетаются высокія, благородныя движенія души“ [2]) и проч.).

Изъ петербургскихъ типовъ, надъ изображеніемъ которыхъ всего охотнѣе работала фантазія Гоголя въ первые годы его жизни въ столицѣ, можно отмѣтить прежде всего типъ пустого, самодовольнаго фата, занятаго собой и своими успѣхами или положеніемъ въ обществѣ. Таковы поручикъ Пироговъ въ „Невскомъ Проспектѣ“ и маіоръ Ковалевъ въ „Носѣ“ (позднѣе—Собачкинъ и, наконецъ, Хлестаковъ); типъ ремесленника (Иванъ Яковлевичъ въ „Носѣ“ и Петровичъ въ „Шинели“); наконецъ типъ недобросовѣстнаго и небрежнаго полицейскаго, который, вмѣсто того, чтобы оказать должное содѣйствіе прибѣгающимъ къ его помощи, дѣйствуетъ уклончиво и, обращая вниманіе на постороннія дѣлу обстоятельства, не скупится на дерзкіе упреки (такъ, маіору Ковалеву частный, почти не выслушавъ его, заявляетъ, что „у порядочнаго человѣка не оторвутъ носа“; Акакію Акакіевичу частный не только не показалъ никакого участія, но еще пустился разспрашивать, зачѣмъ онъ поздно воротился и не былъ ли въ непорядочномъ домѣ, а будочникъ, видѣвшій, какъ его грабили, хладнокровно отвѣтилъ, что онъ думалъ, будто его остановили пріятели) [3]).

---

[1]) Т. V, стр. 195.
[2]) Т. II, стр. 70 - 71.
[3]) Т. II, стр. 17, 105, 106.

Въ заключеніе отмѣтимъ въ „Портретѣ“, „Невскомъ Проспектѣ“ и „Носѣ“ нѣкоторые пріемы, впервые появившіеся теперь у Гоголя, но повторявшіеся и въ позднѣйшихъ произведеніяхъ. Такова восклицательная форма рѣчи въ юмористическихъ описаніяхъ, встрѣчающаяся также въ „повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ (напр.: „Создатель, какіе странные характеры встрѣчаются на Невскомъ проспектѣ!“ „Боже, какія есть прекрасныя должности и службы! какъ онѣ возвышаютъ и услаждаютъ душу!“ „А какіе встрѣтите вы дамскіе рукава на Невскомъ проспектѣ!“ Ср. въ „Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“: „Господи Боже! какая бездна тонкости бываетъ у человѣка! Нельзя разсказать, какое пріятное впечатлѣніе производятъ такіе поступки!“ [1]). Въ „Портретѣ“ хвастовство важными знакомыми домохозяина, у котораго нанималъ квартиру Чертковъ, напоминаетъ такое же хвастовство маіора Ковалева въ „Носѣ“ [2]). Въ „Невскомъ Проспектѣ“ находимъ также пріемы, встрѣчающіеся позднѣе въ „Мертвыхъ Душахъ“; напр. въ перечисленіяхъ: „Одинъ показываетъ щегольской сюртукъ съ лучшимъ обломъ, другой—греческій прекрасный носъ, третій несетъ превосходныя бакенбарды, четвертая—пару хорошенькихъ глазокъ и удивительную шляпку, пятый—перстень съ талисманомъ на щегольскомъ мизинцѣ, шестая—ножку въ очаровательномъ башмачкѣ, седьмой — галстухъ, возбуждающій удивленіе, осьмой—усы, повергающіе въ изумленіе“ и проч. Ср. въ „Мертвыхъ Душахъ“: „У всякаго есть свой задоръ: у одного задоръ обратился на борзыхъ собакъ; другому кажется, что онъ сильный любитель музыки и удивительно чувствуетъ всѣ глубокія мѣста въ ней; третій мастеръ лихо пообѣдать; четвертый сыграть роль, хоть однимъ вершкомъ повыше той, которая ему назначена; пятый, съ желаніемъ болѣе ограниченнымъ, спитъ и грезитъ о томъ, какъ бы пройтись на гуляньѣ съ флигель-адъютантомъ, напоказъ своимъ пріятелямъ, знакомымъ и даже незнакомымъ; шестой ужъ одаренъ такой рукой, которая чувствуетъ желаніе сверхъестественное заломить уголъ какому-нибудь бубновому тузу

[1]) Т. I, стр. 426—427; т. V, стр. 253 и 254.
[2]) Т. II, 21 и 43.

и двойкѣ, тогда какъ рука седьмого такъ и лѣзетъ произвести гдѣ-нибудь порядокъ“ [1]) и проч.

IV.

Одновременно съ обращеніемъ Гоголя отъ свѣтлаго міра юношескихъ грезъ къ сухой и черствой житейской прозѣ мы замѣчаемъ соотвѣтствующую перемѣну и въ сферѣ фантастическихъ образовъ, создаваемыхъ богатой творческой силой его генія. Какъ извѣстно, область фантастическаго занимаетъ весьма видное мѣсто въ его созданіяхъ. Какъ ни странно могло бы показаться это въ такомъ великомъ художникѣ-реалистѣ, Гоголь всегда или долго имѣлъ болѣе или менѣе сильную склонность къ таинственному и волшебному, такъ что въ значительной части его произведеній этотъ элементъ играетъ важную роль, и даже въ сюжетѣ „Мертвыхъ Душъ“ иные не безъ основанія находили что-то фантастическое. Такое присутствіе въ Гоголѣ постояннаго стремленія въ міръ чудеснаго на ряду съ величайшей способностью изображать повседневную жизнь никакъ не можетъ быть объясняемо исключительно внѣшними причинами, какъ напримѣръ вліяніемъ родной украинской поэзіи и впечатлѣніями дѣтства; несомнѣнно напротивъ, что оно имѣло болѣе глубокіе корни въ самомъ психическомъ складѣ этой богато одаренной натуры. Особенное значеніе въ данномъ случаѣ, конечно, необходимо приписать сильному возбужденію дѣятельности воображенія, такъ неутомимо работавшаго въ дни юности Гоголя.

Но характеръ фантастическихъ образовъ въ произведеніяхъ Гоголя постепенно мѣняется соотвѣтственно его духовному росту и происходившимъ въ немъ внутреннимъ перемѣнамъ. Въ раннюю пору юности фантазія Гоголя была настроена свѣтло и радостно, что неизбѣжно должно было отразиться на характерѣ его чудныхъ грезъ въ „Вечерахъ на Хуторѣ“, грезъ, плѣнительныхъ свѣжестью и нѣжнымъ благоуханіемъ этихъ раннихъ, роскошныхъ цвѣтовъ его творчества. Обаятельная веселость автора имѣла тогда своимъ источникомъ безграничную вѣру въ собственныя силы и въ

[1]) Очень часто встрѣчаются также въ разныхъ произведеніяхъ Гоголя насмѣшки надъ щепетильностью должностныхъ лицъ и учрежденій относительно изображенія ихъ въ литературѣ (т. II, стр. 7, 17, 85 и проч.).

свѣтлую звѣзду счастія, манившую его въ безпредѣльный просторъ жизни, а также и упоеніе тѣми осязательными успѣхами, которые давали ему отрадное чувство нравственнаго самоудовлетворенія. Охлаждающія юношескій пылъ неудачи, дрязги и мелочи обыденной колеи еще не успѣли подорвать въ Гоголѣ его лучшія мечты, и постепенное разставаніе съ ними совершалось не безъ внутренней борьбы. Напротивъ, въ часы горя и грусти Гоголь, какъ будто на зло ненавистной судьбѣ, долго сохранялъ счастливую способность находить убѣжище отъ смрадной дѣйствительности въ неистощимомъ калейдоскопѣ чудныхъ созданій своего генія.

Въ „Авторской Исповѣди“ Гоголь прямо объясняетъ происхожденіе своихъ первыхъ произведеній тѣмъ, что на него „находили припадки тоски“, и что для того, „чтобы развлекать себя самого, онъ придумывалъ все смѣшное, что только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ смѣшные лица и характеры, поставлялъ ихъ мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего, и кому отъ этого выйдетъ какая польза. Молодость, во время которой не приходятъ на умъ никакіе вопросы, подталкивала“ [1]).

Такъ было вначалѣ, когда потребность время отъ времени переноситься отъ скучной дѣйствительности въ міръ привлекательныхъ фантастическихъ грезъ была особенно сильна въ Гоголѣ. Она удовлетворяла тогда его жаждѣ къ прекрасному и освѣжала его духъ, утомленный впечатлѣніями обыденной жизни. Чѣмъ глубже западали въ его душу тяжелые осадки, захваченные со дна мутнаго теченія наблюдаемой имъ жизни, тѣмъ громче говорило страстное желаніе отдохнуть отъ нихъ, забыться среди создаваемыхъ его пылкимъ воображеніемъ картинъ. Гоголь находилъ наслажденіе погружаться на нѣкоторое время въ поэтическую музыку очаровательныхъ образовъ, и пока беззаботно рисовалъ въ своемъ представленіи обаятельныя картины природы, плѣнительныхъ дѣвушекъ, дорогія, при всемъ своемъ комизмѣ, стороны роднаго украинскаго быта. Точно такъ же и въ его историческихъ изученіяхъ всегда выступали на первый планъ съ одной стороны заманчивыя своей таинственностью, а съ другой—поражающія

[1]) Соч. Гог., изд. X. т. IV. стр. 248.

воображеніе грандіозностью и величіемъ эпохи крестовыхъ походовъ, быстраго возрастанія политическаго могущества и мгновеннаго расцвѣта образованности арабской. Хотя въ послѣднемъ случаѣ мы указываемъ примѣръ, повидимому, не прямо подтверждающій склонность Гоголя къ фантастическому, такъ какъ примѣръ этотъ взятъ изъ области исторіи; но не слѣдуетъ забывать, что Гоголь былъ всего менѣе историкомъ и что при занятіяхъ исторіей въ немъ всегда сказывался прежде всего художникъ, и притомъ художникъ, способный интересоваться въ наукѣ особенно тѣмъ, что, благодаря густому туману вѣковъ, давало приволье пылкому воображенію, не охотно мирившемуся съ скучными, прозаическими интересами повседневной жизни.

Но годы шли, и жизнь налагала на Гоголя свою тяжелую руку: полетъ фантазіи, наиболѣе свободной по самой сущности отъ суроваго давленія будничной прозы, тѣмъ не менѣе неизбѣжно отражаетъ всѣ колебанія и перемѣны въ духовной жизни человѣка. Особенно слѣдуетъ признать роковую власть надъ создаваемыми ею образами со стороны господствующаго настроенія извѣстной личности въ данное время. Только тогда возможно созданіе такихъ чудныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ наивныхъ образовъ разныхъ нечистыхъ и колдуновъ,—въ томъ родѣ, какъ мы видимъ это въ „Вечерахъ на Хуторѣ“,—когда на душѣ еще нѣтъ тяжелаго груза заботъ, и сохраняется неприкосновеннымъ юношескій вкусъ къ сказочнымъ, эффектнымъ сюжетамъ. Со временемъ все это исчезаетъ и понемногу замѣняется стремленіемъ къ возстановленію душевнаго равновѣсія, нарушеннаго житейской сутолокой, въ направленіи болѣе близкомъ къ той самой удручающей будничной прозѣ, отъ которой не можетъ совсѣмъ укрыться поэтъ въ чудномъ мірѣ своихъ завѣтныхъ мечтаній. Существенная разница заключается здѣсь въ томъ, что юношескія грезы фантазіи Гоголя были гораздо дальше отъ дѣйствительной жизни, что въ нихъ въ самомъ дѣлѣ можно было почерпнуть отраду и освѣженіе; тогда какъ позднѣе онѣ теряютъ свою кристальную чистоту, загрязняемыя цѣпкой тиной повседневныхъ мелочей. Ростъ художественнаго творчества Гоголя обнаруживался больше всего въ прогрессѣ неподражаемаго искусства улавливать и передавать незамѣтныя для другихъ, но весьма характерныя черты явленій окружающей жизни; но чѣмъ ярче и

выпуклѣе становилось это изображеніе, тѣмъ больше исчезалъ тотъ наивный фантастическій колоритъ, которымъ были окрашены его первыя созданія, и въ самую сферу изображенія таинственнаго и чрезвычайнаго все больше проникалъ все тотъ же назойливый и грустный элементъ обыденной житейской прозы.

Это мы видимъ еще въ повѣсти „Вій", гдѣ, по тонкому замѣчанію г. Анненскаго, автора статьи „О формѣ фантастическаго у Н. В. Гоголя", „Гоголь съ рѣдкимъ мастерствомъ поставилъ въ центръ страховъ именно такого равнодушнаго человѣка, какъ Хома Брутъ, ибо надо было много ужасовъ, чтобы доканали они Хому Брута, и поэтъ могъ развернуть передъ своимъ героемъ всю страшную цѣпь чертовщины" [1]). Положимъ, что собственно черта эта встрѣчается и прежде въ творчествѣ Гоголя: слѣдуетъ вспомнить особенно „Заколдованное Мѣсто" и „Пропавшую Грамату"; но въ „Віи" гораздо больше вполнѣ реальныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ исполненныхъ юмора бытовыхъ картинъ. Творческое воспроизведеніе жизни замѣтно растетъ здѣсь въ ширь и въ глубь и охватываетъ собою не одного человѣка или одинъ только случай, а цѣлую группу лицъ и довольно сложную фабулу; но чѣмъ сложнѣе и рельефнѣе рисунокъ Гоголя, тѣмъ увѣреннѣе вступаетъ въ свои права его художественный реализмъ. Нѣтъ нужды, что фантастическая канва въ повѣсти „Вій" несравненно богаче, нежели, напр., въ „Заколдованномъ Мѣстѣ", и что вымыселъ разукрашенъ здѣсь болѣе яркими и прихотливыми узорами, но въ сущности ростъ реализма становится не менѣе явнымъ, нежели ростъ фантастическаго элемента.

Г. Анненскій очень удачно характеризуетъ личность Хомы Брута въ слѣдующихъ строкахъ: „Хома Брутъ молодецъ, сильный, равнодушный, безпечный, любитъ плотно поѣсть и пьетъ весело и добродушно. Онъ человѣкъ прямой: хитрости у него, когда онъ, напримѣръ, хочетъ отпроситься отъ своего дѣла или бѣжать, довольно наивныя. Онъ и лжетъ-то, какъ-то не стараясь; въ немъ нѣтъ экспансивности — онъ слишкомъ лѣнивъ даже для этого". Всю эту совершенно вѣрную характеристику можно въ значительной степени примѣнить и къ личности дѣда нѣкоторыхъ разсказовъ въ „Вечерахъ

[1]) „Русская Школа", 1890, X, стр. 102.

на Хуторѣ"; но здѣсь какъ сюжетъ, такъ и психологическая сторона повѣсти гораздо ярче, глубже и совершеннѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ равномѣрной степени возвысился и интересъ бытовой и описательный. „Величайшее мастерство Гоголя"—говоритъ все тотъ-же цитированный нами авторъ—„выказалось въ той постепенности, съ которой намъ сообщается въ разсказѣ таинственное: оно началось съ полукомической прогулки на вѣдьмѣ и правильное развитіе дошло до ужасной развязки смерти сильнаго человѣка отъ страха. Поэтъ заставляетъ насъ переживать шагъ за шагомъ съ Хомой всѣ ступени развитія этого чувства. При этомъ Гоголю было на выборъ два пути: можно было идти аналитически—говорить о душевномъ состояніи героя, или синтетически—говорить образами. Онъ выбралъ второй путь: душевное состояніе своего героя онъ объективировалъ, а работу аналитическую предоставилъ читателю" [1]).

Тотъ же авторъ даетъ еще болѣе подробную характеристику постепеннаго усиленія чувства страха въ читателяхъ этой повѣсти: „Начиная съ момента, когда сотникъ послалъ въ Кіевъ за Хомой, *даже комическія сцены* (напр., въ бричкѣ) *не веселы*, потомъ идетъ сцена съ упрямымъ сотникомъ, его страшныя проклятія, красота мертвой, толки дворни, дорога до церкви, запертая церковь, лужайка передъ ней, залитая луной, тщетныя старанія себя ободрить, которыя только сильнѣе развиваютъ чувство страха, болѣзненное любопытство Хомы, мертвая грозитъ пальцемъ... Весьма напряженное чувство нѣсколько отдыхаетъ за день. Вечеромъ тяжелыя предчувствія, ночью—новые ужасы. Вамъ кажется, что уже всѣ ужасы исчерпаны, но поэтъ находитъ новыя краски, т. е. не новыя—онъ сгущаетъ прежнія" [2]).

До такой степени искусства возвышается здѣсь Гоголь! но здѣсь же мы находимъ кульминаціонный пунктъ его творчества въ области фантастическаго,—по крайней мѣрѣ въ прежнемъ вкусѣ; послѣ этого наступаетъ поворотъ въ другую сторону.

Самая страсть къ фантастическому начинаетъ ослабѣвать

[1]) „Русская Школа", 1890, X, стр, 102.

[2]) Мы желали бы вообще обратить вниманіе читателей на эту маленькую, но живую и дѣльную статейку г. Анненскаго, прошедшую, къ сожалѣнію, совершенно незамѣченной.

въ Гоголѣ и временами уступаетъ мѣсто чистѣйшему реализму. Въ „Миргородѣ“ впервые являются повѣсти, совершенно свободныя отъ фантастическаго элемента (если не считать въ „Вечерахъ на Хуторѣ“ неоконченную повѣсть объ Иванѣ Ѳеодоровичѣ Шпонькѣ и его тетушкѣ). Такою повѣстью были „Старосвѣтскіе Помѣщики“ и затѣмъ поэма „Тарасъ Бульба“, которая, какъ мы старались это показать въ предыдущемъ изложеніи, какъ бы поглощаетъ въ себя все бытовое и историческое въ повѣсти „Страшная Месть“, оставляя міръ таинственныхъ страховъ и фантастическихъ приключеній на долю повѣсти „Вій“. Въ „Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ опять нѣтъ фантастическаго элемента, хотя и встрѣчаются несомнѣнныя уклоненія въ сторону условной, а не фотографической правды, и наконецъ то же самое находимъ потомъ въ повѣстяхъ „Носъ“, „Портретъ“, „Невскій Проспектъ“, „Шинель“, а вмѣстѣ съ тѣмъ во всѣхъ названныхъ петербургскихъ повѣстяхъ есть также и прямо фантастическій элементъ. На этомъ теперь и остановимся.

Въ петербургскій періодъ Гоголь почти совершенно утратилъ способность и желаніе давать волю прихотливому полету фантазіи и развлекать себя свѣтлыми образами и картинами, и если онъ еще отдавался по временамъ затѣйливой игрѣ представленій, придумывая смѣшныя сцены и положенія, то это была уже работа воображенія совершенно иного рода; здѣсь не было уже никакого отраднаго чувства, ничего волшебнаго и обаятельнаго. Самый вымыселъ получалъ теперь характеръ черезчуръ обыденный и сѣрый, нисколько не заслоняя собой поразительнаго реализма общаго содержанія тѣхъ повѣстей, въ которыя его вводитъ авторъ. Въ повѣсти „О томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ встрѣчаются мелкіе фантастическіе штрихи, предназначенные единственно для усиленія комизма; но въ петербургскихъ повѣстяхъ они достигаютъ до предѣловъ цѣлыхъ невѣроятныхъ эпизодовъ или даже составляютъ преобладающее содержаніе цѣлаго произведенія, какъ мы видимъ это особенно въ повѣсти „Носъ“.

„Есть мнѣніе очень распространенное“,—говоритъ г. Анненскій,—„что „Носъ“ есть шутка своеобразной авторской фантазіи и авторскаго остроумія. Оно невѣрно, потому что

въ разсказѣ можно усмотрѣть опредѣленную художественную цѣль—заставить людей почувствовать окружающую ихъ пошлость. „Фантастическое является здѣсь для того, чтобы служить цѣлямъ все болѣе торжествующаго реализма“. Собственно говоря, именно въ наиболѣе проникнутыхъ суровымъ реализмомъ повѣстяхъ, какъ напр. въ „Шинели“, мы особенно часто встрѣчаемъ мелкое неправдоподобіе, или, вѣрнѣе, условное правдоподобіе; но, пораженные яркостью и правдивостью цѣлой картины, мы этого не замѣчаемъ. Никто, конечно, не могъ бы поставить автору въ упрекъ невѣроятный подборъ именъ, какія попадались священнику передъ крещеніемъ Акакія Акакіевича, тѣмъ болѣе, что поэтъ несомнѣнно руководился здѣсь тонкимъ художественнымъ разсчетомъ, изображая гоненіе судьбы на бѣднаго будущаго титулярнаго совѣтника, начавшееся съ самаго появленія его на свѣтъ. Тѣмъ не менѣе, не составляя нисколько нарушенія истиннаго реализма, такія мелкія отступленія отъ требованій фотографической правды встрѣчаются нерѣдко въ петербургскихъ повѣстяхъ Гоголя. Внѣшнее неправдоподобіе сюжета въ „Носѣ“ имѣло, конечно, второстепенное, такъ сказать, служебное значеніе, давая возможность автору сосредоточить вокругъ разсказа о вымышленномъ происшествіи изображеніе пошлости въ разныхъ слояхъ петербургскаго населенія. Благодаря этому обстоятельству, автору въ небольшой повѣсти удается обрисовать характеръ понятій и интересовъ петербургскихъ мастеровыхъ, полицейскихъ, различныхъ подонковъ чиновничьяго и даже газетнаго міра, пошлую пустоту и жалкій уровень развитія женскаго круга въ низшихъ слояхъ общества, и проч. Все это было предметомъ усиленнаго изученія Гоголя въ началѣ 30-хъ годовъ, когда подъ вліяніемъ сходныхъ наблюденій онъ написалъ „Женитьбу“, „Утро дѣлового человѣка“, „Отрывокъ“, и проч.

Въ самомъ дѣлѣ, нельзя отрицать, что въ данномъ отношеніи повѣсть „Носъ“ представляетъ извѣстное сходство съ комедіями Гоголя, хотя вниманіе читателя здѣсь сосредоточено преимущественно на главномъ фантастическомъ приключеніи; отдѣльныя же лица, кромѣ майора Ковалева и цырюльника Ивана Яковлевича, обрисованы только вскользь. Вся проза уличной толкотни безучастнаго и сухого равнодушія къ нуждамъ ближняго со стороны мелкихъ представи-

телей оффиціальнаго міра, комическая безполезность совѣтовъ и сожалѣній, въ случаѣ какой-нибудь бѣды, совѣтовъ, не помогающихъ горю и не выводящихъ изъ затруднительнаго положенія,—начиная съ равнодушнаго доклада слуги о томъ, что полицеймейстера нѣтъ дома и кончая комическимъ совѣтомъ доктора Ковалеву положить носъ въ банку со спиртомъ, а мѣсто, гдѣ онъ былъ, обмывать холодной водой;—все это до избитой и жалкой казенщины выраженій пошлыхъ людей, даже о такихъ высокихъ и серьезныхъ предметахъ, какъ польза отечества и польза юношества; все это является снова воспроизведеннымъ позднѣе въ болѣе полномъ и яркомъ видѣ въ повѣсти „Шинель".

Въ „Невскомъ Проспектѣ" и въ „Шинели" авторъ пользуется фантастическимъ элементомъ явно для того, чтобы дать отдыхъ отъ гнетущаго чувства грусти какъ себѣ, такъ и читателямъ. Для этой цѣли авторъ какъ бы позволяетъ фантазіи насильственно разорвать преграду, отдѣляющую дѣйствительность отъ міра желаній. Такой же смыслъ можно признать за фантастическимъ элементомъ въ повѣсти „Портретъ", съ той, однако, существенной оговоркой, что въ послѣдней въ отличіе отъ обѣихъ ранѣе названныхъ повѣстей, желанія героя устремлены не на предметы вопіющей нужды или настоятельной нравственной потребности, а на пустую приманку богатства и роскоши.

Въ заключеніе настоящей главы позволимъ себѣ сдѣлать нѣсколько дополнительныхъ замѣчаній, касающихся повѣсти „Шинель", хотя принадлежащей къ сравнительно позднѣйшему времени творчества Гоголя, но времени еще не выясненному съ полной точностью.

Въ этой повѣсти, проникнутой глубокой грустью автора и оставляющей положительно самое тяжелое впечатлѣніе изо всѣхъ произведеній Гоголя, мы встрѣчаемъ изображеніе частью сходныхъ предметовъ и лицъ, какіе уже были описаны въ повѣсти „Носъ". Здѣсь передъ нами, между прочимъ, открывается тотъ же міръ мастеровыхъ, полицейскихъ и мелкихъ чиновниковъ. Но при этомъ чисто внѣшнемъ сходствѣ,—не входя въ подробный разборъ основной идеи обоихъ произведеній, такъ какъ это завлекло бы насъ слишкомъ далеко,—мы должны отмѣтить существенную разницу между обѣими повѣстями, заключающуюся въ томъ, что всѣ подробности раз-

сказа въ „Шинели“ гораздо сосредоточеннѣе сгруппированы около личности Акакія Акакіевича и случившагося съ нимъ печальнаго происшествія. Здѣсь, между прочимъ, наиболѣе ярко обрисована отталкивающая пошлость мелкаго чиновничьяго міра и его мертвое равнодушіе къ нуждамъ ближняго и къ собственнымъ профессіональнымъ обязанностямъ. При этомъ чрезвычайно характерно и заслуживаетъ вниманія массовое, такъ сказать, гуртовое изображеніе чиновниковъ: мимоходомъ живо представленъ жалкій уровень ихъ развитія, ихъ обыденный бытъ и привычки, усвоенные ими пріемы въ обращеніи съ просителями, ихъ любимыя развлеченія и интересы; но *никто*, кромѣ главнаго героя, не выдѣляется ни одна чиновничья личность. Чиновники всѣ сразу выступаютъ на сцену и одновременно сходятъ съ нея по требованію нити разсказа, передъ пропажей новой шинели, въ день общаго торжества у одного изъ начальниковъ. Всѣ лица, кромѣ героя повѣсти и портного Петровича, выведены затѣмъ, чтобы раскрыть съ художественной полнотой мысль, намѣченную въ словахъ: „какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной, образованной свѣтскости и, Боже! даже въ томъ человѣкѣ, котораго свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ“ [1]). Автора поразили въ жизни не только случаи безпощаднаго гоненія судьбы на жалкихъ и беззащитныхъ людей, но и тупая, безсознательная жестокость иногда повидимому, или даже и въ самомъ дѣлѣ, не злыхъ людей, по разнымъ мелкимъ побужденіямъ дѣлающихся ея орудіемъ въ преслѣдованіи какой-нибудь несчастной жертвы и безсознательно принимающихъ на себя роль гонителей и палачей. Мы желали бы обратить вниманіе въ разсматриваемой повѣсти также и на эту сторону ея идеи, заслоняемую обыкновенно для большинства читателей и даже критиковъ плачевной судьбой главнаго героя. Еще прежде, напр., въ повѣсти „Носъ“ и во многихъ другихъ случаяхъ, Гоголь слегка затрогивалъ уже данный вопросъ, не обращая, впрочемъ, пока на него особаго вниманія; но въ „Шинели“ эта мысль получаетъ бо́льшую опредѣленность и значеніе, какъ и самыя краски сгущены въ ней сильнѣе. Здѣсь мы снова находимъ тѣ же безполезные совѣты домовой хозяйки

---

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 88.

и одного изъ товарищей Акакія Акакіевича, порекомендовавшаго ему обратиться за содѣйствіемъ къ значительному лицу.

Что̀ касается фантастическаго конца разсказа, то его, конечно, требовало до послѣдней степени напряженное чувство состраданія и грусти, выразившееся въ словахъ: „исчезло и скрылось существо, никѣмъ не защищенное, никому не дорогое" и проч.[1]).

Наконецъ никогда не исчезающая потребность прибѣгать къ мечтѣ и къ воображаемымъ свѣтлымъ образамъ для того, чтобы сколько-нибудь забыться отъ гнетущаго кошмара тоскливой дѣйствительности и удовлетворить хотя на минуту неискоренимому желанію лучшаго, не сказалась ли и позднѣе въ измышленныхъ воображеніемъ Гоголя не фантастическихъ въ буквальномъ смыслѣ слова, но во всякомъ случаѣ и не реальныхъ личностей нѣкоторыхъ героевъ второго тома „Мертвыхъ Душъ?"

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 111.

ПОѢЗДКА ГОГОЛЯ ВЪ МОСКВУ И НОВЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ЗНАКОМСТВА.

I.

Лѣтомъ 1832 года въ жизни Гоголя произошли два довольно крупныхъ событія: во-первыхъ, возвращеніе на родину послѣ долгой отлучки и, во-вторыхъ, начало знакомства съ цѣлымъ рядомъ близкихъ ему впослѣдствіи московскихъ литераторовъ и ученыхъ. Въ числѣ послѣднихъ Гоголю удалось въ короткое время сблизиться особенно съ Погодинымъ, Максимовичемъ и Щепкинымъ.

Біографамъ Погодина предстоитъ выяснить подробности и установить даты первыхъ свиданій его съ Гоголемъ. Пока несомнѣнно одно, — что ихъ сближеніе въ значительной степени было обусловлено отношеніями къ Погодину Пушкина, а, можетъ быть, и Максимовича [1]). Кромѣ того, еще раньше, независимо отъ этихъ отношеній, оно было подготовлено искреннимъ благоговѣніемъ Гоголя передъ Погодинымъ, которое выразилось въ фактѣ поднесенія ему и Плетневу incognito по экземпляру „Ганца Кюхельгартена“. Приблизительно оно состоялось между 15 іюня и 7 іюля 1832 г., когда въ дневникѣ Погодина было записано: „Познакомился съ Гоголемъ и имѣлъ случай сдѣлать ему много одолженія“ [2]). По свидѣтельству С. Т. Аксакова [3]), вскорѣ по выходѣ „Вечеровъ на Хуторѣ“ Погодинъ былъ въ Петербургѣ и узналъ настоящее имя автора. Видѣлся ли онъ въ это время съ Го-

1) „Записки о жизни Гоголя“, т. I, 116.

2) „Исторія моего знакомства съ Гоголемъ“ („Русск. Арх.“, 1890, VIII, 5 и „Русь“, 1880, № 4, стр. 16.

3) Н. П. Барсуковъ. „Жизнь и труды Погодина“, т. IV, стр. 113—114.

големъ, Аксаковъ не зналъ положительно; но это казалось весьма вѣроятнымъ, въ виду необычайно быстраго и тѣснаго ихъ сближенія въ короткій, приблизительно трехнедѣльный, срокъ пребыванія Гоголя въ Москвѣ во второй половинѣ іюня и въ началѣ іюля 1832 г., такъ какъ отношенія ихъ успѣли тогда достигнуть той степени короткости, при которой они съ полнымъ основаніемъ могли быть названы пріятельскими. Но, какъ оказывается, остановка Гоголя въ Москвѣ проѣздомъ въ деревню имѣла цѣлью одно только пріобрѣтеніе литературныхъ знакомствъ, а не свиданіе съ людьми, уже прежде извѣстными ему [1]).

Поѣздка въ Малороссію была совершенно импровизированная. Гоголь по обыкновенію съ начала весны сильно тосковалъ въ Петербургѣ, томился отъ постоянныхъ дождей и сырости, съ сожалѣніемъ вспоминалъ о роскоши малороссійской природы, но все-таки крѣпился и вовсе не думалъ ѣхать на родину. Въ одномъ изъ писемъ къ матери, всегда нетерпѣливо желавшей его видѣть, онъ говоритъ, напротивъ, о своемъ предположеніи, лишь только установится сносная погода, переѣхать на дачу. Дача была дѣйствительно нанята [2]), но примѣръ товарищей-нѣжинцевъ, „потянувшихся на лѣто въ Малороссію“ [3]), соблазнилъ Гоголя. Къ крайнему изумленію своего сосѣда по дачѣ, Половинкина, Гоголь однажды неожиданно исчезъ съ только-что нанятой дачи, возмутившись восьмиградусной температурой въ самую лучшую пору лѣта. Рѣшеніе и сборы были быстрые, и вотъ Гоголь съ своимъ

---

[1]) Собственно С. Т. Аксаковъ прямо заявлялъ въ первыхъ строкахъ своего труда: „Исторія моего знакомства съ Гоголемъ“, что „Погодинъ ѣздилъ зачѣмъ-то въ Петербургъ, узналъ тамъ, кто такой былъ „Рудый Панько“, *познакомился съ нимъ* и привезъ извѣстіе, что „Диканьку“ написалъ Гоголь-Яновскій. „И такъ это имя“—прибавляетъ онъ—„было уже намъ извѣстно и драгоцѣнно“. Въ виду этихъ словъ мы первоначально въ своей статьѣ „Н. В. Гоголь въ періодѣ „Арабесокъ и Миргорода“ высказались почти утвердительно въ томъ смыслѣ, что знакомство Гоголя и Погодина должно было состояться еще до пріѣзда перваго въ Москву въ 1832 г.; но теперь приходится нѣсколько измѣнить это мѣсто, такъ какъ послѣ обнародованія г. Барсуковымъ отрывковъ изъ дневника Погодина всего естественнѣе въ данномъ разногласіи отдать преимущество именно этому дневнику передъ сочиненіемъ, воспроизводящимъ по памяти, заднимъ числомъ, давніе факты и событія.

[2]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 156.

[3]) Тамъ же.

нѣжинскимъ товарищемъ Божко двинулся въ давно манившій путь [1]).

Но вмѣсто того, чтобы спѣшить въ Малороссію, онъ засѣлъ въ Москвѣ и вскорѣ писалъ оттуда матери: „Я теперь не увѣренъ, буду ли у васъ или нѣтъ, потому что срокъ моего отпуска недалекъ до своего окончанія и мнѣ нужно будетъ поспѣшить въ Петербургъ“ [2]). Что же удерживало его въ Москвѣ? Очевидно, кромѣ случившагося съ нимъ нездоровья, его новыя отношенія къ названнымъ выше лицамъ. Гоголь язвительно напоминалъ со временемъ Погодину, что начало дружбы было положено послѣднимъ, который прежде началъ говорить ему „ты“; но какъ бы то ни было, у Погодина ему пожилось недурно, и письма, непосредственно слѣдующія за разлукой, показываютъ, что онъ былъ принятъ москвичами съ большимъ радушіемъ. Не только дружески-непринужденный и развязный тонъ этихъ писемъ, но и необычайная для Гоголя откровенность не оставляютъ въ томъ сомнѣнія. Своему новому пріятелю Гоголь говоритъ уже о непрактичности матери и разстройствѣ имѣнія, и даже поручаетъ ему продажу „Вечеровъ на Хуторѣ“. Самыя жалобы на утомительную дорогу, на свое нездоровье и соблазнительный урожай фруктовъ, на шарлатанство и разногласіе докторовъ являются несомнѣннымъ доказательствомъ установившейся между ними короткости, которая доказывается и тѣмъ, что на обратномъ пути изъ Малороссіи Гоголь снова заѣзжалъ въ Москву, а по пріѣздѣ въ Петербургъ его вскорѣ снова тянетъ туда и онъ жалѣетъ, что „не можетъ пріѣхать такъ скоро, какъ бы хотѣлось“ [3]).

Подробности знакомства Гоголя съ Максимовичемъ намъ меньше извѣстны; но между ними несомнѣнно существовало уже съ самаго начала то крѣпкое духовное родство, которое было основано на общей имъ страсти къ Украйнѣ и ея глубоко-поэтическимъ пѣснямъ. Но видѣлись они въ это время слишкомъ мало, на что жалуется Гоголь, говоря: „не досталось намъ ни покалякать о томъ, о семъ, ни помолчать, глядя другъ на друга“ [4]). Не смотря на то, Гоголь тотчасъ вы-

[1]) „Русское Слово“, 1859, I, 85.

[2]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 156.

[3]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 156.

[4]) Тамъ же, стр. 164.—Впрочемъ, г. Пономаревъ, вѣроятно, со словъ са-

звался помогать Максимовичу собственнымъ участіемъ въ собираніи пѣсенъ и изданіе ихъ считаетъ общимъ дѣломъ съ своимъ пріятелемъ. Онъ мечтаетъ о скоромъ свиданіи съ нимъ въ Петербургѣ, пересылаетъ ему записанныя пѣсни, а вскорѣ эта близость и сходные интересы привели ихъ обоихъ къ мысли занять вмѣстѣ профессорскія каѳедры въ Кіевѣ“ [1]).

О первомъ знакомствѣ Гоголя съ Максимовичемъ приведемъ слѣдующія строки г. Кулиша, сообщающаго въ „Запискахъ о жизни Гоголя“ слѣдующій разсказъ, основанный на словахъ самого Максимовича: „На возвратномъ пути изъ родины, Гоголь отыскалъ въ Москвѣ своего земляка М. А. Максимовича, который былъ тогда профессоромъ ботаники при Московскомъ университетѣ. Знакомство ихъ началось съ 1829 года, когда Максимовичъ, посѣтивъ Петербургъ, видѣлъ Гоголя за чаемъ у одного общаго ихъ земляка, гдѣ собралось еще нѣсколько малороссіянъ. По словамъ его, Гоголь ничѣмъ особеннымъ не выдавался изъ круга собесѣдниковъ, и онъ не сохранилъ въ памяти даже наружности будущаго знаменитаго писателя. Гоголь не засталъ Максимовича дóма, и Максимовичъ, узнавъ, что у него былъ авторъ „Вечеровъ на Хуторѣ“, поспѣшилъ къ нему въ гостинницу. Гоголь встрѣтилъ своего гостя, какъ стараго знакомаго, видѣвъ его три года тому назадъ не болѣе, какъ въ продолженіе двухъ часовъ, и Максимовичу стоило большого труда не дать замѣтить поэту, что онъ совсѣмъ его не помнитъ. По словамъ Максимовича, Гоголь былъ тогда хорошенькимъ молодымъ человѣкомъ, въ шелковомъ архалукѣ вишневаго цвѣта. Оба они заняты были въ то время Малороссіею: Гоголь готовился писать исторію этой страны, а Максимовичъ собирался печатать свои „Украинскія народныя пѣсни“, и потому они нашли другъ друга очень интересными людьми“ [2]).

Съ Щепкинымъ Гоголь сразу сталъ на самую дружескую ногу. Поводомъ и ближайшей причиной знакомства было, ко-

---

мого Максимовича, при жизни послѣдняго, относилъ посѣщеніе его Гоголемъ къ обратной поѣздкѣ изъ Малороссіи въ октябрѣ 1832 („Журн. М. Н. Пр.“, 1871).

[1]) Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 192 и слѣд.; „Письма Гоголя къ Максимовичу“, по подлинникамъ изданныя и дополненныя С. И. Пономаревымъ, стр. 4 и слѣд.

[2]) „Записки о жизни Гоголя“, т, I, стр. 116.

нечно, то, что мысли Гоголя были устремлены во время его пріѣзда въ Москву на созданіе комедіи. Для этой цѣли онъ предположилъ побывать у Загоскина и, конечно, не могъ не остановиться на мысли о бесѣдѣ съ Щепкинымъ. Но кромѣ чувства національной симпатіи, его отношенія къ знаменитому московскому артисту опредѣлялись и глубокимъ довѣріемъ къ его опытности, уму и таланту. Какъ непохожи эти два его визита, къ Загоскину и Щепкину! Посредникомъ для знакомства съ Загоскинымъ Гоголь намѣтилъ близкаго къ нему С. Т. Аксакова. Введенный къ послѣднему Погодинымъ, онъ смотрѣлъ на него только какъ на средство, какъ на человѣка, который можетъ быть въ данномъ случаѣ полезенъ, но вообще интереса не представляетъ. Молодому Константину Аксакову и всѣмъ другимъ присутствовавшимъ на первомъ визитѣ Гоголя онъ показался высокомѣрнымъ и небрежнымъ. На восторженныя привѣтствія и на комплименты его сочиненіямъ Гоголь отвѣчалъ холодно и отнесся къ нимъ съ недовѣріемъ, но почти тотчасъ условился съ хозяиномъ относительно совмѣстнаго посѣщенія Загоскина. Такой же дѣловой характеръ имѣло и это свиданіе, хотя ни Аксаковъ, ни Загоскинъ не замѣтили этого, а первый по своей добротѣ и дѣтскому довѣрію къ людямъ,—несмотря на общія увѣренія въ противномъ,—остался при своемъ убѣжденіи, что подозрѣваемой въ Гоголѣ натянутости совсѣмъ и не было и что это такъ только показалось. Аксаковъ не догадался о своей роли даже и тогда, когда Гоголь и во второй приходъ къ нему снова попросилъ его отправиться вмѣстѣ къ Загоскину; онъ уловилъ сразу въ Гоголѣ „что-то плутоватое“; но это было только теоретическое наблюденіе. Личностью Загоскина Гоголь также не былъ нисколько заинтересованъ; но Загоскинъ былъ ему нуженъ, а тому, въ свою очередь, льстило вниманіе восходящаго литературнаго свѣтила. Гоголь же совсѣмъ и не стѣснялся съ нимъ: въ его кабинетѣ онъ не былъ разговорчивъ и послѣ небольшого промежутка, требуемаго приличіемъ, спѣшилъ распроститься съ любезнымъ хозяиномъ, наивно расточавшимъ передъ нимъ неудержимые потоки словъ. Во время бесѣды Гоголь безцеремонно обращался къ разсматриванію книжныхъ шкафовъ, что, впрочемъ, не охлаждало Загоскина, а только поощряло его репетиловскую словоохотливость. Все это было со стороны совер-

шенно ясно Аксакову, который былъ потомъ пораженъ тѣмъ, какъ однимъ взглядомъ Гоголь сумѣлъ оцѣнить невинную суетливость Загоскина, и еще болѣе былъ пораженъ тонкими и основательными его сужденіями о комедіи. Такія воспоминанія, какъ Аксакова, человѣка добросовѣстнаго и вполнѣ интеллигентнаго, драгоцѣнны. Но увы! умный, наблюдательный, онъ при своей голубиной чистотѣ оказался слишкомъ простымъ передъ Гоголемъ!...[1]).

Теперь приведемъ не менѣе любопытный разсказъ Аѳанасьева: „М. С. Щепкинъ и его записки“, о первомъ посѣщеніи Щепкина Гоголемъ [2]).

„Гоголь, желая видѣть знаменитаго артиста, явился къ нему въ домъ и засталъ многочисленное его семейство за обѣдомъ. Онъ вошелъ въ залу съ этими словами малороссійской пѣсни:

„Ходыть гарбузъ по го́роду,
Пытаетця свого роду:
„Чи вы живы, чи здоровы,
Вси родичи гарбузовы“?

„Онъ бывалъ шутливо веселъ, любилъ вкусно и плóтно покушать и нерѣдко бесѣды его съ Михаиломъ Семеновичемъ склонялись на исчисленіе и разборъ различныхъ малороссійскихъ кушаньевъ. Винамъ онъ давалъ названія *квартальнаго* и *городничаго*, какъ добрыхъ распорядителей, устрояющихъ и приводящихъ въ набитомъ желудкѣ все въ должный порядокъ, а жженкѣ, потому что, зажженная, она горитъ голубымъ пламенемъ, давалъ имя Бенкендорфа [3]). „А что?“—говорилъ онъ Щепкину послѣ сытнаго обѣда: — „не отправить ли теперь Бенкендорфа?“—и они вмѣстѣ приготовляли жженку и любовались ея пламенемъ“.

---

[1]) Соч. С. Т. Аксакова, изд. 1886, т. III, стр. 322—325 и „Русь“, 1880, 4; „Русскій Арх.“, 1890, VIII, стр. 5—8. — Со временемъ отношенія Гоголя къ Аксакову измѣнились благодаря привязанности послѣдняго къ великому писателю и сдѣланнымъ ему одолженіямъ; но, по собственному сознанію Гоголя, онъ никогда не любилъ Аксакова настолько, насколько послѣдній любилъ его.

[2]) „Библіотека для Чтенія“, 1864, 2, статья Аѳанасьева: „М. С. Щепкинъ и его записки“, стр. 7.

[3]) Намекъ на голубой мундиръ Бенкендорфа (см. „Русскій Архивъ“, 1890, VIII, 63).

II.

Хотя промедленіе Гоголя въ Москвѣ было вначалѣ вынужденнымъ, но въ общемъ древняя столица оставила въ немъ пріятное воспоминаніе, и временемъ, проведеннымъ тамъ, онъ остался чрезвычайно доволенъ. Конечно, при такомъ короткомъ срокѣ онъ не могъ познакомиться со многими, которыхъ, вѣроятно, посѣтилъ бы при бо́льшемъ досугѣ. Такъ, онъ не видался съ Языковымъ, къ таланту котораго питалъ большое уваженіе. Но онъ не пропустилъ и нѣкоторыхъ литературныхъ тузовъ и счелъ своей обязанностью навѣстить маститаго старца И. И. Дмитріева, можетъ быть, принося дань почтенія его положенію и возрасту. Гоголь написалъ ему потомъ письмо, въ которомъ называлъ его „патріархомъ поэзіи“, и все оно съ начала до конца проникнуто какимъ-то обязательнымъ въ подобныхъ случаяхъ оффиціальнымъ почтеніемъ. Письмо привѣтливое, но безусловно уважительное, до такой степени, при которой исключается возможность вполнѣ искреннихъ отношеній. Пріемъ Дмитріева, очевидно, былъ очень ласковъ и даже вызвалъ вскорѣ прекратившуюся переписку. Дмитріевъ, какъ всегда, показалъ въ полномъ блескѣ свою извѣстную въ свое время въ большомъ свѣтѣ и въ литературномъ кругѣ утонченную любезность. Любопытно при этомъ вспомнить, что въ своихъ письмахъ къ друзьямъ Гоголь нигдѣ ни однимъ словомъ не обмолвился о Дмитріевѣ, хотя часто съ искреннимъ восхищеніемъ говорилъ о Языковѣ. Но это былъ почетный визитъ; главное же значеніе имѣли для Гоголя тѣ, которые могли пригодиться въ его будущихъ отношеніяхъ къ театру, такъ какъ, по выраженію Плетнева, „комедія вертѣлась у него въ головѣ“. „Не знаю“,—говорилъ Плетневъ,— „разродится ли онъ ею нынѣшней зимой; но я ожидаю въ этомъ родѣ отъ него необыкновеннаго совершенства“ [1]). Въ самомъ дѣлѣ, въ противоположность прежнимъ годамъ, когда онъ посвящалъ силы исключительно сочиненіямъ повѣствовательнаго характера, теперь его мысли были сосредоточены на театрѣ. Сознавая силу своей наблюдательности, онъ стремился къ осуществленію въ комедіи своихъ поэтическихъ за-

[1]) Соч. Плетнева, т. III, стр. 522.

мысловъ. При крайней скудости данныхъ о времени созданія каждаго произведенія Гоголя, трудно остановиться на вполнѣ несомнѣнномъ заключеніи въ этомъ случаѣ; но тщательныя разысканія Н. С. Тихонравова наводятъ на предположеніе о томъ, что большинство давно начатыхъ набросковъ на время было теперь отложено Гоголемъ и явилось впослѣдствіи въ новой переработкѣ автора въ „Миргородѣ“ и „Арабескахъ“. Въ 1833 г. онъ писалъ Максимовичу: „у меня есть сто разныхъ началъ, и ни одной повѣсти, ни одного даже отрывка полнаго, годнаго для альманаха“ [1]).

Притокъ пріятныхъ впечатлѣній отъ встрѣченнаго въ Москвѣ теплаго пріема въ значительной мѣрѣ ослаблялъ въ Гоголѣ мрачное настроеніе, порождаемое болѣзнью. Мнительность, никогда не оставлявшая его, рисовала самыя неутѣшительныя картины. Состояніе здоровья казалось ему плачевнымъ; онъ считалъ себя неизлѣчимо больнымъ и готовъ былъ совѣтоваться со всѣми докторами (такъ было, по крайней мѣрѣ, вскорѣ по пріѣздѣ его на родину), хотя по наружности казался свѣжимъ и здоровымъ. Къ счастью, отрекомендованный ему Погодинымъ докторъ Дядьковскій сумѣлъ внушить мнимому больному нѣкоторое довѣріе къ себѣ. Нѣсколько позднѣе, считая состояніе своего здоровья совершенно тождественнымъ съ тѣмъ, какое было у него въ Москвѣ, Гоголь жаловался на него въ такихъ выраженіяхъ: „Иногда мнѣ кажется, будто чувствую небольшую боль въ печенкѣ и спинѣ; иногда болитъ голова, немного грудь“ [2]). Несмотря на все это, Гоголь велъ въ Москвѣ, должно быть, довольно дѣятельную жизнь, судя по количеству сдѣланныхъ имъ знакомствъ, [3]) въ числѣ которыхъ иныя были не совсѣмъ мимолетныя. Такъ онъ успѣлъ замѣтить въ Кирѣевскомъ, что тотъ „при его прекрасномъ умѣ слишкомъ разсѣянно, слишкомъ свѣтски проводитъ время“ [4]), а обо всемъ московскомъ кружкѣ литера-

[1]) „Письма Гоголя къ Максимовичу“, 3—4; „Соч. и письма Гоголя“. т. V. стр. 188.

[2]) См. „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 158.

[3]) Въ свою очередь пріѣздъ Гоголя обратилъ на себя вниманіе вообще литературнаго міра въ Москвѣ, какъ это видно изъ одного неизданнаго письма Языкова, гдѣ было отмѣчено: «Пріѣхалъ Гоголь, петербургскій литераторъ; познакомился со многими въ Москвѣ» (цитируемъ эти слова *приблизительно, на память*, не имѣя въ настоящую минуту подъ руками переписки Н. М. Языкова)

[4]) Соч. Плетнева, т. III, стр. 522.

торовъ сообщилъ по пріѣздѣ въ Петербургъ осенью такія извѣстія, изъ которыхъ Плетневъ вывелъ заключеніе, что московскіе „литераторы, кажется, порадовали его особеннымъ вниманіемъ къ его таланту“. Но здѣсь не надо упускать изъ виду, впрочемъ, того обстоятельства, что Гоголь дѣлился съ Плетневымъ также и впечатлѣніями обратнаго проѣзда черезъ Москву. Съ другой стороны, необходимо принять къ свѣдѣнію показаніе Плетнева, объясняющее отчасти одну изъ причинъ нѣкотораго, замѣчаемаго съ этихъ поръ, тяготѣнія Гоголя къ Москвѣ.

Но заглянемъ нѣсколько впередъ и коснемся его дальнѣйшихъ отношеній, преимущественно къ Погодину.

Вскорѣ онъ называлъ уже Погодина своимъ двойникомъ и высказывалъ увѣренность въ прочности ихъ дружбы, основанной на одинаковомъ влеченіи ихъ къ всеобщей исторіи. Былъ ли, однако, Гоголь искрененъ, когда говорилъ о своей любви къ исторіи и о намѣреніи приняться за составленіе сборника „Земля и Люди“ или за многотомный трудъ о среднихъ вѣкахъ? Кажется, что онъ не столько обманывалъ другихъ, какъ обыкновенно полагаютъ, сколько обманывался самъ въ своихъ широкихъ замыслахъ. Благоговѣя передъ Пушкинымъ до обожанія и любя исторію съ школьной скамьи, онъ дѣйствительно предполагалъ было, отчасти, можетъ быть, по слѣдамъ своего любимца-кумира, посвятить себя изученію исторіи. Мы затрудняемся принять мнѣніе покойнаго профессора О. Ѳ. Миллера, что своими мнимыми намѣреніями Гоголь сознательно морочилъ Погодина и Максимовича [1]; вѣдь часто онъ не присылалъ имъ и обѣщанныхъ литературныхъ трудовъ, а ужъ въ этомъ отношеніи теперь, конечно, никто не въ правѣ подозрѣвать въ немъ хвастливаго шарлатанства. Если будущее показало, что надежда его создать геніальную комедію, о которой онъ такъ горячо говорилъ и писалъ Погодину, въ такихъ прочувствованныхъ, вдохновенныхъ строкахъ, оказалась безъ сравненія основательнѣе самоувѣренныхъ мечтаній „дернуть“ исторію среднихъ вѣковъ въ девяти томахъ,—то разница эта, вѣроятно, не скоро стала очевидною для самого Гоголя [2]. (Вѣдь не сознавалъ же онъ въ юно-

[1]) „Русская Старина“, 1875, IX, 105—108.

[2]) Совершенно также оказалась потомъ несостоятельной впрочемъ и мечта Гоголя написать трагедію съ сюжетомъ, взятымъ изъ исторіи Малороссіи.

сти, что призваніе его — быть не чиновникомъ и не ученымъ, а писателемъ). Правда, лишь только рѣчь его коснется комедіи, она становится задушевной и сильной, а всѣ его ошибочныя претензіи поражаютъ только колоссальной смѣлостью; но это, безъ сомнѣнія, очевиднѣе теперь намъ, нежели ему въ началѣ тридцатыхъ годовъ. Могъ ли Гоголь смотрѣть на Погодина снизу вверхъ? Не проще ли предположить, что, наоборотъ, онъ не взвѣшивалъ обѣщаній по противоположной причинѣ?[1]) Показывая большое участіе и уваженіе къ литературнымъ успѣхамъ Погодина, Гоголь, безъ сомнѣнія, былъ очень не чуждъ дипломатическаго тона и къ дружескимъ похваламъ примѣшивалъ двусмысленные восторги[2]), тогда какъ со временемъ, при бо́льшей короткости отношеній, онъ никогда уже не впадалъ въ этотъ панегирическій тонъ, при которомъ самые упреки не могли не льстить авторскому самолюбію[3]); но случалось, напротивъ, что заднимъ числомъ онъ впослѣдствіи высказывалъ весьма невысокое мнѣніе о всей литературной дѣятельности Погодина. Съ другой стороны, напротивъ, Гоголя никогда не покидало сознаніе своего несомнѣннаго умственнаго превосходства передъ Погодинымъ, хотя бы и въ то время, когда онъ просилъ прислать лекціи, которыми хотѣлъ пользоваться въ собственныхъ университетскихъ чтеніяхъ. Притомъ, за исключеніемъ этого единственнаго случая до отъѣзда Гоголя за-границу, Погодинъ гораздо больше нуждался въ Гоголѣ, нежели наоборотъ. Сто́итъ только вспомнить, какъ онъ выпрашивалъ что-нибудь для „Московскаго Наблюдателя“ и какія суровыя получилъ наставленія!

По выѣздѣ изъ Москвы Гоголь считалъ себя обязаннымъ за счастливое время, проведенное въ ней, благодарностью

[1]) Самоувѣренность Гоголя въ отношеніи его литературныхъ трудовъ и упоеніе авторской славой внѣ всякаго сомнѣнія. Такъ онъ писалъ однажды: „Почтенные редакторы зазвонили нашими именами“ („Соч. и письма Гог.“, т. V, стр. 195).

[2]) См. „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 163, 167, 168 и проч. — Что́ бы ни вышло изъ-подъ пера Погодина, Гоголь увѣрялъ, что у него „пересохло горло отъ жажды прочесть и „Петра“, и „Марѳу“, и „Бориса“, тогда какъ при его тонкомъ артистическомъ пониманіи произведеній литературы онъ не могъ не видѣть безвкусія своего пріятеля, о музѣ котораго со временемъ онъ отзывался совершенно иначе.

[3]) Напр. „у васъ, не прогнѣвайтесь, иногда боярe умнѣе теперешнихъ на-

судьбѣ и по своему обыкновенію видѣлъ въ этомъ непосредственное дѣйствіе Промысла. Но выѣхалъ онъ въ дождь и слякоть, и въ такую же ненастную погоду по сильно испорченной дорогѣ пришлось ему тащиться недѣли полторы въ Полтаву. Путешествіе, обыкновенно дѣйствовавшее живительнымъ образомъ на его хилый организмъ, при такихъ печальныхъ условіяхъ только разбило и измучило его. Кромѣ тряски и усталости, ему приходилось еще страдать отъ ливней и испытывать много непріятностей съ ожиданіемъ лошадей на почтовыхъ станціяхъ. Въ дорогѣ его „занимало одно только небо, которое, по мѣрѣ приближенія къ югу, становилось синѣе и синѣе“ [1]). Только-что добравшись, наконецъ, до Полтавы, Гоголь немедленно пустился объѣзжать всѣхъ докторовъ, и, не найдя между ними никакого согласія, рѣшилъ держаться указаній московскаго врача Дядьковскаго. Наконецъ, онъ прибылъ въ Васильевку, гдѣ увидѣлся съ домашними въ первый разъ послѣ разлуки съ ними въ концѣ 1828 г. Въ противоположность первой половинѣ мѣсяца, погода почти тотчасъ установилась превосходная, и мечты Гоголя насладиться прекраснымъ малороссійскимъ лѣтомъ вполнѣ оправдались. Теперь онъ страдалъ уже отъ собственнаго невоздержанія и отъ соблазна, вслѣдствіе необыкновеннаго изобилія фруктовъ. Срокъ отпуска скоро истекъ; но Гоголь, отчасти увлеченный деревенскимъ привольемъ въ родномъ уголкѣ, отчасти дожидаясь сестеръ, которыхъ онъ долженъ былъ везти съ собой въ Петербургъ, чтобы помѣстить ихъ въ Патріотическій институтъ, не спѣшилъ возвращаться, хотя и писалъ москвичамъ, что не дождется срока предстоящаго ихъ свиданія [2]). Въ деньгахъ въ это время онъ сильно нуждался, но съ крайней самоувѣренностью разсчитывалъ въ глухое лѣтнее время продать книгопродавцамъ на выгодныхъ условіяхъ „Вечера на Хуторѣ“. Дѣло это онъ поручилъ было Погодину, но, вѣроятно,

---

шихъ вельможъ“ (т. V, 147, 249). Впрочемъ, и Пушкинъ чрезмѣрно захваливалъ Погодина.—Замѣчательно, что и Погодинъ хлопоталъ о профессурѣ для Гоголя; но объ этомъ будемъ подробно говорить ниже.

[1]) „Русскій Архивъ“, 1866, XI—XII, стр. 1727.

[2]) См. напр. „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 159. Въ Петербургѣ были очень недовольны просрочкой Гоголя (см. Соч. Плетн., т. 3, стр. 522). Но Марья Ивановна старалась какъ можно долѣе удержать сына въ деревнѣ и даже передъ отъѣздомъ уговаривала его остаться еще хоть на недѣлю.

требованія его показались слишкомъ неумѣренными, потому что соглашенія не состоялось. Все лѣто затѣмъ было посвящено полному отдыху, такъ что даже любимая мысль о комедіи была пока отложена совершенно; но въ планахъ на будущее недостатка не было. Говоря о продажѣ „Вечеровъ“, Гоголь надѣялся выпустить вскорѣ еще новое „дѣтище“, а кромѣ того у него „родились двѣ крѣпкія мысли о любимой наукѣ“, т.-е. объ исторіи. Въ этотъ же промежутокъ времени Гоголь, по всей вѣроятности, собиралъ матеріалъ для нѣкоторыхъ повѣстей, вошедшихъ потомъ въ составъ „Миргорода“. Н. С. Тихонравовъ склоненъ отнести къ концу 1832 г. созданіе „Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ“ [1]). Такое предположеніе подтверждается и тѣмъ, что повѣсть была написана, очевидно, подъ свѣжимъ вліяніемъ подновленныхъ впечатлѣній отъ украинской помѣщичьей среды и всей ея обстановки, тогда какъ послѣ 1832 г. Гоголь ни разу не былъ на родинѣ до 1835 г., когда уже вышелъ „Миргородъ“. Выраженіе: „ихъ лица“ (старосвѣтскихъ помѣщиковъ) „мнѣ представляются и теперь иногда въ шумѣ и вихрѣ среди модныхъ фраковъ“ [2])— не показываетъ ли, что повѣсть эта была написана именно спустя нѣкоторое время по возвращеніи Гоголя изъ Малороссіи въ Петербургъ? Притомъ, по пріѣздѣ домой, Гоголь былъ особенно пораженъ зрѣлищемъ необычайнаго разстройства всѣхъ дѣлъ и крайней непредпріимчивостью малороссійскихъ помѣщиковъ, которыхъ „усыпилъ и облѣнивилъ“ недостатокъ сообщенія [3]), какъ выразился онъ въ письмѣ къ И. И. Дмитріеву. О томъ же съ жалобой и сожалѣніемъ говорилъ онъ и своимъ друзьямъ.

Замѣчательно, что Гоголь до того мучился тяжелыми мыслями о разстройствѣ хозяйства, что почти въ совершенно тождественныхъ выраженіяхъ указывалъ въ разныхъ письмахъ одновременно на прелести природы въ Малороссіи и на крайнюю запущенность въ имѣньѣ матери: очевидно, этотъ контрастъ часто напрашивался ему тогда на языкъ. Любя своихъ родныхъ и близко знакомыхъ съ дѣтства сосѣдей, онъ не могъ равнодушно смотрѣть на то, какъ шли ихъ дѣла, что, конечно, нисколько не мѣшало теплой симпатіи къ владѣль-

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 559 и 562

[2]) Тамъ же, стр. 224.

[3]) „Русскій Архивъ“, 1866, XI—XII, стр. 1727.

цамъ разоренныхъ имѣній. Вотъ два отрывка изъ упомянутыхъ писемъ, показывающихъ, какъ сильно терзали и грызли его эти неурядицы. Совсѣмъ незнакомому И. И. Дмитріеву Гоголь говорилъ: „Чего бы, казалось, недоставало этому краю? Полное, роскошное лѣто! Хлѣба, фруктовъ, всего растительнаго гибель! А народъ бѣденъ, имѣнія разорены, и недоимки неоплатныя. Помѣщики видятъ теперь сами, что съ однимъ хлѣбомъ и винокуреніемъ нельзя значительно возвысить свои доходы. Начинаютъ понимать, что пора приниматься за мануфактуры и фабрики; но капиталовъ нѣтъ, счастливая мысль дремлетъ, наконецъ умираетъ, а они рыскаютъ съ горя за зайцами... Признаюсь, мнѣ очень грустно было смотрѣть на разстроенное имѣніе моей матери“ [1]). Погодину онъ писалъ: „Остатокъ лѣта, кажется, будетъ чудо; но я, самъ не знаю отчего, удивительно равнодушенъ ко всему. Всему этому, я думаю, причина болѣзненное мое состояніе. *Притомъ же я пріѣхалъ въ имѣніе совершенно разстроенное.* Долговъ множество невыплаченныхъ. Пристаютъ со всѣхъ сторонъ, а уплатить теперь совершенная невозможность“ [2]).

---

[1]) См. предыдущую цитату.

[2]) „Соч. и письма Гоголя“. т. V, стр. 158.

ПОВѢСТИ, ВОШЕДШІЯ ВЪ „МИРГОРОДЪ“.

I.

Гоголь возвратился домой уже не тѣмъ счастливымъ, исполненнымъ свѣтлыхъ надеждъ юношей, какимъ выѣхалъ изъ деревни три года назадъ съ своимъ другомъ Данилевскимъ. За этотъ промежутокъ времени онъ утратилъ самое дорогое въ жизни—радужное царство молодыхъ мечтаній, которыми такъ украшается юность, представляющая міръ въ своемъ пылкомъ, свѣжемъ воображеніи усыпаннымъ цвѣтами тріумфальнымъ путемъ. Теперь, напротивъ, когда эта розовая пелена спала, когда во всей ужасающей наготѣ раскрылся передъ нимъ возмутительный омутъ житейской пошлости, и онъ глубоко почувствовалъ суровый трагизмъ жизни, всегда скрытый подъ ея будничной монотонностью, — многое изъ знакомаго ему съ ранняго дѣтства предстало въ иномъ свѣтѣ. Если первыя впечатлѣнія пріѣзда на родину были свѣтлы и отрадны, то вскорѣ же дала себя знать и горечь, непріятно охватывающая почти каждаго при возвращеніи на мѣсто, когда-то дорогое и близкое, но давно покинутое и сильно перемѣнившееся. Все, что въ заманчивомъ видѣ рисовала мечта, что представлялось послѣ долгой разлуки привлекательнымъ издали, въ дѣйствительности оказалось такимъ же или еще болѣе убогимъ и печальнымъ, какимъ было въ глазахъ поэта передъ первымъ отъѣздомъ въ столицу. Какъ послѣ высокихъ минутъ художественнаго наслажденія досаденъ переходъ къ обычнымъ очерствляющимъ впечатлѣніямъ повседневной жизни, такъ и радости первой встрѣчи со всѣмъ близкимъ должны были вскорѣ уступить мѣсто тяжелому чувству со-

вершенно иного характера. Безъ сомнѣнія, нѣкоторыхъ изъ деревенскихъ знакомыхъ Гоголь не засталъ въ живыхъ по возвращеніи, другихъ нашелъ постарѣвшими или опустившимися, иныхъ — обремененными нуждой и заботами; любимые его дяди Косяровскіе были оба далеко,—словомъ, передъ нимъ предстала въ своемъ возмутительномъ ужасѣ неумолимая проза жизни, съ которой съ такимъ трудомъ можетъ мириться человѣкъ, но которая всегда надъ нимъ торжествуетъ. Таково было передъ нимъ настоящее, а въ близкомъ будущемъ его ожидалъ тотъ же Петербургъ, какъ и при первомъ отъѣздѣ въ него, но уже лишенный прежняго своего обаянія и ореола. Мы не настаиваемъ, впрочемъ, на буквальной вѣрности каждаго слова въ послѣднихъ выраженіяхъ, потому что за отсутствіемъ положительныхъ документальныхъ данныхъ и живыхъ свидѣтелей, помнящихъ это время, трудно представить точныя свѣдѣнія; но намъ важно отмѣтить и очертить самое настроеніе, несомнѣнно выразившееся въ „Миргородѣ“.

Представляя себѣ *такимъ образомъ* настроеніе Гоголя по возвращеніи его изъ Петербурга въ деревню, мы основываемся, во-первыхъ, на томъ исполненномъ искренней грусти изображеніи родной Малороссіи, которое является у него во многихъ мѣстахъ въ „Миргородѣ“, особенно въ „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ“ и „Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“, а во-вторыхъ, и главнымъ образомъ, на одномъ мѣстѣ въ отрывкѣ „Римъ“, имѣющемъ несомнѣнное автобіографическое значеніе. Тамъ, между прочимъ, читаемъ: „Грустное чувство овладѣло князем“ (по возвращеніи въ вѣчный городъ), „чувство, *понятное всякому пріѣзжающему*, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ отсутствія, домой, когда все, что̀ ни было, кажется еще старѣе, еще пустѣе, и когда тягостно говоритъ всякій предметъ, знаемый въ дѣтствѣ; и чѣмъ веселѣе были сопряженные съ нимъ случаи, тѣмъ сокрушительнѣе грусть, насылаемая имъ на сердце“ [1]). Само собою разумѣется, что описанное выше настроеніе не могло быть постояннымъ, можетъ быть, не было и преобладающимъ, но оно *существовало* и отразилось на творчествѣ Гоголя. Что̀ касается „Миргорода“, то нѣтъ сомнѣнія, что въ

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 144.

немъ мы не находимъ уже того ровнаго, свѣтлаго настроенія, которымъ отъ начала до конца проникнуты „Вечера на Хуторѣ“ (исключая отчасти „Страшную Месть“). Здѣсь уже нѣтъ прежней заразительной юношеской веселости, но, наоборотъ, часто, слишкомъ часто слышатся довольно трагическія ноты. Укажемъ, напримѣръ, на слѣдующія строки въ „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ“: „Я до сихъ поръ не могу позабыть двухъ старичковъ прошедшаго вѣка, которыхъ, увы! теперь уже нѣтъ, но душа моя полна еще до сихъ поръ жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себѣ, что пріѣду со временемъ опять на ихъ прежнее, нынѣ опустѣвшее жилище, и увижу кучу развалившихся хатъ, заглохшій прудъ, заросшій ровъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ низенькій домикъ, и ничего болѣе... Грустно, мнѣ заранѣе грустно!“ [1]) Такая же тоска слышится въ заключительныхъ строкахъ этой же повѣсти и „Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“: „Тощія лошади, извѣстныя въ Миргородѣ подъ именемъ курьерскихъ, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися въ сѣрую массу грязи, непріятный для слуха звукъ. Дождь лилъ ливмя на жида, сидѣвшаго на козлахъ и накрывшагося рогожкою. Сырость проняла меня насквозь. Печальная застава съ будкою, въ которой инвалидъ чинилъ сѣрые доспѣхи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, мѣстами изрытое, черное, мѣстами зеленѣющее, мокрыя галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣта небо... Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!“ [2])—Подобное настроеніе въ „Вечерахъ на Хуторѣ“ можетъ быть указано лишь въ единственномъ мѣстѣ, именно въ послѣднихъ строкахъ повѣсти „Сорочинская Ярмарка“; въ „Вечерахъ“ же, въ описаніяхъ природы выражается или восторгъ, или упоительная нѣга, но нигдѣ нѣтъ и въ поминѣ того сумрачнаго настроенія, которое наводится иногда непогодой; тамъ, напротивъ, изображаются исключительно или яркіе, солнечные дни (въ началѣ „Сорочинской Ярмарки“), или ясный вечеръ, или же обаятельная ночь. Метель въ „Ночи передъ Рождествомъ“ и буря на Днѣпрѣ въ „Страшной Мести“ представлены пре-

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 224.

[2]) Тамъ же, стр. 453.

имущественно съ художественной и картинной стороны. Напротивъ, въ „Миргородѣ“ такія описанія, какъ описаніе степи въ „Тарасѣ Бульбѣ“ или усадьбы сотника въ „Віи“, т.-е. возбуждающія отрадное или—въ первомъ случаѣ—восторженное чувство, становятся рѣдкими. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже солнечный свѣтъ является не ослабляющимъ, а усиливающимъ грусть; напр., при описаніи похоронъ Пульхеріи Ивановны: „Священники были въ полномъ облаченіи, солнце свѣтило, грудные младенцы плакали на рукахъ матерей, жаворонки пѣли, дѣти въ рубашонкахъ бѣгали и рѣзвились по дорогѣ“ [1]). Вспоминая о страхѣ, который наводили на него таинственные голоса, слышанные имъ въ дѣтствѣ, Гоголь также говоритъ, что „день обыкновенно въ это время былъ ясный и солнечный; тишина была мертвая“ [2]), и проч., но такому дню онъ охотно предпочелъ бы въ подобныя минуты ужаса ночь „самую бѣшеную и бурную“. Въ „Тарасѣ Бульбѣ“ встрѣчаемъ уже изображеніе сѣраго дня („день былъ сѣрый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ“)... [3]).

Замѣчательно, что, начинаясь сценами незначительными и забавными, каждая изъ повѣстей въ „Миргородѣ“ становится, по мѣрѣ разсказа, все болѣе трагическою и потрясающею. Особенно чувствуется это въ „Тарасѣ Бульбѣ“, гдѣ беззаботный смѣхъ читателя, возбуждаемый началомъ первой главы, къ концу ея постепенно переходитъ въ тяжелую, сосредоточенную грусть, и это чувство потомъ постоянно возрастаетъ, уступая лишь по временамъ мѣсто поэтическому восторгу при такихъ описаніяхъ, какъ степи и устройства Запорожской Сѣчи; тонъ изложенія становится все болѣе возвышеннымъ и удаленнымъ отъ того обыденнаго, которымъ начинается повѣсть, и, наконецъ, доходитъ до захватывающаго трагическаго пафоса въ сценѣ между прекрасной полячкой и Андріемъ, въ описаніи осады Дубна, битвъ казаковъ за родину, и проч. Въ „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ“ также замѣчается постепенный переходъ отъ мирной идилліи къ глубокому трагизму; вся вторая половина повѣсти проникнута грустью, но особенно ровное пока настроеніе читателя омрачается простымъ, трогательнымъ діалогомъ, въ которомъ Пуль-

[1]) Тамъ же, стр. 241.
[2]) Тамъ же, стр. 244.
[3]) Тамъ же, стр. 257.

херія Ивановна сообщаетъ мужу свое предчувствіе смерти. Здѣсь, впрочемъ, могла бы быть найдена связь съ „Вечерами на Хуторѣ“; такъ, подобное мѣсто, хотя гораздо менѣе художественное, находимъ и въ „Страшной Мести“. Въ самомъ дѣлѣ, поразительное сходство открывается при сличеніи.

Въ „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ“:

„— Что̀ это съ вами, Пульхерія Ивановна? Ужъ не больны ли вы?

— Нѣтъ, я не больна, Аѳанасій Ивановичъ! я хочу вамъ объявить одно особенное происшествіе. Я знаю, что я этимъ лѣтомъ умру; смерть моя уже приходила за мною.—Я прошу васъ, Аѳанасій Ивановичъ, чтобы вы исполнили мою волю“, и проч.

Въ „Страшной Мести“:

„— Что-то грустно мнѣ, жена!—сказалъ панъ Данило:— и голова болитъ у меня, и сердце болитъ; какъ-то тяжко мнѣ! видно, гдѣ-то недалеко уже ходитъ смерть моя“.

Далѣе слѣдуютъ утѣшенія жены со стороны Аѳанасія Ивановича въ „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ“ и пана Данила со стороны Катерины въ „Страшной Мести“, и потомъ чрезвычайно похожія предсмертныя просьбы беречь и холить своихъ любимцевъ (въ первомъ случаѣ — Аѳанасія Ивановича, во второмъ—сына Данилина, Ивана).

„— Слушай, жена моя! — сказалъ Данило: — не оставляй сына, когда меня не будетъ; не будетъ тебѣ отъ Бога счастія, если ты кинешь его, ни въ томъ, ни въ этомъ свѣтѣ; тяжело будетъ гнить моимъ костямъ въ сырой землѣ; а еще тяжелѣе будетъ душѣ моей“.

„— Смотри мнѣ, Явдоха,—говорила Пульхерія Ивановна, обращаясь къ ключницѣ, которую нарочно велѣла позвать:— когда я умру, чтобы ты глядѣла за паномъ, чтобы берегла его, какъ глаза своего, какъ свое родное дитя. Не своди съ него глазъ, Явдоха, я буду молиться за тебя на томъ свѣтѣ, и Богъ наградитъ тебя. Не забывай же, Явдоха: ты уже стара, тебѣ не долго жить,—не набирай грѣха на душу. Когда же не будешь за нимъ присматривать, то не будетъ тебѣ счастія на свѣтѣ: я сама буду просить Бога, чтобы не давалъ тебѣ благополучной кончины“ [1]), и проч.

---

[1]) Ср. Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 166 и 239.

Указанная особенность творчества Гоголя, которую мы назвали бы новою, такъ какъ она едва только промелькнула въ „Вечерахъ“, нисколько не нарушая ихъ преобладающаго характера, безъ сомнѣнія, имѣла свою основу въ пережитомъ и перечувствованномъ, и чрезвычайно важна при изученіи его личности и произведеній. Любопытно также, что Гоголь уже въ „Миргородѣ“ въ сущности впадаетъ иногда въ тотъ лиризмъ, который обратилъ на себя общее вниманіе только знаменитыми лирическими отступленіями въ „Мертвыхъ Душахъ“. Между тѣмъ есть одно обстоятельство, придающее чрезвычайную важность этимъ отступленіямъ при изученіи Гоголя. Дѣло въ томъ, что именно въ духѣ этого лиризма Гоголь мечталъ создать послѣдніе томы „Мертвыхъ Душъ“, гдѣ „инымъ ключомъ грозная вьюга вдохновенія подымается изъ облеченной въ святой ужасъ и въ блистанье главы, и почуютъ, въ священномъ трепетѣ, величавый громъ другихъ рѣчей“ [1]). Въ это-то время, какъ надѣялся Гоголь, „предстанутъ колоссальные образы, двинутся сокровенные рычаги широкой повѣсти, раздастся далече ея горизонтъ, *и вся она приметъ величавое лирическое теченіе*“ [2]). Но „не величавое лирическое теченіе“ было гибелью его таланта (оно замѣчается нерѣдко и въ „Тарасѣ Бульбѣ“), а тотъ ложный элементъ, который вкрался съ годами во все существо Гоголя. „Бѣлинскій“,—говоритъ А. Н. Пыпинъ въ „Характеристикахъ литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ годовъ до пятидесятыхъ“,—„обратилъ вниманіе на извѣстныя „лирическія мѣста“, и высказался противъ нихъ: онъ угадывалъ, что въ нихъ есть что-то ложное, и дѣйствительно, „лирическія мѣста, были отчасти отголоскомъ тѣхъ мнѣній Гоголя, которыя онъ собралъ потомъ въ цѣлую систему въ „Перепискѣ“ [3]). Выше мы указали тѣ мѣста, гдѣ вылились завѣтныя мечты Гоголя о будущемъ характерѣ и направленіи его творчества, мечты, относящіяся къ началу сороковыхъ годовъ; но наклонность къ лиризму явилась у него несравненно раньше, и, какъ мы знаемъ, не осуждалась, а, напротивъ, высоко цѣнилась Бѣлинскимъ, пока не получила извѣстнаго извращеннаго направленія, Бѣлинскій признавалъ достойными великаго русскаго поэта „гре-

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. III, стр. 222.

[2]) Тамъ же, стр. 243.

[3]) Изданіе второе, стр. 387.

мящіе, поющіе диѳирамбы блаженствующаго въ себѣ національнаго самосознанія", но находилъ въ нихъ „излишество непокореннаго спокойно-разумному созерцанію чувства" [1]). Но оно является и въ „Тарасѣ Бульбѣ", гдѣ „мистико-лирическія выходки" встрѣчаются только въ зародышѣ и, высказываемыя устами казака Бульбы, въ торжественную минуту, не выдаютъ еще сокровеннаго своего значенія. Впрочемъ, Гоголь не принималъ сначала тона глашатая великихъ истинъ и, можетъ быть, его лиризмъ могъ бы найти со временемъ и иной исходъ. Это предположеніе, повидимому, оправдывается, если обратимъ вниманіе на слѣдующее добавленіе къ предсмертной рѣчи Бульбы въ исправленной редакціи; послѣ словъ первоначальной редакціи: „есть ли что на свѣтѣ, чего бы побоялся казакъ?" внесены строки, несомнѣнно вышедшія изъ того же настроенія и только распространяющія восторженное сочувствіе отъ казачества на весь русскій народъ, но уже намекающія на возможность въ будущемъ „излишества непокореннаго спокойно-разумному созерцанію чувства". Въ сущности это излишество коренилось въ самой организаціи автора, въ его южной натурѣ и склонности къ преувеличенной идеализаціи; но такъ какъ оно не помѣшало ему создать такую чудную поэму, какъ „Тарасъ Бульба", то не одно оно было виновато, но, главнымъ образомъ, повторяемъ, усвоенное Гоголемъ извращенное направленіе, печально отразившееся на его творчествѣ. Вотъ переходъ къ нему и слышенъ уже отчасти въ послѣднемъ монологѣ Бульбы, оканчивающемся въ исправленномъ изданіи словами: „Да развѣ найдутся на свѣтѣ такіе огни и муки и сила такая, которая бы пересилила русскую силу?" [2])

Другой причиной, объясняющей намъ искаженный характеръ, принятый впослѣдствіи столь свойственнымъ Гоголю лиризмомъ, можно считать также неудачный выборъ предметовъ и лицъ, на которые была направлена сила его въ послѣдній періодъ литературной дѣятельности Гоголя. „Никакое направленіе",—возражаетъ на наше предыдущее объясненіе г. Ив. Ивановъ [3]),—„не можетъ повредить *искренности* лиризма, разъ оно—результатъ авторскихъ убѣжденій. И мы, часто не

[1]) Соч. Бѣлинскаго, т. VI, стр. 414.

[2]) Ср. Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 465 и т. I, стр. 364.

[3]) «Русск. Вѣдомости», 1892, № 240, 31 августа.

заютъ и стремятся въ душу и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? какая непостижимая связь таится между нами?“ [1]).

„Тарасъ Бульба“ — глубоко субъективное произведеніе; но особенно, изображая разговоръ Андрія съ полячкой, Гоголь гораздо больше чувствовалъ потребность излить поэтическое преклоненіе передъ женщиной, давая полную волю идеализаціи послѣдней, нежели заботился о соблюденіи исторической вѣрности. Ему было не до того. Поэтому здѣсь всюду слышатся лирическія ноты, но особенно въ этихъ словахъ: „Бросила прочь она отъ себя платокъ, отдернула налѣзавшіе на очи длинные волосы косы своей, и вся разлилась въ жалостныхъ рѣчахъ, выговаривая ихъ тихимъ, тихимъ голосомъ, подобно тому, какъ вѣтеръ, поднявшись прекраснымъ вечеромъ, пробѣжитъ вдругъ по густой чащѣ приводнаго тростника: зашелестятъ, зазвучатъ и понесутся вдругъ унывно-тонкіе звуки, и ловитъ ихъ съ непонятной грустью остановившійся путникъ, не чуя ни погасающаго вечера, ни несущихся веселыхъ пѣсенъ народа, бредущаго отъ полевыхъ работъ и жнивъ, ни отдаленнаго стука гдѣ-то проѣзжающей телѣги“ [2]). Или: „Полный чувствъ, вкушаемыхъ не на землѣ, Андрій поцѣловалъ въ благовонныя уста, прильнувшія къ щекѣ его, и не безотвѣтны были благовонныя уста. Они отозвались тѣмъ же, и въ этомъ обоюдно-сліянномъ поцѣлуѣ ощутилось то, что̀ одинъ только разъ въ жизни дается чувствовать человѣку“. И тотчасъ послѣ этихъ словъ переходъ: „И погибъ казакъ! и пропалъ для всего казацкаго рыцарства“ и проч. [3]). Трогательное предсмертное прощаніе казаковъ съ родиной также, конечно, всецѣло принадлежитъ поэзіи, а никакъ не исторіи, какъ и разсказъ объ артистическомъ восторгѣ иностранца-инженера, съ увлеченіемъ апплодирующаго своимъ непріятелямъ, „месьё запорогамъ“.

Нѣкоторыя лирическія мѣста являются въ „Тарасѣ Бульбѣ“ подъ явнымъ и непосредственнымъ вліяніемъ народныхъ пѣсенъ. Приведемъ примѣръ. Въ описаніи боя съ поляками есть, между прочимъ, слѣдующее мѣсто. „Не по одному казаку взрыдаетъ старая мать, ударяя себя костистыми руками въ

[1]) Соч. Гог., изд X, т. III, стр. 221.

[2]) Т. I, стр. 303—304.

[3]) Тамъ же, стр. 306.

дряхлыя перси; не одна останется вдова въ Глуховѣ, Немировѣ, Черниговѣ и другихъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбѣгать всякій день на базаръ, хватаясь за всѣхъ проходящихъ, распознавая каждаго изъ нихъ въ очи, нѣтъ ли между ними одного, милѣйшаго всѣхъ: но много пройдетъ черезъ городъ всякаго войска, и вѣчно не будетъ между ними одного, милѣйшаго всѣхъ“ [1]). Въ малорусскихъ пѣсняхъ Максимовича мы находимъ совершенно подобное содержаніе въ слѣдующей пѣснѣ (изд. 1, стр. 27; изд. 2, стр. 111):

„У Глуховѣ у городѣ
Стрѣльнули зъ гарматы;
Не по одномъ козаченьку
Заплакала мати.

У Глуховѣ у городѣ
Стрѣльнули зъ ружници;
Не по одномъ козаченьку
Заплакали сестрици.

У Глуховѣ у городѣ
Поплетены сѣтки;
Не по одномъ козаченьку
Заплакали дѣтки.

На быстрому, на озерѣ
Геть! плавала качка;
Не по одномъ козаченьку
Заплакала козачка“ и проч.

Указываемъ этотъ примѣръ, между прочимъ, потому, что онъ не вполнѣ приведенъ въ прекрасныхъ и обстоятельныхъ примѣчаніяхъ Н. С. Тихонравова къ „Тарасу Бульбѣ“ въ послѣднемъ изданіи сочиненій Гоголя; другіе примѣры уже отмѣчены тамъ.

Пѣсни же и представленіе объ ихъ исполнителяхъ-бандуристахъ внушили Гоголю и эту лирическую тираду: „И пойдетъ дыба по всему свѣту, и все, что̀ ни народится потомъ, заговоритъ о немъ“ (т.-е. объ убитомъ казакѣ); „ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной мѣди, въ которую мастеръ много повергнулъ дорогого, чистаго серебра, чтобы далече по городамъ, лачугамъ, пала-

[1]) Тамъ же, стр 332.

тамъ и весямъ разносился красный звонъ, сзывая всѣхъ равно на святую молитву“ [1]).

Вліяніе пѣсенъ, несомнѣнно, сильно способствовало яркому, праздничному и торжественному колориту всего содержанія „Тараса Бульбы“,—торжественному, несмотря на общій трагическій отпечатокъ, который носитъ на себѣ повѣсть; но удаленіе Гоголя отъ всего обыденнаго въ поэмѣ вовсе не ослабляетъ ея художественнаго значенія и не приближаетъ ее къ натянутой аффектаціи бездарныхъ писателей. Намъ казалось бы, что въ прекрасной, не разъ цитированной статьѣ г. Скабичевскаго невѣрно только то, что она нѣсколько односторонне преувеличиваетъ достоинства безусловной объективности повѣствованія. Съ точки зрѣнія исторической оцѣнки этотъ взглядъ, конечно, безусловно справедливъ; но несправедливо было бы отвергать правъ художественнаго, поэтическаго произведенія на извѣстную идеализацію, лишь бы она не вела къ искаженію истины. Гоголь же, почерпая свое вдохновенье въ такомъ прекрасномъ и свѣтломъ источникѣ, какъ народная поэзія, несомнѣнно правдиво и художественно передалъ намъ въ своей поэмѣ то, что пережилъ и глубоко прочувствовалъ малороссійскій народъ. Несправедливо и то, что Пушкинъ „направилъ Гоголя на путь изображенія обыденной дѣйствительности“ и что Гоголь будто отказался послѣ „Тараса Бульбы“ отъ поэтической идеализаціи: и та, и другая сторона творчества были гораздо болѣе результатомъ органической потребности, нежели внѣшняго вліянія; иначе теряетъ всякое значеніе призваніе художника. Во всемъ остальномъ, какъ намъ кажется, немногія страницы г. Скабичевскаго объ историческихъ произведеніяхъ Пушкина и Гоголя вносятъ весьма цѣнное пріобрѣтеніе въ литературу объ этихъ писателяхъ.

Другія лирическія мѣста являются въ „Тарасѣ Бульбѣ“ уже просто подъ вліяніемъ личныхъ чувствъ и размышленій автора. Сюда, вѣроятно, слѣдуетъ отнести это прекрасное мѣсто: „Что-то пророчитъ имъ (Остапу и Андрію) и говоритъ это благословенье (матери)? Благословенье ли на побѣду надъ врагомъ и потомъ веселый возвратъ въ отчизну съ добычей и славой на вѣчныя пѣсни бандуристамъ, или же?..

[1]) Тамъ же, стр. 328.

Но неизвѣстно будущее и стоитъ оно передъ человѣкомъ подобно осѣннему туману, поднявшемуся изъ болотъ: безумно летаютъ въ немъ вверхъ и внизъ, черкая крыльями, птицы, не распознавая въ очи другъ друга, голубка — не видя ястреба, ястребъ—не видя голубки, и никто не знаетъ, какъ далеко летаетъ отъ своей погибели"... Этотъ образъ такъ нравился Гоголю, что былъ имъ повторенъ въ сокращенномъ видѣ въ той же повѣсти: „Но не вѣдалъ Бульба, что̀ готовитъ Богъ человѣку завтра, и сталъ позабываться сномъ, и, наконецъ, заснулъ" [1]). Прекрасное, исполненное глубокаго лиризма, описаніе величественныхъ звуковъ органа и вообще католическаго богослуженія, несомнѣнно, явилось у Гоголя какъ результатъ заграничныхъ впечатлѣній, преимущественно римскихъ, что̀ ясно уже изъ того, что вся эта часть главы отсутствуетъ въ первоначальной редакціи и является только въ исправленной.

III.

Существенную разницу въ отношеніяхъ Гоголя къ Украйнѣ передъ отъѣздомъ изъ нея въ 1828 г. и по пріѣздѣ въ 1832 можно видѣть преимущественно въ томъ, что̀ тогда какъ прежде многія черты пошлой дѣйствительности возбуждали въ немъ одно только отвращеніе и разжигали нетерпѣливое желаніе болѣе осмысленной жизни въ столицѣ, — теперь, когда эта заочная идеализація была во многомъ поколеблена, онѣ же вызывали въ немъ сочувственную и согрѣтую искренней любовью грусть. Всего лучше это видно въ „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ". Сюжетъ здѣсь, какъ и всегда, заимствованъ, но разработанъ на основаніи личнаго внимательнаго изученія малороссійскаго помѣщичьяго быта и вся картина озарена тѣмъ глубоко субъективнымъ поэтическимъ отношеніемъ къ изображаемымъ лицамъ и предметамъ, о которомъ мы только-что говорили. Переработка матеріала, даннаго наблюденіемъ, согласно настроенію автора, сообщила повѣсти строго опредѣленную физіономію и художественную законченность. Но мы затруднились бы въ этомъ произведеніи признать, вслѣдъ за покойнымъ Стоюнинымъ, ту идею, что люди мало развитые нерѣдко въ своемъ невѣжествѣ сами губятъ собственное

[1]) Ср. Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 288 и 319.

счастье [1]). Такой выводъ, безъ сомнѣнія, вытекаетъ самъ собою изъ повѣсти; но имѣлъ ли въ виду его авторъ, не можетъ быть ничѣмъ доказано; гораздо вѣроятнѣе, напротивъ, что, какъ и въ другихъ случаяхъ, въ повѣсти „Старосвѣтскіе Помѣщики“ Гоголь прежде всего удовлетворялъ своей потребности выразить и передать то, что онъ чувствовалъ и переживалъ при своихъ наблюденіяхъ надъ этимъ идиллическимъ прозябаніемъ. Вообще намъ кажется, что творчество Гоголя направлялось, главнымъ образомъ, выношенными художественными образами и развѣ потомъ уже заранѣе намѣченной идеей.

Для уясненія нашего взгляда возвратимся нѣсколько назадъ.

Мы знаемъ, что чѣмъ болѣе волновали Гоголя возвышенные мечты и идеалы, чѣмъ болѣе удавалось ему достигать осуществленія своихъ лучшихъ плановъ, тѣмъ сильнѣе возмущалось его внутреннее чувство ничтожествомъ умственнаго кругозора и стремленій окружающихъ. Это, конечно, и было главной причиной, сдѣлавшей его великимъ юмористомъ. Хотя не ранѣе середины тридцатыхъ годовъ созрѣло въ немъ сознательное намѣреніе обличать наиболѣе возмутительныя стороны общественной неправды, но и прежде, по авторитетному свидѣтельству Анненкова, онъ чувствовалъ какую-то непреодолимую потребность преслѣдовать узкое своекорыстіе и ограниченное самодовольство толпы. Въ его душѣ никогда не умолкалъ какой-то могучій голосъ, который призывалъ его къ полезной общественной дѣятельности и внушалъ пламенное влеченіе къ чему-то высшему, благородному, что единственно и сдѣлало его однимъ изъ передовыхъ вождей времени. Еще въ школѣ ему казалось въ другихъ неестественнымъ отсутствіе такихъ стремленій. Между тѣмъ въ числѣ своихъ сверстниковъ онъ находилъ немногихъ возвысившихся надъ заботами о сколько-нибудь сносномъ обыденномъ существованіи. Подобное противорѣчіе между задачами разумнаго существованія и жалкой дѣйствительностью оскорбляло его и возбуждало насмѣшки не только надъ сверстниками, но и надъ старшими. Самымъ раннимъ плодомъ такого настроенія были набросанныя имъ въ отрочествѣ юмористическія замѣтки подъ заглавіемъ: „Нѣчто о Нѣжинѣ, или ду-

[1]) Стоюнинъ, „О преподаваніи русской литературы“, изд. второе, стр. 21.

ракамъ законъ не писанъ". Позднѣе, въ дружескомъ письмѣ къ одному изъ товарищей, Гоголь, какъ извѣстно, возмущался „нѣжинскими существователями, которые задавили корой своей земности, ничтожнаго самодовольствія высокое назначеніе человѣка" [1]). Даже тѣхъ изъ товарищей, на которыхъ не было ужъ вовсе никакой надежды въ смыслѣ пробужденія въ нихъ болѣе возвышенныхъ стремленій, Гоголь желалъ бы видѣть истинно полезными для общества, хотя бы на самой скромной чредѣ. О нихъ онъ такъ выразился въ письмѣ къ Г. И. Высоцкому: „Хорошо, если они обратятъ свою дѣятельность для пользы человѣчества. Хотя въ неизвѣстности пропадутъ ихъ имена, но благодѣтельныя намѣренія и дѣла освятятся благоговѣніемъ потомковъ" [2]). При такихъ требованіяхъ отъ жизни Гоголь не могъ не содрогаться, когда встрѣчалъ молодыхъ людей, даже не подозрѣвавшихъ о какихъ-нибудь болѣе высокихъ цѣляхъ жизни, нежели обезпеченное устройство въ опошлившемся значеніи слова. Въ отрывкѣ „Учитель" (изъ повѣсти „Страшный Кабанъ"), одномъ изъ первыхъ произведеній его пера, Гоголь именно хотѣлъ изобразить представителя этого сильно претившаго ему ограниченнаго самодовольства. Исключительное погруженіе въ сферу хозяйственныхъ и кулинарныхъ интересовъ, соединенное съ заботливымъ усвоеніемъ мелочной и пошлой практичности — вотъ тѣ черты, которыя Гоголь задался воплотить въ лицѣ выведеннаго имъ въ этой повѣсти семинариста Ивана Осиповича, главной и чуть ли не единственной заботой котораго было угодить помѣщицѣ, въ домѣ которой онъ жилъ, женщинѣ, въ свою очередь ушедшей совершенно въ домашнее хозяйство. „Все время отъ пяти часовъ утра до шести вечера, то-есть до времени успокоенія, было безпрерывной цѣпью занятій", говоритъ Гоголь. „До семи часовъ утра уже она обходила всѣ хозяйственныя заведенія, отъ кухни до погребовъ и кладовыхъ" [3]), и проч. Здѣсь уже мы узнаемъ, въ этомъ блѣдномъ пока наброскѣ, нѣкоторыя черты типа будущей Пульхеріи Ивановны. Но здѣсь еще нѣтъ и тѣни сочувствія автора прототипу послѣдней, помѣщицѣ Аннѣ Ивановнѣ, которая не отли-

[1]) „Соч и письма Гоголя", т. V, стр. 56.

[2]) Тамъ же, стр. 59.

[3]) Соч. Гоголя, изд. X, т. V, стр. 52.

чалась особенной добротой („успѣвала побраниться съ прикащикомъ“) и не чужда была тщеславія. Изображая Анну Ивановну, Гоголь преимущественно имѣлъ въ виду показать женщину въ томъ печальномъ возрастѣ, „когда роковыя шестьдесятъ лѣтъ гонятъ холодъ въ нѣкогда бившія огненнымъ ключомъ жилы и термометръ жизни переходитъ за точку замерзанія“. Но то, съ чѣмъ можно до нѣкоторой степени мириться въ отживающей женщинѣ, приводило его въ содроганіе при видѣ преждевременной духовной смерти начинающаго жить юноши. Поэтому Гоголь не щадитъ язвительныхъ насмѣшекъ надъ тѣмъ, какъ „учитель имѣлъ удивительно умильный видъ, когда изволилъ молчать или кушать“, какъ онъ „весь переселялся въ тарелку“ и „чинно, завѣсившись салфеткой, отправлялъ всеобщій процессъ житейскаго насыщенія“, какъ вообще онъ отличался „страстной привязанностью ко всему, что питаетъ душевную и тѣлесную природу человѣка“, и проч. Никакой живой мысли, никакого чувства, кромѣ чисто физическаго увлеченія дворовой дѣвушкой, для него не существуетъ и въ то же время онъ преисполненъ тупого самодовольства и сознанія своего достоинства. Въ немъ есть также черты, роднящія его отчасти съ Пульхеріей Ивановной („Почтенный педагогъ имѣлъ необъятныя для простолюдина свѣдѣнія, изъ которыхъ иныя держалъ подъ секретомъ, какъ-то: составленіе лѣкарства противъ укушенія бѣшеныхъ собакъ“ и проч.), отчасти съ Иваномъ Ѳедоровичемъ Шпонькой („онъ собственноручно приготовлялъ лучшую ваксу и чернила, вырѣзывалъ для маленькаго внучка Анны Ивановны фигурки изъ бумаги; въ зимніе вечера моталъ мотки и даже прялъ“) [1]. Повѣсть осталась недоконченной, но впослѣдствіи Гоголь не разъ возвращался къ заинтересовавшей его темѣ и прежде всего въ „Иванѣ Ѳедоровичѣ Шпонькѣ и его тетушкѣ“. Послѣдній является жалкимъ образцомъ пошлой удовлетворенности тѣмъ, что, безъ всякой заслуги и труда съ его стороны, послала на его долю судьба. „Казалось“,—говоритъ о немъ Гоголь,—„натура именно создала его управлять восемнадцати-душнымъ имѣніемъ“, какъ позднѣе онъ выразился объ Акакіи Акакіевичѣ, что онъ, „видно, такъ и родился совсѣмъ ужъ готовымъ въ своемъ

[1] Тамъ же, стр. 50 - 51.

вицъ-мундирѣ, съ лысиной на головѣ“ [1]). Съ Акакіемъ Акакіевичемъ Шпонька имѣетъ и другое сходство: оба они не рѣчисты. Такъ, въ отвѣтъ на разсужденіе Григорія Григорьевича Сторченка объ умѣніи знахарокъ лѣчить, онъ сказалъ: „Дѣйствительно, вы изволите говорить совершенную правду. Иногда точно бываетъ“... Тутъ онъ остановился, какъ бы не прибирая приличныхъ словъ. Не мѣшаетъ здѣсь и мнѣ сказать, что онъ вообще былъ не щедръ на слова“ [2]). Такихъ людей, какъ Шпонька или Акакій Акакіевичъ, Гоголь постоянно отличаетъ, въ этомъ случаѣ не въ пользу ихъ, даже отъ другихъ пошлыхъ людей, но не забитыхъ до послѣдней степени и сохранившихъ въ себѣ, по крайней мѣрѣ, сочувственную ему въ русскомъ человѣкѣ черту нѣкоторой, иногда чрезмѣрной и легкомысленной, отваги. Такъ, описывая времяпровожденіе Ивана Ѳедоровича, Гоголь говоритъ: „когда другіе разъѣзжали на обывательскихъ къ мелкимъ помѣщикамъ, онъ, сидя въ своей квартирѣ, упражнялся въ занятіяхъ, сродныхъ одной кроткой и доброй душѣ: то чистилъ пуговицы, то читалъ гадательную книгу, то ставилъ мышеловки по угламъ своей комнаты, то, наконецъ, скинувъ мундиръ, лежалъ на постели“ [3]). Совершенно сходное мѣсто встрѣчаемъ и въ „Шинели“, но, по обширному объему его, укажемъ только нѣкоторыя строки: „Даже въ тѣ часы, когда совершенно потухаетъ петербургское сѣрое небо и когда чиновники спѣшатъ предать наслажденію оставшееся время,— даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакій Акакіевичъ не предавался никакому развлеченію“ [4]). Въ Шпонькѣ мелькаетъ также будущій Подколесинъ [5]). Судя по послѣднимъ страни-

[1]) Ср. Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 197 и т. II, стр. 87.

[2]) Т. I, стр. 194.

[3]) Въ находящемся въ нашемъ распоряженіи и неизданномъ письмѣ къ Гоголю А. О. Смирновой отъ 30 января 1845 г., послѣдняя служитъ по поводу указанной черты характера Шпоньки: „Я прочитала „Сорочинскую Ярмарку“, „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала“ и „Шпоньку“. „Право, Ѳедоръ Ивановичъ“ (очевидно, ошибка, вмѣсто: Иванъ Ѳедоровичъ) былъ очень счастливый человѣкъ; разбиралъ бѣлье и чистилъ пуговицы. Что можетъ быть невиннѣе, какъ этакая голова?“

[4]) Т. I, стр. 189 и т. II, стр. 89—60.

[5]) Ср. „Время“ 1863, II: „Въ простодушномъ очеркѣ характера Ивана Ѳедоровича Шпоньки таится уже зерно глубокаго созданія характера Подколесина“ (слова Аполлона Григорьева).

цамъ, главная цѣль которыхъ, какъ потомъ въ „Женитьбѣ“, заключается въ изображеніи комической нерѣшимости холостяка, не умѣющаго и не отваживающагося сдѣлать необходимый шагъ для перемѣны своей судьбы, Шпонька такъ же нуждается въ дѣятельномъ посредникѣ, какъ Подколесинъ въ Кочкаревѣ. Но если такъ, то характеръ Василисы Кашпаровны, представляющей своей энергіей и не женской предпріимчивостью рѣзкій контрастъ съ характеромъ племянника, и ея рѣшительные пріемы въ дѣлѣ сватовства послѣдняго заставляютъ предполагать, что ей предназначалась роль позднѣйшаго Кочкарева или, по крайней мѣрѣ, свахи. Но свадьба Шпоньки должна была состояться, и послѣ нея ему предстояло зажить съ женой самой мирной и покойной жизнью, услаждаемой взаимной любовью, какъ это изображено уже въ „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ“. Объ этомъ сходствѣ мы можемъ догадываться по слѣдующимъ строкамъ письма Гоголя къ Данилевскому: „Ты, я думаю, уже прочелъ „Ивана Ѳедоровича Шпоньку“. Онъ до брака удивительно какъ похожъ на стихи Языкова, между тѣмъ какъ послѣ брака сдѣлается совершенно поэзіей Пушкина“. О поэзіи же Пушкина онъ говоритъ тутъ же: „она не вдругъ обхватитъ васъ, но чѣмъ болѣе вглядываешься въ нее, тѣмъ она болѣе открывается, развертывается и, наконецъ, превращается въ величавый и обширный океанъ, въ который чѣмъ болѣе вглядываешься, тѣмъ онъ кажется необъятнѣе“. Но такъ какъ въ этихъ словахъ Гоголь не имѣетъ въ виду прямо характеристику любви Шпоньки послѣ свадьбы, то для пониманія этого мѣста и всего сравненія необходимо прочитать подлинное письмо [1]).

Въ этой же повѣсти мы находимъ личность, уже сильно напоминающую Пульхерію Ивановну „Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ“. Эта личность—мать Григорія Григорьевича Сторченка, о которой авторъ замѣчаетъ, что это была совершенная доброта. Казалось, она такъ и хотѣла спросить Ивана Ѳедоровича: „сколько на зиму насаливаете огурцовъ?“ Она—большая мастерица вести домашнее хозяйство; дѣвки ея хорошо выдѣлываютъ ковры. Самое любимое развлеченіе ея—угощать пріѣзжихъ; любимая бесѣда — о томъ, какъ должно красить пряжу и приготовлять для этого нитку. Разговоры

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 152.

о хозяйствѣ мигомъ пролагаютъ широкій доступъ къ ея сердцу каждой едва знакомой собесѣдницѣ. Подобно Пульхеріи Ивановнѣ, старушка, разговорившись, охотно *открывала сама, безъ просьбы, множество секретовъ* насчетъ дѣланія пастилы и сушенія грушъ [1]).

Въ виду всѣхъ указанныхъ данныхъ никакъ нельзя согласиться, что, изображая „старосвѣтскихъ помѣщиковъ“, Гоголь будто бы рисовалъ портреты своихъ домашнихъ. Мнѣніе это крайне наивно и односторонне. Но отдѣльныя черты изъ жизни близкихъ, безъ сомнѣнія, могли быть внесены имъ въ собранный для повѣсти матеріалъ. Такъ, Гоголь воспользовался слухами объ увозѣ тайкомъ его дѣдомъ будущей своей жены въ разсказѣ объ Аѳанасіи Ивановичѣ и его молодости [2]). Далѣе въ „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ“ нашли себѣ отраженіе отчасти обстановка Гоголева дѣтства, картина обычнаго малороссійскаго помѣщичьяго гостепріимства и проч. Добродушные выговоры Пульхеріи Ивановны приказчику и ея ни для кого не страшные выѣзды на ревизію, о которыхъ всюду знали задолго до ея пріѣзда [3]), представляютъ много сходства съ такими же выговорами и ревизіями Марьи Ивановны Гоголь, хотя общій складъ жизни и привычекъ, изображенныхъ въ „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ“, больше всего напоминалъ бытъ нѣкоторыхъ знакомыхъ и сосѣдей Гоголя, напр. старичковъ Зарудныхъ. Въ самомъ описаніи выѣздовъ помѣщицы на ревизію есть подробность, не относящаяся, конечно, къ изображенію М. И. Гоголь: когда Пульхерія Ивановна выѣзжала на дрожкахъ, „воздухъ наполнялся странными звуками, такъ что вдругъ были слышны и флейта, и бубны, и барабанъ“. Любопытно, что и здѣсь замѣчается сходство между „Повѣстью объ Иванѣ Ѳедоровичѣ Шпонькѣ и его тетушкѣ“ и „Старосвѣтскими Помѣщиками“; въ повѣсти о Шпонькѣ читаемъ о бричкѣ: „Это была та самая бричка, въ которой еще ѣздилъ Адамъ“. Подобной патріархальности не могло быть и слѣдовъ у родителей Гоголя, уже близко знакомыхъ съ Д. П. Трощинскимъ, въ домѣ котораго они нерѣдко бывали. Наконецъ, мы находимъ въ повѣсти „Старосвѣтскіе Помѣщики“ собственное откровенное признаніе Гоголя о

---

[1]) Ср. Соч. Гоголя, изд. X, т. I, стр. 201, 204 и 235–236.

[2]) См. «Матеріалы для біографіи Гоголя», т. I, стр. 38.

[3]) Тамъ же, стр. 57.

страхѣ, который ему причиняли разные слышанные имъ въ дѣтствѣ голоса. Такіе же голоса слышались ему и незадолго до смерти [1])... Наконецъ, личныя впечатлѣнія вообще нерѣдко передаются въ „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ“ прямо отъ лица автора и мѣстами переходятъ въ „лирическія отступленія“; напр.: „Пять лѣтъ прошло съ того времени. Какого горя не уноситъ время! Какая страсть уцѣлѣетъ въ неровной битвѣ съ нимъ!“ и пр.; или: „Боже“, думалъ я, глядя на него, „пять лѣтъ всеистребляющаго времени!“ [2]) и проч.

Оканчивается повѣсть такъ же печально, какъ и всѣ другія въ „Миргородѣ“, при чемъ мимоходомъ сказалось уже тогда выяснившееся крайнее несочувствіе Гоголя къ ухищреннымъ нововведеніямъ въ хозяйствѣ во вкусѣ Манилова (новый помѣщикъ „накупилъ шесть прекрасныхъ англійскихъ серповъ“ и проч.) при полномъ неумѣньѣ взяться за дѣло, но особенно тяжелое чувство, испытываемое при видѣ постепеннаго исчезновенія дорогихъ и близко знакомыхъ съ дѣтства чертъ старинаго быта и замѣны ихъ несимпатичной и притязательной новизной.

[1]) Тамъ же, стр. 58, примѣч.

[2]) Соч. Гоголя, изд. X, т. I, стр. 241 и 244.

ВНѢШНІЯ УСЛОВІЯ ЖИЗНИ ГОГОЛЯ СЪ ЛѢТА 1832 Г. ПО 1835 ГОДЪ.

I.

По возвращеніи Гоголя въ Петербургъ изъ Малороссіи, въ его литературной дѣятельности наступаетъ временное затишье. Для него сразу стеклось много неблагопріятныхъ обстоятельствъ, которыя не могли не отвлечь его отъ творчества; нѣкоторыя изъ нихъ были обусловлены заботами о родныхъ и разстройствомъ домашнихъ дѣлъ, другія — служебными отношеніями и условіями.

Для Марьи Ивановны Гоголь еще съ января 1832 г. наступило надолго суетливое и тревожное время, съ тѣхъ поръ какъ одинъ ея знакомый, красивый краковскій полякъ, заѣзжій землемѣръ Трушковскій, сдѣлалъ предложеніе ея старшей дочери. Очень естественно, что съ тѣхъ поръ до самой свадьбы всѣ обычные занятія и интересы были отложены или отошли на второй планъ, а главное вниманіе было устремлено на освѣдомленія о женихѣ, на разныя необходимыя приготовленія и проч. Какъ всегда почти бываетъ, между родственниками нашлись люди, не желавшіе этого брака и старавшіеся разбить свадьбу. Сама Марья Ивановна Гоголь желала бы видѣть дочь замужемъ за человѣкомъ богатымъ и обезпеченнымъ, тогда какъ у жениха состоянія не было; дядя невѣсты, А. А. Трощинскій (тотъ самый, который такъ много помогалъ Гоголю въ самое критическое время его жизни въ Петербургѣ), былъ съ своей стороны также недоволенъ и ясно показывалъ свое неодобреніе, что, въ свою очередь, не могло не дѣйствовать на мнительную Марью Ивановну, которую и безъ того

смущала всякая мелочь, въ родѣ появленія какой-то кометы и приближенія мая, считающагося у многихъ неблагопріятнымъ мѣсяцемъ для супружества.

Гоголь старался убѣдить домашнихъ не останавливаться разными нестоющими ни малѣйшаго вниманія примѣтами и другими мнимыми препятствіями. Онъ сочувственно отнесся къ намѣренію матери устроить свадьбу безъ шума и объявлялъ себя врагомъ всякихъ свадебныхъ обрядовъ и церемоній; совѣтовалъ не смотрѣть на пересуды сосѣдей и на мнѣнія дяди генерала, но дѣйствовать рѣшительно въ виду взаимной привязанности жениха и невѣсты. О богатствѣ онъ судилъ такъ: что женихъ „всегда можетъ нажить его; нужны только труды. Но доброй души и прекрасныхъ качествъ человѣкъ никогда не наживетъ, если ихъ не имѣетъ“ [1]).

Но все это происходило еще до поѣздки Гоголя въ Малороссію; съ этого только начались домашнія заботы и тревоги, которыя потомъ долго не прекращались. По выѣздѣ изъ дому Гоголь долженъ былъ заботиться о двухъ маленькихъ сестрахъ, которыхъ онъ везъ съ собою въ Петербургъ. Несмотря на отчаянную просрочку отпуска (Гоголь запаздывалъ почти на три мѣсяца, не давъ о себѣ никакого извѣщенія начальству Патріотическаго института), ему не удалось скоро доѣхать до Петербурга: въ дорогѣ экипажъ безпрестанно ломался и приходилось часто чинить его или просто ждать подолгу лошадей на станціяхъ, такъ что и въ Москвѣ Гоголю не удалось отдохнуть больше нѣсколькихъ дней. На пріемномъ испытаніи въ институтѣ сестры его сверхъ ожиданія были приняты только въ приготовительное отдѣленіе, но по случаю передѣлокъ въ зданіи заведенія не могли быть тотчасъ устроены. Между тѣмъ къ однѣмъ непріятностямъ присоединялись другія: просрочка Гоголя была слишкомъ велика, чтобы не броситься въ глаза администраціи, и, по докладу начальницы Вистингаузенъ, ему было пріостановлено жалованье на три мѣсяца, что̀ составляло 200 р., сумму, весьма чувствительную для Гоголя въ его стѣсненныхъ обстоятельствахъ [2]). Но, впрочемъ, послѣ его ходатайства жалованье было ему возвращено. Инспекторъ Плетневъ, несмотря на

[1]) «Соч. и письма Гоголя», т. V, стр. 145.

[2]) См. статью Н. А. Бѣлозерской: «Николай Васильевичъ Гоголь, его служба въ Патріотическомъ институтѣ» («Русская Старина», 1887, XII, стр. 741—755).

дружескія отношенія къ Гоголю, былъ также недоволенъ просрочкой и съ досады называлъ его „оригиналомъ“ [1])... Сестры Гоголя были, наконецъ, приняты въ институтъ на казенный счетъ, но подъ тяжкимъ условіемъ, чтобы Гоголь вмѣсто платы за нихъ отказался отъ жалованья и былъ неотлучно при институтѣ. Черезъ нѣсколько времени, впрочемъ, это стѣсненіе было устранено, и онѣ были зачислены сверхкомплектными воспитанницами, съ разрѣшенія самой императрицы, не въ примѣръ другимъ. Все это, конечно, стоило Гоголю не малыхъ волненій. А въ то же время, по порученію матери, ему приходилось имѣть дѣло съ Опекунскимъ Совѣтомъ и возникала даже мысль о продажѣ имѣнья.

Черезъ нѣсколько времени Марья Ивановна Гоголь перешла въ другую крайность: по совѣту пылкаго мечтателя-зятя, она у себя въ имѣньѣ основала кожевенную фабрику. Услышавъ объ этомъ, Н. В. Гоголь писалъ ей: „Со всѣхъ сторонъ доходятъ слухи и стращаютъ о неурожаѣ. Обратите на это вниманіе и велите, по крайней мѣрѣ, насѣять побольше картофелю, если хлѣба немного. Да нельзя ли не строить въ этотъ годъ фабрики и другихъ построекъ? Неужели въ винокурнѣ нельзя дать мѣстъ выдѣлывать кожъ; она же теперь совершенно гуляетъ. Приладьте какъ-нибудь. Вѣдь не въ наружномъ видѣ, не въ строеніи сила, а въ томъ, что́ дѣлается внутри. Фабрикантъ — большой фантазеръ. Ему, конечно, пріятно видѣть огромное строеніе съ пышнымъ названіемъ „фабрика“, но уговорите его, скажите, что вы на слѣдующій годъ выстроите ему золотую фабрику съ брилліантовою крышею, но что теперь нельзя ли какъ-нибудь пристроить въ винокурнѣ всѣ препараты, что нѣтъ никакой возможности поступить иначе“ [2]). Хотя Николай Васильевичъ всячески ста-

---

[1]) Соч. Плетнева, т. III, стр. 522.

[2]) «Русская Старина», 1889, I, стр. 141. Но тамъ не точно обозначенъ нами по предположенію 1834 г., тогда какъ письмо это, вѣроятно, было написано еще въ концѣ 1833 г. Приводимъ здѣсь вполнѣ это письмо, какъ не вошедшее въ собраніе г. Кулиша.

„Посылаю вамъ сѣмена для огорода. Только прошу васъ посадить ихъ какъ можно скорѣе,—если можно, то даже въ тотъ день, когда получите ихъ; намачивать ихъ вовсе не нужно, но просто прямо посадить въ землю. Только непремѣнно нужно поливать нѣсколько разъ въ день послѣ посадки. Мѣсто выбрать для нихъ лучше поближе къ пруду; особенно позаботьтесь, чтобы было

рался отклонить мать отъ рискованнаго, почти безумнаго предпріятія, которое вскорѣ причинило ей пятитысячный убытокъ, и, справляясь о томъ, насколько успѣшно идутъ заводы въ Малороссіи, отовсюду получалъ самыя неутѣшительныя свѣдѣнія, но разубѣдить Марью Ивановну не было никакой возможности. Вмѣсто того, чтобы внять совѣтамъ сына объ осторожности, она предавалась самымъ фантастическимъ надеждамъ на выручку отъ фабрики, хотя покупщиковъ совсѣмъ не было. Фабрикантъ скоро понялъ ея характеръ и, замѣтивъ ея безпредѣльную довѣрчивость и непрактичность, сулилъ въ будущемъ золотыя горы и давалъ самыя невѣроятныя обѣщанія. Для Гоголя было ясно заочно, что мать его сдѣлалась жертвой самаго безцеремоннаго обмана, и онъ предостерегалъ ее: „Для меня удивительно одно въ вашемъ фабрикантѣ: какъ фабрикантъ готовъ подрядиться на 10.000 паръ сапоговъ и рѣшается сдѣлать ихъ въ годъ? Кто за него будетъ работать? *Неужели невидимая сила?*“ [1]) и проч. Между тѣмъ Гоголь не переставалъ освѣдомляться объ инструментахъ, употребляемыхъ въ кожевенномъ дѣлѣ, и сообщалъ объ этомъ матери. Для пробы онъ просилъ присылать ему изъ дому сапоги и калоши издѣлія собственной фабрики, которые, однако, не всегда его удовлетворяли, и неудивительно: „ходить въ этихъ сапогахъ на улицѣ хорошо“, — хвалилъ Гоголь,—„но нужно же съ улицы войти въ комнату, гдѣ нельзя сидѣть, по причинѣ ихъ теплоты; а носить съ собою сапоги

получше для цвѣтной капусты, артишоковъ и брунколей, которые я очень люблю. Не забывайте особенно приказывать хоть кому-нибудь изъ комнатныхъ дѣвушекъ поливать ихъ. Хоть они садятся нѣсколько поздно, но садовникъ здѣшній увѣряетъ меня, что при аккуратномъ поливаніи они весьма могутъ поспѣть въ іюнѣ. Со всѣхъ сторонъ доходятъ слухи и стращаютъ о неурожаѣ. Обратите на это вниманіе и велите, по крайней мѣрѣ, насѣять побольше картофелю, если хлѣба немного. Да нельзя-ли не строить въ этотъ годъ фабрики и другихъ построекъ? Неужели въ винокурнѣ нельзя дать мѣстъ выдѣлывать кожъ; она же теперь совершенно гуляетъ. Приладьте какъ-нибудь. Вѣдь не въ наружномъ видѣ, не въ строеніи сила, а въ томъ, что дѣлается внутри. Фабрикантъ большой фантазеръ. Ему, конечно, пріятно видѣть огромное строеніе съ пышнымъ названіемъ «фабрика», но уговорите его, скажите, что вы на слѣдующій годъ выстроите ему золотую фабрику съ брилліантовою крышею, но что теперь нельзя-ли какъ-нибудь пристроить въ винокурнѣ всѣ препараты, что нѣтъ никакой возможности поступить иначе“...

[1]) «Соч. и письма Гоголя», т. V, стр. 180.

для перемѣны другіе—тоже не слишкомъ ловко“ [1]). Но вмѣсто того, чтобы обратить на все это вниманіе, Марья Ивановна разстраивала сына непріятными извѣстіями о томъ, что, напр., князь Кочубей, ни съ того, ни съ сего, пріѣхалъ мѣрять ея землю въ Яворивщинѣ: неизвѣстно, какое было у него побужденіе, но Марьѣ Ивановнѣ показалось, что онъ намѣревался отнять ея собственность. Хотя Гоголь и успокоивалъ ее, говоря: „Велика важность, что Кочубей мѣрялъ нашу землю! Пусть онъ хоть всю помѣститъ ее у себя на планѣ. Мы можемъ помѣстить у себя его Диканьку на планѣ“; но видно, что это его все-таки разсердило. „Жаль“, — пишетъ онъ,—„что у насъ въ Яворивщинѣ живутъ такіе олухи, которымъ ни до чего нѣтъ нужды, у которыхъ если бы собственный языкъ ихъ стали мѣрять аршинами, такъ они не спросили бы“ [2]). Разумѣется, все оказалось пустой тревогой...

Еще задолго до печальнаго финала фантастическихъ затѣй Марьи Ивановны, ея хозяйственныя дѣла приходили въ совершенное разстройство. Ей угрожала къ тому же тяжба съ родственникомъ Лукашевичемъ, который задолжалъ ей четыре тысячи рублей и не могъ или не хотѣлъ платить долгъ. Послѣ ей впрочемъ, кажется, удалось заложить души, которыя были переведены изъ Лукашевки“ [3]). Личныя дѣла Гоголя были въ это же время также очень незавидны: онъ попалъ на холодную квартиру и всю зиму [4]) былъ вынужденъ терпѣть отъ этого неудобства. Разстроенное здоровье Гоголя требовало новыхъ попеченій о себѣ, но какія-то неизвѣстныя намъ причины, всего вѣроятнѣе безденежье, удержали его лѣтомъ 1833 года въ Петербургѣ, не позволивъ ему не только думать о поѣздкѣ въ Малороссію [5]), но даже и въ Мо-

[1]) Тамъ же, стр. 192.

[2]) Тамъ же, стр. 180.

[3]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 169.

[4]) Съ 1832 г. по 1833 г.

[5]) То же повторилось и въ слѣдующемъ году. По этому поводу Гоголь писалъ матери: „Я бы съ радостью прислалъ вамъ сколько-нибудь, но этотъ годъ и для меня нѣсколько тяжелъ“. – Странно, что въ „Запискахъ о жизни Гоголя“ (т. I, стр. 123) г. Кулишъ пишетъ, что „въ этомъ (1833) году Гоголь не жилъ на дачѣ, судя по его словамъ, что онъ только-что пріѣхалъ изъ Петергофа, гдѣ прожилъ около мѣсяца“; но вѣдь именно въ Петергофѣ-то онъ, конечно, и нанималъ тогда дачу. Впрочемъ, это примѣчаніе было уже опущено въ „Соч. и письмахъ Гоголя“.

скву. Впрочемъ, въ противоположность съ предыдущимъ годомъ онъ отнесся немного спокойнѣе къ этому лишенію. Теперь онъ привыкъ уже изъ года въ годъ проводить лѣто на дачѣ въ окрестностяхъ Петербурга (въ 1831 г. въ Павловскѣ, въ 1832 г. Гоголь поселился было на дачѣ Гюнтера въ Царскомъ Селѣ, но, какъ мы знаемъ, оставался тамъ только въ началѣ лѣта, затѣмъ въ 1833 г. онъ поселился въ Стрѣльнѣ и около Петергофа и только изрѣдка пріѣзжалъ въ Петербургъ для пріисканія новой квартиры [1]).

Также и въ 1834 г. Гоголь никоимъ образомъ не могъ выбраться лѣтомъ изъ Петербурга и не былъ въ состояніи нанять дачу, о которой онъ даже и не упоминалъ на этотъ разъ ни въ одномъ письмѣ. И въ этомъ году при всемъ непреодолимомъ отвращеніи къ лѣтней петербургской духотѣ и скукѣ Гоголь скоро почувствовалъ себя совершенно прикованнымъ къ городу неумолимой нуждой. Необходимость стѣснять себя до послѣдней крайности, разумѣется, не позволяла нашему юношѣ думать о какой-либо помощи матери, за которую онъ могъ только мучиться и страдать нравственно. Даже самое непродолжительное свиданіе съ нею являлось трудно осуществимой мечтой. Въ началѣ весны Гоголь писалъ однажды матери: „Черезъ четыре мѣсяца все-таки надѣюсь съ вами видѣться“ [2]), но судя по содержанію всего письма и по непосредственно слѣдующимъ словамъ: „Ну, развеселитесь же“, нельзя сомнѣваться, что такое обѣщаніе, если не безусловно, то въ значительной степени давалось также и для утѣшенія удрученной заботами, хотя и бодрившейся и даже обольщавшейся надеждами Марьи Ивановны, надеждами, которыми послѣдняя усыпила было даже на время опасенія болѣе ея дальновиднаго и осторожнаго сына. Въ іюнѣ 1834 года Гоголь по обыкновенію рвался вонъ изъ столицы, но могъ мечтать о выѣздѣ только самымъ неопредѣленнымъ образомъ: „Если я пріѣду въ Москву“— писалъ онъ Погодину уже въ исходѣ названнаго мѣсяца,— „то или къ тебѣ, или къ кому-нибудь другому *въ деревню, потому что мнѣ городъ такъ надоѣлъ, что не могу смотрѣть на него равнодушно*“ [3]). Но и это предположеніе не удалось и, ка-

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 219.
[2]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 197.
[3]) Тамъ же, стр. 215.

жется, именно вслѣдствіе множества сдѣланныхъ Гоголемъ долговъ. („Я увидѣлъ, что мнѣ выбраться нельзя никакъ изъ Питера: такъ я связался съ нимъ *домами и всѣми дѣлами своими*“ объяснялъ онъ Максимовичу свою вынужденную вѣрность надоѣвшему Петербургу [1]). Тому же пріятелю Гоголь жаловался: „признаюсь, мнѣ становится чѣмъ далѣе, *тѣмъ нестерпимѣе петербургскій воздухъ*“ [2]). Правда, Гоголь говоритъ во всѣхъ этихъ мѣстахъ также вообще о своей неудовлетворенности Петербургомъ, но несомнѣнно, что приведенныя строки указываютъ и на его недовольство необходимостью провести тамъ лѣто, что̀ видно и изъ его приведенныхъ выше жалобъ и изъ того, что Гоголь спѣшилъ при первой возможности хоть недалеко и не надолго вырваться изъ города даже въ самомъ концѣ лѣта. „Спѣшу къ тебѣ кончить письмо“— говоритъ онъ Максимовичу,—„зане страхъ некогда: *сейчасъ ѣду въ Царское*, гдѣ проживу двѣ недѣли, по истеченіи которыхъ непремѣнно буду писать къ тебѣ“. Это видно наконецъ даже изъ такихъ выраженій въ другихъ его письмахъ, напр. „Наши всѣ почти разъѣхались: Пушкинъ въ деревнѣ, Вяземскій удралъ за-границу. Городъ весь застроенъ подмостками для лучшаго открытія Александровской колонны, имѣющей открыться 30 августа. Офицерья и солдатства страшное множество — и прусскихъ, и голландскихъ, и австрійскихъ и проч.“... [3]) Матери онъ также писалъ: „Даже намѣреніе мое ѣхать къ вамъ рушилось“ [4]).

Вообще матеріальное положеніе Гоголя всѣ эти годы продолжало оставаться крайне неблистательнымъ, что̀, разумѣется, не могло не отражаться, и даже весьма замѣтно, на его душевномъ настроеніи, хотя онъ и переживалъ временами, совершенно наперекоръ тяжкому гнету нужды, счастливые недѣли и мѣсяцы подъ вліяніемъ роившихся въ головѣ свѣтлыхъ надеждъ и юношескихъ мечтаній, на которыхъ мы будемъ вскорѣ имѣть случай остановиться подробно. Касаться же матеріальныхъ условій, среди которыхъ находился Гоголь, мы считаемъ себя положительно вынужденными въ виду того, что теченіе внутренней жизни Гоголя съ ними тѣсно связано

[1]) Стр. 223.
[2]) Стр. 224.
[3]) Стр. 225 и письма Гоголя къ Максимовичу, стр. 20.
[4]) Стр. 219.

и обзоръ ея въ связи съ изученіемъ внѣшней жизненной обстановки получаетъ нѣсколько болѣе рельефности и силы.

Въ занимающее насъ время личныя заботы и дѣла, конечно, должны были сильно отвлекать Гоголя отъ участія въ дѣлахъ матери, и это обстоятельство оказалось крайне неблагопріятнымъ для обѣихъ сторонъ. И все время почти Гоголю приходилось убѣждать мать не быть слишкомъ довѣрчивой и не распространять, по крайней мѣрѣ, заранѣе слуховъ о необыкновенно успѣшномъ ходѣ дѣлъ, при чемъ онъ предостерегалъ ее, между прочимъ, и тѣмъ соображеніемъ, что фабрикантъ можетъ исчезнуть съ деньгами или умереть, тогда какъ на немъ одномъ держится все дѣло. Слова Гоголя оказались пророческими: въ одинъ прекрасный день Марья Ивановна узнала, что фабрикантъ бѣжалъ, предоставляя ей ликвидировать дѣла и уплатить долги. Можно только удивляться тому, какъ неэнергично поступалъ въ этомъ дѣлѣ Гоголь, писавшій матери излишне деликатно: „Я увѣренъ, что все, что́ вы ни дѣлаете, дѣлаете посовѣтовавшись напередъ съ собственнымъ благоразуміемъ, *которое васъ всегда выручало*“ (?!) [1]). Или, совѣтуя матери держать фабриканта въ рукахъ, онъ вдругъ портитъ дѣло оговоркой: „Впрочемъ, я, позабывшись, читаю вамъ наставленія, тогда какъ вы, безъ сомнѣнія, лучше меня все это знаете“ [2]). Между тѣмъ недовольство этимъ рискомъ перешло у Гоголя и на главнаго виновника его, П. О. Трушковскаго. Послѣдній однажды нарочно хотѣлъ пріѣхать въ Петербургъ, чтобы повидаться съ шуриномъ, но Гоголь написалъ матери, будто уѣзжаетъ въ Ревель, куда его „призываютъ разныя необходимыя для его трудовъ разысканія“ [3]). Этимъ поѣздка была отклонена, а потомъ Гоголь уже написалъ матери откровенно, что въ Ревель не ѣздилъ...

Чтобы покончить съ домашними заботами и непріятностями Гоголя, укажемъ еще на то, что Марья Ивановна не переставала иногда раздражать сына своей безтактностью, напр. съ увѣренностью приписывая ему какую-то ничтожную повѣсть подъ заглавіемъ „Кулябка“, называя его геніемъ, и проч. Что-то, повидимому, похожее на это повторялось и еще не разъ.

---

[1]) Тамъ же, стр. 191.
[2]) Тамъ же, стр. 210.
[3]) Стр. 192.

„Я бы вамъ прислалъ теперь Смирдина журналъ“—писалъ Гоголь матери,—„но онъ такъ толстъ, что за пересылку его больше нужно заплатить, чѣмъ сколько онъ стóитъ; притомъ же онъ очень глупъ... Я не знаю, чтó за охота пришла нашимъ судить и рядить о литературѣ. Я зналъ лично людей, которыхъ почитали умными, но когда эти люди захотятъ непремѣнно судить и сообщать другимъ свои сужденія, то ихъ безъ смѣха нельзя слушать. Въ какія можно впасть ошибки, можно извѣстному писателю приписывать сочиненіе чужое, сочиненіе гадкое, которымъ оскорбляется умъ и вкусъ“ [1]).—Еще одинъ случай. Однажды братъ Александра Семеновича Данилевскаго, Иванъ Семеновичъ, собирался надолго переѣхать въ Петербургъ. Гоголь писалъ матери, чтобы она отсовѣтовала болѣзненному Данилевскому настаивать на своей мечтѣ, ссылаясь на дурное вліяніе на непривычныхъ петербургскаго климата, при чемъ приводилъ въ примѣръ самого себя. Марья Ивановна, безумно любившая сына и смотрѣвшая, такъ сказать, въ микроскопъ, когда обсуждала какія-либо касавшіяся его непріятности, потребовала, чтобы Гоголь немедленно ѣхалъ въ деревню. Тогда пришлось ее успокоивать и писать, что „весь городъ боленъ кашлемъ и прочими принадлежностями простуды“ [2]).

Надо, впрочемъ, замѣтить, что, несмотря на частые примѣры обидчивости Гоголя въ тѣхъ случаяхъ, когда чѣмъ-нибудь затрогивалось его крайне чувствительное самолюбіе, обычныя взаимныя отношенія его и Марьи Ивановны во время ихъ личныхъ свиданій были всегда совершенно дружескія, теплыя и сердечныя,—такъ по крайней мѣрѣ представили ихъ намъ, на основаніи многолѣтняго весьма близкаго знакомства съ семьей нашего писателя, А. С. Данилевскій и А. И. Псіолъ [3]). Можетъ быть, во избѣжаніе упрека въ голословности, не лишнее будетъ здѣсь, въ подтвержденіе сказаннаго, привести два-три мелкихъ случая, рисующихъ Гоголя въ его семьѣ въ разные моменты, при разныхъ настроеніяхъ, и показывающихъ какъ обычный тонъ его при непосредственныхъ

---

1) Стр. 219—220.

2) Стр. 199.—Кромѣ того, Марьѣ Ивановнѣ случалось иногда безъ всякаго серьезнаго основанія безпокоиться, напр., о томъ, будто дочерей ея не станутъ учить музыкѣ и иностраннымъ языкамъ и т. под. Такихъ случаевъ можно найти въ перепискѣ не мало.

3) См. о ней выше, стр. 45.

сношеніяхъ съ матерью, между прочимъ его сдержанность въ случаѣ небольшого недовольства какой-нибудь мелочью въ домашнемъ обиходѣ, и вообще его домашнее обращеніе,—такъ и проявленіе чувства любви къ матери въ болѣе или менѣе торжественныя минуты.

Марья Ивановна относилась къ сыну, какъ къ авторитетному лицу во всѣхъ отношеніяхъ; она во всемъ съ нимъ совѣтовалась и дорожила каждымъ его мнѣніемъ, особенно же старалась угодить ему, чѣмъ только могла. Гоголь относился къ ея суетливому усердію съ легкимъ оттѣнкомъ добродушнаго юмора, но всегда сердечно и дружески. Однажды, когда Гоголь крестилъ вмѣстѣ съ матерью одного изъ сыновей Данилевскаго, названнаго въ честь его Николаемъ (и вскорѣ умершаго) [1]), то онъ показалъ себя весьма заботливымъ, предупредительнымъ; но вдругъ, когда онъ о чемъ-то очень захлопотался, къ нему подходитъ въ большомъ смущеніи Марья Ивановна и шепчетъ, показывая на нетрезваго и съ трудомъ говорящаго священника: „Николенька, можно ли допустить, чтобы священникъ совершалъ таинство въ такомъ видѣ?“ Гоголь, ласково смѣясь, отвѣтилъ на это: „маменька, странно было бы требовать, чтобы священникъ былъ трезвъ въ воскресенье! надо это извинить ему“. Однажды Марья Ивановна замѣтила, что ея дорогому гостю, за которымъ она по обыкновенію сильно ухаживала, не совсѣмъ нравится кофе ея приготовленія. Она попросила на другой день одну изъ дочерей приготовить кофе какъ можно старательнѣе и лучше, но видитъ, что и на этотъ разъ сынъ неохотно пьетъ его. Тогда Марья Ивановна замѣтила: „это сегодня для тебя Оленька сама приготовила!...“ (Ольга Васильевна даже сама на этотъ разъ подавала кофе). — „Нѣтъ, маменька“, — возразилъ Гоголь: „ужъ гдѣ заведется дурной кофе, тамъ его ничѣмъ не выживешь!“ (припомнимъ, что также не могли часто угодить на Гоголя и у Аксаковыхъ и въ другихъ домахъ, но здѣсь, дома, онъ былъ какъ-то деликатнѣе и добрѣе).—Въ 1851 г., когда Гоголь въ послѣдній разъ видѣлся съ матерью, она, какъ всегда, просила его не торопиться отъѣздомъ и гово-

---

[1]) Этотъ и слѣдующіе сообщаемые нами факты относятся уже къ концу сороковыхъ и началу пятидесятыхъ годовъ и были сообщены намъ покойнымъ А. С. Данилевскимъ.

рила ему: „останься еще! Богъ знаетъ, когда увидимся!“ и Гоголь нѣсколько разъ оставался и снова собирался въ дорогу, и наконецъ, отслуживъ молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ, при чемъ онъ весьма горячо и усердно молился, разстался съ ней навсегда...[1])

II.

Но кромѣ разныхъ домашнихъ тревогъ, были также и другія помѣхи для литературной дѣятельности Гоголя въ 1833 и отчасти въ 1834 г. Плетневъ однажды писалъ о немъ Жуковскому: „У Пушкина ничего нѣтъ новаго, у Гоголя тоже. Его комедія не пошла изъ головы. Онъ слишкомъ много хотѣлъ обнять въ ней, встрѣчалъ безпрестанно затрудненія въ представленіи и потому съ досады ничего не писалъ. Есть еще другая причина его неудачи: онъ въ такой холодной поселился квартирѣ, что цѣлую зиму принужденъ былъ бѣгать отъ дому, боясь тамъ заморозить себя. Такъ-то физическая сторона человѣка иногда губитъ его духовную половину со всѣми въ ней зародышами“ [2]). Это сообщеніе Плетнева подтверждается цѣлымъ рядомъ сходныхъ данныхъ въ перепискѣ Гоголя. „Досадно“, — писалъ Гоголь Погодину, въ ноябрѣ 1832 г., узнавъ объ успѣхѣ его литературныхъ

[1]) Пора понять, кажется, что легкіе капризы, слѣдствіе болѣзненной раздражительности крайне нервной натуры Гоголя, измученной и потрясенной тяжелой жизненной борьбой, его невольныя вспышки обидчивости и порой сухой, непривѣтливый тонъ нисколько не исключаютъ возможности въ Гоголѣ любви къ своей семьѣ. Судя невыгодно объ отношеніяхъ его къ роднымъ, *на основаніи мертвыхъ документовъ*, безъ вниканія въ переживаемые Гоголемъ тяжелые искусы, которые ему постоянно посылала судьба, мы неизбѣжно будемъ впадать въ несправедливое осужденіе нашего писателя. Мы не безъ цѣли приводимъ здѣсь сообщенные намъ покойнымъ Данилевскимъ мелкіе факты, въ надеждѣ съ достаточной правдивостью возстановить родственныя отношенія нашего писателя, которыя намъ приходится выяснить теперь съ возможной обстоятельностью и полнотой, разъ мы рѣшились излагать ихъ съ бо́льшими подробностями, чѣмъ прежде. Мы все еще надѣялись прежде, что достаточно представить въ краткомъ видѣ лишь извлеченіе изъ нашихъ замѣтокъ о семейныхъ отношеніяхъ Гоголя, этомъ щекотливѣйшемъ вопросѣ біографіи...

Пора также понять, что все нами сказанное *ни на іоту не противорѣчитъ* нашему критическому отношенію къ перепискѣ Гоголя съ матерью, представляющемуся инымъ наивнымъ судьямъ чуть не святотатствомъ.

[2]) Соч. Плетнева, т. III, стр. 528.

работъ—„что творческая сила меня не посѣщаетъ до сихъ поръ. Можетъ быть, она ожидаетъ меня въ Москвѣ“ [1]). Матери онъ писалъ уже во второй половинѣ 1833 года: „Врядъ-ли будетъ у меня что-нибудь въ этомъ или даже въ слѣдующемъ году. Пошлетъ ли всемогущій Богъ мнѣ вдохновеніе—не знаю“ [2]).

Хотя Гоголь по всѣмъ извѣстіямъ былъ въ это время преимущественно занятъ комедіей, но онъ, кажется, не оставлялъ и другихъ художественныхъ замысловъ, судя по тому, что онъ снова просилъ нерѣдко домашнихъ присылать ему „сказки и присказки“ и возобновлялъ рѣчь о присылкѣ смушевой шапки, кунтуша и проч. Съ другой стороны, хотя онъ съ презрѣніемъ отзывался тогда о „Вечерахъ“, называя ихъ „спекулятивнымъ оборотомъ“ и ожидая чего-нибудь „увѣсистаго, великаго, художническаго“, но собираніе сказокъ и отыскиваніе костюмовъ предпринималъ, конечно, для „Мир города“, составлявшаго продолженіе „Вечеровъ“. Кромѣ того, онъ принималъ непосредственнымъ наблюденіемъ участіе въ выходѣ „Пестрыхъ Сказокъ“ Одоевскаго и постоянно бывалъ на извѣстныхъ субботнихъ вечерахъ у Жуковскаго, гдѣ встрѣчалъ Пушкина, Крылова, Гнѣдича и графа М. Ю. Віельгорскаго.

Кромѣ того, Гоголь задумалъ было принять участіе вмѣстѣ съ Одоевскимъ и Пушкинымъ въ изданіи альманаха, который предполагалось назвать шутливымъ именемъ „Тройчатка, или альманахъ въ три этажа“; самое названіе это придумано было Гоголемъ. Одоевскій часто видался тогда съ Гоголемъ, какъ это видно не только изъ переписки объ альманахѣ, но и изъ случайныхъ отрывочныхъ воспоминаній, напр. въ не разъ указанной нами выше статейкѣ Мундта (о намѣреніи Гоголя поступить въ актеры). Со всѣми членами Пушкинскаго и другихъ близкихъ къ нему литературныхъ кружковъ Гоголь былъ вообще въ довольно короткихъ, хотя часто и поверхностныхъ отношеніяхъ, и это продолжалось до самаго отъѣзда его за-границу. По поводу задуманнаго альманаха Одоевскій писалъ Пушкину: „Скажите, любезнѣйшій Александръ Сергѣевичъ, что дѣлаетъ нашъ почтенный г. Бѣлкинъ? Его сотрудники, Гомозейко и Рудый Панекъ, по странному сте-

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 163.
[2]) Тамъ же, стр. 184.

ченію обстоятельствъ, описали: первую—гостиную, второй—чердакъ; нельзя ли г. Бѣлкину“ (т. е. Пушкину) „взять на свою отвѣтственность погребъ? Тогда бы вышелъ весь домъ въ три этажа, и можно было бы къ „Тройчаткѣ“ сдѣлать картину, представляющую разрѣзъ дома въ три этажа съ различными въ каждомъ сценами. Рудый Панекъ даже предлагалъ самый альманахъ назвать такимъ образомъ „Тройчатка, или альманахъ въ три этажа“, соч. и проч. Что на это скажетъ г. Бѣлкинъ? Его рѣшеніе нужно бы знать немедленно, ибо заказывать картинку должно теперь, иначе она не поспѣетъ, и „Тройчатка“ не выйдетъ къ новому году, что кажется необходимымъ“ [1]). Эта литературная затѣя не состоялась, какъ и многіе другіе альманахи, но для насъ важно то, что она даетъ намъ понятіе о совершенно свободныхъ и дружескихъ отношеніяхъ къ Гоголю его старшихъ литературныхъ собратовъ. Пушкинъ такъ отвѣчалъ Одоевскому: „Виноватъ, ваше сіятельство, кругомъ виноватъ! Пріѣхалъ въ деревню, думалъ—распишусь, не тутъ-то было. Головная боль, хозяйственныя хлопоты, лѣнь—барская, помѣщичья лѣнь такъ одолѣли меня, что не приведи Боже. Не дожидайтесь Бѣлкина; не на шутку, видно, онъ покойникъ: не бывать ему на новосельѣ ни въ гостиной Гомозейки, ни на чердакѣ Панька. Не достоинъ онъ, видно, быть въ ихъ компаніи... А куда бы не худо до погреба добраться“ [2])! Вообще такіе проекты и замыслы болѣе важны для характеристики литературныхъ отношеній Гоголя въ занимающее насъ время, нежели свидѣтельствуютъ о какихъ-либо дѣйствительныхъ и опредѣленныхъ литературныхъ планахъ.

Въ это же время Гоголь написалъ „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ [3]). Слова же Гоголя въ письмѣ къ Максимовичу отъ 9-го ноября

---

[1]) „Русскій Архивъ“, 1864, VII—VIII, 719—720; 2 изд., стр. 814.

[2]) Соч. Пушкина, изд. литер. фонда, т. VII, стр. 382.

[3]) Мы не находимъ необходимымъ разбирать это произведеніе съ цѣлью извлечь изъ него черты, важныя для разъясненія жизни или исторіи творчества Гоголя, кромѣ указанныхъ выше (стр. 125), такъ какъ повѣсть эта едва ли можетъ дать новый матеріалъ въ указанномъ отношеніи; здѣсь отмѣтимъ лишь нѣсколько подробностей, имѣющихъ болѣе внѣшнее значеніе, которыя, по нашему мнѣнію, должны быть разсмотрѣны и указаны отдѣльно отъ характеристики внутренняго настроенія Гоголя, отразившагося въ „Миргородѣ“.

1833 г. о томъ, что эта повѣсть, отданная имъ въ альманахъ Смирдина „Новоселье“, гдѣ она впервые была напечатана, будто бы „старинная“, и дата, помѣченная въ „Новосельѣ“ (1831 г.), не могутъ быть приняты, какъ совершенно справедливо доказываетъ Н. С. Тихонравовъ. Извиненіе Гоголя очень легко объясняется неловкостью его положенія: будучи на вечерѣ у Смирдина во время его „новоселья“, Гоголь, вмѣстѣ съ другими присутствующими, долженъ былъ дать обѣщаніе принять участіе въ задуманномъ альманахѣ, тогда какъ для Максимовича причина такого предпочтенія ему Смирдина могла казаться весьма обидной. На слѣды свѣжихъ впечатлѣній, послужившихъ главной канвой для повѣсти, указываютъ, между прочимъ, описанія исключительно лѣтнихъ сценъ. Гоголь и здѣсь, какъ въ „Віи“, очень мало пользуется сюжетомъ, взятымъ у Нарѣжнаго; главное содержаніе составляютъ все-таки описаніе уѣздной скуки и спячки, также нравовъ и отчасти даже внѣшняго вида Миргорода, описаніе знойнаго малороссійскаго лѣта съ его характеристичной тишиной и истомой и проч. Такіе дни Гоголь, правда, описывалъ и прежде, напр. въ самомъ началѣ „Сорочинской Ярмарки“, но особенно часто подобныя описанія встрѣчаются въ его письмахъ около 1832 г. Зазывая своихъ пріятелей на лѣтній отдыхъ въ Малороссію, Гоголь еще передъ выѣздомъ изъ Петербурга писалъ одному изъ нихъ: „Въ іюлѣ мѣсяцѣ, если бы тебѣ вздумалось заглянуть въ Малороссію, то засталъ бы и меня, лѣниво возвращающагося съ поля отъ косарей, или беззаботно лежащаго подъ широкой яблоней, безъ сюртука, на коврѣ, возлѣ ведра холодной воды со льдомъ“ [1]). Другому пріятелю онъ писалъ приглашеніе почти въ тѣхъ же словахъ: „Жизнь мы проведемъ самымъ эстетическимъ образомъ: спать будемъ въ волю; ѣсть будемъ очень много“ [2]). и проч. Позднѣе, года черезъ два, онъ звалъ также Максимовича ѣхать съ нимъ по Пслу, гдѣ бы „мы лежали въ натурѣ, купались“ [3]) и проч. Нельзя не припомнить, что это-то лежаніе въ прохладной тѣни, благодушные, лѣнивые разговоры изможденныхъ зноемъ людей, иногда даже о поли-

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 156.
[2]) „Русское Слово“, 1859, т. I, стр, 85.
[3]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 216.

тикѣ и о томъ, какъ „три короля объявили нашему царю войну“, сцена развѣшиванія на воздухѣ бѣлья для просушки и проч. составляютъ въ значительной степени содержаніе повѣсти до сцены, въ которой описывается самая ссора.

Это изображеніе Миргорода и его запущенности было, очевидно, снято съ натуры; описаны были даже присутственныя мѣста и находившаяся передъ ними „прекрасная лужа, удивительная лужа“. Этимъ Гоголь нажилъ себѣ множество непримиримыхъ враговъ въ лицѣ мѣстныхъ миргородскихъ патріотовъ [1]).

Во второй половинѣ повѣсти, т.-е. въ изображеніи самой тяжбы, Гоголь не только остается вполнѣ самостоятельнымъ по отношенію къ Нарѣжному, но и вноситъ гораздо болѣе глубокую идею, замѣняя узко-практическую мораль романа „Страсть къ тяжбамъ“, старавшагося показать единственно безсмысленность послѣднихъ и происходящій отъ этого огромный практическій вредъ, изображеніемъ безнадежной пустоты и нравственнаго ничтожества людей, которыхъ и дружба и ненависть имѣютъ самую жалкую, самую пошлую основу, совершенно соотвѣтствующую убогому уровню ихъ умственнаго и нравственнаго развитія. Какъ извѣстно, Гоголь сосредоточилъ весь комизмъ на ничтожномъ поводѣ къ ссорѣ, возникшей изъ-за слова „гусакъ“, подобно тому какъ въ „Мертвыхъ Душахъ“ Чичиковъ поссорился съ другимъ таможеннымъ чиновникомъ изъ-за того, что тотъ обидѣлся за обозваніе его поповичемъ, хотя былъ дѣйствительно поповичъ.

Изъ внѣшнихъ слѣдовъ вліянія Нарѣжнаго на Гоголя можно отмѣтить, кажется, только слѣдующій пріемъ въ „Страсти къ тяжбамъ“, повторенный и въ „Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“: „Попытай, кто хочетъ и надѣется вѣрно изобразить взоръ и движеніе, обнаруженные тогда панамъ Харитономъ“. Ср. у Гоголя: „О, если бы я былъ живописецъ, я бы чудно изобразилъ всю прелесть ночи“ и проч. [2]).

---

[1]) См. „Вѣстникъ Европы“, 1890, кн. 2-ая, стр. 586—587 и „Русск. Арх.“ 1890, VIII, 151.

[2]) „Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ“; 3 ч., стр. 143. Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 422.

III.

Во вторую половину 1832 и въ теченіе всего 1833 г. литературные труды Гоголя подвигались вяло, и это обстоятельство находилось въ самой несомнѣнной связи съ состояніемъ духа нашего писателя и съ обусловливавшими его внѣшними матеріальными условіями. Главнымъ дѣломъ Гоголя въ эту пору было собираніе народныхъ украинскихъ пѣсенъ, въ которое онъ одно время вдался было усиленно, относясь къ этому занятію съ горячимъ увлеченіемъ внезапно возгорѣвшейся страсти. Здѣсь сильно сказалась его поэтическая натура и вмѣстѣ съ тѣмъ вліяніе на него знакомства съ Максимовичемъ. По возвращеніи Гоголя въ Петербургъ изъ Малороссіи, Максимовичу понадобилась виньетка для заглавнаго листа его сборника малороссійскихъ пѣсенъ. Горячо сочувствуя его предпріятію, Гоголь сталъ подыскивать для исполненія этой мысли художника, который оказался бы на высотѣ предназначавшейся ему задачи. Въ бытность свою въ Москвѣ Гоголь совсѣмъ было обнадежилъ въ этомъ отношеніи своего друга, но обѣщаніе Гоголя на этотъ разъ не было приведено въ исполненіе. „Тотъ художникъ малороссъ въ обоихъ смыслахъ“,—писалъ онъ,—„про котораго я вамъ говорилъ и который одинъ могъ бы сдѣлать національную виньетку, пропалъ какъ въ воду, и я до сихъ поръ не могу его отыскать“ [1]).

Зато собираніе и записываніе пѣсенъ подвигалось съ извѣстнымъ успѣхомъ. Отъ этой дѣятельности Гоголя сохранились несомнѣнные слѣды[2]), и при томъ не въ одномъ только сборникѣ, изданномъ Максимовичемъ, въ которомъ нѣкоторое участіе несомнѣнно принялъ и Гоголь (конечно, во второмъ изданіи). Хотя и трудно опредѣлить, на основаніи писемъ, насколько великъ былъ въ данномъ случаѣ сдѣланный имъ вкладъ; но во всякомъ случаѣ, мы имѣемъ въ рукахъ кромѣ того три собственноручныхъ тетради пѣсенъ, старательно переписанныхъ Гоголемъ, изъ которыхъ одна заключаетъ въ себѣ пѣсни русскія, впрочемъ, повидимому, выбранныя преимущественно

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 164.

[2]) См. тамъ же, стр. 208.

изъ сборника *Сахарова*, *а въ двухъ* другихъ записаны пѣсни южнорусскія и малороссійскія [1]).

Но въ остальныхъ отношеніяхъ Гоголь мало подвинулся въ этомъ году и постоянно во всѣхъ письмахъ жаловался на овладѣвшую имъ лѣнь, особенно къ Погодину отъ 1 февраля, въ письмѣ къ Данилевскому отъ 8 февраля, и къ Максимовичу отъ 2 іюля. Въ послѣднемъ Гоголь говоритъ между прочимъ: „Я такъ теперь остылъ, очерствѣлъ, сдѣлался такой прозой, что не узнаю себя. Вотъ скоро будетъ годъ, какъ я ни строчки. Какъ ни принуждалъ себя, нѣтъ. да и только!“ хотя въ нѣсколько болѣе раннемъ письмѣ къ Погодину (отъ 8 мая) онъ замѣчаетъ, что приступилъ къ написанію „увѣсистой вещи“: „Начало къ этому уже сдѣлано. Не знаю, какъ пойдетъ дальше“. Но увѣренности въ успѣшной работѣ вдохновенія не было, какъ это видимъ между прочимъ изъ заключительныхъ строкъ того же письма: „да не отлучается отъ тебя вдохновеніе и творческая сила“ [2]). Чувствуя временное ослабленіе въ себѣ творческаго дара, Гоголь тѣмъ искреннѣе желалъ литературныхъ и научныхъ успѣховъ своему пріятелю.

Поразительная непроизводительность творчества Гоголя въ 1833 году остается пока неразгаданной. Отчасти мы уже объясняли причину ея и ниже предложимъ болѣе подробное объясненіе, а пока позволимъ себѣ только сказать, что ни одно изъ предположительныхъ объясненій г. Кулиша въ данномъ случаѣ насъ рѣшительно не удовлетворяетъ.—„Въ промежутокъ между іюлемъ и ноябремъ“,—пишетъ г. Кулишъ,—„съ Гоголемъ случилось нѣчто необыкновенное. Можетъ быть, то были непріятности по службѣ или по предмету его литературныхъ занятій; но, судя по тону его рѣчи, едва-ли не будетъ вѣрнѣе, если мы скажемъ, что то была:

„Забота юности—любовь“.

„Строчки эти находятся въ письмѣ къ Максимовичу отъ

---

[1]) Пѣсни онъ собиралъ частью самъ, частью же ему въ этомъ дѣлѣ по прежнему помогали его мать и родные (см. особенно „Соч. и письма“, т. V, стр. 189—190, откуда видно, что до собиранія пѣсенъ, по просьбѣ Гоголя, въ домѣ его матери были уже какія-то старинныя тетради съ пѣснями).— Кромѣ этихъ тетрадей, въ которыхъ записаны пѣсни, у насъ находятся *списанныя* его рукой стихотворенія Ломоносова и Державина, также въ *особой тетради*.

[2]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 179.

9 ноября 1833 года, гдѣ Гоголь говоритъ между прочимъ: „еслибъ вы знали, какіе со мной происходятъ странные перевороты, какъ сильно растерзано все внутри меня. Боже, сколько я пережилъ, сколько перестрадалъ! Но теперь я надѣюсь, что все успокоится, и я буду снова дѣятельный, движущійся“ [1]).

Намъ кажется, что г. Кулишъ далеко идетъ за объясненіемъ загадочнаго литературнаго безплодія Гоголя въ 1833 г.[2]). Онъ дѣлаетъ совершенно произвольныя предположенія и забываетъ обратить вниманіе на связь выписанныхъ строкъ съ остальнымъ содержаніемъ того же письма. Во-первыхъ, Гоголь и раньше, въ самомъ началѣ іюля, писалъ Максимовичу о своихъ литературныхъ неудачахъ, происшедшихъ вслѣдствіе самыхъ разнообразныхъ непріятностей, или по прихоти упрямаго вдохновенія, какъ о томъ говорилъ онъ Погодину и другимъ, да и весь предшествующій годъ въ этомъ отношеніи былъ для него однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ, и во-вторыхъ, Гоголю пришлось сгущать краски и употреблять яркія выраженія чуть ли не для того еще, чтобы лучше извинить себя передъ пріятелемъ, который давно ждалъ обѣщаннаго вклада для издаваемой имъ „Денницы“ [3]). Любопытно притомъ, что служебныя и литературныя непріятности въ гораздо бо́льшей степени удручали Гоголя въ 1835 и 1836 годахъ, но это нимало не ослабляло тогда силы его творчества. На любовь же въ приведенныхъ выше строкахъ нѣтъ даже и намека. Одной изъ причинъ занимающаго насъ застоя въ творчествѣ Гоголя могло быть также развѣ нездоровье, вообще слишкомъ часто возвращавшееся къ нему. Такъ, у него уже давно слегка мелькала мысль даже о поѣздкѣ для лѣченія на Кавказъ, мысль, къ которой онъ потомъ не разъ возвращался (въ 1834 г., какъ видно изъ письма къ Максимовичу отъ 28-го мая, въ 1835 г., какъ видно изъ

[1]) „Записки о жизни Гоголя“, т. I, стр. 123—124.

[2]) Считаемъ долгомъ оговориться, что несогласіемъ съ г. Кулишемъ въ настоящемъ случаѣ мы *отнюдь не желаемъ* набросить тѣнь на его *прекрасный и вполнѣ добросовѣстный трудъ*.

[3]) Въ этомъ отношеніи Гоголь чаще всего не могъ удовлетворять надежды своихъ пріятелей-редакторовъ (Максимовича, Плетнева, Погодина и проч.) и навлекалъ на себя неудовольствія. Здѣсь мы видимъ только первые примѣры такихъ недоразумѣній, сдѣлавшихся впослѣдствіи довольно частыми.

письма къ Жуковскому отъ 15 іюля того же года, и наконецъ, въ 1836 г., по свидѣтельству его университетскаго слушателя Иваницкаго [1]), хотя все-таки онъ не осуществилъ ея). Узнавъ, что пользовавшійся его особеннымъ довѣріемъ московскій докторъ Дядьковскій отправился на Кавказъ, Гоголь еще въ серединѣ лѣта писалъ Максимовичу: „Если онъ возвратился, то что говоритъ о Кавказѣ, объ употребленіи водъ, о степени ихъ излѣчительности, и въ какихъ особенно болѣзняхъ? Изъ многихъ тщательныхъ вопросовъ вы можете догадаться, что и мнѣ пришло въ думку потащиться на Кавказъ, зане скудельный составъ мой часто одолѣваемъ недугомъ и крайне дряхлѣетъ“ [2]). Замѣтимъ пока это.

IV.

О подаркахъ домашнимъ рѣчь въ это время также надолго замолкаетъ, что́, разумѣется, вполнѣ объясняется тѣмъ, что Гоголю тогда приходилось уже и безъ того много помогать своей семьѣ заботами о ней и разными уплатами за обученіе сестеръ: „Будьте увѣрены“—писалъ онъ матери,—„что я не пощажу ничего, чтобы доставить имъ все нужное. Всѣ пріятныя искусства, необходимыя для дѣвицъ, будутъ имъ внушены“ [3]). Въ письмѣ отъ 10 іюля 1834 г. онъ жалуется на тяжелый для него годъ и извиняется, что ничего не можетъ послать матери въ критическую для нея минуту.

Сдѣлаемъ здѣсь небольшое отступленіе для болѣе полной характеристики отношеній Гоголя къ его сестрамъ въ серединѣ тридцатыхъ годовъ. Мы говорили, что, возвращаясь изъ дому въ 1832 г., Гоголь везъ съ собой въ институтъ сестеръ и что еще въ пути дорожныя хлопоты, постоянная порча экипажа, непривычныя заботы и возня съ дѣтьми, наконецъ дурная дорога совсѣмъ истомили его. Хорошо еще, что къ этому не присоединилась по прежнему болѣзнь, которая такъ мучила его во время іюньскаго путешествія изъ Петербурга въ Украйну. Но этого недостаточно: онъ вообще много заботился и хлопоталъ о сестрахъ. О заботахъ и любви Гоголя къ сестрамъ

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 211 и „Русскій Архивъ“ 1871, 4—5, 949, и „Отеч. Записки“, 1853, II.

[2]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 183.

[3]) Тамъ же, стр. 185.

приведемъ любопытный разсказъ его сестры Елизаветы Васильевны [1]), рисующій притомъ вообще ихъ семейныя отношенія.

„Когда мы подросли, братъ пріѣхалъ за нами, чтобы отвести насъ въ Петербургъ, въ Патріотическій институтъ, гдѣ онъ преподавалъ исторію и куда насъ приняли на счетъ Государыни. Братъ хлопоталъ самъ обо всемъ, входилъ во всѣ подробности, даже въ заказъ нашего гардероба, дѣлалъ намъ платья дорожныя, для поступленія въ институтъ и для другихъ случаевъ; насъ снабдили всѣмъ нужнымъ и отправили въ путь.

Дѣдушка и двѣ бабушки пріѣхали съ нами проститься, и это было наше послѣднее съ ними свиданіе, такъ какъ черезъ два года никого изъ нихъ уже не было въ живыхъ,— добрые были старички!...

Уѣзжая изъ дому, мы очень плакали; со всѣмъ намъ было жалко разставаться. Но особенно трогательное прощаніе вышло съ няней Варичкой [2]): она, не имѣя силы съ нами проститься, убѣжала въ садъ, но мы ни за что не хотѣли уѣхать такъ; ее нашли въ саду и привели къ намъ. Няня и мы, особенно я, страшно рыдали,—это прощаніе было настолько трогательно и такъ глубоко запечатлѣлось въ нашей памяти, что часто уже потомъ въ институтѣ, когда случалась необходимость вызвать слезы, а ихъ не было, то стоило намъ только вспомнить няню Варичку и наше съ ней прощаніе, какъ тотчасъ же являлись самыя искреннія и горячія слезы. Мать и старшая сестра [3]) проводили насъ до Полтавы; пробывъ здѣсь два дня, мы тронулись далѣе. Въ Полтавѣ снова прощаніе съ матерью и сестрой, и снова обильныя слезы; братъ старался насъ разсѣять и утѣшить какъ могъ, и мы безъ всякихъ приключеній доѣхали до Москвы, гдѣ останавливались на три дня, и братъ насъ возилъ по городу и въ театръ. Затѣмъ опять въ дорогу—и мы въ Петербургѣ.

Въ памяти у меня ничего не осталось о томъ, какое впечатлѣніе произвели на насъ Москва и Петербургъ.

Въ Петербургѣ братъ старался намъ доставить всевозмож-

---

[1]) „Русь“, 1885, № 26, стр. 6—7.

[2]) О ней упомянуто выше, на стр. 28.

[3]) Марья Васильевна, вышедшая замужъ за Трушковскаго.

ныя удовольствія, возилъ насъ по нѣскольку разъ въ театръ, звѣринецъ и другія мѣста. Разъ, помню, повезъ онъ насъ въ театръ и велѣлъ намъ оставить наши зеленые капоры въ саняхъ извозчика; кончается спектакль, зовемъ извозчика, а его и слѣдъ пропалъ; пришлось такимъ образомъ брату заказывать новые. Квартиру братъ перемѣнялъ при насъ два раза [1]) и устраивалъ рѣшительно все самъ, кромѣ занавѣсокъ, которыя шила женщина, но которыя онъ все-таки самъ кроилъ, и даже показывалъ, какъ шить. Вечерами у него бывали гости, но мы почти никогда не выходили; иногда онъ устраивалъ большіе вечера по приглашенію, и тогда опять всегда самъ смотрѣлъ за всѣми приготовленіями и даже самъ приготовлялъ какіе-то сухарики, обмакивая ихъ въ шеколадъ—онъ ихъ очень любилъ. Не выходя къ гостямъ брата, мы все-таки имѣли возможность наблюдать ихъ пріѣздъ изъ одного окна своей комнаты, которое выходило въ переднюю; вообще же объ этомъ времени у меня осталось очень смутное воспоминаніе. Мы прожили такимъ образомъ съ братомъ, кажется, съ мѣсяцъ; въ это же время онъ насъ самъ приготовлялъ къ поступленію въ институтъ, не забывая въ то же время покупать намъ разныя сласти и игрушки.

Рѣдкій былъ у насъ братъ; несмотря на всю свою молодость въ то время, онъ заботился и пекся о насъ, какъ мать[2]). Иногда по вечерамъ, братъ и самъ уѣзжалъ куда-нибудь и тогда мы ложились спать раньше. Помню, разъ, именно въ такой вечеръ, мы уже спали, когда приходитъ къ намъ Матрена, жена братнина человѣка Акима, будитъ насъ и говоритъ, что братъ приказалъ насъ завить, такъ какъ на другой день насъ отведутъ въ институтъ; насъ, почти спящихъ, завили и уложили снова. На другой день насъ одѣли

---

[1]) Этими словами подтверждаются слова г. Витберга, что Гоголь не разъ мѣнялъ квартиру въ Петербургѣ, но мы рѣшительно не придаемъ этому никакого значенія. Сообщенное нами свѣдѣніе о томъ, что Гоголь жилъ до отъѣзда заграницу въ домѣ Модераха на Малой Морской, мы передали на основаніи словъ покойнаго Данилевскаго, котораго мы на этотъ разъ не провѣрили. Полагаемъ, впрочемъ, что и провѣрять такую мелочь не стоило.

[2]) Здѣсь мы снова встрѣчаемъ доказательство искренней любви Гоголя къ своимъ семейнымъ, которые, въ свою очередь, были къ нему горячо привязаны. Какъ мы слышали, одна изъ сестеръ Гоголя рѣшила даже никогда не выходить замужъ, чтобъ исполнить желаніе обожаемаго брата.

въ закрытыя шоколадныя платья изъ дрядедама, и братъ повелъ насъ въ институтъ, гдѣ передалъ начальницѣ института, M-me Вистингаузенъ, маленькой горбатой старушкѣ; она ввела насъ въ классъ и отрекомендовала: „сестры Гоголя“. Насъ тотчасъ же всѣ обступили какъ новенькихъ и вдобавокъ сестеръ своего учителя. Къ намъ всѣ были очень внимательны и ласкали насъ, особенно старшія. Моя классная дама въ тотъ же день подарила мнѣ куклу. (Я была очень мала, между тѣмъ какъ Аннетъ до 14 лѣтъ росла сильно. Я была самая маленькая по росту и потому шла въ первой парѣ, и классная дама водила меня за руку; только черезъ годъ по выходѣ изъ института я поравнялась ростомъ съ сестрой). Съ большою грустью и слезами разстались мы съ братомъ и водворились въ институтѣ.

При насъ братъ не долго оставался учителемъ, и когда онъ вызывалъ насъ отвѣчать, то всѣхъ въ классѣ очень занимало, какъ мы будемъ отвѣчать брату, но именно это насъ и конфузило, и мы бо́льшею частью совсѣмъ не хотѣли отвѣчать; когда у него бывали уроки въ институтѣ, то по окончаніи ихъ онъ всегда приносилъ лакомства. Впрочемъ онъ и самъ былъ большой лакомка, и иногда одинъ съѣдалъ цѣлую банку варенья, и если я въ это время прошу у него слишкомъ много, то онъ всегда говорилъ: „погоди, я вотъ лучше покажу тебѣ, какъ ѣстъ одинъ мой знакомый, смотри—вотъ такъ, а другой—этакъ“, и т. д. И пока я занималась представленіемъ и смѣялась, онъ съѣдалъ всю банку. У меня была маленькая страсть писать, и я наполняла толстую тетрадь своими сочиненіями подъ названіемъ „Комедіи и сказки“ и отдала эту тетрадь брату, который, разумѣется, тотчасъ же сталъ смѣяться и разсказалъ о моемъ сочинительствѣ нашему инспектору Плетневу, и тотъ послѣ часто шутя спрашивалъ меня въ классѣ о моихъ сочиненіяхъ. Меня всегда это очень конфузило, и больше я уже не пробовала ничего писать, и даже боялась вести свой журналъ, чтобы онъ не попалъ какъ-нибудь въ руки къ классной дамѣ“.

Припомнивъ, что эти правдивыя и непритязательныя строки были написаны задолго до появленія въ печати какихъ бы то ни было обличеній Гоголя въ мнимомъ бессердечіи и сухомъ равнодушіи къ семейнымъ, мы не имѣемъ ни малѣйшаго основанія сомнѣваться въ достовѣрности при-

веденнаго разсказа, а также и въ справедливомъ освѣщеніи излагаемыхъ здѣсь фактовъ и представленныхъ отношеній.

Послѣ этихъ указаній, касающихся частной жизни Гоголя, мы можемъ уже обратиться къ разсказу о иныхъ заботахъ и волненіяхъ, имѣвшихъ для него большое значеніе въ первой половинѣ тридцатыхъ годовъ.

ХЛОПОТЫ ГОГОЛЯ О ПРОФЕССУРѢ ВЪ КІЕВѢ.

I.

Съ конца 1833 года Гоголь сталъ хлопотать о профессурѣ. Нигдѣ до сихъ поръ не было обращено вниманія на то, какимъ образомъ возникла у него эта мысль. Трудно представить себѣ въ настоящее время, какъ легко смотрѣли въ тридцатыхъ годахъ на замѣщеніе университетскихъ каѳедръ. Одинъ и тотъ же профессоръ сплошь и рядомъ читалъ разные предметы, иногда даже принадлежащіе къ разнымъ отраслямъ наукъ (напр. высшую математику, латинскій языкъ, философію и словесность). Иногда профессоръ ботаники переходилъ на каѳедру русской литературы, какъ это было съ Максимовичемъ, который, впрочемъ, былъ весьма свѣдущъ въ обѣихъ этихъ областяхъ [1]). Но что̀ всего страннѣе, каѳедры могли доставаться людямъ, не имѣвшимъ на то никакихъ правъ, какъ Гоголю, и это не только не казалось чѣмъ-то исключительнымъ и необыкновеннымъ; но напротивъ, люди различныхъ взглядовъ и положеній считали это явленіе, повидимому, вполнѣ нормальнымъ. Во всякомъ случаѣ удивительно, что каѳедра всеобщей исторіи въ С.-петербургскомъ университетѣ была замѣщена неблистательно кончившимъ

[1]) Въ этомъ отношеніи своими живыми и разносторонними научными интересами Максимовичъ отчасти напоминаетъ ученыхъ прошлаго вѣка, далекихъ отъ исключительнаго погруженія въ область узкой спеціальности; но бывали, и нерѣдко, также случаи не совсѣмъ удачнаго совмѣщенія разнородныхъ каѳедръ въ рукахъ одного и того же профессора.— Прекрасную характеристику представителей науки въ прошломъ вѣкѣ см. у А. Н. Пыпина въ первомъ томѣ „Исторіи русской этнографіи“.

курсъ воспитанникомъ Нѣжинской гимназіи высшихъ наукъ. Въ одномъ письмѣ къ Пушкину Гоголь говоритъ даже, что онъ могъ бы еще въ 1830 г. или въ 1831 г. занять каѳедру въ Московскомъ университетѣ: „Если бы Уваровъ былъ изъ тѣхъ, какихъ не мало у насъ на первыхъ мѣстахъ, я бы не рѣшился просить и представлять ему мои мысли, какъ и поступилъ я назадъ тому три года, когда могъ бы занять мѣсто въ Московскомъ университетѣ, *которое мнѣ предлагали*“ [1]) (?!). Если это дѣйствительно такъ, то мысль о каѳедрѣ почти тотчасъ же возникла у Гоголя послѣ полученія имъ уроковъ въ Патріотическомъ институтѣ, изъ чего можно заключить, что едва-ли Гоголь не смотрѣлъ на профессорское мѣсто какъ на вполнѣ возможное и естественное административное повышеніе. Если мы припомнимъ при этомъ, что Плетневъ только-что помогъ ему сдѣлаться учителемъ младшихъ классовъ Патріотическаго института, вмѣсто двухъ учительницъ, получившихъ теперь другіе уроки, то притязанія Гоголя окажутся еще болѣе смѣлыми, а между тѣмъ Жуковскій, Пушкинъ, Погодинъ, Плетневъ, Максимовичъ смотрѣли на нихъ какъ на самыя естественныя и законныя. Самъ же Гоголь совершенно убѣжденъ былъ заранѣе, что онъ отличитъ себя отъ „толпы вялыхъ профессоровъ, которыми набиты университеты“. Очевидно, Гоголь основывалъ свои надежды частью на ходатайствѣ сильныхъ лицъ, частью же на сознаніи своего превосходства генія передъ толпой.

Когда въ 1834 году предстояло открытіе въ Кіевѣ университета св. Владиміра, то мысль о занятіи одной изъ каѳедръ въ немъ снова мелькнула у Гоголя, который попросилъ Пушкина замолвить за него слово передъ министромъ Уваровымъ. Откровенность обоихъ поэтовъ на этотъ разъ дошла до геркулесовыхъ столповъ. Гоголь просилъ безъ всякаго стѣсненія: „если зайдетъ рѣчь обо мнѣ съ Уваровымъ, скажите, что вы были у меня и застали меня еле жива; при этомъ случаѣ выбраните меня хорошенько за то, что живу здѣсь и не убираюсь сей же часъ вонъ изъ города“ [2]). Пушкинъ не менѣе

[1]) „Русскій Архивъ“, 1880, II, 512.—Кто и когда предлагалъ эту каѳедру Гоголю, и могли ли ему предлагать ее въ 1831 г., когда онъ только-что выступилъ на педагогическое поприще въ скромной роли учителя низшихъ классовъ, это мы затрудняемся разъяснить.

[2]) Тамъ же.

откровенно отвѣчалъ Гоголю: „Я совершенно съ вами согласенъ. Пойду сегодня же назидать Уварова о смерти „Телеграфа“, кстати поговорю и о вашей. Авось уладимъ“ [1]).

Между тѣмъ въ 1833 г. адъюнктъ Московскаго университета, Максимовичъ, избранъ былъ ординарнымъ профессоромъ ботаники [2]). Успѣхъ его научной и литературной дѣятельности давно уже обратилъ на себя общее вниманіе въ ученомъ мірѣ и былъ оцѣненъ Уваровымъ; исполнилась его давняя мечта, которую онъ лелѣялъ, еще будучи ученикомъ Новгородъ-сѣверской гимназіи,—мечта сдѣлаться профессоромъ Московскаго университета. Но отъ усиленныхъ занятій съ микроскопомъ зрѣніе Максимовича сильно испортилось и, только-что получивъ желанную каѳедру, онъ былъ принужденъ уже подумать объ оставленіи ея. До какой степени онъ отдавался въ то время научнымъ занятіямъ, можно судить по тому, что онъ съ большимъ успѣхомъ трудился одновременно и надъ предметами своихъ спеціальныхъ изученій, надъ популяризаціей естественныхъ наукъ въ доступныхъ массѣ, простыхъ и занимательныхъ очеркахъ, получившихъ названіе: „Книга Наума о великомъ Божіемъ мірѣ“, и, наконецъ, съ увлеченіемъ занимался словесностью, которую полюбилъ еще студентомъ, когда изучалъ ее подъ руководствомъ извѣстнаго профессора Мерзлякова. Особенно занимался Максимовичъ „Словомъ о полку Игоревѣ“ и собираніемъ народныхъ пѣсенъ. Но, наконецъ, пришлось позаботиться серьезно о поправленіи здоровья. Вмѣстѣ съ тѣмъ Максимовича не переставало тянуть изъ Москвы на родину, въ Малороссію. И такъ, неудивительно, что онъ вскорѣ сталъ заботиться о перемѣщеніи во вновь открываемый на югѣ университетъ. Но тогдашній попечитель Кіевскаго округа, фонъ-Брадке, имѣвшій извѣстное вліяніе на министра, не иначе соглашался на назначеніе Максимовича въ Кіевъ, какъ подъ условіемъ, чтобы онъ вмѣсто ботаники принялъ на себя преподаваніе словесности, для которой, кромѣ него, не находилось достойнаго профессора. Послѣ нѣкотораго колебанія предложеніе было принято, тѣмъ болѣе, что Максимовичъ уже былъ въ значительной степени под-

---

[1]) Соч. Пушкина, изд. литературнаго фонда, т. VII, стр. 348.

[2]) См. подробности въ біографическомъ очеркѣ о Максимовичѣ, составленномъ С. И. Пономаревымъ („Журналъ Мин. Нар. Просв.“, 1871, октябрь).

готовленъ къ каѳедрѣ своими прежними занятіями и находилъ себѣ рѣдкаго помощника и отчасти руководителя въ извѣстномъ знатокѣ русской литературы—митрополитѣ Евгеніи Болховитиновѣ.

Во время этихъ переговоровъ Максимовичъ не могъ не вспомнить о своемъ пріятелѣ Гоголѣ [1]), съ которымъ они дѣятельно переписывались, пересылая другъ другу вновь найденныя народныя пѣсни. Достаточно было Максимовичу подать эту мысль Гоголю, какъ послѣдній составилъ уже цѣлый планъ дѣйствій. Гоголь вступилъ въ новый 1834 годъ, съ свѣтлой надеждой выраженной имъ въ извѣстномъ посланіи къ генію [2]); онъ совсѣмъ уже мечталъ о совмѣстномъ перемѣщеніи съ Максимовичемъ, и жалѣлъ даже, что Погодинъ купилъ домъ въ Москвѣ, такъ какъ въ противномъ случаѣ можно бы и его уговорить переселиться въ Кіевъ. Онъ писалъ Пушкину: „Я восхищаюсь заранѣе, когда воображу, какъ закипятъ труды мои въ Кіевѣ. Тамъ же я выгружу изъ-подъ спуда многія вещи, которыхъ я не всѣ еще читалъ вамъ. Тамъ кончу я исторію Украйны и юга Россіи и напишу Всеобщую Исторію, *которой, въ настоящемъ видѣ ея, до сихъ поръ, къ сожалѣнію, не только въ Россіи, но даже и въ Европѣ нѣтъ.* А сколько соберу тамъ преданій, повѣстей, пѣсенъ и проч. Кстати, ко мнѣ пишетъ Максимовичъ, что хочетъ оставить Московскій университетъ и ѣхать въ Кіевскій. Ему вреденъ климатъ. Это хорошо. Я его люблю. У него въ Естественной Исторіи есть много хорошаго, по крайней мѣрѣ ничего похожаго на галиматью Надеждина [3]). Если бы Погодинъ не обзавелся домомъ, я бы уговорилъ и его проситься въ Кіевъ“ [4]). Въ то же время Гоголь сильно увлекался вновь найденными старинными рукописями, лѣтописями, но больше всего пѣ-

[1]) Г. Витбергъ въ своей статьѣ „Гоголь, какъ историкъ“, усиленно настаиваетъ на томъ, что мысль о профессурѣ пришла не самому Гоголю; но во всякомъ случаѣ Гоголь *ее принялъ*, но скорѣе и Максимовичъ составилъ свой проектъ, зная намѣренія и чаянія Гоголя. (См. письмо отъ 2 іюля). По нашему убѣжденію, такого рода оправданія могли бы имѣть силу лишь въ томъ случаѣ, если бы дѣло касалось совсѣмъ уже молодого и неопытнаго человѣка.

[2]) Не только передъ этимъ, но и послѣ того настроеніе Гоголя было совсѣмъ иное, какъ это выяснится изъ дальнѣйшаго нашего изложенія.

[3]) Въ письмахъ къ Максимовичу Гоголь совершенно иначе отзывается о Надеждинѣ („Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 194).

[4]) „Русск. Арх.“, 1880, II, стр. 518.

снями, о которыхъ онъ говорилъ: „Моя радость, жизнь моя, пѣсни! какъ я васъ люблю! Что всѣ черствыя лѣтописи, въ которыхъ я теперь роюсь, передъ этими живыми лѣтописями!“ [1]) Подъ вліяніемъ своихъ новыхъ увлеченій, Гоголь говоритъ уже, что ему „надоѣлъ Петербургъ, или, лучше, не онъ, но проклятый климатъ его“. Кіевъ онъ надѣялся обратить въ „русскія Аѳины“. Между тѣмъ встрѣтились препятствія для осуществленія этой мечты. Уваровъ сначала затруднялся назначить Максимовича, ординарнаго профессора ботаники, профессоромъ русской словесности; но всѣ эти помѣхи еще болѣе подогрѣвали энтузіазмъ Гоголя, который началъ бранить своего нерѣшительнаго и непредпріимчиваго друга за пристрастіе къ „старой бабѣ Москвѣ“ [2]), и пробовалъ дѣйствовать на него, какъ увидимъ, даже всякаго рода соблазнами и уговорами.

II.

Остановимся теперь подробнѣе на разборѣ упомянутаго выше воззванія Гоголя къ генію.

Мы говорили, что 1833 годъ былъ какимъ-то мертвымъ годомъ для Гоголя: тѣмъ болѣе глубокій смыслъ получаетъ его вдохновенное воззваніе къ генію передъ наступленіемъ слѣдующаго, 1834 года. Въ торжественныя минуты приближенія новаго года, Гоголь обыкновенно писалъ маленькія записочки съ выраженными въ нихъ желаніями и надеждами относительно наступавшаго года; онъ вообще придавалъ весьма серьезное значеніе такимъ минутамъ. Но, судя по тому, что до насъ дошло только одно болѣе значительное по объему и содержанію извѣстное поэтическое воззваніе къ генію, относящееся *именно къ наступленію 1834 года*, мы можемъ съ нѣкоторымъ основаніемъ утверждать, что никогда онъ не проникался въ такой степени сознаніемъ важности момента при смѣнѣ одного года другимъ и восторженнымъ чувствомъ безграничнаго упованія на будущее, какъ именно на этотъ разъ. Теперь въ этомъ страстномъ обращеніи живо чувствовался необычайный подъемъ духа автора, находившійся въ самомъ рѣшительномъ и рѣзкомъ противорѣчіи съ сумрачнымъ на-

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 188.

[2]) См. Письма Гоголя къ Максимовичу, стр. 5.

строеніемъ его во весь предшествующій годъ и съ тѣмъ глухимъ застоемъ въ дѣятельности Гоголя, который, какъ казалось, еще недавно повергалъ его въ унынiе. Нынѣшнее свѣтлое, исполненное радостныхъ надеждъ, настроеніе находится въ несомнѣнной зависимости отъ пріятной мечты занять каѳедру въ Кіевѣ и поселиться на живописныхъ берегахъ Днѣпра.

Высокое психологическое значеніе заманчиваго представленія Гоголя о блаженствѣ предстоящей трудовой и плодотворной дѣятельности въ Кіевѣ не подлежитъ никакому сомнѣнію. Къ Гоголю какъ будто еще разъ вернулись розовыя мечты юности и—странно—онѣ снова были связаны съ перемѣной мѣста и поприща. Для натуры, склонной къ увлеченіямъ и поэтическимъ преувеличеніямъ, какъ у Гоголя, всегда имѣетъ огромное значеніе сила внутренняго духовнаго удовлетворенія отъ довольства настоящимъ и особенно отъ предвкушенія ожидаемаго счастія. Поэзія мечты, совсѣмъ было угасавшая въ его груди, вдругъ вспыхнула снова съ невѣроятной силой и энергіей: передъ Гоголемъ рисовалась уже счастливая картина чистыхъ наслажденій жизнью въ дорогой Украйнѣ, увлекательная перспектива совмѣстнаго труда съ Максимовичемъ и славныхъ, блестящихъ успѣховъ на поприщѣ науки и литературы. Подъ обаятельнымъ дѣйствіемъ этихъ волшебныхъ картинъ онъ чувствовалъ въ себѣ могучее возрожденіе энергіи и неудержимое стремленіе нестись навстрѣчу таинственной будущности.

Въ этомъ мощномъ подъемѣ настроенія, въ этой пламенной вспышкѣ энтузіазма, охватившаго Гоголя въ минуту наступленія новаго года, проявляется снова глубоко-знаменательная черта его духовной природы, на которую нельзя не обратить особеннаго вниманія въ его біографіи. Извѣстно, что какъ въ жизни отдѣльнаго человѣка, такъ и въ исторіи цѣлыхъ народовъ, при самомъ тщательномъ стремленіи установить строго опредѣленныя грани, никогда нельзя достигнуть ихъ точнаго размежеванія. Такъ и въ годы постепеннаго отрезвленія отъ горячей юношеской мечтательности у Гоголя являлись иногда снова минуты, когда его совершенно захватывала волна страстнаго упоенія и такую минуту мы не можемъ не узнать въ его воззваніи къ генію. Это же вполнѣ искреннее и задушевное увлеченіе чувствуется не разъ также въ его перепискѣ съ Максимовичемъ, такъ какъ скрѣплявшіе

ихъ дружбу общіе планы и надежды всего больше способны были возбуждать и поддерживать въ немъ извѣстное намъ настроеніе. Степень восторженнаго увлеченія Гоголя полюбившейся ему мечтой видна и изъ его энергическихъ выраженій, изъ того мажорнаго тона, въ который онъ тотчасъ же впадаетъ, какъ только коснется рѣчь столь дорогой его сердцу мечты о жизни въ древнемъ Кіевѣ: „Бросьте въ самомъ дѣлѣ эту кацапію, да поѣзжайте въ гетманщину“— писалъ онъ Максимовичу 2 іюля 1833 г. „Я самъ думаю то же сдѣлать и на слѣдующій годъ махнуть отсюда. Дурни мы, право, какъ разсудишь хорошенько. Для чего и кому жертвуемъ всѣмъ? Ѣдемъ!... Сколько мы тамъ пособираемъ всякой всячины! все выкопаемъ“ [1]).

Чрезвычайно характерно при этомъ и важно для пониманія личности Гоголя то, что стоило ему отдаться на мгновеніе захватившей его волнѣ увлеченія, какъ, силой теченія, его мечту неудержимо несло въ какую-то фантастическую страну безпредѣльнаго блаженства и счастья, и, какъ будто сбросивъ съ себя всѣ обычныя заботы и забывая объ охлаждающемъ опытѣ жизни, онъ уносился мысленно въ эту Аркадію, куда въ мечтахъ своихъ готовъ былъ тотчасъ же переселить наиболѣе дорогихъ ему людей [2]). Въ немъ мигомъ воскресли надежды, и вся духовная жизнь его озарилась невыразимымъ восторгомъ.

Но, можетъ быть, съ другой стороны, усиливавшееся въ связи съ такимъ настроеніемъ недовольство окружающимъ и настоящимъ должно было стать для него, въ силу тѣхъ же причинъ, нестерпимо томительнымъ и, въ самомъ дѣлѣ, оно, въ свою очередь, глубоко отразилось на ходѣ его трудовъ и на всемъ теченіи его жизни. Отъ напряженія завладѣвшей

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 183.—Пропуски дополнены въ брошюрѣ „Письма Гоголя къ Максимовичу, по подлинникамъ изданныя и дополненныя С. И. Пономаревымъ“, стр. 2.—Замѣтимъ, во избѣжаніе придирчивыхъ перетолкованій, что, быть можетъ, можно найти кажущіяся противорѣчія нашимъ словамъ, вслѣдствіе невыдержанности настроенія Гоголя, въ какихъ-нибудь двухъ-трехъ нашихъ выраженіяхъ; но мы надѣемся, что добросовѣстные критики примутъ во вниманіе естественность и неизбѣжность такого факта въ самой жизни; надѣемся также, что общая характеристика смѣны настроеній у Гоголя по надлежащей провѣркѣ окажется отмѣченной у насъ вѣрно.

[2]) См. напр. „Русскій Архивъ“, 1880, II, стр. 513; также „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 193, 221, 231, 237 и проч.

всѣмъ его существомъ мечты Гоголю становилось противно и скучно заниматься тѣмъ, что́ требовало пока, однако, самаго серьезнаго вниманія. Это можно видѣть изъ цѣлаго ряда жалобъ на Петербургъ и на климатъ его, *именно* въ промежутокъ времени, совпадающій съ пылкими надеждами на переселеніе въ Кіевъ. Какъ завидовалъ Гоголь Максимовичу, имѣвшему возможность лѣтомъ 1833 г. ѣхать на родину: „И такъ вы поймаете еще въ Малороссіи осень, благоухающую, славную осень, съ своимъ свѣжимъ неподдѣльнымъ букетомъ. Счастливы вы! А я живу здѣсь среди лѣта и не чувствую лѣта. Душно, а нѣтъ его. Совершенная баня; воздухъ хочетъ уничтожить, а не оживить“ [1]). Въ другомъ письмѣ къ Максимовичу онъ выражается еще энергичнѣе [2]): „Благодарю тебя за все: за письма, за мысли въ немъ, за новости и проч. Представь, я тоже думалъ: туда, туда! въ Кіевъ! въ древній, въ прекрасный Кіевъ! Онъ нашъ, онъ не ихъ, не правда ли? Тамъ или вокругъ него дѣялись дѣла старины нашей... Я работаю, я всѣми силами стараюсь; но на меня находитъ страхъ; можетъ быть, я не успѣю. *Мнѣ надолъ Петербургъ*, или, лучше, не онъ, но проклятый климатъ его: онъ меня донимаетъ. Да, это славно будетъ, если мы займемъ съ тобою кіевскія каѳедры: много можно будетъ надѣлать добра. А новая жизнь среди такого хорошаго края! Тамъ можно обновиться всѣми силами. Развѣ это малость? Но меня смущаетъ, если это не исполнится“. (Письмо, изъ котораго приведены послѣднія слова, по своему содержанію, должно быть отнесено, повидимому, къ самому началу переписки Гоголя съ Максимовичемъ о кіевскихъ каѳедрахъ, даты на немъ нѣтъ и, вѣроятно, именно поэтому оно помѣщено г. Кулишемъ въ самомъ концѣ писемъ 1833 г., въ качествѣ дополнительнаго письма, но изъ письма отъ 2 іюля ясно,что уже прежде Гоголь мечталъ о жизни въ Украйнѣ).

III.

Постоянная борьба страстной надежды съ опасеніемъ неудачи, по всей вѣроятности, при условіи сильнѣйшаго, го-

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 183.

[2]) Тамъ же, стр. 192.

рячечнаго нетерпѣнія, и отразилась на вялой работѣ вдохновенія нашего писателя въ 1833 году и именно объ этихъ-то душевныхъ буряхъ и переворотахъ, какъ намъ кажется, и говоритъ Гоголь въ упомянутомъ письмѣ къ Максимовичу отъ 9 ноября. Такимъ образомъ, если причиной здѣсь была „забота юности любовь“, то любовь не къ женщинѣ, а къ боготворимой Гоголемъ родной Украйнѣ, и этимъ же страстнымъ нетерпѣніемъ и объясняется его лѣнь, его упорное нежеланіе заняться пока чѣмъ бы то ни было. Въ справедливости такого объясненія трудно сомнѣваться, такъ какъ Гоголь самъ прямо признается въ этомъ и при томъ во многихъ мѣстахъ своей переписки. Укажемъ еще нѣсколько мѣстъ. Раньше, въ письмѣ отъ 8 февраля 1833 г. къ Данилевскому [1]), Гоголь жаловался уже на не покидающія его умъ постоянныя воспоминанія о роскоши малороссійской природы и пріятно проведеннаго на родинѣ лѣта: *„Я вывезъ изъ дому всю роскошь лѣта и ничего рѣшительно не дѣлаю.* Умъ въ странномъ бездѣйствіи; мысли такъ растеряны, что никакъ не могутъ собраться въ одно цѣлое“. 2 іюля онъ пишетъ опять то же: „Вотъ скоро будетъ годъ, какъ я ни строчки, какъ ни принуждалъ себя, нѣтъ, да и только“ [2]). Вскорѣ затѣмъ въ письмѣ къ матери отъ 9 августа, какъ мы видѣли, онъ снова говоритъ: „Пошлетъ ли всемогущій Богъ мнѣ вдохновеніе—не знаю“ [3]). Погодину онъ также писалъ: „Я сижу при лѣни мыслей“ [4]) и проч. Наконецъ 7 января 1834 г. онъ пишетъ Максимовичу: „Охъ, эти земляки мнѣ! Что̀ мы, братецъ, за лѣнтяи съ тобою! *Однако напередъ положить условіе: какъ только въ Кіевъ—лѣнь къ чорту*, чтобы и духъ ея не пахъ. Да превратится онъ въ Аѳины, богоспасаемый нашъ городъ“ [5]) и проч.

Возвращаясь къ разбору мыслей Гоголя при наступленіи 1834 г., мы должны отмѣтить съ одной стороны косвенное указаніе Гоголя на недѣятельно проведенный имъ предшествующій годъ, съ другой—на исполненныя горячаго энтузіазма мечты объ ожидаемомъ счастьѣ и предстоящихъ

[1]) „Соч. и письма Гог.“, т. V, стр. 171; ср. на стр. 169 о бездѣйствіи: „Видите ли, какой я сдѣлался прозаистъ и какъ гадко выражаюсь! Все отъ бездѣйствія“.

[2]) Тамъ же, стр. 183.

[3]) Стр. 184.

[4]) Стр. 175.

[5]) Стр. 194.

полезныхъ трудахъ. Вотъ какъ Гоголь говоритъ, вспоминая о прошломъ: Что́ же ты такъ таинственно стоишь предо мною, 1834-й годъ? Будь и ты моимъ ангеломъ. *Если лѣнь и безчувственность хотя на время осмѣлятся коснуться меня*—о, разбуди меня тогда! не дай имъ овладѣть мною! Пусть твои многоговорящія цифры, какъ неумолкающіе часы, какъ совѣсть, стоятъ передо мною: чтобы каждая цифра твоя громче набата разила слухъ мой! чтобы она, какъ гальваническій прутъ, производила судорожное потрясеніе во всемъ моемъ составѣ!“ [1]).

Съ другой стороны то же обращеніе къ генію можетъ служить однимъ изъ вѣскихъ доказательствъ совершенной искренности Гоголя, когда онъ воображалъ себя историкомъ, авторомъ будущаго капитальнаго сочиненія по исторіи Малороссіи. Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что разбираемый нами не предназначавшійся для печати и проникнутый такимъ неподражаемымъ поэтическимъ увлеченіемъ отрывокъ не могъ быть плодомъ какихъ-нибудь лицемѣрныхъ соображеній, этотъ вдохновенный гимнъ, вырвавшійся изъ переполненной до краевъ души! Но Гоголю при охватившемъ его порывѣ увлекательной мечты представлялось легкимъ и близкимъ къ исполненію многое такое, что́ было ему совсѣмъ не по силамъ. Безконечная вѣра въ себя въ эти минуты внушала ему убѣжденіе, будто для исполненія его надеждъ необходимо только отряхнуть съ себя лѣнь и очнуться отъ продолжительнаго бездѣйствія. Онъ же какъ будто и не сомнѣвался въ томъ, что создастъ въ 1834 г. много замѣчательнаго и великаго: „Таинственный, неизъяснимый 1834! Гдѣ означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанныхъ одинъ на одинъ домовъ, гремящихъ улицъ, кипящей меркантильности,—этой безобразной кучи модъ, народовъ, чиновниковъ, дикихъ сѣверныхъ ночей, блеску и низкой безцвѣтности? Въ моемъ ли прекрасномъ, древнемъ, обѣтованномъ Кіевѣ, увѣнчанномъ многоплодными садами, опоясанномъ моимъ южнымъ, прекраснымъ, чуднымъ небомъ, упоительными ночами, гдѣ гора обсыпана кустарниками, съ своими какъ бы гармоническими обрывами, и подмывающій ее мой чистый и быстрый, мой Днѣпръ.—Тамъ ли?“

Въ этой вспышкѣ смѣлыхъ, молодыхъ надеждъ и въ бод-

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 105.

ромъ упованіи на будущее мы снова узнаемъ бывшаго нѣжинскаго юношу, чистаго, восторженнаго мечтателя, нѣсколько лѣтъ назадъ пылавшаго нетерпѣливымъ стремленіемъ къ полезной дѣятельности въ Петербургѣ; а въ эстетической окраскѣ этихъ мечтаній, въ этой изящной рамкѣ, которая украшала живо возставшую въ его воображеніи картину, въ этомъ яркомъ художественномъ представленіи Кіева и поэтическихъ красотъ Малороссіи, мы видимъ также предчувствіе иныхъ, еще сильнѣйшихъ, исполненныхъ глубокой поэзіи, райскихъ восторговъ Гоголя во время его жизни въ Римѣ.

Понятно послѣ этого, что когда Гоголь въ надеждѣ будущихъ благъ сдѣлалъ свое извѣстное объявленіе объ исторіи Малороссіи и о томъ, что половина ея уже написана, то это было именно слѣдствіемъ все того же увлеченія и той же безграничной вѣры въ свои силы. Когда онъ только еще набросалъ кое-что для задуманнаго имъ труда (можетъ быть, именно главу, напечатанную въ „Журналѣ Минист. Нар. Просвѣщенія“, и послужившую предметомъ его перваго университетскаго чтенія), то упоенный еще въ бо́льшей мѣрѣ надеждами, нежели достигнутыми успѣхами, которыми также гордился, Гоголь съ отчаянной смѣлостью писалъ Погодину: „Я весь теперь погруженъ въ исторію малороссійскую и всеобщую; *и та и другая у меня начинаетъ двигаться.* Это сообщаетъ мнѣ какой-то спокойный и равнодушный къ житейскому характеръ, а безъ того я бы былъ страхъ сердитъ на всѣ эти обстоятельства! Ухъ, братъ! Сколько приходитъ ко мнѣ мыслей теперь! да какихъ, полныхъ, свѣжихъ! Мнѣ кажется, что я сдѣлаю кое-что не общее во всеобщей исторіи. Малороссійская исторія моя чрезвычайно бѣшена, да иначе, впрочемъ, и быть ей нельзя. Мнѣ попрекаютъ, что слогъ въ ней уже слишкомъ горитъ, не исторически жгучъ и живъ; но что́ за исторія, если она скучна!“ [1]). Письмо это написано въ свѣтлую минуту, совершенно не похожую на преобладавшее настроеніе Гоголя въ предыдущемъ году; очевидно, его воодушевленіе не успѣло еще остыть и улечься.

Но Гоголь какъ-то не подозрѣвалъ, что все это увлеченіе неглубоко и непрочно; онъ слишкомъ мало заботился отдать себѣ отчетъ въ томъ, имѣются ли въ немъ тѣ ка-

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 195 и 196.

чества, которыя безусловно были необходимы для его труда, начиная съ самаго насущнаго—съ научныхъ познаній. Онъ забывалъ, что уже раньше не разъ увлекался и не разъ остывалъ къ занятіямъ исторіи, что у него уже при мысли о театрѣ бывало выпадали корректурные листки его прежнихъ историческихъ работъ. Тогда онъ искренно сознавался: „Какъ-то не такъ теперь работается; не съ тѣмъ вдохновенно-полнымъ наслажденіемъ царапаетъ перо бумагу. Едва начинаю и что-нибудь совершу изъ исторіи, какъ уже вижу собственные недостатки: то жалѣю, что не взялъ шире, огромнѣе объемъ, то вдругъ зиждется новая система и рушитъ старую. Напрасно я увѣряю себя, что это только начало, эскизъ, что оно не нанесетъ пятна мнѣ, что судья у меня одинъ только и будетъ, и тотъ одинъ—другъ; но *не могу, не въ силахъ*“ [1]).

Въ чемъ же разница между прежними и нынѣшними условіями труда? Гоголь полагалъ, будто—во вдохновеніи; но онъ, очевидно, ошибался, смѣшивая художественное творчество и требованія и пріемы научнаго труда, какъ это еще разъ сказалось въ слѣдующихъ за только-что приведенными строками,—въ признаніи, что его „слогъ не исторически жгучъ и живъ“ и что „онъ слишкомъ горитъ“. То, что̀ Гоголь принималъ за вдохновеніе, заключалось въ сущности въ его случайно возбужденномъ настроеніи, и кромѣ того нельзя не повторить, что онъ крайне невѣрно и односторонне представлялъ себѣ условія ученаго труда. Онъ упускалъ изъ виду между прочимъ и то, что подъемъ настроенія обусловливался многими причинами, изъ которыхъ иныя, и притомъ главныя, могли нисколько не зависѣть отъ его воли, какъ напр. состояніе его здоровья, выпадающія на его долю удачи или свѣжесть энергіи и т. п. Пока воодушевленіе его продолжалось, онъ не хотѣлъ признавать никакихъ преградъ и съ необыкновенной увѣренностью писалъ Максимовичу: „Ты говоришь, что если залѣнишься, то тогда, набравши силъ—въ Москву. А на что̀ человѣку дается характеръ и желѣзная сила души? Къ чорту лѣнь, да и концы въ воду! Ты разсмотри хорошенько характеръ земляковъ: они лѣнятся, но зато, что̀ задолбятъ въ свою голову, то на вѣки! *Вѣдь тутъ только рѣшимость: разъ начать—и все...* Типографія будетъ подъ бокомъ. Чего же больше? А

[1]) Стр. 174.

воздухъ, а гливы, а рогúзъ! а соня́шники! а паслúнъ! а цыбу́ля! *а вино хлѣбное!* какъ говоритъ пріятель нашъ Ушаковъ. Тополи, груши, яблони, сливы, морели, деренъ, варенники, борщъ, лопухъ... Это просто роскошь. Это одинъ только городъ у насъ, въ которомъ какъ-то пристало быть кельѣ ученаго“ [1]). Такое убѣжденіе въ возможности легкаго торжества надъ всѣми преградами оставалось у Гоголя надолго, почти на всю жизнь; онъ, напр., всегда придавалъ большое значеніе волшебному слову *впередъ*, которое одно будто бы можетъ вдохнуть несокрушимую энергію и желѣзную силу воли въ русскаго человѣка. Подъ вліяніемъ подобной самоувѣренности онъ уже смѣло сообщалъ Максимовичу: „Исторію Малороссіи я пишу всю отъ начала до конца. Она будетъ въ шести малыхъ, или въ четырехъ большихъ томахъ“ [2]).

Такъ какъ письмо это было написано еще 14 февраля, то несомнѣнно, что восторженное увлеченіе Гоголя держалось пока на степени сильнаго напряженія (въ промежутокъ, обнимавшій не менѣе полутора мѣсяцевъ), хотя такое настроеніе замѣтно падаетъ уже въ слѣдующихъ письмахъ, и въ послѣдній разъ чувствуется въ письмѣ отъ 12 марта, въ которомъ онъ собирался „удрать такое изданіе пѣсенъ, какого еще никогда не было“. Кажется, это былъ уже послѣдній, замиравшій отголосокъ прежней энергіи. По крайней мѣрѣ, черезъ нѣсколько дней, Гоголь совсѣмъ въ другомъ тонѣ писалъ Погодину: „Я хотѣлъ было прислать вамъ кое-что, но болѣзнь, которая приколотила было меня къ кровати ровно на двѣ недѣли, отняла всякую къ тому возможность. Скажи Надеждину, что эта же самая причина помѣшала мнѣ прислать обѣщанный ему отрывокъ изъ исторіи“ [3]). Въ этомъ же письмѣ Гоголь прямо говоритъ также и о „*лѣности*“ *и во снѣ времяпровожденіи*“, какъ причинахъ, помѣшавшихъ его работѣ. Г. Витбергъ дѣлаетъ очень возможное предположеніе въ своей статьѣ „Гоголь, какъ историкъ“ о томъ, что въ словахъ разсматриваемаго письма о Бантышѣ-Каменскомъ, вѣроятно, слѣдуетъ видѣть упрекъ относительно его самоувѣренности [4]). Какъ бы то ни было, письмо Погодина не мало

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 198.

[2]) Тамъ же.

[3]) Стр. 202.

[4]) „Историч. Вѣстникъ“, 1892, VIII, 393, второе примѣчаніе.

способствовало охлажденію непродолжительнаго и крайне неустойчиваго рвенія Гоголя. Мы это видимъ между прочимъ изъ самаго тона отвѣта Погодину отъ 19 марта, гдѣ уже не раздается больше побѣдный голосъ убѣжденнаго въ будущихъ удачахъ тріумфатора, а звучитъ какая-то будничная холодная натянутость человѣка, охваченнаго со всѣхъ сторонъ житейской прозой. „Выговоры ваши за объявленіе тоже имѣлъ честь получить“ — отвѣчаетъ Гоголь на упрекъ Погодина. — „Это правда, что я писалъ его, совершенно не раздумавши. Впрочемъ, охота тебѣ вступаться за Бантыша! вѣдь онъ, мошенникъ, замоталъ у многихъ честныхъ людей матеріалы и рукописи!“ [1]). Тотъ же сухой тонъ слышится и въ слѣдующихъ затѣмъ строкахъ: „Гдѣ ты лѣтомъ будешь жить! Могу ли я тебя застать въ Москвѣ? А что дѣла твои? все ли ты живешь еще на небѣ или уже начинаешь обращать вниманіе и на мірскія дѣла?“ Этотъ тонъ мы впервые встрѣчаемъ въ письмахъ Гоголя къ Погодину и, конечно, не безъ причины.

Когда Максимовичъ замѣшкался со сборами въ Петербургъ, Гоголь хотя и горѣлъ нетерпѣніемъ, чтобы задуманное дѣло пошло на ладъ, но къ его нетерпѣнію уже замѣтно примѣшивалась отрава сомнѣнія: „Ты, нечего сказать, мастеръ надувать! пишешь: посылаю пѣсни; а между тѣмъ о нихъ ни слуху, ни духу; заставилъ разинуть ротъ, а вареникъ и не всунулъ“ [2]). Эти слова относились, правда, собственно къ обманутому обѣщанію полученія отъ Максимовича сборника галицкихъ пѣсенъ Вацлава зъ Олеска, которыя Гоголь давно жаждалъ видѣть въ своихъ рукахъ (и уже получилъ было даже его, но затѣмъ имѣлъ неосторожность отдать какому-то ненадежному пріятелю); но въ ихъ тонѣ можно видѣть и отраженіе вообще чувства досады, накоплявшейся по случаю цѣлаго ряда неудачъ и разочарованій. А что эта досада и нетерпѣніе начинали уже сильно мѣшать работѣ Гоголя, въ этомъ мы убѣждаемся изъ конца письма: „Если не пришлешь пѣсенъ, то хоть привези съ собой“. (Максимовичъ долженъ былъ, по мысли Гоголя, пріѣхать въ Петербургъ, чтобы тамъ хлопотать о каѳедрѣ въ Кіевскомъ университетѣ). „Да пріѣзжай-то скорѣй. Мы бы славно так[illegible]

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 202.

[2]) Тамъ же.

здѣсь, какъ нельзя лучше. Я очень многое хотѣлъ писать къ тебѣ, *но теперь у меня бездна хлопотъ, и все совершенно вышло изъ головы*". Въ томъ же письмѣ, въ началѣ его, Гоголь еще энергичнѣе настаиваетъ на пріѣздѣ Максимовича, при чемъ особенно любопытно, что онъ былъ совершенно убѣжденъ въ безусловномъ содѣйствіи во всѣхъ этихъ хлопотахъ со стороны Пушкина, Жуковскаго и князя Вяземскаго. „Во-первыхъ",—писалъ онъ,—„твое дѣло не клеится, какъ слѣдуетъ, несмотря на то, что и князь Петръ, и Жуковскій хлопоталъ объ тебѣ. И ихъ мнѣніе, и мое вмѣстѣ съ ними, есть то, что тебѣ непремѣнно нужно ѣхать самому. За глаза эти дѣла не дѣлаются. Да и Мекка любитъ поклоненіе. Теперь поется, что ты де нуженъ Московскому университету, что въ Кіевѣ мѣсто уже занято и пр. Но если ты самъ прибудешь лично и объявишь свой резонъ, что ты бы и радъ дескать, но твое здоровье... и прочее, тогда будетъ другое дѣло; князь же съ своей стороны и Жуковскій не преминутъ подкрѣпить, да и Пушкинъ тоже".—Особенно выводила Гоголя изъ терпѣнія въ Максимовичѣ апатія въ отношеніи къ дѣйствію на сильныхъ міра. Гоголь не переставалъ усиленно звать его въ Петербургъ, и хотя убѣдилъ, какъ мы видѣли, хлопотать за него князя Вяземскаго и Жуковскаго, но полагалъ, что и личное присутствіе Максимовича далеко не помѣшало бы. „Пріѣзжай",—повторялъ онъ Максимовичу,—„я тебя ожидаю. Квартира же у тебя готова. Садись въ дилижансъ и валяй! потому что зѣвать не надобно: какъ разъ какой-нибудь олухъ влѣзетъ на твою каѳедру..."

IV.

Насколько Гоголь былъ воспріимчивъ по своей впечатлительной натурѣ къ восторженнымъ увлеченіямъ, настолько же, понятно, онъ былъ чувствителенъ и къ неудачамъ и всякимъ непріятнымъ толчкамъ. Пока дѣло шло о мечтахъ и предположеніяхъ и воображеніе могло свободно рисовать какія-угодно роскошныя картины, энергія Гоголя была очень сильна, но препятствія и проволочки скоро начинали истощать его терпѣніе. Въ этомъ отношеніи слова его о несокрушимой волѣ далеко не оправдывались. Тутъ даже неполученіе во время нетерпѣливо ожидаемыхъ книгъ выводило его изъ себя, не

только серьезныя неудачи, которыя, конечно, также не заставили себя долго ждать. Это видно особенно изъ слѣдующихъ словъ письма его къ Погодину отъ 4 апрѣля 1834 года: „Ты спрашиваешь о моемъ здоровьи. Здоровье такъ же, какъ и финансы мои, не въ весьма завидномъ положеніи: здоровье потому, что я не быкъ и не русскій мужикъ, финансы потому, что я не Булгаринъ и не Гречъ. Въ Москвѣ надѣюсь быть не раньше іюня, или мая послѣднихъ чиселъ. Когда ты будешь въ деревнѣ, весною или лѣтомъ?“ [1]). Изъ послѣднихъ словъ становится особенно замѣтно, что настроеніе Гоголя въ данное время постоянно и неудержимо падало, и мажорный тонъ все больше покидалъ его. Изъ того же письма мы видимъ, что имъ овладѣла лѣнь не только серьезно заниматься чѣмъ-нибудь, но даже писать простыя письма: „Натурально, если хорошенько подумать, то, конечно, нельзя сказать, чтобы, какъ говорятъ, не набралось предметовъ для письма. Но чортъ меня возьми, если я уважаю хоть сколько-нибудь письменное искусство! *Такая мысь находитъ*, что мочи нѣтъ. То ли дѣло языкъ? куды лучше пера! Въ чернильницу его не нужно обмакать,—развѣ только слегка въ бокалъ шампанскаго, послѣ чего онъ такъ исправно ворочается, что никакое перо за нимъ не угонится. *Можетъ быть, оттого, что я какъ-то все это время неспокоенъ, и мысность приходитъ.* Какъ бы то ни было, только жажду видѣть тебя и побраниться лицомъ къ лицу“.

Досада и постоянное нервное напряженіе Гоголя отразились, между прочимъ, и на ходѣ его научныхъ работъ и занятій. Чтобы убѣдиться въ этомъ, обратимся къ недавно напечатаннымъ письмамъ Гоголя къ Срезневскому [2]).

Замѣтимъ прежде всего, что письма Гоголя къ извѣстному слависту-профессору Измаилу Ивановичу Срезневскому занимаютъ совершенно своеобразное мѣсто въ перепискѣ нашего поэта начала 1830-хъ годовъ. Если впослѣдствіи, особенно подъ конецъ жизни, письменныя сношенія Гоголя являются поразительно обильными, то до выѣзда изъ Россіи за-границу, они почти исключительно ограничивались немногими избранными лицами изъ числа наиболѣе короткихъ и близкихъ лю-

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 204.

[2]) „Русск. Стар.“, 1892, III, 751 и слѣд.

дей [1]) Срезневскій, конечно, не только не принадлежалъ къ послѣднимъ, но и вообще былъ для Гоголя постороннимъ человѣкомъ, и едва-ли даже знакомство ихъ не было пока лишь заочнымъ. При всемъ томъ, въ связи съ прочими данными біографіи, эти письма къ Срезневскому получаютъ большой интересъ, открывая намъ нѣсколько новыхъ любопытныхъ подробностей.

Важно прежде всего то, что одно изъ этихъ писемъ показываетъ ясно и несомнѣнно, что въ первой половинѣ 1834 года въ Гоголѣ замѣтно стала угасать не надолго пробудившаяся жажда къ самостоятельному изслѣдованію историческихъ источниковъ, которое онъ уже тогда былъ склоненъ замѣнять однимъ изученіемъ украинскихъ пѣсенъ. Во всѣхъ очеркахъ и замѣткахъ, посвященныхъ имъ исторіи Малороссіи, въ Гоголѣ сказался художникъ, увлеченный не столько научною, сколько поэтическою стороною въ изученіи прошлаго. Пренебрежительное отношеніе къ „сухой“ наукѣ ясно видно изъ дружескихъ писемъ Гоголя, гдѣ онъ, напр., не стѣсняясь, заклинаетъ Максимовича „отцовскими могилами“ не сидѣть надъ книгами и даже утверждаетъ, что „совѣстно слишкомъ много трудиться“ надъ составленіемъ лекцій [2]). То-же самое выразилось не разъ, но въ сдержанной и осторожной формѣ, и въ печатныхъ статьяхъ, что̀ опять указываетъ на степень восторженнаго увлеченія произведеніями народной поэзіи въ ущербъ кропотливой, строго научной работѣ. Въ статьѣ „О малороссійскихъ пѣсняхъ“ Гоголь говорилъ: „Онѣ—надгробный памятникъ былого, болѣе, нежели надгробный памятникъ: камень съ краснорѣчивымъ рельефомъ, съ исторической надписью—*ничто противъ этой живой, говорящей, звучащей о прошедшемъ лѣтописи*“ [3]). Въ письмѣ къ Максимовичу сходное сравненіе, какъ мы знаемъ, выражено уже рѣзче и опредѣленнѣе: „Моя радость, жизнь моя, пѣсни, какъ я васъ люблю! *Что всѣ черствыя лѣтописи, въ которыхъ я теперь роюсь, передъ этими звонкими, живыми лѣтописями*“ [4]). Такъ писалъ Гоголь въ концѣ 1833 года, а въ мартѣ слѣдую-

[1]) Двѣ записки къ Конст. Степ. Сербиновичу („Русскій Архивъ“, 1876 г., т. III, стр. 202), какъ дѣловыя, здѣсь не могутъ идти въ счетъ.

[2]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 215.

[3]) „Соч. Гоголя“, изд. X, т. V, стр. 287.

[4]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 188.

щаго года онъ уже признавался Срезневскому: „*Я къ нашимъ лѣтописямъ охладѣлъ, напрасно силясь въ нихъ отыскать то, что хотѣлъ-бы отыскать*“. Признаніе это даетъ ключъ къ уясненію отношенія Гоголя къ историческимъ источникамъ: очевидно, повинуясь инстинкту художника, Гоголь не останавливался строгими требованіями науки и въ разрѣзъ съ ними, единственно по отголоскамъ пѣсенъ, рѣшалъ, что́, по его мнѣнію, должны были дать ему лѣтописи, причемъ соображенія его въ нѣкоторыхъ подробностяхъ отчасти напоминаютъ мысли, высказанныя около того же времени въ статьѣ: „Взглядъ на составленіе Малороссіи“ и позднѣе въ первой главѣ исправленной редакціи „Тараса Бульбы“ [1]). Но нигдѣ не выразилось такъ ясно и свободно самоувѣренное пренебреженіе Гоголя *ко всему*, что́ въ лѣтописяхъ не могло удовлетворить его эстетическаго чувства, какъ въ энергическомъ и образномъ сравненіи ихъ съ „хозяиномъ, прибившимъ замо́къ къ своей конюшнѣ, когда лошади были уже украдены“ [2]). Впрочемъ, Гоголь не могъ вовсе не сознавать своей научной некомпетентности и потому такъ-же быстро спѣшитъ признать болѣе справедливымъ мнѣніе своего авторитетнаго корреспондента о Конисскомъ, какъ въ другой разъ легко отказался отъ рѣзко высказаннаго мнѣнія о *Герен*ѣ въ письмѣ къ Погодину. Недостатокъ Гоголя, какъ историка, былъ въ томъ, что онъ увлекался въ прошедшемъ только яркими картинами и жгучими искрами поэзіи, которыя находилъ въ пѣсняхъ, но которыхъ съ преувеличеннымъ и обманутымъ ожиданіемъ хотѣлъ искать и въ лѣтописяхъ. Но зато съ какимъ восторженнымъ увлеченіемъ онъ говоритъ, что желалъ-бы пересмотрѣть сборникъ пѣсенъ Ходаковскаго „съ жадностію жида, считающаго червонцы“; съ какимъ страстнымъ нетерпѣніемъ дождался выхода въ свѣтъ „Запорожской Старины!“ Онъ даже сердится на Срезневскаго: „До сихъ поръ нигдѣ не могу ея достать. Какъ не прислать ни одному книгопродавцу! Кой-же чортъ будетъ у него покупать“! [3]). Намъ

---

[1]) При этомъ сопоставленіи мы имѣемъ въ виду слова: „народъ, котораго вся жизнь состояла изъ движенія“ и пр. Ср. „Соч. Гог.“, изд. X т. V, стр. 190, и т. I, стр. 251—252.

[2]) „Русск. Стар.“, 1892, III, 157.

[3]) „Письма Гоголя къ Максимовичу“, стр. 5, и „Соч. и Письма Гоголя“, т. V, стр. 198.

нѣтъ нужды пояснять, что минутная досада Гоголя относилась никакъ не къ личности Срезневскаго, а вызывалась лишь нетерпѣливымъ ожиданіемъ книги.

Съ такимъ-же нетерпѣніемъ ждалъ Гоголь, какъ мы говорили, и извѣстнаго сборника галицкихъ пѣсенъ Вацлава З'Олеска и буквально рвался отъ досады, когда какой-то пріятель, выпросивъ у него эту книгу на нѣсколько часовъ, долженъ былъ почему-то, не возвративъ ея, вскорѣ выѣхать изъ города. При такомъ пламенномъ интересѣ къ пѣснямъ, Гоголь, естественно, рѣшился, наконецъ, обратиться къ самому издателю „Запорожской Старины", отъ котораго, судя по его письму, получилъ теплый и дружескій отзывъ собрата по историческимъ и литературнымъ интересамъ. Съ Срезневскимъ, какъ съ человѣкомъ сходныхъ интересовъ, онъ дѣлится и назрѣвшими мыслями, и выводами, можетъ быть, провѣряя ихъ и ожидая дальнѣйшаго обмѣна [1]). Между тѣмъ, собственно къ личности Срезневскаго у него едва-ли могъ быть интересъ, и если онъ, напр., писалъ: „можетъ быть, буду въ Малороссіи и буду благодарить васъ лично", то вскорѣ, получивъ возможность свиданія, Гоголь, кажется, не воспользовался имъ. Въ письмѣ отъ 11-го іюля 1835 г. Гоголь выражалъ сожалѣніе, что не можетъ заѣхать къ Срезневскому (по пути) въ Харьковъ, потому что ѣдетъ на Кіевъ для свиданія съ Максимовичемъ; между тѣмъ, по разсказу его спутника, А. С. Данилевскаго, сдѣлавъ большой крюкъ въ Кіевъ, онъ все-таки проѣхалъ черезъ Харьковъ [2]). Могло быть также, конечно, что въ Харьковъ онъ, напротивъ, заѣзжалъ именно ради Срезневскаго, но этотъ вопросъ, легко разрѣшимый при жизни Данилевскаго, теперь остается открытымъ. Вѣроятнѣе же всего, что при постепенно охладѣвавшемъ интересѣ къ занятіямъ исторіей Гоголь скоро пересталъ интересоваться и своимъ ученымъ корреспондентомъ, съ которымъ онъ потомъ уже встрѣчался мимоходомъ только уже въ концѣ тридцатыхъ годовъ [3]).

---

[1]) Срезневскому, какъ и другимъ, Гоголь говорилъ, между прочимъ, и о предполагавшемся трудѣ по исторіи Малороссіи.

[2]) „Вѣстникъ Европы", 1890 г., I, 105.

[3]) Объ отношеніяхъ Гоголя къ Срезневскому и ихъ переписку, см. въ „Русск. Стар.", 1892, III, 751—765.

V.

Раздраженіе Гоголя все больше и больше росло, начиная съ той самой поры, какъ наступила минута, когда отъ мечтаній и надеждъ надо было перейти къ дѣлу и начались хлопоты. Во время хлопотъ о Максимовичѣ Гоголь нерѣдко обращался лично къ министру Уварову, при чемъ, однако, свобода этихъ обращеній кажется намъ немного преувеличенной Гоголемъ въ его письмахъ. Это можно заключить не столько по неполной удачѣ ходатайства, сколько по самому тону оффиціальныхъ обращеній Гоголя къ Уварову въ позднѣйшихъ письмахъ 1842 и 1845 гг. Въ тѣхъ письмахъ Гоголь былъ вынужденъ довольно раболѣпно обращаться къ высокому сановнику, а здѣсь рѣчь идетъ какъ будто объ отношеніяхъ облеченнаго полнымъ довѣріемъ подчиненнаго къ покровительствующему и расположенному начальнику. 29 марта Гоголь писалъ Максимовичу: „Министръ мнѣ обѣщалъ непремѣнно это мѣсто, и требовалъ даже, чтобы я сейчасъ подавалъ просьбу, но я останавливаюсь затѣмъ, что мнѣ даютъ только адъюнкта, увѣряя, впрочемъ, что черезъ годъ непремѣнно сдѣлаютъ ординарнымъ“ [1]). Въ другомъ письмѣ еще больше увѣренности: „Не безпокойся: дѣло твое, кажется, пойдетъ на ладъ. Третьяго дня я былъ у министра: онъ говорилъ мнѣ такими словами: „Кажется, я Максимовича переведу въ Кіевъ, потому что для русской словесности не находится болѣе его достойный человѣкъ, хотя предметъ для него новъ, но онъ имѣетъ даръ слова, и ему можно успѣть легко въ немъ, хотя, впрочемъ, онъ теоретическаго никакого еще не выпустилъ сочиненія“ [2]).

Впрочемъ, сообщенія Гоголя въ общемъ были, отчасти, вѣрны. Гоголь умѣлъ повести разговоръ съ министромъ такимъ образомъ, что, несмотря на роль просителя и поверхностное личное знакомство, поддерживалъ продолжительную защиту правъ своего друга, приводя въ пользу его даже личныя свѣдѣнія о приготовленныхъ къ печати трудахъ Макси-

---

[1]) Письма Гоголя къ Максимовичу, стр. 8; „Соч. и письма Гоголя“, т. V. стр. 204.

[2]) Тамъ же стр. 205.

вліянія на Уварова, нежели Жуковскій, и дѣло было проиграно.

VI.

Во всякомъ случаѣ, пока Гоголь тревожился за Максимовича, дѣло приняло другой оборотъ: неожиданно онъ узнаётъ о назначеніи на каѳедру средней исторіи въ университетѣ св. Владиміра нѣкоего Цыха. Это извѣстіе тѣмъ болѣе должно было ошеломить Гоголя, что, получивъ обѣщаніе отъ министра, онъ и не сомнѣвался, что мѣсто это будетъ за нимъ, но испортилъ дѣло самъ несогласіемъ ѣхать въ качествѣ адъюнкта. Въ сильной досадѣ и безпокойствѣ бросился Гоголь разузнавать у Погодина и Максимовича о томъ, кто этотъ Цыхъ, и почему онъ получаетъ каѳедру, и нельзя ли склонить его перейти на каѳедру русской исторіи, которая оставалась пока вакантной. Дѣло вступило въ новый фазисъ: за Максимовича безпокоиться было ужъ нечего, такъ какъ даже Уваровъ теперь не только соглашался, но сильно желалъ назначить его на каѳедру русской словесности и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать ректоромъ вновь открываемаго университета, въ которомъ служащіе были почти поголовно поляки или иностранцы. Гоголь уже пересталъ звать его въ Петербургъ, но, напротивъ, просилъ ходатайствовать за себя: „Слушай“,—писалъ онъ Максимовичу:—„сослужи службу: когда будешь писать къ Брадке, намекни ему вотъ какимъ образомъ, что вы бы, дескать, хорошо сдѣлали, если бы залучили въ университетъ Гоголя; что ты не знаешь никого, кто бы имѣлъ такія глубокія историческія свѣдѣнія и такъ бы владѣлъ языкомъ преподаванія, и тому подобныя скромныя похвалы, какъ будто вскользь. Для примѣра ты можешь прочесть предисловіе Булгарина къ грамматикѣ Греча, или Греча къ романамъ Булгарина“ [1]). Хотя Гоголь и совѣтовалъ въ то же время Максимовичу, чтобы скорѣе собраться въ Кіевъ, не очень смущаться задержками („смѣлѣе съ ними: одно по̀ боку, другому киселя дай, и все кончено скоро“); но собственный его переѣздъ, мысль о которомъ онъ все еще не оставлялъ, остановился вслѣдствіе нѣсколько страннаго предложенія Брадке вмѣсто всеобщей исторіи взять каѳедру русской. „Право“,—не безъ основанія замѣ-

[1]) Тамъ же, стр. 206.

чаетъ Гоголь,—„странно они воображаютъ, что различіе предметовъ—это такая маловажность, и что кто читаетъ словесность, тому весьма легко преподавать математику или врачебную науку“ [1]). Гоголь тѣмъ болѣе былъ разсерженъ назначеніемъ какого-то совершенно неизвѣстнаго Цыха, что за него хлопотали Жуковскій, Дашковъ, Блудовъ, Пушкинъ. Въ досадѣ онъ говоритъ: „Слышу увѣренія, ласки и больше ничего! „Ты видишь“,—пишетъ онъ Максимовичу,—„что сама судьба вооружается, чтобы я ѣхалъ въ Кіевъ. Досадно, досадно, потому что мнѣ нужно, мнѣ очень нужно: *мое здоровье, мое занятіе, мое упрямство требуютъ этого*“ [2]). (Слово: *досадно* нѣсколько разъ повторено въ письмѣ). Но еще болѣе огорчился Гоголь, когда и Максимовичъ, въ утѣшеніе ему, написалъ въ отвѣтъ, что, по его мнѣнію, Гоголь могъ бы согласиться взять каѳедру русской исторіи. „Тебя удивляетъ“,—возражалъ Гоголь,—„почему меня такъ останавливаетъ русская исторія. Ты очень страненъ и говоришь еще о себѣ, что ты рѣшился же взять словесность. Вѣдь для этого у тебя было желаніе, а у меня нѣтъ. Чортъ возьми, если бы я *не согласился взять скорѣе* ботанику или патологію, нежели русскую исторію. Если бы это было въ Петербургѣ, я бы, можетъ

[1]) Письма Гоголя къ Максимовичу, изданныя С. И. Пономаревымъ, стр. 11.—Когда Брадке предлагалъ Гоголю каѳедру русской исторіи вмѣсто всеобщей, это было уже, по всей вѣроятности, однимъ изъ средствъ противодѣйствія назначенію его въ Кіевъ. Гоголь ошибся особенно въ томъ, что не сразу понялъ истинную степень вліянія на Уварова разныхъ лицъ, и когда понялъ, то слишкомъ поддавался самоувѣренности и надеждѣ на благопріятный исходъ дѣла. Это видно изъ характера его отзывовъ о Брадке, котораго Гоголь считалъ гораздо ничтожнѣе во всѣхъ отношеніяхъ, чѣмъ это было на дѣлѣ (см. между прочимъ „Историч. Вѣстникъ“, 1892, VIII, стр. 405—407). Сначала Гоголю казалось очень легкимъ дѣломъ повліять на Брадке. „Я думаю вотъ что“—совѣтовалъ онъ Максимовичу въ письмѣ отъ 12 февраля 1834 г. (Письма Гоголя къ Максимовичу, стр. 6):—„не мѣшаетъ тебѣ написать обстоятельно къ Брадке, что ты дескать—недомогаешь страшно въ московскомъ климатѣ, что тебѣ потребно... и проч. Бери каѳедру ботаники и зоологіи. А такъ какъ профессора словесности нѣтъ, то ты можешь занять со временемъ его каѳедру. А тамъ по праву давности, ее отжилить, а отъ ботаники отказаться“ и т. д. Въ письмѣ отъ 10 апрѣля Гоголь уже сообщаетъ въ положительномъ смыслѣ о вліяніи Брадке, прибавляя: „Это я узналъ вѣрно“ („Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 206 и письма Гоголя къ Максимовичу, стр. 9). Наконецъ 10 іюня онъ пишетъ: „*Остановка вся* за однимъ Брадке: безъ Брадке Сергѣй Семеновичъ на до порога“ („Соч. и письма Гоголя, т. V, стр. 214; письма Гоголя къ Максимовичу, стр. 14)

[2]) Тамъ же, стр. 13, и „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 213

быть, взялъ ее, потому что здѣсь я готовъ, пожалуй, два раза въ недѣлю на два часа отдать себя скукѣ. Но, оставляя Петербургъ, знаешь ли, что̀ я оставлю? Мнѣ оставить Петербургъ не то, что̀ тебѣ Москву: здѣсь все, что́ дорого, что́ было мило моему сердцу, люди, съ которыми сдружилась и которыхъ алчетъ душа, все, что́ привычка сдѣлала еще драгоцѣннѣйшимъ. Бросивши все это, нужно стараться всѣми силами заглушить сердечную тоску; нужно отдалять всѣми мѣрами то, что́ можетъ вызвать ее. И ты вдобавокъ хочешь еще, чтобы самая должность была для меня тягостна“ [1]). Дѣйствительно, перспектива близкой разлуки съ Петербургомъ обнаружила, что Гоголь былъ привязанъ ко многому въ этомъ городѣ. То же говорилъ онъ и Погодину, желавшему устроить Гоголя московскимъ адъюнктомъ. И ему Гоголь отвѣтилъ не безъ раздраженія: „Прося профессуру въ Петербургѣ, я обезпечиваю тамъ себя совершенно въ моихъ нуждахъ, большихъ и малыхъ; но, взявши московскаго адъюнкта, я не буду сытъ, да и климатъ у васъ въ Москвѣ ничуть не лучше нашего чухонскаго, петербургскаго“ [2]).

Гоголю, конечно, всего тяжелѣе было разставаться съ своими нѣжинцами, изъ которыхъ въ то время самымъ близкимъ къ нему былъ Прокоповичъ (Данилевскаго тогда не было въ Петербургѣ). По словамъ Данилевскаго, это была чрезвычайно даровитая личность. Но Прокоповичъ вдругъ увлекся въ Петербургѣ театромъ до того, что хотѣлъ поступить на

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, стр. 213.

[2]) Стр. 214.—Такъ подъ вліяніемъ измѣняющагося настроенія не разъ перемѣнялось у Гоголя отношеніе, между прочимъ, и къ тѣмъ городамъ, въ которыхъ онъ жилъ. Впослѣдствіи, напримѣръ, однажды онъ писалъ въ письмѣ къ Языкову совершенно иначе о разницѣ климатовъ московскаго и петербургскаго. Съ досадой разсказавъ о своемъ вынужденномъ и непродолжительномъ пребываніи въ Петербургѣ, Гоголь писалъ: „Тамъ“ (въ Петербургѣ) „я пять дней томился. Погода мерзѣйшая — именно трепня. Но я теперь въ Москвѣ и вижу чудную разность въ климатахъ. Дни всѣ въ солнцѣ, воздухъ слышенъ свѣжій, осенній, передо мною открытое поле [1]), и ни кареты, ни дрожекъ, ни души, словомъ—рай“ [2]). Въ письмѣ къ Данилевскому отъ $^{23}/_{11}$ октября 1842 г. онъ также писалъ: „не лучше ли тебѣ будетъ въ Москвѣ, нежели въ Петербургѣ. Тамъ болѣе теплоты и въ климатѣ, и въ людяхъ“ [3]).

---

[1]) Гоголь жилъ тогда на Дѣвичьемъ полѣ, въ домѣ Погодина.

[2]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 453.

[3]) Тамъ же, стр. 496.

сцену и вмѣсто того поступилъ въ театральную школу. Это всѣхъ сильно поразило: человѣкъ съ большимъ развитіемъ и знаніями садится на скамью театральнаго училища! Онъ былъ чрезвычайно скроменъ, и эта скромность губила его; еще въ Нѣжинѣ онъ сталъ выдаваться и заявлять себя. Въ Петербургѣ онъ познакомился съ актеромъ Сосницкимъ, и тотъ его завербовалъ. Вѣроятно, къ этому времени относится также начало знакомства Гоголя съ Сосницкимъ. Вскорѣ Прокоповичъ познакомился съ Комаровымъ, племянникомъ Ѳедорова, тогдашняго начальника театральной школы, а Комаровъ, въ свою очередь, ввелъ въ нѣжинскій кружокъ Анненкова, и черезъ него же Прокоповичъ и Гоголь узнали впослѣдствіи Бѣлинскаго...[1])

Такимъ образомъ, роли перемѣнились: Максимовичъ уже охотно собирался въ Кіевъ, гдѣ вскорѣ соскучился, впрочемъ, по Москвѣ, но Гоголь уже не рѣшался съ легкимъ сердцемъ оставить Петербургъ, хотя все-таки ни за что не хотѣлъ отказаться отъ своей любимой мечты о Кіевѣ, и съ свойственной ему самоувѣренностью писалъ Максимовичу: „Не предавайся заранѣе никакимъ сомнѣніямъ и мнительности. Я къ тебѣ буду, *непремѣнно* буду, и мы заживемъ вмѣстѣ... Чортъ возьми все! Дѣла свои я повелъ такимъ порядкомъ, что непремѣнно буду въ состояніи ѣхать въ Кіевъ, хотя не раннею осенью, или зимою; *но когда бы то ни было, а все-таки буду.* Я далъ себѣ слово, и твердое слово: стало-быть, все кончено: нѣтъ гранита, котораго бы не пробили человѣческія силы и желаніе“ [2]). Уже Гоголь живо представлялъ въ своемъ воображеніи всѣ подробности предстоявшей ему, какъ онъ думалъ, жизни въ Кіевѣ и такъ увѣренно приготовлялся къ совмѣстной жизни въ немъ съ Максимовичемъ, что прямо говорилъ уже: „нашъ Кіевъ“, „наше солнце“ и „нашъ воздухъ“. Онъ даже подыскивалъ себѣ для Кіевскаго университета товарищей, которые могли бы также занять тамъ каѳедры, а объ одномъ изъ нихъ такъ писалъ Максимовичу: „Замолви словечко Брадке, но не прямо, а косвенно, вотъ какимъ образомъ: что ты знаешь-де человѣка, весьма годнаго занять мѣсто и истинно достойнаго, но не знаешь-де, согласится ли онъ на

[1]) Все это сообщено мнѣ покойнымъ А. С. Даниловскимъ.

[2]) „Соч. и письма Гоголя“, стр. 215.

это, потому что въ Петербургѣ имѣетъ выгодное мѣсто, и считаютъ его нужнымъ человѣкомъ, что онъ прежде хотѣлъ ѣхать въ Кіевъ, то попробовать,—можетъ быть, онъ согласится,—тѣмъ больше, что тамъ близко его родные“ [1]). Этотъ товарищъ Гоголя былъ Шаржинскій; позднѣе онъ рекомендовалъ еще Тарновскаго.

VII.

Для того, чтобы представить себѣ сколько-нибудь степень страшнѣйшей досады Гоголя по поводу постигшей его неудачи, не надо упускать изъ виду, что все уже было собственно готово къ его услугамъ и что еслибы онъ, такъ сказать, не зарвался въ своихъ требованіяхъ, то, вѣроятно, получилъ бы почти все желаемое: причиной всей бѣды оказалось въ сущности неисполненіе кіевскимъ попечителемъ слова, даннаго Жуковскому, что каѳедра всеобщей исторіи въ Кіевѣ непремѣнно останется за Гоголемъ. „Мои обстоятельства очень странны“ — пишетъ Гоголь Максимовичу 28 мая: „Сергѣй Семеновичъ даетъ мнѣ экстраординарнаго профессора и деньги на подъемъ, но, однакожъ, ничего этого не выпускаетъ изъ рукъ и держитъ меня, не знаю для чего, здѣсь, тогда какъ мнѣ нужно дѣйствовать и ѣхать. Между тѣмъ Брадке пишетъ ко мнѣ, что не угодно ли мнѣ взять каѳедру русской исторіи, что сіе-де прилично занятіямъ моимъ, тогда какъ онъ самъ обѣщалъ мнѣ, бывши здѣсь, что всеобщая исторія не будетъ занята до самаго моего пріѣзда, хотя бы это было черезъ годъ. А теперь, вѣрно, ее отдали этому Цыху, *которая принесло какъ нарочно*“ [2]). Казалось, все было въ рукахъ Гоголя,—и вдругъ неудача! Послѣ этого пораженія оказалось уже запоздалымъ намѣреніе упросить Цыха, чтобы онъ взялъ себѣ каѳедру русской исторіи и т. п. Въ своей досадѣ Гоголь рвалъ и металъ и даже угрожалъ въ письмѣ къ Максимовичу мщеніемъ оффиціальнымъ представителямъ министерства, состоявшимъ въ томъ, что онъ совсѣмъ броситъ мысли о профессурѣ: „Если они меня поводятъ далѣе и не отправятъ теперь, то, признаюсь, я брошу все и откланяюсь.

---

[1]) Тамъ же, стр. 221.

[2]) Письма Гоголя къ Максимовичу, стр. 11, „Соч. и письма Гоголя“ т. V, стр. 211.

Богъ съ ними совсѣмъ! И тогда махну или на Кавказъ, или въ даль Грузіи, потому что здоровье мое здѣсь еле держится". По мѣрѣ неудачъ ослабѣвало и ученое рвеніе Гоголя, какъ впрочемъ отъ нихъ же терпѣло, конечно, и его творчество. „Право, душа не въ спокойномъ состояніи"—повѣрялъ онъ свои чувства Максимовичу.—„Перо въ рукахъ моихъ, какъ деревянная колода, между тѣмъ, какъ мысли мои состоятъ теперь изъ вихря" [1]). Въ разсѣянности Гоголь забылъ даже упомянуть о сборникѣ пѣсенъ Максимовича въ своей статьѣ о малороссійскихъ пѣсняхъ, хотя онъ искренно интересовался имъ и отъ души сообщалъ прежде, получивъ еще корректурный экземпляръ этой книги, что „съ радостью ребенка держалъ въ рукахъ первый листъ" [2]). И что было всего оскорбительнѣе и непонятнѣе, что капитальная неудача могла послѣдовать именно въ то время, когда не только Гоголь заручился всѣми обѣщаніями, но и былъ увѣренъ, что „Сергѣй Семеновичъ самъ, кажется, благоволитъ ко мнѣ и очень доволенъ моими статьями. Кажется, какой сильный авторитетъ! Если бы какія особенныя препятствія преграждали мнѣ путь, но ихъ нѣтъ. Я имѣю чинъ коллежскаго асессора, не новичекъ, потому что занимался довольно преподаваніемъ, между тѣмъ какъ *всѣхъ учителей Кременецкаю лицея произвели прямо въ ординарные* [3]) и при всемъ томъ я не могу понять: слышу увѣренія, ласки и больше ничего! Чортъ возьми! они воображаютъ, что у меня недостанетъ духу плюнуть на все".

Досада на ударъ, причиненный самолюбію, отразился между прочимъ и на отношеніяхъ Гоголя къ его научнымъ занятіямъ и къ самой желанной каѳедрѣ. Гоголь говоритъ уже съ презрѣніемъ не только о педагогахъ-толмачахъ, но и о гили, подъ которой онъ разумѣетъ систематическія занятія наукой, вмѣсто коихъ рекомендуетъ лекціи по вдохновенію („Плетневъ нашелъ—и весьма справедливо (?)—что всѣ теоріи совершенный вздоръ и ни къ чему не ведутъ (!). Онъ теперь бросилъ всѣ прежде читанныя лекціи и дѣлаетъ

---

[1]) Тамъ же.

[2]) Тамъ же, стр. 207. Письма Гоголя къ Максимовичу. стр. 10

[3]) Эти слова какъ будто подтверждаютъ высказанное нами выше предположеніе, что Гоголь смотрѣлъ на профессуру съ точки зрѣнія карьеры, какъ на административное повышеніе.

съ ними [1]) въ классѣ эстетическіе разборы, толкуетъ и наталкиваетъ ихъ морду на хорошее. Онъ очень удивляется тому, что ты затрудняешься, и совѣтуетъ, съ своей стороны, тебѣ *работать съ плеча (?!!), что придется (!!)* [2]). Не смотря на все сознаніе неудачи, Гоголь все-таки долго не хотѣлъ сдаваться и продолжалъ возлагать надежду на силу терпѣнія и желѣзной воли, рѣшивши, что все на свѣтѣ трынъ—трава. Гоголь испытывалъ тяжелое чувство при извѣстномъ выѣздѣ Максимовича въ Кіевъ, живо напоминавшемъ ему о неудачѣ: „И такъ ты въ дорогѣ. Благословляю тебя! Я увѣренъ, что тебѣ будетъ весело, очень весело въ Кіевѣ". Ту же твердость рекомендуетъ Гоголь въ то же самое время и матери, фабрика которой только-что окончательно рухнула. Въ эту-то критическую минуту Гоголю хотѣлось бы навѣстить и ободрить павшую духомъ любимую мать, которая впадала въ уныніе и искала душевнаго успокоенія въ молитвѣ. Марья Ивановна въ горѣ, кажется, просила у сына денегъ, чтобы съѣздить помолиться въ Воронежъ, и вотъ хотя Гоголя сильно тянуло въ Малороссію, но онъ не собирался уѣхать на лѣто въ деревню, потому что надѣялся въ Петербургѣ устроить еще какъ-нибудь свои дѣла. „Я бы съ радостью прислалъ вамъ сколько-нибудь", писалъ онъ матери, —„но этотъ годъ былъ для меня нѣсколько тяжелъ. Даже намѣреніе мое, ѣхать къ вамъ рушилось; впрочемъ я этому очень радъ, несмотря на желаніе большое васъ видѣть. Еслибы я поѣхалъ теперь, я бы потерялъ по службѣ; между тѣмъ, какъ оставшись здѣсь еще на полгода, я много выиграю" [3]).

Но вдругъ Гоголь получилъ предложеніе отъ попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа, князя Дондукова-Корсакова занять каѳедру экстра-ординарнаго профессора средней исторіи въ Петербургскомъ университетѣ. Онъ рѣшился взять это мѣсто, но все-таки съ тою мыслью, что послѣ ему легко будетъ перейти изъ столицы въ Кіевъ; онъ даже настойчиво просилъ Максимовича купить ему въ Кіевѣ мѣсто для дома, „гдѣ-нибудь на горѣ, чтобы оттуда былъ виденъ и кусочекъ Днѣпра" [4]).

---

[1]) Студентами.

[2]) „Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 215; Письма Гоголя къ Максимовичу, стр. 14—15.

[3]) „Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 219.

[4]) Тамъ же , стр. 224.

Послѣ этого Гоголь въ письмахъ отъ 6 ноября снова *дѣлаетъ обѣщаніе* помочь матери: „Очень жалѣю только, что вы не имѣете теперь рѣшительно никакихъ доходовъ. Можетъ быть, если Богъ поможетъ, послѣ новаго года я получу сколько-нибудь денегъ, и, можетъ быть, буду такъ счастливъ, что сколько-нибудь облегчу вашу возможность уплатить хотя самые нужные долги“ [1]).

Нечаянная обида, причиненная Гоголю наивнымъ вопросомъ матери о чинѣ, на что́ Гоголь отвѣтилъ весьма рѣзко и несдержанно, прибавила лишнюю каплю горечи въ его и безъ того тяжелое настроеніе, напомнивъ ему еще разъ объ его оскорбительномъ промахѣ [2]).

И снова передъ Гоголемъ встали затрудненія въ его научныхъ занятіяхъ и онъ возвращается къ жалобамъ, похожимъ на тѣ, которыя онъ изливалъ еще въ началѣ 1833 года. Какъ тогда онъ писалъ: „едва начинаю, уже вижу собственные недостатки“; совершенно то же читаемъ теперь: „Я съ каждымъ мѣсяцемъ и съ каждымъ днемъ вижу новое, и вижу свои ошибки. Не думай также, чтобъ я старался только возбудить чувства и воображеніе (слушателей). Клянусь, у меня цѣль высокая! Я, можетъ быть, еще мало опытенъ, я молодъ въ мысляхъ, но я буду когда-нибудь старъ. Отчего же я черезъ недѣлю уже вижу свою ошибку? Отчего же передо мной раздвигается природа и человѣкъ?“ [3]). Между тѣмъ въ друг минуты Гоголю наоборотъ продолжало попрежнему казат что онъ примется за дѣла и многое совершитъ, и вотъ ить то онъ сказалъ между прочимъ Погодину: „Я думаю Богъ среднюю исторію томиковъ въ восемь или девять поможетъ“ [4]). ...четъ своей

Очевидно, онъ еще продолжалъ заблуждаться ...го остался ученой производительности и, можетъ быт

...дчеркиваемъ здѣсь эти

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 226. — ...*берту*, полагавшему, что слова: дѣлаетъ обѣщаніе, *какъ новую улику* ...аго риска, такъ какъ рѣдможно расточать неосновательные упреки без... ли говоритъ рецензентъ, или кій де изъ читателей станетъ справляться, п... нѣтъ. Изумительное легкомысліе!...

[2]) Тамъ же.

[3]) Стр. 228.

[4]) Тамъ же, стр. 232 и въ пис... къ ...аксимовичу, стр. 231; см. также письма Гоголя къ Максимовичу, ...р. 20.

бы на этомъ ложномъ и безплодномъ для него пути, еслибы сама судьба не вывела его наконецъ изъ неестественнаго положенія, въ которое онъ попалъ, занявъ каѳедру. Но мы усиленно настаиваемъ на томъ, что съ его стороны здѣсь не было ни *малѣйшаго обмана* или, какъ говорятъ, шарлатанства: вѣдь, повторяемъ, его продолжительные сборы приняться за огромные труды въ области исторіи, постоянно остававшіеся безъ результатовъ, кажутся странными теперь намъ, знающимъ, что ничего изъ нихъ не вышло, тогда какъ Гоголь былъ глубоко убѣжденъ, что, только-что перемѣнится удручавшая его обстановка, осуществится мечта о кіевской каѳедрѣ — и историческія изслѣдованія польются рѣкой. Вѣдь когда онъ писалъ Погодину въ началѣ 1835 года о восьмитомной исторіи Малороссіи, онъ вовсе не подозрѣвалъ, что его профессорской дѣятельности въ книгѣ судебъ положенъ такой скорый предѣлъ; онъ надѣялся, что профессура его будетъ продолжаться, можетъ быть, цѣлую жизнь, такъ что онъ могъ многаго ждать отъ будущаго въ такой долгій срокъ, когда ему казались столь легкими крупныя завоеванія въ области науки.

Есть одно мѣсто въ перепискѣ Гоголя, которое какъ будто намекаетъ, что у него мелькала даже мысль о соединеніи своей семьей въ Кіевѣ, мысль тѣмъ болѣе возможная, что нѣсколько разъ заходила рѣчь о продажѣ имѣнья. Это мѣсто встрѣчается въ письмѣ къ матери отъ 30 января 1835 г: „Сдѣлайте всѣми силами, сколько есть, не скучайте за дѣтьми [1]) и развлекайте себя чтеніемъ, чѣмъ хотите. Вы должны себя беречь для жизни самой пріятной, и чѣмъ скорѣе пролетитъ время, которое вамъ такъ кажется долго, вдругъ быть, конечно, будемъ снова вмѣстѣ“ [2]). Слова эти могли служить и убитой горемъ матери; но намъ рѣшительно нѣтъ основанія не вѣрить тому утѣшеніемъ совсѣмъ разстроившейся что при широкихъ надеждахъ, возлагаемыхъ на будущее, Гоголь не могъ бы исполнить и своего обѣщанія, если бы надежды эти могли осуществиться. Высказаннаго въ только приведенныхъ строкахъ.

Когда академическій 1835 годъ промчался, оказалось, что на перемѣну положенія Гоголя къ лучшему не

[1]) Малороссіанизмъ.

[2]) „Соч. и письма Гоголя“, т. , стр. 2[illegible].

было никакихъ надеждъ; напротивъ, онъ долженъ былъ оставить противъ своей воли занятія въ Патріотическомъ институтѣ. Все это опять-таки неблагопріятно отзывалось на его ученыхъ занятіяхъ, и отчасти, можетъ быть, и на литературныхъ трудахъ. „Тупая теперь такая голова сдѣлалась“—писалъ онъ Максимовичу—„что мочи нѣтъ. Языкомъ ворочаешь такъ, что узнать нельзя, а возьмешься за перо—находитъ столбнякъ“ [1]). Среди собственныхъ неудачъ онъ живѣе сочувствовалъ невзгодамъ матери и предполагалъ дѣятельно помогать ей: „Я очень постигаю васъ“—[2]) писалъ онъ: „Я знаю, что ваша вся жизнь была въ заботахъ, что вы вѣчно должны были бороться съ критическими обстоятельствами. Отъ этого не мудрено, что душа ваша ищетъ успокоенія въ мечтѣ и что вы любите предаваться ей, какъ вѣрному своему другу, и не мудрено, что она васъ завлекаетъ иногда. Вамъ нуженъ совѣтникъ, который бы практическимъ образомъ глядѣлъ на жизнь. *Этотъ совѣтникъ вамъ буду я.* Почитайте меня за друга, съ которымъ вы должны дѣлить свои мысли и не сердиться, если этотъ другъ будетъ подавать вамъ совѣты. О дѣлахъ хозяйственныхъ, о средствахъ къ уплатѣ долговъ и о прочемъ поговоримъ, когда увидимся. Я намѣренъ не шутя приняться за хозяйство, и грѣхъ на моей душѣ лежитъ, что я не сдѣлалъ этого прежде, набросивъ на васъ цѣлый грузъ самыхъ тягостныхъ заботъ, омрачившихъ вашу драгоцѣнную для насъ жизнь...“

Упоминаніе о „трынъ-травѣ“, какъ принципѣ житейской мудрости, еще повторялось изрѣдка въ письмахъ Гоголя. Такъ однажды онъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ старался утѣшить хандрившаго Максимовича: „Мы никакъ не привыкнемъ, особенно ты, глядѣть на жизнь, какъ на трынъ-траву, какъ всегда глядѣлъ казакъ. Пробовалъ-ли ты когда-нибудь, вставши поутру съ постели дернуть въ одной рубашкѣ по всей комнатѣ трепака? Послушай, братъ: у насъ на душѣ столько грустнаго и заунывнаго, что если позволить всему этому выходить наружу, то это чортъ знаетъ что́ такое! Чѣмъ сильнѣе подходитъ къ сердцу старая печаль, тѣмъ шумнѣе должна быть новая веселость“ [3]). Въ письмѣ къ матери отъ

[1]) Стр. 242.

[2]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 139.

[3]) Тамъ же, стр. 236; письма Гоголя къ Максимовичу, стр. 21.

1 октября 1835 года онъ также пишетъ: „Я вашими молитвами здоровъ и спокоенъ; прочее все пустое и „трынъ-трава“ [1]). Но, конечно, такъ было легче говорить, нежели поступать такъ на дѣлѣ, и отраженіе грусти все чаще слышится въ произведеніяхъ Гоголя разсматриваемой поры.

Нельзя кстати не прибавить, что въ приведенныхъ цитатахъ также отразились взгляды Гоголя на отношеніе русскаго человѣка къ постигающимъ его въ жизни невзгодамъ; это мы видимъ еще въ его малороссійскихъ повѣстяхъ, напр. въ „Віи“, гдѣ философъ Хома Брутъ такъ именно и относится къ темнымъ сторонамъ жизни, и въ другихъ изображеніяхъ казаковъ, тогда какъ образъ танцующаго трепакъ въ одной рубашкѣ человѣка тотчасъ послѣ его пробужденія встрѣчается даже въ „Мертвыхъ Душахъ“, правда въ несимпатичной автору фигурѣ Чичикова, но какъ такое проявленіе душевнаго порыва чисто русскаго человѣка, которому Гоголь, повидимому, вполнѣ сочувствовалъ [2]).

Послѣ оставленія Гоголемъ каѳедры, его интересъ къ любимой когда-то наукѣ сталъ быстро ослабѣвать, но онъ все еще изрѣдка справлялся у Погодина о нѣкоторыхъ почему-нибудь занимавшихъ его сочиненіяхъ по исторіи, о лѣтописяхъ и проч. Такъ, въ письмѣ къ Погодину отъ 21 февраля 1836 года онъ проситъ: „Не можешь ли мнѣ прислать каталога книгъ, пріобрѣтенныхъ тобою и не пріобрѣтенныхъ относительно Славянщины, исторіи и литературы“ [3])...

Но во всякомъ случаѣ извѣстная неудача по каѳедрѣ въ Петербургѣ заставила его отложить навсегда всякіе помыслы объ ученой карьерѣ. Гоголь былъ профессоромъ полтора года (1834—1835). Въ началѣ 1835 г. онъ издалъ „Арабески“ и почти вслѣдъ за ними „Миргородъ“, и совершенно посвятилъ себя драматическимъ произведеніямъ, а позднѣе—„Мертвымъ Душамъ“.

---

[1]) Тамъ же, стр. 244.

[2]) И здѣсь нельзя не замѣтить, что поэтическія увлеченія Гоголя съ годами уступали мѣсто „суровой прозѣ“: изображеніе беззавѣтной отваги все рѣже встрѣчается въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Гоголя и симпатичная прежде черта получаетъ болѣе прозаическое значеніе въ глазахъ Гоголя.

[3]) Тамъ же, стр. 252.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНІЕ О ГОГОЛѢ ВЪ 1832—1835 г.

Мы старались прослѣдить постепенный духовный ростъ нашего писателя и происшедшія въ немъ главныя нравственныя перемѣны, въ промежутокъ первыхъ тридцатыхъ годовъ, преимущественно на основаніи данныхъ, извлекаемыхъ изъ его произведеній; но представить вполнѣ яркую картину этого роста съ отчетливымъ изъясненіемъ всѣхъ малѣйшихъ подробностей и оттѣнковъ, основанную притомъ на точномъ и всестороннемъ психологическомъ анализѣ, какъ этого, быть можетъ, потребовали бы иные строгіе критики, мы считаемъ совершенно невозможнымъ по недостатку источниковъ. Мы можемъ только указать, что въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ жизни въ Петербургѣ Гоголь значительно перемѣнился въ томъ смыслѣ, что его все больше покидала струя свѣтлаго и непритязательнаго юношескаго юмора, и что игривое легкомысліе молодости быстро и явно стало уступать мѣсто какой-то суровой сдержанности, отчасти переходившей даже въ сухую и холодную натянутость, что, наконецъ, передъ нимъ все больше раскрывались печальныя стороны жизни. Если горькій жизненный опытъ вообще часто кладетъ траурный отпечатокъ на людей, вынужденныхъ въ лучшую пору молодости извѣдать ея трудности; то Гоголь, постоянно сжимаемый и жестоко тѣснимый нуждой, злобно издѣвавшейся надъ его широкими молодыми грезами, быть можетъ, наиболѣе испыталъ на себѣ ея свинцовые тиски. Собираясь уѣхать изъ Нѣжина въ Петербургъ въ концѣ своего гимназическаго поприща, Гоголь, какъ мы знаемъ, очень свысока смотрѣлъ на толпу

заурядныхъ людей [1]), но его жизнерадостное и веселое настроеніе еще ничѣмъ не было тогда омрачено; напротивъ, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ самостоятельной жизни въ Петербургѣ, его высокомѣрная заносчивость утратила, подъ вліяніемъ жизненнаго опыта, значительную долю своей безцеремонной откровенности, но зато въ глубинѣ его души зрѣло и развивалось затаенное чувство холоднаго пренебреженія къ людямъ, почему-нибудь казавшимся ему смѣшными или ничтожными, при чемъ, надо замѣтить, такое высокомѣріе распространялось отчасти и на лицъ, которыя, казалось бы заслуживали иного къ себѣ отношенія. Конечно, нельзя положить рѣзкой грани между указанными перипетіями въ духовной жизни Гоголя, и намъ кажется достаточнымъ намѣтить ихъ и подтвердить свое заключеніе фактическими данными, при чемъ мы даемъ своимъ словамъ въ настоящемъ случаѣ пока лишь значеніе вѣроятнаго предположенія. Затѣмъ отклоняемъ заранѣе возможныя возраженія о томъ, что бывали и въ позднѣйшее время у Гоголя проблески и порывы веселости, чего мы и не отрицаемъ, даже прямо признавая ихъ существованіе, на основаніи воспоминаній нѣкоторыхъ лицъ, не исключая и послѣднихъ лѣтъ его жизни; равно какъ не можемъ не допустить, что и въ одно и то же время, Гоголь являлся, съ одной стороны, иногда сравнительно болѣе открытымъ и даже, быть можетъ, задушевнымъ въ своемъ нѣжинскомъ кружкѣ, тогда какъ, съ другой, переходя изъ этого кружка въ менѣе родственную и знакомую сферу, онъ обнаруживалъ преимущественно другія, отмѣченныя нами, менѣе симпатичныя стороны своей нравственной природы.

Для того, чтобы не только подтвердить, но и, такъ сказать, по возможности иллюстрировать сказанное,—что особенно важно именно тамъ, гдѣ приходится улавливать и выставлять болѣе тонкіе оттѣнки,—позволимъ себѣ привести въ выдержкахъ два живыхъ и колоритныхъ разсказа о впечатлѣніи, производимомъ Гоголемъ на людей въ началѣ и серединѣ тридцатыхъ годовъ, правда знавшихъ его поверхностно; но иныхъ разсказовъ мы не имѣемъ. Разсказы эти получаютъ, какъ

[1]) Просимъ читателей припомнить изъ перваго тома отмѣченные нами факты постепеннаго распространенія пренебрежительнаго отношенія Гоголя къ людямъ, начиная отъ нѣжинскихъ товарищей, на профессоровъ, на директора Охлая, наконецъ, на Д. П. Трощинскаго (стр. 131—135).

намъ кажется, отчасти новый интересъ и новое освѣщеніе, если взглянуть на нихъ съ только-что указанной точки зрѣнія.

Первый разсказъ принадлежитъ покойному графу В. А. Соллогубу [1]); приводимъ его:

„Въ 1831 году лѣтомъ я пріѣхалъ на вакацію изъ Дерпта въ Павловскъ. Въ Павловскѣ жила моя бабушка, и съ нею вмѣстѣ покойная тетка моя Александра Ивановна Васильчикова, женщина высокой добродѣтели, постоянно тогда озабоченная воспитаніемъ своихъ дѣтей. Одинъ изъ сыновей ея, нынѣ умершій, къ сожалѣнію, родился съ поврежденнымъ при рожденіи черепомъ, такъ что умственныя его способности остались навсегда въ туманѣ. Всѣ средства истощались, чтобы помочь горю; но все было напрасно. Тетка придумала наконецъ нанять учителя, который бы могъ развивать, хотя нѣсколько, мутную понятливость бѣднаго страдальца, показывая ему картинки и бесѣдуя съ нимъ цѣлый день. Такой учитель былъ найденъ, и когда я пріѣхалъ въ Павловскъ, тетка моя просила меня познакомиться съ нимъ и обласкать его, такъ какъ, по словамъ ея, онъ тоже былъ охотникомъ до русской словесности. Какъ теперь помню это знакомство. Мы вошли въ дѣтскую, гдѣ у письменнаго стола сидѣлъ наставникъ съ ученикомъ и указывалъ ему на изображенія разныхъ животныхъ, подражая притомъ ихъ блеянію, мычанію, хрюканію и т. д.—„Вотъ это, душенька, баранъ, понимаешь ли? баранъ,—бе, бе... Вотъ это, корова; знаешь, корова, му, му“. При этомъ учитель съ какимъ-то оригинальнымъ наслажденіемъ упражнялся въ звукоподражаніяхъ. Признаюсь, мнѣ грустно было глядѣть на подобную сцену, на такую жалкую долю человѣка, принужденнаго изъ-за куска хлѣба согласиться на подобное занятіе. Я поспѣшилъ выдти изъ комнаты, едва разслыхавъ слова тетки, представлявшей мнѣ учителя и назвавшей мнѣ его по имени: Николай Васильевичъ Гоголь.

У покойницы моей бабушки, какъ у всѣхъ тогдашнихъ старушекъ, жили бѣдныя дворянки — компаніонки, приживалки. Имъ-то по вечерамъ читалъ Гоголь свои первыя произведенія. Вскорѣ послѣ страннаго знакомства я шелъ однажды по коридору и услышалъ, что кто-то читаетъ въ ближней

---

[1]) „Воспоминанія графа В. А. Соллогуба. Новыя свѣдѣнія о предсмертномъ поединкѣ Пушкина“ 1866 г., стр. 10—19.

комнатѣ. Я вошелъ изъ любопытства, и нашелъ Гоголя посреди дамскаго, домашняго ареопага; Александра Николаевна вязала чулокъ, Анна Антоновна хлопала глазами, Анна Николаевна по обыкновенію оправляла напомаженные виски; ихъ было еще двѣ или три, если не ошибаюсь. Передъ ними сидѣлъ Гоголь и читалъ про украинскую ночь. „Знаете ли вы украинскую ночь? Нѣтъ, вы не знаете украинской ночи!...“ Кто не слыхалъ читавшаго Гоголя, тотъ не знаетъ вполнѣ его произведеній. Онъ придавалъ особый колоритъ своимъ спокойствіемъ, своимъ произношеніемъ, неудовимыми оттѣнками насмѣшливаго комизма, дрожавшими въ его голосѣ и быстро пробѣгавшими по его оригинальному, остроносому лицу, въ то время какъ сѣрые маленькіе глаза его добродушно улыбались, и онъ встряхивалъ всегда падавшими ему на лобъ волосами. Описывая украинскую ночь, онъ какъ будто переливалъ въ душу впечатлѣнія лѣтней свѣжести, синей, усѣянной звѣздами, выси, благоуханія, душевнаго простора. Вдругъ онъ остановился. —„Да гопакъ такъ не танцуется!...“— Приживалки воскликнули: „Отчего не такъ?“—Онѣ подумали, что Гоголь обращается къ нимъ. Гоголь улыбнулся и продолжалъ монологъ пьянаго мужика. Признаюсь откровенно, я былъ пораженъ, уничтоженъ; мнѣ хотѣлось взять его на руки, вынести на свѣжій воздухъ, на настоящее его мѣсто. „*Майская Ночь*“ осталась для меня любимымъ Гоголевскимъ твореніемъ, быть можетъ оттого, что я ей обязанъ тѣмъ, что изъ первыхъ въ Россіи могъ узнать и оцѣнить этого геніальнаго человѣка. Карамзины жили тогда въ Царскомъ Селѣ; у нихъ я часто видалъ Жуковскаго, который сказалъ мнѣ, что уже познакомился съ Гоголемъ, и думаетъ, какъ бы освободить его отъ настоящаго мѣста. Пушкина я встрѣтилъ въ Царскосельскомъ паркѣ; онъ толі ко-что женился и гулялъ подъ ручку съ женой, первой европейской красавицей, какъ говорилъ онъ мнѣ послѣ. Онъ представилъ меня тутъ женѣ, и на вопросъ мой, знаетъ ли онъ Гоголя, отвѣчалъ, что еще не знаетъ, но слышалъ о немъ и желаетъ съ нимъ познакомиться...

Послѣ незабвеннаго для меня чтенія, я, разумѣется, сблизился съ Гоголемъ и находился съ того времени постоянно съ нимъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ [1]), но никогда не

[1]) Нельзя не возразить, что утвержденіе это весьма энергически преувеличено.

припоминалъ онъ о нашемъ первомъ знакомствѣ. Видно было, что, не смотря на всю его душевную простоту (отпечатокъ возвышенной природы), онъ нѣсколько совѣстился своего прежняго званія толкователя картинокъ. Впрочемъ, онъ изрѣдка посѣщалъ мою тетку и однажды сдѣлалъ ей такой странный визитъ, что нельзя о немъ не упомянуть.

Тетушка сидѣла у себя съ дѣтьми въ глубокомъ траурѣ, съ плерёзами, по случаю недавней кончины ея матери. Докладываютъ про Гоголя.—„Просите!“—Входитъ Гоголь съ постной физіономіей. Какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, разговоръ начался о бренности всего мірского. Должно быть, это надоѣло Гоголю: тогда онъ былъ еще веселъ и въ полномъ порывѣ своего юмористическаго вдохновенія. Вдругъ онъ началъ предлинную и преплачевную исторію про какого-то малороссійскаго помѣщика, у котораго умиралъ единственный, обожаемый сынъ. Старикъ измучился, не отходилъ отъ больного ни днемъ, ни ночью, по цѣлымъ недѣлямъ, наконецъ утомился совершенно и пошелъ прилечь въ сосѣднюю комнату, отдавъ приказаніе, чтобъ его тотчасъ разбудили, если больному сдѣлается хуже. Не успѣлъ онъ заснуть, какъ человѣкъ бѣжитъ.—„Пожалуйте!“—„Что, неужели хуже?“—„Какой хуже! Скончался совсѣмъ!“—При этой развязкѣ всѣ лица слушавшихъ со вниманіемъ разсказъ вытянулись, раздались вздохи, общій возгласъ и вопросъ: „Ахъ, Боже мой! Ну, что же бѣдный отецъ?“—„Да что же ему дѣлать?“—продолжалъ хладнокровно Гоголь, — растопырилъ руки, пожалъ плечами, покачалъ головой, да и свиснулъ: „фю, фю“. Громкій хохотъ дѣтей заключилъ анекдотъ, а тетушка, съ полнымъ на то правомъ, разсердилась не на шутку, дѣйствительно въ минуту общей печали весьма неумѣстную. Трудно объяснить себѣ, зачѣмъ Гоголь, всегда кроткій и застѣнчивый, рѣшился на подобную выходку. Быть можетъ, онъ вздумалъ развеселить дѣтей отъ господствовавшаго въ домѣ грустнаго настроенія; быть можетъ, онъ, самъ того не замѣчая, *увлекся бившей въ немъ постоянно струей неодолимаго комизма.* Впрочемъ, онъ очень любилъ это окончаніе едва внятнымъ свистомъ и кончилъ имъ свою комедію „Женитьба“. Я помню, что онъ читалъ ее однажды у Жуковскаго, въ одну изъ тѣхъ пятницъ, гдѣ собиралось общество (тогда не малочисленное) русскихъ литературныхъ, ученыхъ и артистическихъ знаменитостей.

При послѣднихъ словахъ: „Но когда женихъ выскочитъ въ окно, то уже...“ онъ скорчилъ такую гримасу, и такъ уморительно свистнулъ, что всѣ слушатели покатились со смѣху. При представленіи этотъ свистъ замѣнила, кажется, актриса Гусева, словами: „такъ ужъ просто мое почтеніе“, что̀ всегда и говорится теперь. Но этотъ конецъ далеко не такъ комиченъ и оригиналенъ, какъ тотъ, который придуманъ былъ Гоголемъ. Онъ не завершаетъ пьесы и не довершаетъ въ зрителѣ, послѣдней комической чертой, общаго впечатлѣнія послѣ комедіи, основанной на одномъ юморѣ“.

Здѣсь мы еще видимъ въ Гоголѣ веселаго юмориста и непритязательнаго молодого человѣка. Но вотъ проходитъ годъ, въ теченіе котораго въ положеніи его произошла крупная перемѣна, и въ его манерѣ держать себя, въ его отношеніяхъ къ людямъ она не замедлила отразиться—и весьма замѣтно.

„Въ 1832 году, кажется, весною, когда мы жили въ домѣ Слѣпцова, на Сивцевомъ Вражкѣ“,—разсказываетъ С. Т. Аксаковъ въ „Исторіи знакомства моего съ Гоголемъ“ [1]),—„Погодинъ привезъ ко мнѣ въ первый разъ и совершенно неожиданно Николая Васильевича Гоголя. „Вечера на Хуторѣ близъ Диканьки“ были давно уже прочтены, и мы всѣ восхищались ими. Я прочелъ, впрочемъ, „Диканьку“ нечаянно: я получилъ ее изъ книжной лавки, вмѣстѣ съ другими книгами, для чтенія вслухъ моей женѣ, по случаю ея нездоровья... Можно себѣ представить нашу радость при такомъ сюрпризѣ. Не вдругъ узнали мы настоящее имя сочинителя; но Погодинъ ѣздилъ зачѣмъ-то въ Петербургъ, узналъ тамъ, кто такой „Рудый Панько“, познакомился съ нимъ и привезъ намъ извѣстіе, что „Диканьку“ написалъ Гоголь-Яновскій. Итакъ, это имя было уже намъ извѣстно и драгоцѣнно.

По субботамъ постоянно обѣдали у насъ и проводили вечеръ короткіе мои пріятели. Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ, въ кабинетѣ моемъ, находившемся въ мезанинѣ, игралъ я въ карты въ четверной бостонъ, а человѣка три не игравшихъ сидѣли около стола. Въ комнатѣ было жарко, и нѣкоторые, въ томъ числѣ и я, сидѣли безъ фраковъ. Вдругъ Погодинъ, безъ всякаго предувѣдомленія, вошелъ въ комнату, съ неиз-

[1]) „Русск. Арх.“, 1890, VIII. 5—10.

вѣстнымъ мнѣ очень молодымъ человѣкомъ, подошелъ прямо ко мнѣ и сказалъ: „Вотъ вамъ Николай Васильевичъ Гоголь!“ Эффектъ былъ сильный. Я очень сконфузился, бросился надѣвать сюртукъ, бормоча пустыя слова пошлыхъ рекомендацій. Во всякое другое время я не такъ бы встрѣтилъ Гоголя. Всѣ мои гости (тутъ были П. Г. Фроловъ, М. М. Пинскій и М. С. Щепкинъ — прочихъ не помню) тоже какъ-то озадачились и молчали. Пріемъ былъ не то что холодный, но конфузный. Игра на время прекратилась; но Гоголь и Погодинъ упросили меня продолжать игру, потому что замѣнить меня было некому. Скоро, однако, прибѣжалъ Константинъ, бросился къ Гоголю и заговорилъ съ нимъ съ большимъ чувствомъ и пылкостью. Я очень обрадовался и разсѣянно продолжалъ игру, прислушиваясь однимъ ухомъ къ словамъ Гоголя; но онъ говорилъ тихо, и я ничего не слыхалъ.

Наружный видъ Гоголя былъ тогда совершенно другой и невыгодный для него: хохолъ на головѣ, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородокъ, большіе и крѣпко накрахмаленные воротнички придавали совсѣмъ другую физіономію его лицу; намъ показалось, что въ немъ было что-то хохлацкое и плутоватое. Въ платьѣ Гоголя примѣтна была претензія на щегольство. У меня осталось въ памяти, что на немъ былъ пестрый свѣтлый жилетъ съ большой цѣпочкой. У насъ остались портреты, изображающіе его въ тогдашнемъ видѣ, подаренные впослѣдствіи Константину самимъ Гоголемъ.

Къ сожалѣнію, я совершенно не помню моихъ разговоровъ съ Гоголемъ въ первое наше свиданіе; но помню что *я часто заговаривалъ съ нимъ*. Черезъ часъ онъ ушелъ, сг
бываетъ у меня на дняхъ какъ-нибудь порав
проситъ сводить его къ Загоскину, съ кот
хотѣлось познакомиться и который жилъ
меня. Константинъ тоже не помнитъ св
нимъ, кромѣ того, что Гоголь сказалъ
прежде толстякъ, а теперь боленъ;
жалъ себя непривѣтливо, небрежно и
мѣется, не было (?), но могло так
нравились манеры Гоголя, кото

Петербургъ,
помню черезъ
квѣ проѣздомъ
опять попросилъ

[1]) Почему же, однако, „показало(

исключенія невыгодное, несимпатичное впечатлѣніе. Отдать визитъ Гоголю не было возможности, потому что не знали, гдѣ онъ остановился: Гоголь не хотѣлъ этого сказать.

Черезъ нѣсколько дней, въ продолженіе которыхъ я уже предупредилъ Загоскина, что Гоголь хочетъ съ нимъ познакомиться и что я приведу его къ нему, явился ко мнѣ довольно рано Николай Васильевичъ. Я обратился къ нему съ искренними похвалами его „Диканькѣ“; но, видно, слова мои показались ему обыкновенными комплиментами, и онъ принялъ ихъ очень сухо. Вообще въ немъ было что-то отталкивающее, не допускавшее меня до искренняго увлеченія и излія-нія, къ которымъ я способенъ до излишества[1]). По его просьбѣ мы скоро пошли пѣшкомъ къ Загоскину. Дорогой онъ удивилъ меня тѣмъ, что началъ жаловаться на свои болѣзни (я не зналъ тогда, что онъ говорилъ объ этомъ Константину) и сказалъ даже, что боленъ неизлѣчимо. Смотря на него изумленными и недовѣрчивыми глазами, потому что онъ казался здоровымъ, я спросилъ его: „Да чѣмъ же вы больны“? Онъ отвѣчалъ неопредѣленно и сказалъ, что причина болѣзни его находится въ кишкахъ. Дорогой разговоръ шелъ о Загоскинѣ. Гоголь хвалилъ его за веселость, но сказалъ, что онъ не то пишетъ, что слѣдуетъ для театра. Я легкомысленно возразилъ, что у насъ писать не о чемъ, что въ свѣтѣ все такъ однообразно, гладко, прилично и пусто, что

. . . даже глупости смѣшной
Въ тебѣ не встрѣтишь, свѣтъ пустой!

но Гоголь посмотрѣлъ на меня какъ-то значительно и сказалъ, что, „это неправда, что комизмъ кроется вездѣ, что, живя посреди него, мы его не видимъ; но что если художникъ перенесетъ его въ искусство, на сцену, то мы же сами надъ собою будемъ валяться со смѣху и будемъ дивиться, что прежде не замѣчали его“. Можетъ быть, онъ выразился не совсѣмъ такими словами; но мысль была точно та. Я былъ ею озадаченъ, особенно потому, что никакъ не ожидалъ ее услышать отъ Гоголя. Изъ послѣдующихъ словъ я замѣтилъ, что русская комедія его сильно занимала и что у него есть свой

[1]) Какъ это вѣрно и согласно со всѣми данными рисуетъ Гоголя и самого Аксакова! *В. Ш.*

оригинальный взглядъ на нее. Надобно сказать, что Загоскинъ, также давно прочитавшій „Диканьку“ и хвалившій ее, въ то же время не оцѣнилъ вполнѣ; а въ описаніяхъ украинской природы находилъ неестественность, напыщенность, восторженность молодого писателя; онъ находилъ вездѣ неправильность языка, даже безграмотность. Послѣднее очень было забавно, потому что Загоскина нельзя было обвинить въ большой грамотности. Онъ даже оскорблялся излишними, преувеличенными, по его мнѣнію, нашими похвалами. Но по добродушію своему и по самолюбію человѣческому, ему пріятно было, что превозносимый всѣми Гоголь поспѣшилъ къ нему пріѣхать. Онъ принялъ его съ отверстыми объятіями, съ крикомъ и похвалами; нѣсколько разъ принимался цѣловать Гоголя, потомъ кинулся обнимать меня, билъ кулакомъ въ спину, называя хомякомъ, сусликомъ и пр. и пр.; однимъ словомъ, былъ вполнѣ любезенъ по-своему. Загоскинъ говорилъ безъ умолку о себѣ: о множествѣ своихъ занятій, о безчисленномъ количествѣ прочитанныхъ имъ книгъ, о своихъ археологическихъ трудахъ, о пребываніи въ чужихъ краяхъ (онъ не былъ далѣе Данцига), о томъ, что онъ изъѣздилъ вдоль и поперекъ всю Русь и пр. и пр. Всѣ знаютъ, что это совершенный вздоръ и что ему искренно вѣрилъ одинъ Загоскинъ. Гоголь понялъ это сразу и говорилъ съ хозяиномъ, какъ будто вѣкъ съ нимъ жилъ, совершенно въ пору и въ мѣру. Онъ обратился къ шкафамъ съ книгами... Тутъ началась новая, а для меня уже старая исторія! Загоскинъ началъ показывать и хвастаться книгами, потомъ табакерками и наконецъ шкатулками. Я сидѣлъ молча и забавлялся этой сценой. Но Гоголю она наскучила довольно скоро: онъ вдругъ вынулъ часы и сказалъ, что ему пора идти, обѣщалъ еще забѣжать какъ-нибудь и ушелъ.

„Ну что?“ спросилъ я Загоскина, „какъ понравился тебѣ Гоголь?“—„Ахъ, какой милый!“—закричалъ Загоскинъ, „милый, скромный, да какой, братецъ, умница“! и пр. и пр.; а Гоголь ничего не сказалъ, кромѣ самыхъ обиходныхъ, пошлыхъ словъ.

Въ этотъ проѣздъ Гоголя изъ Полтавы въ Петербургъ, наше знакомство не сдѣлалось близкимъ. Не помню черезъ сколько времени, Гоголь опять былъ въ Москвѣ проѣздомъ на самое короткое время; былъ у насъ и опять попросилъ

меня ѣхать вмѣстѣ съ нимъ къ Загоскину, на что я охотно согласился. Мы были у Загоскина также поутру; онъ попрежнему принялъ Гоголя очень радушно и любезничалъ посвоему; а Гоголь держалъ себя также по своему, т. е. говорилъ о совершенныхъ пустякахъ и ни слова о литературѣ, хотя хозяинъ заговаривалъ о ней не одинъ разъ. Замѣчательнаго ничего не происходило, кромѣ того, что Загоскинъ, показывая Гоголю свои раскидныя кресла, такъ прищемилъ мнѣ обѣ руки пружинами, что я закричалъ; а Загоскинъ оторопѣлъ и не вдругъ освободилъ меня изъ моего тяжкаго положенія, въ которомъ я былъ похожъ на растянутаго для пытки человѣка. Отъ этой потѣхи руки у меня долго болѣли. Гоголь даже не улыбнулся, но впослѣдствіи часто вспоминалъ этотъ случай, и, не смѣясь самъ, такъ мастерски его разсказывалъ, что заставлялъ всѣхъ хохотать до слезъ. Вообще въ его штукахъ было очень много оригинальныхъ пріемовъ, выраженій, сжаду и особеннаго юмора, который составляетъ исключительную собственность малороссовъ; передать ихъ невозможно. Впослѣдствіи, безчисленными опытами убѣдился я, что повтореніе гоголевыхъ словъ, отъ которыхъ слушатели валялись со смѣху, когда онъ самъ ихъ произносилъ, не производило ни малѣйшаго эффекта, когда говорилъ ихъ я или кто-нибудь другой".

Мы позволили себѣ эту длинную выписку, такъ какъ по нашему мнѣнію, прочитанная вслѣдъ за предыдущею, она можетъ весьма наглядно и рельефно охарактеризовать какъ выработанные Гоголемъ въ сравнительно небольшой срокъ пріемы въ сношеніяхъ съ людьми, такъ и очертить перемѣну, происшедшую въ его настроеніи и обусловленную развивавшейся въ немъ самоувѣренной притязательностью. Сообщенія Аксакова для насъ являются тѣмъ болѣе драгоцѣнными, что природная правдивость не позволяла ему давать своимъ наблюденіямъ произвольную окраску и онъ точно передавалъ даже то, что казалось ему ошибочнымъ въ впечатлѣніяхъ другихъ, но что было въ сущности вѣрно.

Въ виду этого приведемъ изъ его воспоминаній еще небольшой, но весьма любопытный и важный отрывокъ.

„И въ этотъ пріѣздъ[1]) знакомство наше съ Гоголемъ не по-

[1]) О которомъ шла рѣчь выше.

двинулось впередъ; но, кажется, онъ познакомился съ Ольгой Семеновной и съ Вѣрой [1]). Въ 1834 году, мы жили на Сѣнномъ рынкѣ, въ домѣ Штюрмера [2]). Гоголь между тѣмъ успѣлъ уже выдать „Миргородъ“ и „Арабески“. Великій талантъ его оказался въ полной силѣ. Свѣжи, прелестны, благоуханны, художественны были разсказы въ „Диканькѣ“; но въ „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ“, въ „Тарасѣ Бульбѣ“ уже являлся великій художникъ съ глубокимъ и важнымъ значеніемъ. Мы съ Константиномъ, моя семья и всѣ люди, способные чувствовать искусство, были въ полномъ восторгѣ отъ Гоголя. Надобно сказать правду, что, кромѣ присяжныхъ любителей литературы во всѣхъ слояхъ общества, молодые люди лучше и скорѣе оцѣнили Гоголя. Московскіе студенты всѣ пришли отъ него въ восхищеніе первые и распространили въ Москвѣ громкую молву о новомъ великомъ талантѣ.

Въ одинъ вечеръ сидѣли мы въ ложѣ Большого театра, вдругъ растворилась дверь, вошелъ Гоголь и съ веселымъ дружескимъ видомъ, какого мы никогда не видали, протянулъ мнѣ руку съ словами: „Здравствуйте!“ Нечего говорить, какъ мы были изумлены и обрадованы. Константинъ, едва ли не болѣе всѣхъ понимавшій значеніе Гоголя, забылъ, гдѣ онъ, и громко закричалъ, что̀ обратило вниманіе сосѣднихъ ложъ. Это было во время антракта. Вслѣдъ за Гоголемъ вошелъ къ намъ въ ложу Александръ Павловичъ Ефремовъ, и Константинъ шепнулъ ему на ухо: „Знаешь ли, кто у насъ? Это Гоголь“. Ефремовъ, выпуча глаза также отъ изумленія и радости, побѣжалъ въ кресла и сообщилъ эту новость покойному Станкевичу и еще кому-то изъ нашихъ знакомыхъ. Въ одну минуту нѣсколько трубочекъ и биноклей обратились на нашу ложу, и слова: „Гоголь! Гоголь!“ разнеслись по креслamъ. Не знаю, замѣтилъ ли онъ это движеніе, только, сказавъ нѣсколько словъ, что онъ опять въ Москвѣ на короткое время, Гоголь уѣхалъ.

Не смотря на краткость свиданія, мы всѣ замѣтили, что въ отношеніи къ намъ Гоголь совершенно сдѣлался другимъ

---

[1]) Женой и дочерью Аксакова.

[2]) Опредѣляя годъ по квартирѣ, Аксаковъ здѣсь, очевидно, впалъ въ небольшую ошибку, ибо Гоголь проѣзжалъ черезъ Москву вторично въ 1835 г. Это же ясно и изъ слѣдующихъ словъ самого Аксакова, гдѣ рѣчь идетъ о выходѣ „Арабесокъ“ и „Миргорода“.

человѣкомъ [1]), между тѣмъ какъ не было никакихъ причинъ, которыя во время его отсутствія могли бы насъ сблизить. Самый приходъ его въ ложу показывалъ уже увѣренность, что мы ему обрадуемся. Мы радовались и удивлялись такой перемѣнѣ. Впослѣдствіи, изъ разговоровъ съ Погодинымъ, я заключилъ (то же думаю и теперь), что его разсказы объ насъ, о нашемъ высокомъ мнѣніи о талантѣ Гоголя, о нашей горячей любви къ его произведеніямъ произвели это обращеніе. Послѣ такихъ разговоровъ съ Погодинымъ, Гоголь немедленно поѣхалъ къ намъ, не засталъ насъ дома, узналъ, что мы въ театрѣ, и явился въ нашу ложу.

Гоголь везъ съ собою въ Петербургъ комедію, всѣмъ извѣстную теперь подъ именемъ „Женитьба“; тогда называлась она „Женихи“. Онъ самъ вызвался прочесть ее вслухъ въ домѣ у Погодина для всѣхъ знакомыхъ хозяина. Погодинъ воспользовался этимъ позволеніемъ и назвалъ столько гостей, что довольно большая комната была буквально набита битком. И какая досада, я захворалъ и не могъ слышать этого чуднаго, единственнаго чтенія. Къ тому же это случилось въ субботу, въ мой день, а мои гости не были приглашены на чтеніе къ Погодину. Разумѣется, Константинъ мой былъ тамъ. Гоголь до того мастерски читалъ или, лучше сказать, игралъ свою пьесу, что многіе, понимающіе это дѣло люди до сихъ поръ говорятъ, что на сценѣ, не смотря на хорошую игру актеровъ, особенно господина Садовскаго въ роли Подколесина, эта комедія не такъ полна, цѣльна и далеко не такъ смѣшна, какъ въ чтеніи самого автора. Я совершенно раздѣляю это мнѣніе, потому что впослѣдствіи хорошо узналъ неподражаемое искусство Гоголя въ чтеніи всего комическаго. Слушатели до того смѣялись, что нѣкоторымъ сдѣлалось почти дурно; но увы, комедія не была понята! Большая часть говорили, что піеса неестественный фарсъ, но что Гоголь ужасно смѣшно читаетъ.

Гоголь сожалѣлъ, что меня не было у Погодина; назначилъ день, въ который хотѣлъ пріѣхать къ намъ обѣдать и прочесть комедію мнѣ и всему моему семейству. Въ назна-

[1]) Сдѣлался ли? Не вѣрнѣе ли сказать, что Гоголь, узнавъ о горячемъ и искреннемъ къ себѣ расположеніи всего семейства Аксаковыхъ, до извѣстной степени перемѣнился въ отношеніи къ нимъ и сталъ, такъ сказать, обращаться къ нимъ другими, лучшими сторонами своей духовной природы.

ченный день я пригласилъ къ себѣ именно тѣхъ гостей, которымъ не удалось слышать комедію Гоголя. Между прочими гостями были Станкевичъ и Бѣлинскій. Гоголь очень опоздалъ къ обѣду, что впослѣдствіи нерѣдко съ нимъ случалось. Мнѣ было досадно, что гости мои такъ долго голодали, и въ 5 часовъ я велѣлъ подавать кушать; но въ самое это время увидѣли мы Гоголя, который шелъ пѣшкомъ черезъ всю Сѣнную площадь къ нашему дому. Но увы, ожиданія наши не сбылись: Гоголь сказалъ, что никакъ не можетъ сегодня прочесть намъ комедію, а потому и не принесъ ея съ собой [1]). Все это мнѣ было непріятно и, вѣроятно, вслѣдствіе того, и въ этотъ пріѣздъ Гоголя въ Москву не послѣдовало такого сближенія между нами, какого я желалъ, а въ послѣднее время и надѣялся. Я видѣлся съ нимъ еще одинъ разъ поутру у Погодина на самое короткое время и узналъ, что Гоголь на другой день ѣдетъ въ Петербургъ“ [2]).

Приведенные разсказы, какъ намъ кажется, живо рисуютъ Гоголя въ занимающій насъ промежутокъ времени, и на основаніи ихъ можно представить себѣ до извѣстной степени про-

---

[1]) Дѣло было, вѣроятно, такъ: увидавъ мало знакомыхъ ему людей, Гоголь, по обыкновенію, *не захотѣлъ* читать комедію. По крайней мѣрѣ въ подобныхъ случаяхъ такъ всегда бывало. Но это любопытно, потому что здѣсь мы узнаемъ и позднѣйшаго Гоголя, такъ что этотъ разсказъ объяснитъ намъ отчасти постепенные переходы Гоголя изъ одного фазиса его нравственнаго развитія въ другой.

[2]) Въ этихъ разсказахъ заслуживаетъ вниманія между прочимъ одна черта, одинаково отмѣченная въ Гоголѣ какъ С. Т. Аксаковымъ, такъ и П. В. Анненковымъ,—именно его необыкновенное умѣніе быстро постигать характеръ людей, съ которыми его сталкивала судьба. Говоря о Гоголѣ того же самаго періода, П. В. Анненковъ характеризуетъ его такъ: „Необыкновенная житейская опытность, пріобрѣтенная размышленіями о людяхъ, выказывалась на каждомъ шагу. Онъ исчерпывалъ людей такъ свободно и легко, какъ другіе живутъ съ ними“ [1]). Способность эта съ годами все больше росла и укрѣплялась; такъ о Гоголѣ въ болѣе поздніе годы Анненковъ замѣчаетъ, что „онъ могъ *брать*, что ему нужно было, или, что стоило этого, полной рукой, не давая самъ ничего. Притомъ ему видимо хотѣлось исчерпать человѣка вдругъ, чтобъ избавиться отъ скуки возвращаться къ нему нѣсколько разъ. Наслажденіе способностью читать въ душѣ и понимать самого человѣка, по поводу того, что онъ говоритъ, способностью, которой онъ, какъ всѣ геніальные люди, обладалъ въ высшей степени, также находило здѣсь матеріалъ“ [2]).

---

[1]) „Воспоминанія и критическіе очерки“ Анненкова, т. I, стр. 181.

[2]) Тамъ же, стр. 175.

исходившія въ немъ перемѣны; но, повторяемъ, по нимъ можно составлять лишь приблизительныя сужденія, получающія нѣкоторое значеніе лишь въ связи съ цѣлымъ рядомъ иныхъ данныхъ, указанныхъ выше.

Такимъ образомъ, подробное изученіе обстоятельствъ жизни Гоголя въ 1832—1835 годахъ приводитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:

Съ внѣшней стороны главной отличительной чертой, характеризующей Гоголя въ это время, какъ и въ предшествующіе два года, было стремленіе проложить себѣ дорогу, составить карьеру. Заботы объ этомъ, какъ мы видѣли, простирались у него слишкомъ далеко, доходя, наконецъ, до претензій на университетскую каѳедру, для которой онъ не былъ вовсе подготовленъ. Но, съ другой стороны, онъ перенесъ много толчковъ, неудачъ, разочарованій, познакомился ближе съ житейской пошлостью и пустотой, и его міросозерцаніе утратило совершенно тотъ юношескій оптимизмъ, который такъ силенъ былъ въ немъ передъ первымъ пріѣздомъ въ столицу и отчасти въ первые годы жизни въ ней.

Вмѣстѣ съ тѣмъ и въ творчествѣ Гоголя замѣчается нѣкоторый переворотъ: онъ былъ уже гораздо менѣе склоненъ къ энтузіазму и къ созданію идеальныхъ поэтическихъ образовъ, нежели къ изображенію смѣшныхъ и пошлыхъ сторонъ жизни. Наконецъ, какъ онъ самъ говоритъ въ „Авторской Исповѣди“, онъ увидѣлъ, что въ сочиненіяхъ своихъ смѣется даромъ, и убѣдился, что „если смѣяться, такъ ужъ лучше смѣяться сильно и надъ тѣмъ, что дѣйствительно достойно осмѣянія всеобщаго“. Это сознаніе созрѣло у него постепенно, отчасти подъ вліяніемъ Пушкина, склонявшаго его къ избранію болѣе крупныхъ сюжетовъ, созрѣло въ серединѣ тридцатыхъ годовъ и, наконецъ, повело его по новой дорогѣ, внушивъ ему стремленіе къ раскрытію и обличенію глубокихъ общественныхъ язвъ.

Съ этой поры открывается самый блестящій періодъ литературной дѣятельности Гоголя такими крупными произведеніями, какъ „Ревизоръ“ и „Мертвыя Души“.

Н. В. ГОГОЛЬ,

КАКЪ ИСТОРИКЪ И ПЕДАГОГЪ.

ПЕДАГОГИЧЕСКІЕ ВЗГЛЯДЫ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ГОГОЛЯ.

Предполагая разсмотрѣть въ слѣдующихъ главахъ педагогическіе взгляды Гоголя, мы считаемъ необходимымъ дать въ нихъ отчетъ въ томъ, какое вообще могутъ имѣть значеніе для насъ эти взгляды, затѣмъ выяснить, въ чемъ они заключаются и, наконецъ, остановиться на вопросѣ, въ какихъ произведеніяхъ Гоголя мы можемъ также искать ихъ отраженіе. Прежде всего, конечно, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что мы смотримъ на Гоголя отнюдь не какъ на педагога, и, разбирая его педагогическія мнѣнія, интересуемся ими, кромѣ собственно біографическихъ соображеній, больше какъ взглядами человѣка необыкновеннаго, какъ подобнымъ образомъ безспорный интересъ можетъ быть признанъ и за педагогическими мнѣніями Пушкина и другихъ писателей, хотя это были мнѣнія людей, въ сущности далеко не посвятившихъ себя педагогическимъ трудамъ и не имѣвшихъ даже истинныхъ побужденій заняться серьезно этимъ дѣломъ.

Такимъ представляется дѣло съ перваго взгляда.

Въ самомъ дѣлѣ, хорошо извѣстно, что Гоголь или Пушкинъ не были педагогами, подобно тому, какъ мы могли бы, напримѣръ, съ большимъ правомъ признать педагогомъ Жуковскаго [1]).

[1]) Говоря это, мы имѣемъ въ виду не только извѣстные уроки Жуковскаго племянницамъ въ Мишенскомъ и его славную педагогическую дѣятельность при дворѣ сначала въ качествѣ учителя великой княгини Александры Ѳедоровны, а потомъ воспитателя наслѣдника Александра Николаевича, но, кромѣ того, особенно его врожденную страсть учить и воспитывать дѣтей, при чемъ Жуковскій

Гоголь, правда, состоялъ короткое время преподавателемъ, а потомъ и профессоромъ исторіи въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ Петербурга; но несомнѣнно, что онъ совершенно случайно попалъ на эту дорогу, и скоро оставилъ ее навсегда съ глубокимъ убѣжденіемъ, что взялся не за свое дѣло и что никогда не имѣлъ ни малѣйшаго призванія къ педагогическимъ занятіямъ. Пушкинъ же напр. никогда и не вступалъ на это поприще, и только однажды, безъ всякой подготовки, совершенно неожиданно и случайно, по требованію императорской власти, долженъ былъ высказать свои взгляды на народное воспитаніе, оговорившись однако, что онъ „самъ по себѣ никогда бы не осмѣлился представить столь недостаточныя замѣчанія о предметѣ столь важномъ, какъ народное воспитаніе".

Но съ другой стороны, не можетъ подлежать сомнѣнію, что такіе первоклассные писатели обладали замѣчательнымъ талантомъ искусно и правдиво воспроизводить въ своихъ безсмертныхъ созданіяхъ дѣйствительную жизнь, и что ихъ сочиненія даютъ намъ неоцѣнимое удобство обозрѣвать представленнымъ въ одной яркой и стройной картинѣ все то, что въ обыкновенной жизни является въ глазахъ заурядныхъ наблюдателей разрозненнымъ, недостаточно характернымъ, и что часто не только не поддается точному анализу, но бываетъ даже трудно уловимо, благодаря затемненію сущности дѣла множествомъ пустыхъ и ненужныхъ мелочей. Въ этомъ случаѣ великіе художники служатъ намъ естественными и вполнѣ надежными руководителями при странствованіи среди этого лабиринта спутывающихъ и развлекающихъ наше вниманіе во всѣ стороны подробностей. Но кромѣ того, ихъ взгляды, какъ людей съ необыкновеннымъ умомъ и замѣчательной проницательностью, какъ сказано, въ высшей степени знаменательны и интересны сами по себѣ. Впрочемъ, хотя мы наблюдаемъ жизнь въ ихъ произведеніяхъ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ она отразилась въ ихъ сознаніи и затѣмъ была переработана ихъ творческой фантазіей, — какъ бы ни были любопытны и ярки непосредственно высказанныя ими

никогда не слѣдовалъ рутинѣ, но всегда разработывалъ педагогическіе пріемы самостоятельно. Мы имѣли честь лично знать одного изъ бывшихъ питомцевъ Жуковскаго, А. П. Петерсона, жившаго въ Москвѣ и ясно припоминавшаго ту пору, когда Жуковскій задавалъ ему, ребенку лѣтъ девяти, сочиненія на темы: описать соху, домъ, мельницу, и пр.

личныя мнѣнія, послѣднія все-таки далеко не должны имѣть въ нашихъ глазахъ того безусловно великаго авторитета, который неотъемлемо принадлежитъ ихъ поэтическому ясновидѣнію.

Въ виду этого мы признаемъ въ принципѣ художественное изображеніе встрѣчающихся въ произведеніяхъ нашего писателя типовъ учителей и гувернеровъ и сдѣланныя нашимъ писателемъ характеристики системъ и результатовъ воспитанія въ сущности не менѣе важными, нежели непосредственно высказываемые имъ взгляды о тѣхъ же предметахъ, помня, что теоретическія воззрѣнія художниковъ слова бо́льшею частью остаются далеко позади ихъ творческаго откровенія. Но, къ сожалѣнію, въ настоящемъ случаѣ, благодаря недостаточной полнотѣ изображенія въ произведеніяхъ Гоголя (а также и Пушкина и другихъ) вполнѣ законченныхъ и ярко обрисованныхъ типовъ воспитателей, мы не можемъ рѣшиться долго останавливаться на нихъ и придавать исключительное значеніе тѣмъ немногимъ типамъ, которые съ обычнымъ мастерствомъ очерчены въ ихъ произведеніяхъ нѣсколькими мѣткими штрихами. Поэтому главное содержаніе нашего очерка, по необходимости, составитъ все-таки преимущественно обзоръ *теоретическихъ* взглядовъ на воспитаніе одного изъ величайшихъ представителей нашей литературы, а для болѣе отчетливаго представленія о томъ, какъ въ произведеніяхъ Гоголя отразился взглядъ на современную ему практическую педагогію, въ виду крайне отрывочнаго матеріала, извлекаемаго изъ нихъ, мы позволимъ себѣ мѣстами обращаться за сравненіями и справками къ соотвѣтствующему матеріалу въ произведеніяхъ другого величайшаго свѣтила нашей литературы—Пушкина.

ВЗГЛЯДЫ ГОГОЛЯ НА ПРЕПОДАВАНІЕ ИСТОРІИ И ГЕОГРАФІИ ВЪ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ.

Однимъ изъ первыхъ вопросовъ, останавливающихъ на себѣ наше вниманіе въ настоящемъ случаѣ, является вопросъ о томъ, насколько полно выразились педагогическіе взгляды Гоголя въ его статьяхъ. Такъ какъ статьи эти отнюдь не были плодомъ какого-нибудь систематическаго труда, то, намъ кажется, ошибочно было бы придавать имъ значеніе стройнаго свода мнѣній Гоголя о педагогическихъ вопросахъ. Когда Гоголь брался за перо для печатнаго обсужденія этихъ вопросовъ, то это вызывалось болѣе или менѣе случайными причинами или — самое бо́льшее — непродолжительной вспышкой увлеченія, но едва ли обусловливалось настоятельной потребностью подѣлиться съ товарищами по профессіи запасомъ своего педагогическаго опыта. На такое предположеніе наводитъ его статья „Мысли о преподаваніи географіи“, написанная гораздо раньше, нежели Гоголь болѣе или менѣе серьезно принялся за педагогическую дѣятельность,—судя по крайней мѣрѣ по тому, что подъ статьей авторомъ выставленъ 1829 г. Если эта дата вѣрна, то несомнѣнно, что статья носила въ значительной степени апріорный характеръ, какъ, быть можетъ, и другія подобныя статьи. Поэтому принимать ихъ въ соображеніе при обсужденіи педагогическихъ взглядовъ Гоголя можно только въ условномъ значеніи и съ существенными оговорками.

Переходя къ изложенію непосредственно выраженныхъ Гоголемъ мнѣній въ педагогическихъ статьяхъ, сдѣлаемъ нѣсколько замѣчаній о характерѣ полученнаго имъ самимъ

образованіи въ гимназіи высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ, потому что, какъ послѣ увидимъ, послѣднее имѣло близкое отношеніе къ выработаннымъ имъ впослѣдствіи педагогическимъ взглядамъ.

Оцѣнивая результаты гимназическаго воспитанія Гоголя въ своей статьѣ „Гимназія Высшихъ Наукъ", проф. Лавровскій замѣчаетъ: „Даже независимо отъ учебныхъ занятій въ тѣсномъ смыслѣ, нельзя утверждать, что семь лѣтъ, проведенныхъ въ гимназіи Гоголемъ, были потеряннымъ временемъ: сообщество товарищей, непрерывный обмѣнъ мыслей и чувствъ, удовлетвореніе возникавшимъ литературнымъ наклонностямъ, товарищеская оцѣнка его первыхъ литературныхъ опытовъ,—все это питало, возбуждало и укрѣпляло дарованія Гоголя и приготовляло ихъ къ послѣдующему блестящему выраженію безъ вѣдома самого обладателя дарованій" (Статья „Гимназія Высшихъ Наукъ" Н. А. Лавровскаго въ „Извѣстіяхъ Историко-Филологическаго Института въ Нѣжинѣ", № 3, 1879 г., 156 стр.). Взглядъ этотъ, безъ сомнѣнія, имѣетъ основаніе; онъ раздѣляется, очевидно, и г. Кояловичемъ въ его очеркѣ „Дѣтство и юность Гоголя" (см. „Московскій Сборникъ", 1887 г., 202 — 271). Несомнѣнно, что собственно въ учебныхъ предметахъ Гоголь сдѣлалъ въ школѣ во всякомъ случаѣ мало основательныхъ успѣховъ и вышелъ изъ лицея съ самымъ ограниченнымъ запасомъ знаній. Онъ мало воспользовался даже тѣмъ, что давала тогдашняя школа, и, какъ видно изъ цитированной нами прекрасной статьи г. Лавровскаго, гдѣ собраны изъ архивовъ всѣ относящіяся къ Гоголю оффиціальныя свѣдѣнія, былъ довольно дружно аттестуемъ скромными отмѣтками за успѣхи и прилежаніе почти за все время ученія, и уже только на выпускномъ испытаніи, благодаря напряженному труду во время приготовленій, получилъ хорошія отмѣтки. Но если правильныхъ, систематическихъ занятій у него было недостаточно, то съ другой стороны богатое воображеніе Гоголя тотчасъ облекало всѣ разрозненныя, схватываемыя имъ на лету познанія въ яркія, живыя представленія. Онъ могъ знать очень немного, но то, что онъ узналъ, рисовалось ему въ характерныхъ своихъ признакахъ, что особенно слѣдуетъ сказать объ исторіи, которая, по словамъ его покойнаго школьнаго товарища и

друга А. С. Данилевскаго, была въ лицеѣ любимымъ его предметомъ, не смотря на получаемыя имъ и по этому предмету среднія отмѣтки и, конечно, на такое же поверхностное отношеніе къ ней Гоголя, какъ и ко всѣмъ другимъ наукамъ. Свое мнѣніе о предпочтительномъ интересѣ Гоголя къ исторіи мы основываемъ, между прочимъ, и на замѣткахъ Гоголя о преподаваніи географіи и исторіи въ „Арабескахъ“.

Надо замѣтить, что уже въ первыхъ своихъ педагогическихъ статьяхъ Гоголь является оригинальнымъ и самостоятельнымъ; онъ говоритъ то, что̀ было, очевидно, нѐ разъ предметомъ еще юношескихъ его размышленій, а что эти размышленія при всей своей отрывочности были не вовсе мимолетныя, доказывается тѣмъ фактомъ, что онъ возвращается къ нимъ не разъ и пытается примѣнить ихъ на практикѣ въ своей дѣятельности. О чемъ бы ни говорилъ Гоголь въ статьяхъ, посвященныхъ исторіи, изъ каждой строки видно, что онъ не былъ созданъ для точныхъ научныхъ изслѣдованій, но представлялъ себѣ въ конкретныхъ, мѣтко схваченныхъ образахъ то, что̀ составляетъ въ ней самаго существеннаго. Мысли, высказанныя имъ въ статьѣ о преподаваніи исторіи, очевидно, представляютъ дальнѣйшее развитіе сказаннаго имъ въ 1829 году по поводу преподаванія географіи, и обѣ эти статьи, въ свою очередь, находятся въ несомнѣнной ближайшей связи съ его вступительной университетской лекціей о среднихъ вѣкахъ [1]). Безъ сомнѣнія, иное является въ нихъ и плодомъ нѣкотораго, хотя непродолжительнаго педагогическаго опыта, чтенія и занятій исторіей, и могло постепенно сложиться въ головѣ Гоголя; но зерно этихъ мнѣній несомнѣнно принадлежитъ еще впечатлѣніямъ школьнаго времени. Особенно важенъ для насъ основной взглядъ Гоголя на преподаваніе исторіи, взглядъ, основанный на личномъ опытѣ и

[1]) Ср. общій обзоръ средневѣковой исторіи въ вступительной лекціи Гоголя и въ его статьѣ о преподаваніи всеобщей исторіи (VI столбецъ); о вліяніи мѣстности на характеръ народа въ статьѣ о препод. всеобщ. ист. (III столбецъ) и въ статьѣ „Взглядъ на составленіе Малороссіи“ (также III столбецъ въ концѣ); далѣе картину средневѣковаго германскаго города въ лекціи о среднихъ вѣкахъ (Соч. Гог., изд. Н. С. Тихонравова, т. V, стр. 127) и мысль о необходимости давать ученикамъ подобную яркую картину болѣе замѣчательныхъ городовъ въ исторіи въ статьѣ: „Мысли о преподаваніи географіи для дѣтскаго возраста“ (V т., стр. 302): „При мысли о какомъ-нибудь германскомъ городѣ, ученикъ долженъ тотчасъ представить себѣ“ и проч.

сложившійся, какъ и многія убѣжденія Гоголя, не теоретическимъ путемъ, не на основаніи отвлеченныхъ умозрѣній, которыхъ онъ не долюбливалъ по природѣ своей и къ которымъ относился всегда съ крайнимъ предубѣжденіемъ и враждебностью,—но прямо изъ практики. Не даромъ идеальный учитель у Гоголя „большую часть наукъ читалъ безъ всякихъ педантскихъ воззрѣній, которыми любятъ щеголять молодые профессора", а его бездарные преемники „забросали слушателей множествомъ новыхъ терминовъ и словъ" (т. III, стр. 284 и 286).

Сущность взгляда Гоголя на преподаваніе исторіи состоитъ въ томъ, что „событія и эпохи великія, всемірныя, должны быть означены ярко, сильно, должны выдвигаться на первомъ планѣ со всѣми своими слѣдствіями" и что міръ долженъ быть представленъ въ томъ же колоссальномъ величіи, въ какомъ онъ являлся, проникнутый тѣми же таинственными путями Промысла, которые такъ непостижимо на немъ означались"; наконецъ, что „прежде всего необходимо представить слушателямъ эскизъ всей исторіи человѣчества, въ немногихъ, но сильныхъ словахъ и въ нераздѣльной связи, чтобы они вдругъ обняли все то, о чемъ будутъ слушать". То же говорилъ онъ и о преподаваніи географіи: „Гораздо лучше дать прежде сильную, рѣзкую идею о видѣ земли: для этого сдѣлать всю воду бѣлою, а землю черною" и проч., такъ какъ, „что дѣйствуетъ сильно на воображеніе, то не скоро выйдетъ изъ головы". Но больше всего заботился Гоголь объ изложеніи: „Слогъ профессора долженъ быть увлекательный, огненный"; „каждая лекція профессора непремѣнно должна имѣть цѣлость и казаться оконченною, чтобы въ умѣ слушателей она представлялась стройною поэмой" (т. V, стр. 141, 143, 145, 297). Наконецъ, сущность задачи преподаванія исторіи и географіи намѣчена въ слѣдующихъ словахъ:

1) О преподаваніи исторіи:

„Предметъ всеобщей исторіи великъ: она должна обнять вдругъ и въ полной картинѣ все человѣчество—какимъ образомъ оно изъ своего первоначальнаго, бѣднаго младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и, наконецъ, достигло нынѣшней эпохи".

„Все, что ни является въ исторіи — народы, событія — должны быть непремѣнно живы и какъ бы находиться передъ глазами слушателей или читателей, чтобы каждый народъ,

каждое государство сохраняли свой міръ, свои краски, чтобы народъ, со всѣми своими подвигами и вліяніемъ на міръ, проносился ярко, въ такомъ же точно видѣ и костюмѣ, въ какомъ онъ былъ въ минувшія времена" (т. V, стр. 141—142).

3) О преподаваніи географіи:

„Географія такое глубокое море, такъ раздвигаетъ наши самыя дѣйствія, и не смотря на то, что показываетъ границы каждой земли, такъ скрываетъ свои собственныя, что даже для взрослаго представляетъ философически-увлекательный предметъ. Короче, нужно стараться [познакомиться сколько можно болѣе съ міромъ, со всѣмъ безчисленнымъ разнообразіемъ, но чтобы это никакъ не обременяло памяти, а представлялось бы свѣтло нарисованной картиной" (стр. 303).

При ближайшемъ ознакомленіи съ педагогическими взглядами Гоголя нетрудно убѣдиться, что, горячо отстаивая живость и цѣльность представленія, считая ихъ краеугольнымъ камнемъ преподаванія, Гоголь является въ одно и то же время и энергичнымъ сторонникомъ наглядnаго способа преподаванія и отъявленнымъ врагомъ незначительныхъ подробностей и кропотливой работы надъ мелкими частностями. Онъ не признаетъ даже пользы черченія географическихъ картъ, потому что «множество мелкихъ подробностей, множество отдѣльныхъ государствъ можетъ только въ головѣ воспитанника уничтожиться одно другимъ"; онъ вооружается и противъ учебниковъ. Напротивъ онъ требуетъ, чтобы дѣло было поставлено такъ, чтобы передъ воспитанникомъ постоянно была развернута карта и чтобы на глобусахъ были сдѣланы барельефы (горельефы)? изъ крѣпкой глины или металла, рѣзко отдѣляющія изображеніе горъ отъ равнинъ и проч. Все должно быть ясно, ярко, отчетливо, такъ чтобы не нужно было даже употреблять напряженныя усилія для усвоенія, но чтобы все существенное неизгладимо само врѣзывалось въ память, и неестественно было бы что-нибудь смѣшать или перепутать. Гоголь совѣтуетъ, напротивъ, всячески избѣгать заучиванья разстояній въ квадратныхъ миляхъ, предлагая лучше „вырѣзывать каждое государство особенно, чтобы оно составляло отдѣльный кусокъ, и, будучи сложено съ другими, составило бы часть міра". Изученіемъ же деталей, напр. мелкихъ мысовъ, онъ совѣтуетъ совершенно пожертвовать.

Во всѣхъ этихъ мнѣніяхъ Гоголя, несомнѣнно, много спра-

ведливаго, здраваго и заслуживающаго даже и теперь нѣкотораго вниманія преподавателей исторіи и географіи. Иныя мнѣнія, можетъ быть, полезно было бы постараться примѣнить на дѣлѣ, даже по прошествіи цѣлой половины столѣтія. Но всего замѣчательнѣе и всего больше заслуживаетъ вниманія и въ настоящее время требованіе Гоголя не ограничиваться общими характеристиками странъ и ихъ произведеній, но передавать воспитанникамъ по возможности живыя представленія даже о городахъ сколько-нибудь выдающихся, объ ихъ особенностяхъ, о замѣчательныхъ зданіяхъ въ нихъ и проч. Такъ „при мысли о какомъ-нибудь германскомъ городкѣ, ученикъ тотчасъ долженъ представить себѣ тѣсныя улицы, небольшіе, узенькіе и высокіе домики, гдѣ все такъ просто, мило, такъ буколически, и рядомъ съ ними угловатые, просѣкающіе остріемъ воздухъ, шпицы церквей. При мысли о Римѣ, гдѣ глухо отозвался весь канувшій въ пучину столѣтій древній міръ, у него должна быть неразлучна съ тѣмъ мысль о зданіяхъ-исполинахъ, которыя, свободно поднявшись отъ земли и опершись на стройные портики и гигантскія колонны, дряхлѣютъ, какъ бы размышляя объ утекшихъ столѣтіяхъ великой своей юности“ (V, 302). При изученіи остальныхъ частей свѣта кромѣ Европы Гоголь настаиваетъ на яркомъ представленіи нравовъ, обычаевъ, флоры, фауны страны и притомъ въ самыхъ характерныхъ чертахъ. При прохожденіи Азіи воспитанникъ долженъ, напримѣръ, представлять себѣ поперемѣнно то вихремъ несущагося по пустынѣ бедуина, то съ поджатыми ногами апатичнаго фаталиста турка, съ глубокомысленно устремленнымъ взглядомъ въ даль курящаго наргиле (здѣсь Гоголь дѣлаетъ небольшую ошибку, смѣшивая турецкій наргиле съ персидскимъ кальяномъ и давая первому наименованіе второго) и проч.

Рѣшительно всѣ эти убѣжденія явились результатомъ неудовлетворенности ума и воображенія, еще во время ученія Гоголя въ лицеѣ. Они представляютъ для насъ двойной или даже тройной интересъ: во-первыхъ, мы здѣсь знакомимся съ педагогическими взглядами самого Гоголя, во-вторыхъ— мы чувствуемъ, чего недоставало Гоголю въ школьномъ преподаваніи, почему онъ казался въ школѣ заурядnымъ, мало интересующимся науками мальчикомъ и что могло бы его увлекать въ преподаваніи; мы узнаемъ вполнѣ способъ и ха-

рактеръ пріобрѣтенія знаній этимъ геніальнымъ человѣкомъ еще на скамейкѣ лицея. и, наконецъ, въ третьихъ, пожалуй, какъ мы уже говорили, и теперь мы могли бы кое-чему поучиться изъ разобранныхъ нами статей. Но нельзя представить себѣ, чтобы всѣ эти живые образы, касающіеся историческихъ лицъ и событій, которые мы находимъ разсѣянными въ разныхъ мѣстахъ въ „Арабескахъ“ (изъ нихъ намъ лично нравится особенно характеристика крестовыхъ походовъ и изображеніе обстановки алхимика въ лекціи о среднихъ вѣкахъ), возникли исключительно въ тѣ годы, когда Гоголь, уже будучи взрослымъ, готовился занять каѳедру; способъ представленія долженъ былъ у него и въ дѣтствѣ быть такимъ же. Не даромъ его свѣжее, дѣтское воображеніе заставляло его по поводу всякой незначительной встрѣчи во время дороги изъ Нѣжина въ Васильевку „уноситься мысленно“ и въ бѣдную жизнь офицера, „занесеннаго, Богъ вѣсть изъ какой губерніи, на уѣздную скуку, и купца, мелькнувшаго въ сибиркѣ на бѣговыхъ дрожкахъ“ и проч. Эта способность „слышать душу человѣка“, которою такъ гордился Гоголь и на которую впослѣдствіи возлагалъ, можетъ быть, слишкомъ широкія надежды, и проникать умственнымъ взоромъ во все, чего „не зрятъ равнодушныя очи“, была сильно развита еще въ Гоголѣ-ребенкѣ. Его умъ былъ всегда наклоненъ къ синтезу и гораздо слабѣе въ анализѣ.

Всего вѣроятнѣе, Гоголемъ потому и овладѣла временно „страсть къ педагогикѣ“, замѣченная у него Плетневымъ, что, составивъ себѣ, на основаніи живыхъ впечатлѣній, извѣстный идеалъ преподаванія любимыхъ имъ въ школѣ предметовъ, онъ жаждалъ примѣнить его на дѣлѣ; а на вопросъ: почему же ему, увлекавшему современниковъ и потомство своими дивными произведеніями въ книгѣ, не суждено было на каѳедрѣ потрясти живой рѣчью слушателей и такимъ образомъ осуществить на практикѣ занимавшую его идею о картинномъ преподаваніи, — всего естественнѣе, кажется намъ, напомнить его собственныя слова въ „Авторской Исповѣди“: „У меня никогда не было влеченія къ прошедшему. Предметъ мой была современность и жизнь въ ея нынѣшнемъ бытѣ“. Вотъ это-то послѣднее обстоятельство и заставило Гоголя сдѣлаться живописцемъ нравовъ, а не кабинетнымъ ученымъ. Гоголь, конечно, хорошо сознавалъ и трудности педагогиче-

ской задачи, но онъ имѣлъ слишкомъ преувеличенное понятіе о собственныхъ силахъ и подготовкѣ. Требуя, чтобы преподаватель не утомлялъ своихъ воспитанниковъ горькими пилюлями, а представлялъ имъ дѣло въ самыхъ оригинальныхъ и рѣзкихъ чертахъ, онъ прямо указывалъ и трудности этой задачи: для этого нуженъ умъ, сильный схватить всѣ незамѣтные для простого глаза оттѣнки, нужно терпѣніе перерыть множество иногда самыхъ неинтересныхъ книгъ". Но если онъ вполнѣ удовлетворялъ первому требованію, то *совершенно* пасовалъ передъ вторымъ...

ПРОФЕССОРСКАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ГОГОЛЯ.

Полнѣе всего отразились педагогическіе взгляды Гоголя на лекціи о среднихъ вѣкахъ, по которой мы можемъ судить, насколько удавалось ему, даже въ самыхъ блестящихъ своихъ чтеніяхъ, удовлетворять своему собственному и общему педагогическому идеалу.

Вотъ какой высказываетъ онъ взглядъ на исторію среднихъ вѣковъ.

„Страшная, необыкновенная сложность средневѣковой исторіи съ перваго раза не можетъ не показаться чѣмъ-то хаосснымъ; но разсматривайте внимательнѣе и глубже, и вы найдете и связь, и цѣль, и направленіе. Я, однако же, не отрицаю, что, для самаго умѣнія найти все это, нужно быть одарену тѣмъ чутьемъ, которымъ обладаютъ немногіе историки. Этимъ немногимъ предоставленъ завидный даръ увидѣть и представить все въ изумительной ясности и стройности. Послѣ ихъ волшебнаго прикосновенія происшествіе оживляется и пріобрѣтаетъ свою собственность, свою занимательность; безъ нихъ оно долго представляется для всякаго сухимъ и безсмысленнымъ". (Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 120).

И самая лекція Гоголя представляетъ попытку и наглядный примѣръ примѣненія этого взгляда на практикѣ. Лекція эта вышла, какъ извѣстно, превосходною — не въ примѣръ прочимъ, и, очевидно, потому, что несравненно легче намѣтить себѣ цѣль, чѣмъ выполнить ее, гораздо легче дать въ образной формѣ общую характеристику цѣлой средневѣковой исторіи, особенно при такихъ могущественныхъ пособіяхъ, какъ картинное представленіе событій и блестящая роскошь

языка, поражающаго сильными и яркими метафорами и богатыми, мѣткими сравненіями,—нежели провести послѣдовательно,—а особенно при ограниченномъ, если не скудномъ запасѣ фактовъ,—черезъ весь курсъ эту систему и этотъ пріемъ и счастливо соединить суровыя требованія науки съ пламенными порывами поэтическаго воодушевленія.

Такъ, говоря о великомъ, безпримѣрномъ значеніи папской власти въ средніе вѣка, Гоголь щеголяетъ блестящимъ, но слишкомъ растянутымъ и довольно искусственнымъ періодомъ. „Не стану говорить о злоупотребленіи и о тяжести оковъ духовнаго деспота“, восклицаетъ онъ, становясь въ позу оратора. „Проникнувъ болѣе въ это великое событіе, увидимъ изумительную мудрость Провидѣнія: не схвати эта всемогущая власть всего въ свои руки, не двигай и не устремляй по своему желанію народы,—и Европа разсыпалась бы, связи бы не было; нѣкоторыя государства поднялись бы, можетъ быть, вдругъ и вдругъ бы развратились; другія сохранили бы дикость свою на гибель сосѣдямъ; образованіе и духъ народный разлились бы неровно: въ одномъ уголкѣ выказывалось бы образованіе, въ другомъ бы чернѣлъ мракъ варварства; Европа не устоялась бы, не сохранила бы того равновѣсія, которое такъ удивительно ее содержитъ; она бы долѣе была въ хаосѣ, она бы не слилась, желѣзною силою энтузіазма, въ одну стѣну, устранившую своею крѣпостью восточныхъ завоевателей и, можетъ быть, безъ этого великаго явленія, Европа уступила бы ихъ напору, и магометанская луна горделиво вознеслась бы надъ нею вмѣсто креста“ (т. V, стр. 121—122).

Изъ этой длинной выписки мы можемъ ясно видѣть главнѣйшія особенности Гоголя, какъ педагога, не только какъ теоретика, но и на практикѣ.

При самомъ бѣгломъ чтеніи этого періода уже чувствуется въ Гоголѣ преобладаніе жилки оратора надъ строгой основательностью ученаго. Кромѣ того, поражаясь самъ преимущественно живыми и характерными сторонами каждаго факта, онъ, въ свою очередь, стремился дѣйствовать исключительно на тѣ же душевныя струны своихъ слушателей, забывая, во-первыхъ, уже то, что онъ обязанъ былъ соображаться съ самыми разнообразными способностями и натурами и кромѣ того еще съ ясными требованіями науки; онъ невольно, стараясь дѣйствовать на другихъ, бралъ за единицу [illegible]

себя и оказывался слишкомъ субъективенъ: первая важная ошибка его изложенія въ педагогическомъ отношеніи. Другая ошибка заключалась въ ложномъ стремленіи, пренебрегая экономіей душевныхъ силъ студентовъ и дѣйствіемъ на ихъ умъ, высказаться передъ ними сразу, поразить и ошеломить ихъ воображеніе грандіознымъ представленіемъ развертывающейся передъ ними волшебной картины, ослѣпить ихъ пышнымъ фейерверкомъ образовъ и отборныхъ выраженій. Здѣсь въ лицѣ Гоголя профессоръ переходилъ за черту ученаго изложенія и становился актеромъ, разсчитывающимъ на дѣйствіе эффектовъ. Наконецъ третій и также существенный недостатокъ лекціи Гоголя заключался въ исключительномъ устремленіи вниманія слушателей на внѣшнюю сторону дѣла и въ непропорціональномъ перевѣсѣ синтеза надъ анализомъ. Все это, конечно, находится въ связи съ погонею за эффектами. Но зато сколько искренняго, горячаго, молодого увлеченія слышно въ той части лекціи, гдѣ рѣчь касается крестовыхъ походовъ; это, такъ сказать, кульминаціонный пунктъ всей лекціи. Какая плавность изложенія, какое богатство мыслей и образовъ, какіе изящные и свободные переходы отъ одной характеристики къ другой, не сосредоточивающіе, правда, долго мысли на одномъ и томъ же предметѣ, но поддерживающіе и воспламеняющіе въ слушателяхъ чувство,—все это составляетъ блестящую, по истинѣ художественную сторону изложенія, и потому неудивительно, что лекція, явившись чѣмъ-то совершенно неслыханнымъ и магическимъ въ университетскихъ стѣнахъ, заставила съ нетерпѣніемъ ожидать слѣдующихъ чтеній, которыя оказались, напротивъ, вялыми и безсодержательными. Цѣльность и единство настроенія также относятся къ важнымъ достоинствамъ вступительной лекціи Гоголя и не могли не быть оцѣнены его слушателями.

Вотъ какъ разсказываетъ объ этой лекціи одинъ изъ слушателей Гоголя, г. Иваницкій [1]).

„Гоголь читалъ исторію среднихъ вѣковъ для студентовъ 2-го курса филологическаго отдѣленія. Началъ онъ въ сентябрѣ 1834, а кончилъ въ концѣ 1835 года. На первую лекцію онъ явился въ сопровожденіи инспектора студентовъ. Это

[1]) „Отеч. Записки", 1853, кн. 2, отд. 7, стр. 120.

было въ 2 часа. Гоголь вошелъ въ аудиторію, раскланялся съ нами и, въ ожиданіи ректора, началъ о чемъ-то говорить съ инспекторомъ, стоя у окна. Замѣтно было, что онъ находился въ тревожномъ состояніи духа: вертѣлъ въ рукахъ шляпу, мялъ перчатку и какъ-то недовѣрчиво посматривалъ на насъ. Наконецъ подошелъ къ каѳедрѣ и, обратясь къ намъ, началъ объяснять, о чемъ намѣренъ онъ читать сегодня лекцію. Въ продолженіе этой коротенькой рѣчи, онъ постепенно всходилъ по ступенямъ каѳедры: сперва всталъ на первую ступеньку, потомъ на вторую, потомъ на третью. Ясно, что онъ не довѣрялъ самъ себѣ и хотѣлъ сначала попробовать, какъ-то онъ будетъ читать? Мнѣ кажется, однакожъ, что волненіе его происходило не отъ недостатка присутствія духа, а просто отъ слабости нервовъ, потому что въ то время, какъ лицо его непріятно блѣднѣло и принимало болѣзненное выраженіе, мысль, высказываемая имъ, развивалась совершенно логически и въ самыхъ блестящихъ формахъ. Къ концу рѣчи Гоголь стоялъ уже на самой верхней ступенькѣ каѳедры и замѣтно одушевился. Вотъ въ эту-то минуту ему и начать бы лекцію, но вдругъ вошелъ ректоръ... Гоголь долженъ былъ оставить на минуту свой постъ, который занялъ такъ ловко, и даже, можно сказать, незамѣтно для самого себя. Ректоръ сказалъ ему нѣсколько привѣтствій, поздоровался со студентами и занялъ приготовленное для него кресло. Настала совершенная тишина. Гоголь опять впалъ въ прежнее тревожное состояніе: опять лицо его поблѣднѣло и приняло болѣзненное выраженіе. Но медлить ужъ было нельзя: онъ взошелъ на каѳедру и лекція началась...

Не знаю, прошло ли и пять минутъ, какъ ужъ Гоголь овладѣлъ совершенно вниманіемъ слушателей. Невозможно было спокойно слѣдить за его мыслью, которая летѣла и преломлялась, какъ молнія, освѣщая безпрестанно картину за картиной въ этомъ мракѣ средневѣковой исторіи. Впрочемъ, вся эта лекція изъ слова въ слово напечатана въ „Арабескахъ“, кажется, подъ названіемъ: „О характерѣ исторіи среднихъ вѣковъ“. Ясно, что и въ этомъ случаѣ, не довѣряя самъ себѣ, Гоголь выучилъ наизусть предварительно-написанную лекцію, и хотя во время чтенія одушевился и говорилъ совершенно свободно, но ужъ не могъ оторваться отъ затвержденныхъ фразъ и потому не прибавилъ къ нимъ ни одного слова.

Лекція продолжалась три четверти часа. Когда Гоголь вышелъ изъ аудиторіи, мы окружили его въ сборной залѣ и просили, чтобъ онъ далъ намъ эту лекцію въ рукописи. Гоголь сказалъ, что она у него набросана только вчернѣ, но что со временемъ онъ обработаетъ ее и дастъ намъ; а потомъ прибавилъ: „На первый разъ я старался, господа, показать вамъ только главный характеръ исторіи среднихъ вѣковъ, въ слѣдующій же разъ мы примемся за самые факты и должны будемъ вооружиться для этого анатомическимъ ножомъ".

Приведемъ теперь разсказъ о первой лекціи и вообще объ университетской дѣятельности Гоголя, покойнаго профессора Васильева [1]):

„Для преподаванія исторіи древней и средневѣковой приглашенъ былъ въ 1834 году, съ званіемъ адъюнкта, воспитанникъ Нѣжинскаго лицея, учительствовавшій въ Патріотическомъ институтѣ, Гоголь-Яновскій (Николай Васильевичъ), знаменитый впослѣдствіи авторъ „Мертвыхъ Душъ", тогда же извѣстный лишь по „Вечерамъ на Хуторѣ". Призваніе свое къ историческимъ занятіямъ основывалъ онъ на трехъ статьяхъ, напечатанныхъ имъ, въ томъ же 1834 году, въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія": 1) „Планъ преподаванія всеобщей исторіи"; 2) „Отрывокъ изъ исторіи Малороссіи" и 3) „О малороссійскихъ пѣсняхъ". Но статьи обнаруживали въ авторѣ ихъ художника, а не мыслителя и ученаго; къ тому же Гоголь, по незнанію классическихъ, древнихъ и новыхъ европейскихъ языковъ, не обладалъ даже и средствами пріобрѣсти надлежащую начитанность, а пріемы научные были ему совершенно неизвѣстны. Опытъ годичнаго преподаванія предмета, весьма неудовлетворительный, убѣдилъ его самого, что взялся онъ не за свое дѣло, и въ 1835 году Гоголь оставилъ университетъ. Вступительная лекція его „О среднихъ вѣкахъ" напечатана была въ томъ же году въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія".

Надо сказать, что въ наше время почти всѣ отдѣлы всеобщей исторіи читались такъ несоотвѣтственно самымъ скромнымъ требованіямъ, что трудно было развернуться особому къ ней расположенію даже въ самыхъ способныхъ къ тому натурахъ. 1834 — 1835 годъ, когда Грановскій былъ уже на

[1]) „Русская Бесѣда". 1856, т. III, смѣсь, стр. 24—26.

послѣднемъ курсѣ, памятенъ университету въ этомъ отношеніи тѣмъ, что исторію среднихъ вѣковъ читалъ въ немъ знаменитый Н. В. Гоголь. Гоголь въ это время жилъ гувернеромъ въ домѣ А. И. Васильчиковой (?) и такъ же, какъ подъ конецъ жизни, метался, отыскивая себѣ опредѣленное занятіе, положительный кругъ дѣятельности, „должности“, какъ выражается онъ въ „Исповѣди“. Между прочимъ, пришла ему мысль, что онъ созданъ историкомъ и призванъ къ преподаванію „судебъ человѣчества“. Послѣдствіемъ такого предположенія было нѣсколько историческихъ статей, напечатанныхъ въ 1834 г. въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія“, вступленіе учителемъ въ Патріотическій институтъ, а потомъ и допущеніе его къ чтенію въ Петербургскомъ университетѣ лекцій исторіи среднихъ вѣковъ. Весь университетъ восхищался „Вечерами на Хуторѣ“ и съ любопытствомъ ожидалъ появленія на каѳедрѣ пасѣчника Рудаго Панька. На первую лекцію навалили къ нему въ аудиторію всѣ факультеты. Изъ посторонніхъ посѣтителей явились и Пушкинъ, и, кажется, Жуковскій. Сконфузился нашъ пасѣчникъ, читалъ плохо и произвелъ весьма невыгодный для себя эффектъ. Этого впечатлѣнія не поправилъ онъ и на слѣдующихъ лекціяхъ. Иначе, впрочемъ, и быть не могло. Образованіемъ своимъ въ Нѣжинскомъ лицеѣ и дальнѣйшими потомъ занятіями Гоголь нисколько не былъ приготовленъ читать университетскія лекціи исторіи; у него не было для этого ни истиннаго призванія, ни достаточной начитанности, ни даже средствъ пріобрѣсти ее, не говоря уже о совершенномъ отсутствіи ученыхъ пріемовъ и соотвѣтственнаго времени взгляда на науку.

Какъ ни плохи были вообще слушатели Гоголя, однако же сразу поняли его несостоятельность. Въ такомъ положеніи оставался ему одинъ исходъ—удивить фразами, заговорить; но это было не въ натурѣ Гоголя, который нисколько не владѣлъ даромъ слова и выражался весьма вяло. Вышло то, что послѣ трехъ-четырехъ лекцій студенты ходили въ аудиторію къ нему только для того ужъ, чтобы позабавиться надъ „маленько-сказочнымъ“ языкомъ преподавателя. Гоголь не могъ того не видѣть, самъ тотчасъ же созналъ свою неспособность, охладѣлъ къ дѣлу и еле-еле дотянулъ до окончанія учебнаго года, то являясь на лекцію съ повязанной щекою въ свидѣ-

тельство зубной боли, то пропуская ихъ за тою же болью. На годичный экзаменъ изъ читаннаго имъ Гоголь также пришелъ съ окутанною косынками головою, предоставилъ экзаменовать слушателей декану и ассистентамъ, а самъ молчалъ все время. Студенты, зная, какъ не твердъ онъ въ своемъ предметѣ, объяснили это молчаніе страхомъ его обнаружить въ чемъ-нибудь свое незнаніе... „Боится, что Шульгинъ“ (въ томъ же или предшествовавшемъ году поступившій въ университетъ на каѳедру новой исторіи) „собьетъ его самого, такъ и притворяется, будто рта разинуть не можетъ“,—говорили насмѣшники, и, нѣтъ сомнѣнія, была доля правды въ словахъ ихъ: самъ еще недавно оставивъ студенческую скамью, сознавшій, какъ непрочно зданіе его исторической мудрости, и робкій или недовѣрчивый по характеру, Гоголь весьма естественно могъ побаиваться прицѣпокъ такой ученой знаменитости, какою былъ тогда Шульгинъ, самимъ „Телеграфомъ“ провозглашаемый за „мыслящаго историка“; и вотъ, чтобы избавиться отъ позора, засѣвши не въ свои сани, незабвенный художникъ нашъ призналъ за безопаснѣйшее притвориться больнымъ. Вслѣдъ затѣмъ экзаменомъ онъ оставилъ университетъ“.

А вотъ воспоминанія о профессорствѣ Гоголя его товарища Чижова: [1])

„Я познакомился съ Гоголемъ тогда, какъ онъ былъ сдѣланъ адъюнктъ-профессоромъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ, гдѣ я тоже былъ адъюнктъ-профессоромъ. Гоголь сошелся съ нами хорошо, какъ съ новыми товарищами; но мы встрѣтили его холодно. Не знаю, какъ кто, но я только по одному: я смотрѣлъ на науку черезчуръ лирически, видѣлъ въ ней высокое, чуть-чуть не священное дѣло, и потому отъ человѣка, бравшагося быть преподавателемъ, требовалъ полнаго и безусловнаго посвященія себя ей. Самъ я занимался сильно, но избралъ для преподаванія искусство, мастерство (начертательную геометрію), не смѣя взяться за науку высшаго анализа, которую мнѣ тогда предлагали. Къ тому же Гоголь тогда, какъ писатель-художникъ, едва показался; мы, большинство, толпа, не обращали еще дѣльнаго вниманія на его „Вечера на Хуторѣ“;

[1]) „Записки о жизни Гоголя“, т. I, стр. 106.

наконецъ и самое вступленіе его въ университетъ путемъ окольнымъ отдаляло насъ отъ него, какъ отъ человѣка. По всему этому сношенія съ нимъ у меня были весьма форменны, и то весьма рѣдкія".

Обратимъ вниманіе здѣсь кстати на выраженіе Чижова о томъ, что Гоголь поступилъ въ университетъ „окольнымъ путемъ" и что на это товарищи его смотрѣли неодобрительно. Впрочемъ отзывъ этотъ не совсѣмъ согласенъ съ сообщеніемъ А. С. Никитенка о надменномъ обращеніи и тонѣ Гоголя съ ректоромъ, деканомъ и профессорами [1]).

[1]) См. „Русск. Стар.", 1889, IX, 528.

РАЗБОРЪ ЛЕКЦІИ ГОГОЛЯ ОБЪ АЛЬ-МАМУНѢ.

Мы видѣли, что конецъ профессорской дѣятельности нисколько не походилъ на его блестящее начало, на сравнительно эффектную первую лекцію.

Но то была вступительная лекція, на которой присутствовалъ ректоръ университета Плетневъ и къ которой, по вполнѣ понятному обычаю всѣхъ профессоровъ, Гоголь, что̀ называется, приготовился на славу. На эту лекцію слѣдуетъ смотрѣть такимъ образомъ какъ на свѣтлое исключеніе въ ряду тусклыхъ обыденныхъ университетскихъ чтеній Гоголя, какъ на нее дѣйствительно и смотрѣли его слушатели. Другою блестящею лекціей Гоголя былъ напечатанный потомъ въ „Арабескахъ“ очеркъ „Аль-Мамунъ“. Она, какъ извѣстно, прочитана была въ присутствіи Жуковскаго и Пушкина. Недаромъ, конечно, именно эти двѣ показавшіяся слушателямъ увлекательными лекціи появились потомъ въ печати. Очевидно, что Гоголь могъ бы превосходно читать курсъ, если бы ученый багажъ его давалъ ему больше простора. Не онъ одинъ, конечно, посвятилъ вступительной лекціи несоразмѣрно бо̀льшее количество труда сравнительно съ обыкновенными чтеніями; но его лучшія лекціи доказывали только, что *при иныхъ условіяхъ*, т. е. *при лучшей подготовкѣ и при болѣе сильномъ влеченіи къ профессорской дѣятельности*, Гоголь носилъ въ себѣ, такъ сказать, извѣстную возможность быть хорошимъ профессоромъ, — никакъ не болѣе. Вступительная лекція его могла быть эффектнѣе и лучше бо̀льшинства обыкновенныхъ вступительныхъ чтеній, о чемъ мы и имѣемъ указанное свидѣтельство его слушателя; но для успѣха постоянныхъ занятій со сту-

дентами ему нужны были бы, по крайней мѣрѣ, годы упорнаго подготовительнаго труда, недостатокъ котораго дѣлалъ его лекціи безсодержательными, вялыми и скучными. Не удивительно, что Гоголь имѣлъ сравнительно больше успѣха въ Патріотическомъ институтѣ и на частныхъ урокахъ, гдѣ требованія были ограниченнѣе, но для университетской каѳедры онъ былъ совсѣмъ не готовъ и долженъ былъ для спасенія репутаціи прибѣгать къ ходульнымъ эффектамъ. Чтобы понять всю естественность этого явленія, достаточно бросить взглядъ на его лекцію „Аль-Мамунъ“, прочитанную имъ въ университетѣ въ присутствіи Жуковскаго и Пушкина.

Нѣтъ сомнѣнія, что и къ этой лекціи Гоголь готовился не менѣе усердно и тщательно, чѣмъ ко вступительной, и посвятилъ ей особенно много времени, видя въ ней, по выраженію его слушателя Иваницкаго, „поэтическое угощеніе“ двухъ друзей-поэтовъ. Это ясно уже изъ того, что, не зная времени пріѣзда обоихъ друзей поэтовъ въ университетъ, Гоголь держалъ на готовѣ блестяще обработанную лекцію, которую и прочелъ, когда они пріѣхали, нисколько не заботясь о связи ея съ излагаемымъ курсомъ. По словамъ Иваницкаго, эта лекція была прочтена Гоголемъ, „какъ говорится, *ни съ того, ни съ другого*“ [1]). Тѣмъ не менѣе она произвела сильное и благопріятное впечатлѣніе на слушателей, а Жуковскій и Пушкинъ нашли ее увлекательной. Но если мы присмотримся ближе къ этой казовой лекціи Гоголя, то мы тотчасъ же увидимъ въ ней всѣ отличительныя особенности и въ частности главные недостатки его обычныхъ чтеній, хотя въ данномъ случаѣ недостатковъ было по количеству все-таки, конечно, несравненно меньше, нежели въ его обыденныхъ чтеніяхъ.

Укажемъ прежде несомнѣнное достоинство этой лекціи, заключающееся въ томъ, что въ ней Гоголь даетъ живую и яркую характеристику какъ самого Аль-Мамуна, такъ и всего арабскаго государства во время его правленія. Подобно тому, какъ въ теоріи Гоголь требовалъ отъ профессора блестящаго, живого и увлекательнаго изложенія, такъ онъ въ самомъ дѣлѣ на этотъ разъ осуществилъ свою мысль и на практикѣ. Но надо обратить вниманіе на всю ослѣпительную роскошь не-

---

[1]) „Отеч. Записки“, 1853, кн. 2, отд. VII, стр. 120.

ожиданныхъ и эффектныхъ сравненій, на обдуманность и изысканную мѣткость каждаго выраженія отдѣльно, наконецъ на пышную обработку всей лекціи до послѣдней степени блеска и лоска и особенно на изящный поэтическій колоритъ, старательно придаваемый Гоголемъ всему чтенію,—чтобы понять, что такого рода успѣхъ могъ быть исключительнымъ, что здѣсь профессоръ, съ необычайной роскошью расточая эффекты и украшенія рѣчи, *истощалъ* все свое умѣнье и талантъ. *Такъ* читать еженедѣльно Гоголь не могъ по недостатку времени для такой же образцовой обработки еженедѣльныхъ лекцій; въ дѣйствительныхъ условіяхъ профессоръ долженъ обладать обширнымъ запасомъ знаній и разнообразіемъ матеріала, на который является чуть не ежедневный спросъ, и не можетъ посвятить всѣ силы одной-двумъ лекціямъ. Соединеніе увлекательнаго краснорѣчія въ томъ духѣ, какъ мы видимъ у Гоголя, и равномѣрной содержательности, и кромѣ того строго выдержанная обработка курса дѣло вовсе не легкое, и оно-то было совершенно не подъ силу нашему писателю. Но и въ самомъ „Аль-Мамунѣ“ встрѣчаются повторенія и такое неумѣренное злоупотребленіе эффектами, которое очень скоро могло бы показаться избитымъ. Стóитъ только обратить вниманіе на слишкомъ частое повтореніе въ „Аль-Мамунѣ“ такихъ словъ и выраженій, какъ, напр., государство музъ, блестящая эпоха, колоссальное воображеніе, огненныя страницы, музыка ученыхъ толкованій и тонкостей, „чудный народъ не шелъ, а летѣлъ къ своему развитію“, и проч. Такіе эпитеты, какъ блестящій, огненный, пламенный, грозный, колоссальный, величественный, возвышенный, чудесный, встрѣчаются у Гоголя въ этой лекціи на каждомъ шагу. Нѣкоторыя такія выраженія повторены въ ней два или нѣсколько разъ, напр., воображеніе арабовъ дважды названо колоссальнымъ, и кромѣ того, мы встрѣчаемъ еще въ третій разъ подобное же выраженіе: „воображеніе араба слишкомъ потопляло тощіе выводы холоднаго ума“; объ энтузіазмѣ арабовъ упоминается нѣсколько разъ, и проч. Однажды прочтенная съ воодушевленіемъ такая лекція, преисполненная, такъ сказать, кричащихъ эффектовъ, при извѣстномъ искусствѣ произнесенія, наконецъ при умѣніи сгладить это нагроможденіе разсыпанныхъ съ излишней расточительностью украшеній, могла быть въ самомъ дѣлѣ увлекательной; но постоянное повтореніе все тѣхъ же

громкихъ эпитетовъ и тѣхъ же пріемовъ и красокъ скоро должно было бы уронить лекціи Гоголя во мнѣніи слушателей, тогда какъ онъ надѣялся преимущественно на этомъ внѣшнемъ блескѣ основать успѣхъ своихъ чтеній. Заразить и увлечь своихъ слушателей интересомъ къ предмету и постоянно поддерживать въ нихъ искру воодушевленія онъ могъ бы, пожалуй, напитавшись тѣмъ энтузіазмомъ, о которомъ онъ такъ охотно любитъ упоминать; но именно этого-то энтузіазма у него и быть не могло на самомъ дѣлѣ, потому что его вниманіе раздѣлялось между многими излюбленными предметами и занятіями, изъ которыхъ иныя были гораздо болѣе близки его сердцу, нежели исторія. Наконецъ „исторія не романъ, и міръ не садъ, гдѣ все должно быть пріятно; она изображаетъ дѣйствительный міръ“, какъ говоритъ Карамзинъ, и эффекты встрѣчаются въ ней вовсе не въ такой мѣрѣ, чтобы ихъ расточать безъ счета или сыпать ими, какъ изъ рога изобилія, вслѣдствіе чего, для постояннаго успѣха своихъ чтеній въ этомъ родѣ, Гоголю пришлось бы ихъ придумывать и изыскивать при помощи разныхъ натяжекъ. Хорошо, сосредоточивъ всѣ эффекты въ одной и двухъ лекціяхъ, гдѣ къ услугамъ лектора являются пальмы, фонтаны, дворцы, Магометовъ рай и проч., очаровать и поразить слушателей однажды; но наполнять сплошными эффектами всѣ лекціи физически не возможно. Не слѣдуетъ притомъ думать, что Гоголь создавалъ эти лекціи, повинуясь вдохновенію, какъ поэтъ-художникъ; намъ кажется, что такимъ плодомъ поэтическаго его вдохновенія можно считать, напр., отрывокъ „Жизнь“, но никакъ не тѣ университетскія чтенія, надъ которыми онъ работалъ собственно по обязанностямъ профессіи...

Чтобы лучше познакомиться съ впечатлѣніемъ, произведеннымъ лекціей Гоголя объ Аль-Мамунѣ сравнительно съ его обычными чтеніями, приведемъ подлинныя слова не разъ цитированныхъ нами воспоминаній Иваницкаго. Послѣ разсказа о томъ, какъ студентовъ очаровала вступительная лекція Гоголя и съ какимъ нетерпѣніемъ ждали они слѣдующей, онъ продолжаетъ: „Гоголь пріѣхалъ довольно поздно и началъ лекцію фразой: „Азія была какимъ-то народовержущимъ вулканомъ“. Потомъ поговорилъ немного о великомъ переселеніи народовъ, но такъ вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не вѣрили сами себѣ, тотъ-ли

это Гоголь, который на прошлой недѣлѣ прочелъ такую блистательную лекцію. Наконецъ, указавъ намъ на кое-какіе курсы, гдѣ мы можемъ прочесть объ этомъ предметѣ, онъ раскланялся и уѣхалъ. Вся лекція продолжалась 20 минутъ. Слѣдующія лекціи были въ томъ же родѣ, такъ что мы совершенно наконецъ охладѣли къ Гоголю и аудиторія его все больше и больше пустѣла. Но вотъ однажды—это было въ октябрѣ—ходимъ мы по сборной залѣ и ждемъ Гоголя. Вдругъ входятъ Пушкинъ и Жуковскій. Отъ швейцара, конечно, они ужъ знали, что Гоголь еще не пріѣхалъ, и потому, обратясь къ намъ, спросили только, въ которой аудиторіи будетъ читать Гоголь. Мы указали на аудиторію. Пушкинъ и Жуковскій заглянули въ нее, но не вошли, а остались въ сборной залѣ. Черезъ четверть часа пріѣхалъ Гоголь, и мы, вслѣдъ за тремя поэтами, вошли въ аудиторію и сѣли по мѣстамъ. Гоголь взошелъ на каѳедру, и, какъ говорится, ни съ того, ни съ другого, началъ читать взглядъ на исторію Аравитянъ. Лекція была блестящая, въ такомъ-же родѣ, какъ и первая. Она вся изъ слова въ слово напечатана въ „Арабескахъ“. Видно, что Гоголь зналъ заранѣе о намѣреніи поэтовъ пріѣхать къ нему на лекцію, и потому приготовлялся угостить ихъ поэтически. Послѣ лекціи Пушкинъ заговорилъ о чемъ-то съ Гоголемъ, но я слышалъ одно только: „увлекательно“! Всѣ слѣдующія лекціи Гоголя были очень сухи и скучны; ни одно событіе, ни одно лицо историческое не вызвало его на бесѣду живую и одушевленную... Какими-то сонными глазами смотрѣлъ онъ на прошедшіе вѣка и отжившія племена. Безъ сомнѣнія, ему самому было скучно, и онъ видѣлъ, что скучно и его слушателямъ. Бывало, пріѣдетъ, поговоритъ съ полчаса съ каѳедры, уѣдетъ, да ужъ и не показывается цѣлую недѣлю, а иногда и двѣ. Потомъ опять пріѣдетъ, и опять та же исторія. Такъ прошло время до мая“ [1])...

1) Любопытно, что Гоголь, пользовавшійся протекціей Жуковскаго и Пушкина, чувствовалъ-таки въ глубинѣ души свою профессорскую несостоятельность и хотѣлъ-таки выказаться передъ ними съ болѣе выгодной стороны. Еще прежде, когда Жуковскій и Пушкинъ назначили день своего пріѣзда въ университетъ на лекцію Гоголя, Гоголь не явился совсѣмъ, вѣроятно не чувствуя себя готовымъ къ чтенію хорошей лекціи.

РАЗБОРЪ ПЬЕСЫ ГОГОЛЯ „АЛЬФРЕДЪ“ (СЪ ИСТОРИЧЕСКИМЪ СЮЖЕТОМЪ).

Нѣсколько времени спустя, въ половинѣ 1835 г., Гоголь, читая студентамъ лекціи по исторіи Англіи, вздумалъ воспользоваться собраннымъ матеріаломъ, изъ котораго слагались его университетскія чтенія, для драмы подъ заглавіемъ „Альфредъ“. Такимъ образомъ мы получаемъ нѣкоторую возможность судить о томъ, насколько художественный талантъ помогалъ Гоголю въ его научныхъ занятіяхъ, и наоборотъ, насколько эти послѣднія давали пищу для его творчества. Изъ примѣчаній Н. С. Тихонравова мы можемъ ясно видѣть, какимъ матеріаломъ, въ какой мѣрѣ и съ какой степенью умѣнья пользовался Гоголь при созданіи этихъ драматическихъ сценъ. Кромѣ того, при внимательномъ разсмотрѣніи открывается, что наилучшимъ въ этомъ отрывкѣ было именно то, что Гоголь возсоздалъ на основаніи своего художественнаго проникновенія, и положительно слабо все, что имѣетъ ближайшее отношеніе къ изученію историческихъ источниковъ, все, что касается частностей и деталей. Въ чемъ же сказалось въ дошедшихъ до насъ наброскахъ драмы обычное мастерство Гоголя, какъ не въ томъ, что онъ съ необыкновенной яркостью нарисовалъ передъ нами картину ожиданія толпой прибытія корабля, на которомъ долженъ пріѣхать Альфредъ? Здѣсь искусно схвачено и передано настроеніе уличной толпы, живо обрисованы ея дѣтское любопытство, невѣжественныя понятія, легковѣріе и наклонность къ спорамъ. Если припомнить, что всѣ написанныя Гоголемъ сцены „Альфреда“ представляютъ, такъ сказать, брульонъ, рядъ черновыхъ набросковъ, то придется признать, что уже въ нихъ много чудной жизни,

много проблесковъ истиннаго таланта; но вмѣстѣ съ тѣмъ видно, что кисть художника готовилась работать надъ новымъ матеріаломъ уже по знакомымъ и испытаннымъ пріемамъ, которые и представляли для автора наиболѣе надежное подспорье. Въ самомъ дѣлѣ, еще въ первоначальной редакціи „Тараса Бульбы", въ томъ мѣстѣ поэмы, гдѣ изображена казнь казаковъ, Гоголь ярко обрисовалъ настроеніе толпы передъ появленіемъ ихъ на площади. Въ данномъ случаѣ въ „Альфредѣ" ему представлялась задача перенести мѣсто дѣйствія въ иную страну, представить соотвѣтствующую обстановку и ввести все это въ рамку драматическихъ сценъ. Приступая къ созданію драмы съ историческимъ сюжетомъ, онъ, по давно усвоенному обыкновенію, прежде всего изображалъ обыденныя бытовыя сцены, уже воспроизведенныя его воображеніемъ въ иномъ случаѣ, — и эти сцены обѣщали быть самыми удачными,—а съ другой стороны старался усиленно пользоваться историческимъ матеріаломъ, заботясь включить въ тѣ же тѣсныя рамки драмы все существенное, могущее характеризовать бытъ двухъ народовъ, подлежавшихъ изображенію въ пьесѣ, — и эти-то элементы пьесы представляются намъ значительно болѣе слабыми, но не по замыслу, а по исполненію. Если въ университетскихъ лекціяхъ пріемъ торопливаго исчерпыванія всего яркаго, характернаго и существеннаго въ одной-двухъ лекціяхъ, передававшихъ общія свѣдѣнія, за которыми предполагался хорошо обработанный дальнѣйшій научный матеріалъ, при отсутствіи достаточныхъ познаній у Гоголя ставилъ его въ ложное положеніе, вынуждая его угощать слушателей продолжительнымъ постомъ послѣ минутнаго банкета; то здѣсь, въ драмѣ, представляющей собою законченный трудъ, напротивъ такой пріемъ былъ какъ нельзя болѣе умѣстенъ. Такъ Гоголь и намѣревался поступить, но осуществилъ это только съ умѣреннымъ успѣхомъ. Правда, въ первыхъ сценахъ онъ сумѣлъ искусно и безъ малѣйшей натяжки немногими штрихами познакомить зрителей съ католическимъ представленіемъ о величіи и могуществѣ Рима и папы, живо изобразилъ смутное и крайне невѣжественное представленіе простонародья о Римѣ и чужихъ краяхъ и наконецъ вѣрно очертилъ враждебныя отношенія англосаксовъ къ датчанамъ. Также въ слѣдующей затѣмъ группѣ сценъ, счастливо избѣгая неумѣстной и черезчуръ прозрач-

ной симметріи, поэтъ съ большой заботливостью изображаетъ передъ нами религіозныя представленія и національный духъ норманновъ: ихъ дерзкую отвагу, воинственность, безпредѣльную преданность свободной жизни, пренебреженіе къ бурямъ и опасностямъ и проч. Словомъ, здѣсь мы снова видимъ собранными въ сжатомъ видѣ всѣ тѣ черты, которыя въ совокупности должны были ярко и полно очертить образъ жизни и характеры обѣихъ націй. Жаль только, что Гоголь,— можетъ быть, впрочемъ намъ такъ кажется потому, что пьеса дошла до насъ въ черновомъ видѣ,—стараясь представить вполнѣ вѣрную дѣйствительности обстановку со всѣми ея историческими и національными чертами, слишкомъ переполнилъ и обременилъ пьесу соотвѣтствующими времени и мѣсту терминами и названіями, отъ чего она неизбѣжно становится скучной и утомительной для чтенія. Здѣсь творчество измѣнило Гоголю и мѣсто яркихъ картинъ заступила сухая номенклатура. Не произошло ли это отъ того, что его творческая фантазія услужливо рисовала ему только *знакомый* бытъ и *извѣстные* нравы? Вѣдь онъ самъ говорилъ „въ Авторской Исповѣди“, что „никогда ничего не создавалъ въ воображеніи и не имѣлъ этого свойства“ и что у него „только то и выходило хорошо, что̀ взято было изъ дѣйствительности, изъ данныхъ извѣстныхъ“. Немного далѣе, въ той же „Авторской Исповѣди“, онъ признается, что „никогда не имѣлъ влеченія къ прошедшему“ [1]). Вотъ намъ и настоящая, удостовѣренная самимъ Гоголёмъ причина неуспѣха обѣихъ задуманныхъ имъ въ разное время историческихъ драмъ: „Альфреда“ и уничтоженной самимъ авторомъ драмы изъ исторіи запорожскаго казачества. Впрочемъ при дальнѣйшей обработкѣ пьесы, если допустить возможность вторичнаго обращенія Гоголя къ этому сюжету, мы увидѣли бы, вѣроятно, замѣну сырого матеріала съ грудой мелкихъ терминовъ болѣе или менѣе исполненными жизни картинами съ искусно и ярко очерченнымъ національнымъ и мѣстнымъ колоритомъ. Во всякомъ случаѣ необходимо отмѣтить, что Гоголь обратилъ вниманіе въ „Альфредѣ“ на самое существенное, что̀ именно должно было бы придать картинѣ въ ея оконченномъ видѣ жизнь и правдоподобіе; такъ, у него отчетливо выступаютъ религіоз-

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. IV, стр. 256 и 259.

ныя представленія какъ христіанъ, такъ и язычниковъ, почитателей Одена, являющихся передъ нами съ своими ярко очерченными религіозными вѣрованіями; притомъ вполнѣ умѣстно и съ большимъ тактомъ, рисуя средневѣковое невѣжество, Гоголь сумѣлъ весьма тонко подмѣтить и разграничить проявленія невѣжества, возможныя и естественныя въ необразованной толпѣ во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, — и такія съ другой стороны, которыя составляютъ принадлежность наивнаго міросозерцанія и ограниченныхъ понятій толпы *извѣстной эпохи* и извѣстной національности. Кромѣ вѣры въ нечистую силу (въ разговорѣ Вульфинга съ Туркиломъ), какъ примѣръ невѣжества, свойственнаго черни во всѣ вѣка, можно указать въ разсказѣ Брифрика его слова, что „гдѣ епископы выступаютъ, тамъ серебряный полъ, а гдѣ папа, тамъ золотой; гдѣ епископы стоятъ, тамъ серебряный полъ, а гдѣ папа, тамъ золотой“ [1]). — Здѣсь уже въ самомъ выборѣ примѣра видна забота автора передать черты вѣка, на что указываетъ самый интересъ разсказчика и слушающей его толпы, направленный на предметы, въ особенности занимавшіе умы въ средніе вѣка. Но вотъ примѣръ невѣжества, характеризующій еще ярче состояніе просвѣщенія собственно *въ извѣстную историческую эпоху*. Въ разговорѣ Эдвига съ Альфредомъ наивный Эдвигъ осмѣливается съ увѣренностью утверждать, что короля обманули, будто въ Англіи были когда-нибудь римляне: „у насъ есть старики“ [2])—забавно доказываетъ онъ,—„которые помнятъ, какъ покорили (страну) саксы, народъ, котораго храбрѣе еще никого не было,—и тѣ говорятъ, что здѣсь были только бритты“. И это сказано уже было послѣ того, какъ Альфредъ возразилъ ему: „Ты не знаешь, потому что не читалъ“. Королю такъ и не удалось сломить увѣренность Эдвига, что въ Англіи никакихъ римлянъ никогда и не было. Такъ Гоголь старался схватить и съ полной естественностью поставить передъ читателемъ даже людей иной эпохи и иныхъ національностей; художественное дарованіе сказалось какъ въ формѣ діалога, такъ и въ самомъ содержаніи сценъ даже въ такой небольшой пьесѣ и совершенно не обработанной, которую онъ, по всей вѣроятности, даже не при-

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 469.
[2]) Тамъ же, стр. 480.

знавалъ потомъ достойной своего пера. Но эта художественная проницательность въ тѣхъ случаяхъ, когда она была направлена на чуждые Гоголю бытъ и нравы, съ извѣстнымъ успѣхомъ рисуя ему отдѣльные эскизы, была недостаточна для созданія цѣлой картины. Другой причиной неудачи въ данномъ случаѣ была, конечно, недостаточная степень увлеченія избраннымъ сюжетомъ.

Мы остановились здѣсь такъ подробно на разборѣ „Аль-Мамуна“ и „Альфреда“ отчасти въ виду недавно высказаннаго мнѣнія о томъ, что занятія и увлеченіе Гоголя исторіей имѣли будто бы *вполнѣ серьезный* характеръ; такъ какъ съ такимъ мнѣніемъ, впадающимъ въ крайнее преувеличеніе, согласиться, очевидно, нельзя, то мы и нашли себя вынужденными по возможности точнѣе установить надлежащій взглядъ на размѣры историческихъ познаній Гоголя и на степень его научныхъ увлеченій, о чемъ вскорѣ скажемъ еще подробнѣе.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНІЕ О ГОГОЛѢ, КАКЪ ПЕДАГОГѢ.

Вообще при оцѣнкѣ педагогическихъ взглядовъ Гоголя и его отношеній къ преподаваемой наукѣ существенное значеніе имѣетъ то обстоятельство, что, подобно многимъ другимъ представителямъ не только литературы, но отчасти и самой науки въ его время, онъ не прошелъ правильной школы и долженъ былъ пополнять пробѣлы самаго элементарнаго свойства, въ чемъ онъ и самъ сознавался, уже заднимъ числомъ и въ зрѣлые годы. Въ этомъ отношеніи онъ представлялъ между прочимъ чрезвычайно много общаго и съ самимъ Пушкинымъ, но съ той, однако, существенной разницей, что Пушкинъ несравненно яснѣе сознавалъ недочеты въ своемъ образованіи и нашелъ въ себѣ искреннее и сильное желаніе

„Стать въ просвѣщеньи съ вѣкомъ наравнѣ“,

чего о Гоголѣ далеко нельзя сказать; умъ Пушкина былъ гораздо болѣе пытливый и болѣе склонный къ широкому критическому отношенію къ собственнымъ знаніямъ и къ вопросамъ науки. Пушкинъ гораздо глубже вникалъ въ нихъ, гораздо болѣе находилъ новыхъ сторонъ въ каждомъ данномъ вопросѣ, гораздо шире умѣлъ къ нимъ отнестись. Однимъ словомъ, тогда какъ Гоголь остался на всю жизнь самоучкой въ полномъ смыслѣ слова, Пушкинъ, благодаря хотя и запоздалому, но упорному и сознательному труду, уже въ зрѣлые годы сумѣлъ сдѣлаться широко образованнымъ человѣкомъ, съ вполнѣ развитымъ умомъ и глубокой потребностью въ дальнѣйшемъ умственномъ совершенствованіи.

Къ своему преподавательскому труду Гоголь относился въ значительной степени легкомысленно и самонадѣянно, очень мало или даже вовсе не смущаясь тѣмъ, что ему приходилось иногда начинать учиться тому, что онъ долженъ былъ уже излагать на урокахъ и лекціяхъ. Какой-иной смыслъ могли имѣть такія просьбы его къ Погодину, какъ напримѣръ, о присылкѣ ему университетскихъ лекцій послѣдняго? Такъ, двадцать третьяго іюля 1834 г. Гоголь писалъ къ Погодину: „я на время рѣшился занять здѣсь каѳедру исторіи, и именно среднихъ вѣковъ. Если ты этого желаешь, то я пришлю тебѣ нѣкоторыя свои лекціи, съ тѣмъ только, чтобы ты взамѣнъ прислалъ мнѣ свои. Весьма недурно, если бы ты отнялъ у какого-нибудь студента тетрадь записываемыхъ имъ твоихъ лекцій, особенно о среднихъ вѣкахъ, и прислалъ бы черезъ Рѣдькина [1]) мнѣ теперь же“. Не надо забывать, что письмо это было написано всего за какой-нибудь мѣсяцъ до начала лекцій. Въ это же время Гоголь проповѣдовалъ своему пріятелю Максимовичу, что нужно „работать прямо съ плеча“ и поменьше затрудняться приготовленіемъ къ лекціямъ, а изъ письма къ тому же Максимовичу отъ 23 августа мы убѣждаемся, что Гоголь былъ вѣренъ своей теоріи и на дѣлѣ, откладывая работу надъ предстоящимъ учебнымъ курсомъ, такъ сказать, до послѣдней невозможности. „Я тружусь, какъ лошадь“, говорилъ онъ—„чувствую, что это послѣдній годъ, но только не надъ казенной работой, то есть не надъ лекціями, которыя у насъ до сихъ поръ еще не начинались, но надъ собственно своими вещами“ [2]). По истинѣ изумительно, съ какой невѣроятной безпечностью относился Гоголь къ новому и трудному дѣлу и какъ мало думалъ о принимаемой имъ на себя отвѣтственности. Мы видимъ, что заботы его были направлены исключительно на вопросы практическаго свойства и что его вниманіе даже въ научной сферѣ развлекалось въ разныя стороны, не говоря уже о его литературныхъ работахъ и планахъ. Бѣда Гоголя въ томъ особенно и заключалась, что для него не существовало препятствій и трудностей, и если у него выработалась привычка въ высокой степени добросо-

[1]) Петра Григорьевича, нѣжинскаго товарища Гоголя, впослѣдствіи весьма извѣстнаго профессора Московскаго и потомъ С.-Петербургскаго университета.

[2]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 225 или письма Гоголя къ Максимовичу, стр. 19—20.

вѣстнаго отношенія къ литературнымъ трудамъ, то едва ли она распространялась также и на научныя его работы, и во всякомъ случаѣ всего меньше можно ее усматривать въ его отношеніяхъ къ своему университетскому преподаванію. Въ самомъ дѣлѣ, даже и не въ „казенной", но и въ добровольной работѣ въ области избраннаго имъ спеціальнаго предмета, въ разработкѣ исторіи горячо любимой имъ Украйны, Гоголь обнаруживалъ нѣсколько легкое отношеніе къ дѣлу, или, по крайней мѣрѣ, исполненіе его надеждъ въ этой сферѣ было замѣчательно несоразмѣрно съ его обширными и постоянно мѣнявшимися замыслами. Такъ въ названномъ письмѣ онъ дѣлаетъ такое порученіе Максимовичу: „Пронюхай, что̀ есть путнаго въ вашей библіотекѣ, относящагося до нашего края; весьма бы было хорошо, если бы ты поручилъ кому-нибудь составить имъ маленькій реестрецъ, дабы я могъ все это принять къ надлежащему свѣдѣнью. Я получаю много подвозу изъ нашихъ краевъ. Между ними есть довольно замѣчательныхъ вещей. Исторія моя терпитъ страшную перестройку: въ первой части цѣлая половина совершенно новая. Есть ли что-нибудь въ рукахъ у Берлинскаго? Вѣдь онъ старый корпила"... Если припомнить послѣ этого извѣстные отзывы объ отношеніяхъ Гоголя къ профессурѣ покойнаго Никитенка, Чижова и другихъ, то у насъ получится довольно полная и отчетливая картина, которую и можно признать болѣе или менѣе близкой къ дѣйствительности, и нѣтъ рѣшительно никакой ни нужды, ни даже возможности при помощи натяжекъ давать всему дѣлу произвольное и сомнительное освѣщеніе, какое мы находимъ въ статьѣ г. Витберга: „Гоголь какъ историкъ", напечатанной въ августовской книгѣ „Историческаго Вѣстника" за 1892 г.

Всѣ составленныя Гоголемъ программы, выписки и замѣтки достаточно свидѣтельствуютъ о томъ, что онъ, такъ сказать, лишь случайно пристроился къ ученой карьерѣ, приступая къ дѣлу наобумъ и на авось. Никакой основательной эрудиціей, никакими самостоятельно выработанными научными взглядами и системами онъ не успѣлъ запастись ко времени выступленія на университетской каѳедрѣ. Но все это могло бы быть пріобрѣтено и впослѣдствіи, если бы онъ яснѣе сознавалъ настоятельную необходимость упорной работы надъ собой. Все горе заключалось въ томъ, что онъ заботился объ

этомъ слишкомъ мало. Когда Пушкинъ въ зрѣлыхъ годахъ задался серьезной цѣлью самообразованія, онъ достигъ, какъ извѣстно, довольно почтенныхъ результатовъ въ этомъ отношеніи; при богатыхъ дарованіяхъ Гоголя, безъ сомнѣнія, и онъ могъ бы также достигнуть многаго, если бы не смотрѣлъ на науку, какъ на средство для составленія карьеры и лишь на неизбѣжную принадлежность выпавшей на его долю профессіи. Самые пріемы Гоголя въ его приготовленіяхъ къ педагогической дѣятельности были черезчуръ элементарны и не сложны: онъ доставалъ обыкновенно каталоги книжныхъ магазиновъ, дѣлалъ по нимъ выборъ нужныхъ ему книгъ и затѣмъ приступалъ къ выпискамъ и экстрактамъ, которые и служили ему главнымъ матеріаломъ для лекціи [1]). Повидимому, у него вовсе не было яснаго представленія о строгихъ требованіяхъ науки, представленія, разумѣется, безусловно обязательнаго для университетскаго преподавателя. Случайно попавшаяся лѣтопись безъ начала и конца, какая-нибудь старинная книга нерѣдко внушали ему неподдѣльную радость и онъ спѣшилъ дѣлиться своей находкой съ друзьями, искренно воображая себя человѣкомъ науки и, вѣроятно, принимая на себя видъ знатока. Будучи лишенъ, по недостатку основательнаго образованія, всякой критической подготовки и страдая чрезмѣрной самоувѣренностью, онъ и въ собственныхъ глазахъ, вѣроятно, пріобрѣталъ значеніе настоящаго ученаго, но, конечно, его случайныя и непродолжительныя увлеченія не имѣли глубокихъ корней, и объ истинномъ научномъ интересѣ здѣсь не можетъ быть и рѣчи. То, что занимало Гоголя вчера, могло быть сегодня предано полному забвенію. Въ бытность свою въ Петербургѣ Гоголю удалось, несмотря на тяжкія условія жизни, собрать довольно большую библіотеку, которая стоила ему около трехъ тысячъ (онъ писалъ Прокоповичу въ 1837 г.: „она мнѣ стоила до 3000, но если за нее можно выручить половину, то слава Богу“, но у него, кажется, не было въ сущности той жилки собирателя рукописей и книгъ, которою отличается не только большинство серьезныхъ спеціалистовъ, но и втянувшихся въ свое дѣло библіографовъ, иногда съ довольно ограниченнымъ образо-

[1]) Подробное изложеніе всѣхъ относящихся сюда фактовъ и данныхъ читатель, безъ сомнѣнія, найдетъ въ VI томѣ образцоваго изданія сочиненій Гоголя академика Н. С. Тихонравова въ отдѣлѣ примѣчаній редактора.

ваніемъ. Безспорно впрочемъ, что еще въ юности Гоголь собиралъ разныя монеты и рѣдкости, а въ годы профессорства—книги, пѣсни и рукописи, отчасти входя въ роль серьезнаго спеціалиста, внѣшніе атрибуты котораго онъ старался наскоро усвоить едва ли не съ бо́льшей заботливостью, нежели съ какою стремился пополнять пробѣлы и расширять познанія. Впослѣдствіи онъ самъ признавался въ „Авторской Исповѣди“, что въ зрѣлыхъ годахъ долженъ былъ приниматься за изученіе элементарныхъ книгъ, стараясь скрывать эту работу отъ посторонникъ глазъ: этими словами онъ произноситъ приговоръ той маскѣ мнимой учености, которую когда-то вынужденъ былъ надѣвать въ угоду требованіямъ профессіи. Все, что собиралось имъ съ научной цѣлью, кажется, производилось, совершенно случайно и между дѣломъ, но истинная любознательность въ подобныхъ случаяхъ недостаточно руководила имъ.

Замѣчательно, что Гоголь открыто признавалъ въ дружеской бесѣдѣ, что онъ никогда не былъ и не считалъ себя педагогомъ (см. „Русскую Старину“, изд. 1888 г., т. IV, стр. 47). Кромѣ того, въ своихъ задушевныхъ совѣтахъ одному изъ лучшихъ друзей, А. С. Данилевскому, котораго онъ обыкновенно называлъ братомъ и своимъ „ближайшимъ“, онъ писалъ однажды: „Не совѣтую тебѣ хватать первую представившуюся должность. *Ты пожалуйста еще не вздумай испытать себя на педагогическомъ поприщѣ;* это, право, тебѣ не къ лицу; *я много повредилъ себѣ во всемъ, вступивши на него*“ (Кулишъ, „Зап. о ж. Г.“, т. I, стр. 243).

И въ самомъ дѣлѣ, случайно выбралъ Гоголь это поприще: пріѣхавъ юношей изъ провинціи въ Петербургъ, онъ сначала рѣшительно не былъ въ состояніи дать себѣ отчета въ своемъ призваніи. Онъ сознавалъ въ себѣ богатыя силы, онъ весь былъ одушевленъ и проникнутъ горячимъ юношескимъ желаніемъ приносить пользу обществу (и даже, какъ видно изъ его юношескихъ писемъ,—цѣлому человѣчеству); но влеченія къ опредѣленной профессіи не чувствовалъ. Съ лихорадочной горячностью берется онъ то за ту, то за другую дѣятельность, не удовлетворяется ничѣмъ и, переходя отъ профессіи чиновника къ упражненіямъ литературнымъ и къ

[1]) „Русское Слово“, 1859, I, 104.

испытанію своихъ силъ на сценѣ, останавливается наконецъ на учительствѣ,—кажется, преимущественно подъ вліяніемъ новаго своего знакомаго Плетнева. По крайней мѣрѣ, послѣдній съ восхищеніемъ писалъ Пушкину о своемъ нравственномъ участіи въ этомъ выборѣ Гоголемъ дѣятельности. „Надобно тебя познакомить съ молодымъ писателемъ, который обѣщаетъ что-то очень хорошее. Сперва онъ пошелъ было по гражданской службѣ, но *страсть къ педагогикѣ привела его подъ мои знамена:* онъ перешелъ въ учители“ (Соч. Плетнева, т. 3, стр. 366).

Гоголь, дѣйствительно, горячо, съ искреннимъ юношескимъ энтузіазмомъ принялся за новую дѣятельность и сталъ самостоятельно работать надъ педагогическими вопросами, о чемъ свидѣтельствуютъ и статьи его, вошедшія впослѣдствіи въ составъ „Арабесокъ“. Не фразой было въ его устахъ увѣреніе, что онъ „совершенно посвятилъ себя юнымъ питомцамъ своимъ“ (Соч. Гог., 3-е изд. наслѣдниковъ, IV т., стр. 200, примѣч.). [1]) Но это была не страсть и не одно холодное побужденіе долга; это было нѣчто среднее: отчасти временное увлеченіе новой и симпатичной ему дѣятельностью, отчасти результатъ, можетъ быть, даже безсознательнаго стремленія пойти на новомъ поприщѣ своей дорогой, отнесшись къ дѣлу самостоятельно и избѣгая рутины. Сознаніе богатыхъ душевныхъ силъ должно было одно побуждать Гоголя положиться вполнѣ на себя и искать на свой страхъ самостоятельныхъ пріемовъ и методовъ. Да и не въ натурѣ Гоголя было прибѣгать къ чужимъ мнѣніямъ или опираться на чужой опытъ (Л. И. Арнольди особенно ярко охарактеризовалъ Гоголя въ этомъ отношеніи въ своихъ воспоминаніяхъ). Но вспышка Гоголя была искусственная; это былъ только фальшивый огонь... Гоголь скоро охладѣлъ къ педагогическимъ трудамъ, чему должны были особенно способствовать его существенные, органическіе недостатки, какъ преподавателя, отмѣченные однимъ изъ его бывшихъ воспитанниковъ, М. Н. Лонгиновымъ. На учительской каѳедрѣ Гоголь являлся совсѣмъ не педагогомъ, а тѣмъ, чѣмъ онъ былъ по природѣ—художникомъ-юмористомъ: онъ умѣлъ ярко представить воображенію слушателей все, о чемъ

[1]) Цитируемъ въ настоящемъ случаѣ по старому изданію сочиненій Гоголя, такъ какъ въ изданіи Н. С. Тихонравова примѣчаніе Гоголя передъ статьей опущено и отнесено въ примѣчанія къ ней (см. стр. 603).

ни случалось ему говорить,—а говорить случалось о многомъ, даже совсѣмъ не относившемся къ предмету преподаванія, такъ какъ онъ сильно разбрасывался въ своихъ лекціяхъ,—и притомъ природный складъ ума заставлялъ его ставить вещи передъ воспитанниками ихъ смѣшной стороной, такъ что нерѣдко случалось, что серьезное занятіе превращалось въ легкую забаву, почти въ игру. Но главнѣйшимъ недостаткомъ Гоголя, какъ педагога, было все-таки его совершенное неумѣніе сосредоточиваться на одномъ и постоянные переходы отъ предмета къ предмету. Гоголь вообще на практикѣ окончательно игнорировалъ какую бы то ни было систему. Лонгиновъ разсказываетъ, что онъ любилъ манить своихъ воспитанниковъ впередъ, не удовлетворяя, а только раздражая ихъ любознательность. Между его уроками, (а впослѣдствіи и лекціями), попадались изрѣдка роскошныя праздничныя угощенія, но значительно преобладали неудобоваримыя блюда. Любопытны разсказы о его преподаваніи Лонгиновыхъ и Иваницкаго; но не менѣе интересно и собственное откровенное признаніе самого Гоголя, что во время уроковъ его „бѣдная ученица зѣвала“ [1])...

Такой же самообманъ заставилъ Гоголя искать каѳедры. По свойственной ему самонадѣянности онъ чрезвычайно преувеличивалъ и свои познанія въ области исторической науки,—хотя справедливо было, что никогда во всю свою жизнь не переставалъ съ нѣкоторымъ интересомъ читать историческія сочиненія,—и свое педагогическое искусство, отсутствіе котораго ему пришлось признать уже послѣ понесеннаго имъ убійственнаго фіаско... Сколькихъ хлопотъ стоило ему самому и его друзьямъ достиженіе этой цѣли и на какое короткое время она была достигнута!... Гоголь, какъ мы видѣли, искалъ каѳедры съ отчаяннымъ упорствомъ....

Какъ относился Гоголь къ своимъ профессорскимъ обязанностямъ, получивъ наконецъ каѳедру, ясно изъ приведенныхъ строкъ его письма къ Максимовичу: „Я тружусь, какъ лошадь, но только не надъ лекціями, которыя у насъ до сихъ поръ еще не начинались, но надъ собственно своими вещами“ (соч. Гог., изд. Кул., V т., стр. 225). Такъ говорилъ Гоголь почти наканунѣ открытія лекцій, когда онъ,

---

[1]) См. первый томъ нашего труда, стр. 332.

создавая своего безсмертнаго „Ревизора“, забывалъ обо всемъ на свѣтѣ и о самыхъ лекціяхъ, къ которымъ былъ, какъ оказалось послѣ, почти вовсе не готовъ. А за мѣсяцъ передъ тѣмъ онъ просилъ Погодина прислать его записки по всеобщей исторіи, такъ сказать, въ видѣ научнаго и педагогическаго вспомоществованія (Соч. Гог., изд. Кул., т. V, стр. 211), утверждая, впрочемъ, что онъ только на время рѣшился взять каѳедру исторіи. Не проходитъ и одного полугодія, какъ Гоголь уже принужденъ сознаться: „Я читаю одинъ, рѣшительно одинъ въ здѣшнемъ университетѣ! Никто меня не слушаетъ! Хоть бы одно студенческое существо понимало меня! Это народъ безцвѣтный, какъ самъ Петербургъ“ [1]). Тогда какъ, напротивъ, слушатели были недовольны его чтеніями. Большинство, какъ, напр., И. С. Тургеневъ, и вѣрить не хотѣли, чтобы неудачникъ-профессоръ могъ имѣть что-нибудь общее съ авторомъ „Вечеровъ на Хуторѣ близъ Диканьки“ (см. соч. Тургенева, I т., стр. 81). Къ вакаціи Гоголь долженъ былъ оставить каѳедру, а вслѣдъ затѣмъ и уроки въ Патріотическомъ институтѣ. Какъ неисправный преподаватель, пропускавшій иногда уроки по цѣлымъ мѣсяцамъ (въ началѣ учебнаго года), Гоголь былъ устраненъ отъ преподаванія, и ему не помогло даже покровительство самого Жуковскаго, къ которому онъ обратился съ слѣдующей просьбой: „Вчера я получилъ извѣщеніе изъ Петербурга о странномъ происшествіи, что мѣсто мое въ Патріотическомъ институтѣ долженствуетъ замѣститься другимъ господиномъ. Впрочемъ, Плетневъ мнѣ пишетъ, что еще о новомъ учителѣ будетъ представленіе въ августѣ мѣсяцѣ первыхъ чиселъ, и что если Императрица не согласится, чтобы мое мѣсто отдать новому учителю, то оно останется за мною. И по этому-то поводу я прибѣгаю къ вамъ, нельзя ли такъ сдѣлать, чтобы Императрица не согласилась. Она добра и, вѣрно, не согласится меня обидѣть“. („Русскій Архивъ“, 1871, № 4 и 5, стр. 948 и 949).

Вотъ въ общихъ чертахъ внѣшняя сторона педагогической дѣятельности Гоголя. Она была неудачна и очень непродолжительна: началась въ половинѣ 1831 года и прекратилась къ наступленію 1836 года.

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 228.

ГОГОЛЬ, КАКЪ ИСТОРИКЪ.

(Критическія замѣтки по поводу статьи г. Витберга).

I.

Недавняя статья г. Витберга, „Гоголь, какъ историкъ", напечатанная въ августовской книгѣ „Историческаго Вѣстника" за прошедшій годъ, стараясь дать новое оригинальное освѣщеніе какъ вообще безсмертной личности нашего великаго писателя, такъ особенно его ученой и педагогической дѣятельности (какъ преподавателя и профессора исторіи), ставитъ вопросъ объ изученіи Гоголя такъ неожиданно и смѣло, что этимъ самымъ должна вызвать разностороннее критическое обсужденіе. Для насъ лично есть, кромѣ того, особое основаніе высказать печатно мысли, родившіяся при чтеніи ея, такъ какъ мы разсматривали подробно-отчасти тотъ же періодъ жизни и литературной дѣятельности Гоголя въ предыдущей главѣ „Николай Васильевичъ Гоголь въ періодъ Арабесокъ и Миргорода", по странной прихоти случая появившейся первоначально также въ августовской книгѣ журнала „Вѣстникъ Европы" и затѣмъ перепечатанной на предыдущихъ страницахъ настоящаго труда. Естественно, что, говоря о томъ же времени и о томъ же писателѣ, мы невольно встрѣтились съ г. Витбергомъ и частью сошлись во взглядахъ, но затѣмъ во многомъ или почти во всемъ существенно расходимся. Занимаясь тѣми же вопросами, мы считаемъ себя въ правѣ, не ради полемики, но для разъясненія дѣла, пред-

ложить значительныя поправки къ взглядамъ г. Витберга, съ тѣмъ, чтобы доставить возможность критикѣ и читателямъ принять то или иное объясненіе личности Гоголя и его дѣятельности на основаніи болѣе разносторонняго и слѣдовательно болѣе гарантированнаго отъ невольныхъ ошибокъ анализа.

Напомнимъ сначала въ небольшой выпискѣ тѣ наши слова въ предыдущей главѣ, которыя наиболѣе поразительно совпадаютъ или расходятся съ мнѣніями г. Витберга. Существенное разнорѣчіе между его и моими выводами особенно бросится въ глаза, если обратить вниманіе на слѣдующія заключительныя строки предыдущей главы: „Съ внѣшней стороны главной отличительной чертой, характеризующей Гоголя въ періодъ отъ 1832 — 1835 г., какъ и въ предшествующіе (этому промежутку) два года, было стремленіе проложить себѣ дорогу, составить карьеру. Заботы объ этомъ простирались у него слишкомъ далеко, доходя, наконецъ, до претензій на университетскую каѳедру, для которой онъ не былъ вовсе подготовленъ“ [1]). Въ другомъ мѣстѣ той же главы я замѣтилъ, что „Гоголь ровно настолько интересовался исторіей, насколько она затрогивала его воображеніе и чувство“ [2]). Эти слова также не совсѣмъ согласны съ тѣмъ, что утверждаетъ г. Витбергъ, но яснѣе это будетъ видно изъ дальнѣйшаго нашего изложенія. Но вотъ мѣсто, въ которомъ, не сговариваясь съ г. Витбергомъ, не одинъ разъ вызывавшимъ меня на полемику, я совершенно схожусь съ нимъ во взглядѣ, хотя этотъ взглядъ рѣзко противорѣчитъ установившемуся мнѣнію о Гоголѣ, какъ историкѣ: „Былъ ли, однако, Гоголь искренень, когда говорилъ о своей любви къ исторіи и о намѣреніи приняться за составленіе сборника „Земля и Люди“ или за многотомный трудъ о среднихъ вѣкахъ? Кажется, что онъ не столько обманывалъ другихъ, какъ обыкновенно полагаютъ, сколько обманывался самъ въ своихъ широкихъ замыслахъ. Благоговѣя передъ Пушкинымъ до обожанія и любя исторію съ школьной скамьи, онъ дѣйствительно предполагалъ было, отчасти, можетъ быть, по слѣдамъ своего любимца-кумира, посвятить себя изученію исторіи. Мы

[1]) «Вѣстникъ Европы», 1892, VIII, 569—570; см. также выше, стр. 211.
[2]) Тамъ же, стр. 547; см. также выше, стр. 131.

затрудняемся принять мнѣніе покойнаго профессора О. Ѳ. Миллера, что своими мнимыми намѣреніями Гоголь сознательно морочилъ Погодина и Максимовича; вѣдь часто онъ не присылалъ имъ и обѣщанныхъ литературныхъ трудовъ, а ужъ въ этомъ отношеніи теперь, конечно, никто не въ правѣ подозрѣвать въ немъ хвастливаго шарлатанства“ [1]).

Эти взгляды обѣихъ статей, частью сходные, частью же, и именно въ наиболѣе существенномъ, противорѣчащіе другъ другу, и предстоитъ обсудить критикѣ, такъ какъ, полагаемъ, выясненіе личности Гоголя заслуживаетъ ея полнаго вниманія.

Въ своей послѣдней статьѣ г. Витбергъ съ своей стороны приходитъ къ такимъ заключеніямъ: во-первыхъ, къ убѣжденію въ невѣрности взгляда объ историческихъ занятіяхъ Гоголя, что они были „ничѣмъ не оправданной претензіей его на роль ученаго, для которой у него не было будто бы ни способностей, ни знанія“. Напротивъ, г. Витбергъ полагаетъ, что „увлеченіе историческими занятіями составляетъ серьезный вопросъ въ жизни Гоголя“. Затѣмъ онъ признаетъ въ Гоголѣ человѣка, увлекавшагося и въ своемъ увлеченіи создавшаго себѣ грандіозныя, широкія задачи, но вмѣстѣ съ тѣмъ человѣка, *вполнѣ искреннюю и правдивую*, слова и поступки котораго надо понимать и принимать въ прямомъ смыслѣ, не стараясь отыскивать въ нихъ того, чего въ нихъ не было“; онъ утверждаетъ далѣе, что „сильное и искреннее увлеченіе Гоголя исторіей лишаетъ насъ права насмѣшливо относиться къ его историческимъ занятіямъ и замысламъ“ и наконецъ, что Гоголь „не преувеличивалъ свои ученыя познанія“ [2]).

На этомъ и остановимся.

Замѣтимъ предварительно, что, по нашему мнѣнію, г. Витбергъ дѣлаетъ не малую логическую ошибку, восходя въ разсужденіи отъ доказательства частной мысли, помимо другихъ доказательствъ, прямо къ утвержденію общаго положенія, что́, главнымъ образомъ, думается намъ, и лишаетъ его статью того значенія, на которое она, быть можетъ, безъ того имѣла бы право. Въ самомъ дѣлѣ, мы также признаемъ искренность увлеченія исторіей у Гоголя и все-таки полагаемъ, что отсюда отнюдь не слѣдуетъ, чтобы онъ и вообще былъ „*вполнѣ* искрен-

[1]) Тамъ же, стр. 538; см. также выше, стр. 118.

[2]) См. «Историч. Вѣстникъ», 1892, VIII, 391, 400, 415 и друг.

ній и правдивый человѣкъ“ [1]). Здѣсь есть скачекъ въ ходѣ мыслей, въ виду котораго надо указать, — что́ мы и постараемся сдѣлать, — въ какой мѣрѣ, по нашему мнѣнію, г. Витбергъ правъ, и откуда въ его изложеніи начинаются не подтверждаемыя фактами и современными свидѣтельствами фальшь и измышленія. А въ существованіи крупныхъ преувеличеній и въ несогласіи выводовъ нашего противника съ словами свидѣтелей учено-педагогической дѣятельности Гоголя нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, и мы это сейчасъ покажемъ.

Во-первыхъ, самый простой вопросъ: гдѣ результаты ученой дѣятельности Гоголя? Во-вторыхъ, какъ объяснить краснорѣчивый восклицательный знакъ въ воспоминаніяхъ И. С. Тургенева при словахъ: „Гоголь преподавалъ намъ исторію въ С.-Петербургскомъ университетѣ“, и его показаніе, что всѣ студенты были убѣждены, что Гоголь „*ничего не смыслитъ въ исторіи*“. Какъ объяснить, что впечатлѣнія, вынесенныя Тургеневымъ изъ преподаванія Гоголя, были таковы, что онъ не считалъ даже возможнымъ говорить о такомъ преподаваніи и что когда онъ писалъ свои воспоминанія о Гоголѣ, то чуть было даже не позабылъ вовсе объ этомъ неудачномъ и крайне неавторитетномъ профессорствѣ. Тургеневъ признаетъ положеніе Гоголя на каѳедрѣ прямо комическимъ и удивляется, что Гоголь все-таки, оставляя каѳедру воскликнулъ: „Непризнанный, взошелъ я на каѳедру — и непризнанный схожу съ нея!“ [2]). Г. Витбергъ объясняетъ неудачу Гоголя тѣмъ, что „слушатели его, не одаренные поэтическимъ вдохновеніемъ, апатично слушали его“ [3]). Полагаю, однако, что Тургенева трудно упрекнуть *въ недостаткѣ именно поэтическаго вдохнове-*

---

[1]) Замѣтимъ, что *полной* искренности не признавалъ въ Гоголѣ ни Данилевскій, ни другія лица, которыя знали его лично и *любили*, ни даже его близкіе родственники, признававшіе его скрытность, не составляющую, впрочемъ, порока, но являющуюся просто чертой личнаго характера Гоголя. Но особенно г. Витбергъ совершенно напрасно забылъ о воспоминаніяхъ Анненкова и его статью по поводу труда о Гоголѣ г. Кулиша. Всего курьезнѣе, что г. Витбергъ полагаетъ, будто онъ-то именно и понялъ „психически“ характеръ Гоголя, примѣнивъ къ разъясненію его слова Крылова: „Ларчикъ просто открывался“. *Всѣмъ* самымъ близкимъ людямъ характеръ Гоголя казался скрытымъ, но вѣдь что́ же изъ этого? Они всѣ ошиблись, а правъ одинъ г. Витбергъ!

[2]) См. Соч. И. С. Тургенева. Посмертное изд., 1883 г., т. I, стр. 80—81.

[3]) „Истор. Вѣстн. 1892 г., VIII, 422.

нія, котораго притомъ нельзя же требовать непремѣнно отъ всѣхъ студентовъ. Значитъ, если мы рѣшимся даже никому кромѣ Гоголя не вѣрить, какъ рекомендуетъ г. Витбергъ, то и въ такомъ случаѣ самъ Гоголь возражаетъ этому своему неумѣлому защитнику слѣдующими словами: „*никто* меня не слушаетъ, *ни на одномъ ни разу* не встрѣтилъ я, чтобы поразила его яркая истина“ [1]). По словамъ Иваницкаго, „какими-то сонными глазами смотрѣлъ Гоголь на прошедшіе вѣка и отжившія племена“. Никитенко сообщалъ въ дневникѣ, что Гоголь читалъ такъ неудовлетворительно и вяло, что начальство опасалось непріятностей со стороны студентовъ. Въ этомъ же родѣ были отзывы г. Колмакова въ „Русской Старинѣ“, и только одинъ голосъ говоритъ хотя немного въ пользу Гоголя, какъ ученаго и профессора, о чемъ скажемъ ниже [2]).

Какимъ же образомъ г. Витбергъ находитъ возможнымъ на все это не обращать вниманія?... Въ своей направленной противъ меня брошюрѣ „Н. В. Гоголь и его новый біографъ“ г. Витбергъ, не разъ упрекающій меня въ мнимой непослѣдовательности и въ воображаемыхъ противорѣчіяхъ, желаетъ безъ всякихъ оговорокъ категорическаго признанія Гоголя или искреннимъ, или неискреннимъ. Но вѣдь въ томъ-то и дѣло, что существуютъ промежуточныя ступени, и легко сказать, что Гоголь былъ *вполнѣ искреннимъ и правдивымъ человѣкомъ* и что онъ имѣлъ *достаточно знаній, чтобы быть ученымъ*; но какъ напр., доказать послѣднее, когда положительно извѣстно, что онъ, будучи профессоромъ, по недостатку научныхъ свѣдѣній, нерѣдко бывалъ вынуждаемъ даже просто прибѣгать къ манкировкамъ лекцій. Чтобы показать яснѣе грань, отдѣляющую основательные выводы г. Витберга отъ его ошибокъ и натяжекъ, остановлюсь подробно на разъясненіи послѣднихъ.

Прежде всего, говоря о Гоголѣ, какъ профессорѣ, г. Витбергъ отвергаетъ несомнѣнно справедливый, хотя и невыгодный для Гоголя отзывъ объ его профессурѣ покойнаго профессора Васильева, отзывъ совершенно справедливый и вполнѣ согласный со всѣми извѣстными намъ отзывами какъ слушателей, такъ и товарищей Гоголя. При этомъ надо вспомнить,

---

[1]) «Соч. и письма Гоголя», т V, стр. 228.

[2]) Отзывъ Колмакова см. въ его прошлогднихъ воспоминаніяхъ въ «Русской Старинѣ». Сравнительно благопріятный для Гоголя отзывъ, который мы приведемъ ниже, см. также въ «Русской Старинѣ», 1881 г., V, 157—158.

что „Исторія Императорскаго С.-Петербургскаго университета“ была трудомъ юбилейнымъ и что въ этомъ трудѣ всюду замѣчается скорѣе давно уже указанный критикой и признанный панегирическій тонъ, слѣд. здѣсь нѣтъ причинъ искать какихъ-либо отягчающихъ отзывовъ [1]), и притомъ, наконецъ, профессоръ Васильевъ былъ однимъ изъ слушателей Гоголя и несомнѣнно слушалъ [illegible] наиболѣе даровитыхъ, такъ что нельзя допустить, чтобы онъ слишкомъ ужъ грубо ошибся въ оцѣнкѣ своего профессора. Г. Витбергъ обѣщаетъ опровергнуть этотъ взглядъ профессора Васильева, какъ будто только съ нимъ приходится считаться, и, конечно, не опровергаетъ, потому что притязанія Гоголя на каѳедру были, внѣ всякаго сомнѣнія, „ничѣмъ не оправданной претензіей“, да и г. Витбергъ, между прочимъ такъ усердно силящійся уличать меня въ противорѣчіяхъ, впадаетъ самъ въ капитальное противорѣчіе, будучи вынужденъ признать въ концѣ статьи, что „*Гоголь и не смогъ справиться съ задачей, за которую взялся по увлеченію*“. Но почему не смогъ? Потому конечно, что блестящія мѣста, промелькнувшія нѣсколько разъ въ его университетскихъ чтеніяхъ, „были плодомъ вдохновенія, а не изученія“, т. е. какъ разъ причина неуспѣха была та, которую именно и указывалъ покойный профессоръ Васильевъ и которая обыкновенно и, конечно, вполнѣ справедливо признается и принимается всѣми. Затѣмъ все, что̀ говоритъ г. Витбергъ о вліяніи на Гоголя его темперамента, его увлеченій, о происшедшихъ отсюда его профессорскихъ неудачахъ,—все это уже было сказано нами три года тому назадъ въ статьѣ:“ „Н. В. Гоголь и его письмо къ В. А. Жуковскому“, откуда приведемъ нѣсколько строкъ, относящихся сюда: „Сдѣлавшись на короткое время профессоромъ, Гоголь во всякомъ случаѣ не ожидалъ той убійственной неудачи, которая заставила его такъ скоро оставить избранное поприще. Рискованное притязаніе его возбуждало не разъ строгія порицанія и обвиненія въ недобросовѣстности, но, намъ кажется, что въ данномъ случаѣ“ [2]) (какъ во всѣхъ другихъ,—*разъясненію чего и посвящена вся цитируемая статья*) „немаловажную роль играли обычныя грандіозныя иллюзіи Гоголя, не сдѣлавшаго строгой

[1]) Сужденіе объ этой книгѣ см. въ статьѣ В. Д. Спасовича „Пятидесятилѣтіе Спб. университета“ („Вѣст. Евр.“, 1870, IV и V).

[2]) „Истор. Вѣстникъ“, 1892, VIII, 421.

оцѣнки себѣ подъ вліяніемъ того почетнаго положенія, которое ему удалось слишкомъ скоро и безъ особеннаго труда занять среди людей, составлявшихъ цвѣтъ современной литературы" [1]).

Вся оригинальность взгляда г. Витберга заключается въ томъ, что, по его мнѣнію, нельзя согласиться, что Гоголь не сдѣлалъ себѣ строгой оцѣнки.

Г. Витбергъ считаетъ Гоголя имѣвшимъ *дѣйствительное право на каѳедру по своимъ знаніямъ*, а его увлеченіе какъ будто отказывается признать иллюзіей. Онъ оправдываетъ промахъ Гоголя также,—хотя это уже явное и большое противорѣчіе,—легкостью взглядовъ тѣхъ людей, которые внушили ему будто бы мысль о каѳедрѣ. Но пусть будетъ такъ, это нисколько, однако, не измѣняетъ сущности дѣла, хотя, конечно, является въ значительной степени смягчающимъ обстоятельствомъ для Гоголя. Въ сущности это рисуетъ только состояніе нашего образованія въ тридцатыхъ годахъ и показываетъ, что ошибка Гоголя, свидѣтельствуя о крайней его самоувѣренности, вмѣстѣ съ тѣмъ выдаетъ намъ и легкій взглядъ на науку и университетское образованіе со стороны многихъ другихъ людей, которымъ это было *несравненно менѣе извинительно*, чѣмъ болѣе юному и менѣе образованному Гоголю, хотя, какъ увидимъ, и для нихъ могло бы найтись нѣкоторое оправданіе во внѣшнемъ эффектѣ, произведенномъ на всѣхъ нихъ въ бо́льшей или меньшей мѣрѣ словами и увлеченіемъ Гоголя.

Для роли ученаго у Гоголя, всеконечно, не было ни призванія, ни знаній, да и судить объ этомъ было удобнѣе современникамъ, нежели намъ, только и почерпающимъ отъ нихъ сужденія объ его профессорствѣ, ибо ученыхъ трудовъ въ строгомъ смыслѣ слова отъ него не осталось. Это во всякомъ случаѣ фактъ, о которомъ нельзя забывать. Вотъ если бы они нашлись, каковы бы они ни были, тогда мы еще могли бы повѣрить г. Витбергу и его произвольнымъ выводамъ и разсужденіямъ. Но изъ того, что у Гоголя были подъ руками тѣ же книги, какъ и у Бантыша-Каменскаго [2]), ровно ничего не слѣдуетъ; изъ этого можно съ увѣренностью вывести единственно то заключеніе, что въ самомъ дѣлѣ онъ

[1]) См. „Вѣстн. Европы", 1890, XII, стр. 600.

[2]) „Истор. Вѣстникъ", 1892, VIII, стр. 412.

до извѣстной степени занимался исторіей Малороссіи, въ чемъ, впрочемъ, и безъ того нѣтъ сомнѣнія,—полагаю, однако, отнюдь не имѣя равной эрудиціи съ Бантышъ-Каменскимъ. Но вѣдь все это указываетъ больше на приготовленіе къ ученымъ трудамъ, нежели на ихъ исполненіе. Г. Тихонравовъ, конечно не безъ основанія, вопреки всѣмъ сомнѣніямъ г. Витберга, утверждаетъ, что исторія Малороссіи не была вовсе написана Гоголемъ; разумѣется, если бы оказались слѣды ея, то мнѣніе наше должно было бы измѣниться, *но ихъ нѣтъ*; а что Гоголь объявлялъ, будто половина его исторіи уже готова, то это было сдѣлано, безъ сомнѣнія, между прочимъ для того, чтобы ему охотнѣе присылали матеріалы [1]); также какъ и ссылка его на попреки, будто „слогъ горитъ въ его исторіи и не исторически жгучъ и живъ“,—ровно ничего не доказываетъ, какъ и согласіе этихъ словъ съ его убѣжденіемъ, что слогъ профессора долженъ быть огненный: понятно, что,—по выраженію Погодина, „разсказывая чудеса“,—Гоголь представлялъ осуществленнымъ въ дѣйствительности именно то, что̀ прямо соотвѣтствовало его идеалу. Г. Витбергъ доказываетъ далѣе, что и Бѣлинскій не всегда исполнялъ обѣщанное имъ печатно; но напрасно онъ забываетъ, что есть разница между невольнымъ неисполненіемъ намѣренія и публичнымъ объявленіемъ о томъ, что́ только еще имѣетъ быть сдѣлано, но чего на самомъ дѣлѣ еще нѣтъ. Но намъ тяжело говорить объ этомъ, и не мы, конечно, заботимся объ умаленіи славы и репутаціи Гоголя. Даже приводя всѣ предыдущія соображенія, мы далеки отъ призыва нашего великаго и по истинѣ дорогого покойника на судъ мелочной и придирчивой критики. Гоголь, конечно, былъ не свободенъ отъ слабостей, которыя не зачѣмъ злорадно раздувать и которыя вовсе не даютъ намъ права надѣвать на себя маску непогрѣшимости и громить его за каждое слово, за каждую обмолвку, за преждевременную публикацію. И совсѣмъ не къ тому мы клонимъ рѣчь. Не злоба или зависть побуждаетъ насъ указывать *несовершенства* въ личномъ характерѣ Гоголя и его неподготовленность къ ученой карьерѣ; напротивъ, мы всегда были и будемъ за освобожденіе его памяти отъ преувеличен-

[1]) Отчасти же, какъ было сказано выше, подъ вліяніемъ самоувѣреннаго увлеченія, побуждавшаго Гоголя заранѣе вѣрить въ успѣхъ своего предпріятія.

ныхъ, а часто и вовсе *незаслуженныхъ* укоровъ, которыми иные хотѣли бы омрачить память его въ потомствѣ, и мы вполнѣ сочувствуемъ желанію г. Витберга возвысить свой голосъ въ пользу Гоголя. Но пусть г. Витбергъ не забываетъ одного— что, переходя должную мѣру въ законномъ оправданіи Гоголя и начиная безтактно ссориться съ истиной, онъ служитъ на самомъ дѣлѣ цѣлямъ, совершенно противоположнымъ той, какую имѣетъ въ виду, и подаетъ руку врагамъ памяти Гоголя, если таковые есть. Въ окончательномъ результатѣ, пріятная или печальная, истина восторжествуетъ, а крайнія мнѣнія, идущія въ разрѣзъ съ фактами, отдаляютъ, но не приближаютъ время этого торжества. Освобождая память Гоголя отъ несправедливыхъ нареканій, надо дѣйствовать осмотрительно, чтобы не повредить напрасно тому самому дѣлу, которому служишь. Г. Витбергъ основательно говоритъ, что противъ Гоголя упорно держатся нѣкоторыя несправедливыя предубѣжденія; но дѣло здѣсь касается *степени и значенія*, а никакъ не *самаго вопроса* о существованіи у Гоголя недостатковъ.

По мѣрѣ ближайшаго ознакомленія съ фактами намъ не разъ приходилось убѣждаться, что нельзя вѣрить безусловно *всѣмъ словамъ* Гоголя, какъ это предлагаетъ г. Витбергъ, показывая самъ примѣръ тому своимъ довѣріемъ даже чуть не къ жалобамъ Гоголя на его слушателей, которые являются теперь виноватыми въ неуспѣхахъ его преподаванія, наконецъ довѣріемъ въ томъ, что Гоголь собирался когда-то, тотчасъ послѣ школьной скамьи, какъ писалъ онъ матери, переводить свой историческій трудъ на иностранные языки, которыхъ тогда вовсе или почти вовсе не зналъ. Да вѣдь Маріѣ Ивановнѣ такъ необходимо было написать, чтобы она была поаккуратнѣе и прониклась важностью дѣла; да вѣдь и хитрость-то эта была не только невинная, но и *прямо законная*; къ чему же заходить въ дебри ложныхъ выводовъ ради принципа принимать безусловно каждое слово Гоголя! Неужели г. Витбергъ, не допускающій середины между крайними мнѣніями, ради принципа прямолинейности станетъ въ слѣдующей статьѣ доказывать, что Гоголь говорилъ правду и тогда, когда для успокоенія своей мнительной матери увѣрялъ ее, будто „самъ государь занимаетъ комнаты не ниже его комнаты“, и наконецъ, что „весь городъ боленъ кашлемъ“ [1]). Есть

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 120 и 199.

кромѣ того собственное свидѣтельство Гоголя, что онъ напр. польстилъ Андрею Андреевичу Трощинскому, и *нѣсколько разъ* Гоголь говоритъ о своемъ хвастовствѣ [1]). Конечно, я говорю эти послѣднія слова не съ цѣлью придать значеніе случайной и незначительной обмолвкѣ Гоголя и хочу только убѣдить г. Витберга, что уже теперешняя, совершенно не нужная ни для дѣла, ни для репутаціи Гоголя, его безусловная довѣрчивость къ каждой обмолвкѣ нашего писателя становится просто фантастической. Скажемъ прямо: вѣрить безусловно каждому слову Гоголя, какъ предлагаетъ г. Витбергъ, совершенно нельзя, какъ невозможно видѣть только свѣтлыя стороны его личности, *не зачѣмъ и нельзя*, потому что, вступивъ на этотъ невѣроятный путь, мы неизбѣжно увидимъ противъ себя многочисленныя показанія современниковъ Гоголя [2]), его собственныя иногда слишкомъ, позволю себѣ такъ выразиться, не осмотрительныя выраженія и такія письма, какъ къ Дмитріеву, Демидову, Уварову и другія. Какъ объяснить въ самомъ дѣлѣ неумѣренныя похвалы Гоголя Погодину въ началѣ ихъ знакомства, (что бы Погодинъ ни написалъ, всѣ его „Мареы“, „Борисы“, „Петры“ непремѣнно приводили Гоголя въ восторгъ, но только до поры до времени) и проч. и проч.? Можно еще, пожалуй, вѣрить въ существованіе исторіи Малороссіи, которая вдругъ да гдѣ-нибудь и найдется; но какъ быть съ существующими фактами и опубликованными письмами, и матеріалами, гдѣ попадаются такія выраженія, какъ напр. „расплевался съ университетомъ“ и друг.? Какъ быть съ тѣмъ, что, лишь-только Гоголь заговоритъ о карьерѣ или протекціи, а также и во многихъ другихъ случаяхъ, какъ у него являются выраженія, вродѣ слѣдующихъ: „*Я рѣшился не зѣвать*,“ „*пронюхай*, что́ есть путнаго въ библіотекахъ“, затѣмъ его совѣты „*отжилить* каѳедру“ и проч. Я согласенъ и утверждаю, что все это было неумѣренностью въ выраженіяхъ, и что иногда самый безукоризненный человѣкъ въ нравственномъ отношеніи можетъ поражать распущенностью рѣчи, и именно такъ *въ значительной степени* было и у Гоголя; но все же у Гоголя довольно часты, особенно въ его петербургскій періодъ, нѣ-

[1]) Тамъ же, стр. 98, 159, 207—208.

[2]) Они еще вновь появляются; напр., воспом. сына Погодина, воспоминанія А. Д. Галахова, воспоминанія Ѳ. И. Буслаева и проч.

сколько неумѣренныя выраженія, доказывающія его напряженныя заботы прежде всего о карьерѣ и о лучшемъ устройствѣ своей судьбы. Во многихъ случаяхъ онъ бывалъ слишкомъ откровененъ на бумагѣ; но да не подумаетъ г. Витбергъ, что я подтверждаю на этотъ разъ его мнѣніе: Гоголь былъ откровененъ въ выраженіяхъ, когда дѣйствовалъ съ кѣмъ-нибудь сообща, преслѣдуя общіе интересы и обыкновенно энергически научая, какъ надо поступать. Надо прибавить еще— научая нѣсколько лукаво. Здѣсь важна, конечно, не хитрость собственно, какъ нравственный недостатокъ, но просто какъ особенность характера. Не одинъ Гоголь добивался хорошаго мѣста, извѣстности, каѳедры... Но едва ли кому-нибудь удастся доказать, что характеръ его былъ вполнѣ искренній, правдивый и открытый.

II.

Обращаюсь къ частностямъ. Во всѣхъ приведенныхъ выше положеніяхъ г. Витберга есть доля правды, но есть также— преувеличенія и ошибки. Г. Витбергъ говоритъ, что „увлеченіе историческими занятіями составляетъ весьма серьезный вопросъ въ жизни Гоголя". Едва ли это вѣрно. Что Гоголь занимался исторіей съ любовью и нѣкоторымъ увлеченіемъ, это не подлежитъ никакому сомнѣнію; что въ своемъ увлеченіи онъ былъ готовъ одно время признать занятія исторіей своимъ истиннымъ призваніемъ и никого въ этомъ не обманывалъ, когда говорилъ это, — тоже правда; но вотъ съ чѣмъ нельзя согласиться: не говоря уже о томъ, что есть разные виды и степени увлеченія,—что̀ непремѣнно надо имѣть въ виду, ибо вообще нельзя отрицать степеней и оттѣнковъ, что̀ бы ни говорилъ г. Витбергъ,—ничѣмъ не можетъ быть доказано, что увлеченіе Гоголя было *сильное*, какъ это почему-то силится доказать г. Витбергъ, а если оно и бывало сильно временами, то навѣрно не имѣло права на то, чтобы ему было присвоено серьезно такое безусловное опредѣленіе степени его напряженности. Намъ кажется, что невозможно называть серьезнымъ вопросомъ жизни недолгое и въ собственныхъ глазахъ преувеличенное, хотя бы и не лишенное пламенныхъ порывовъ и сильныхъ вспышекъ увлеченіе. Увлеченіе можетъ быть продолжительное или мгновенное и наконецъ то

вспыхивающее, то угасающее. Увлеченіе Гоголя можно отнести къ послѣдней категоріи. Надо знать, какъ именно началось увлеченіе Гоголя, въ чемъ проявилось и чѣмъ кончилось.

Когда Гоголь пріѣхалъ изъ Нѣжина въ Петербургъ, то онъ вовсе не такъ скоро и непосредственно обратился къ историческимъ занятіямъ, какъ предполагаетъ г. Витбергъ, (хотя именно та часть статьи, гдѣ онъ говоритъ о возникновеніи интереса Гоголя къ исторіи, представляется намъ наиболѣе интересной и свободной отъ промаховъ). Мы не можемъ согласиться, что уже съ самаго начала, собирая черезъ родныхъ этнографическіе матеріалы, Гоголь имѣлъ въ виду *собственно* и главнымъ образомъ историческія занятія. Мы положительно утверждаемъ напротивъ, что онъ подготовлялъ въ то же время также и матеріалы для литературныхъ произведеній, т. е. для „Вечеровъ“, (какъ это показано въ главѣ „Н. В. Гоголь въ началѣ литературной карьеры“ въ первомъ томѣ нашихъ „Матеріаловъ“, гдѣ приведено и сгруппировано много подтвержденій этого взгляда); и съ другой стороны, мы рѣшительно противъ признанія той степени прочной устойчивости и строгой опредѣленности плановъ Гоголя въ отношеніи его занятій исторіей, о какой говоритъ г. Витбергъ. Въ своемъ предположеніи онъ заходитъ даже черезчуръ далеко. Правда, онъ справедливо указываетъ, что еще въ гимназіи Гоголь увлекался отчасти занятіями исторіей, но натяжка тотчасъ же даетъ себя знать и чувствуется въ выраженіи: „хотя поэтическая дѣятельность Гоголя началась еще въ Нѣжинской гимназіи, но своимъ поэтическимъ опытамъ онъ не придавалъ никакого значенія, увлекаясь преимущественно занятіями историческими“ [1]). Можно заключить, что еще мальчикомъ Гоголь зналъ

Одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть,

но въ сущности онъ скорѣе съ живымъ интересомъ слушалъ иногда разсказы преподавателя или читалъ что-нибудь относящееся къ исторіи, собиралъ кое-какіе историческіе матеріалы, разумѣется, какъ юноша, безъ особенно серьезной цѣли

[1]) „Историч. Вѣстн.“ 1890, VIII. стр. 302.

и системы. Но онъ относился къ занятіямъ исторіей, какъ дилеттантъ, да и позднѣе въ этомъ отношеніи былъ не больше, чѣмъ дилеттантъ. Если я употребляю такое выраженіе относительно юноши, то въ томъ, конечно, смыслѣ, что и у подростковъ замѣчается иногда способность или время отъ времени живо заинтересоваться чѣмъ-нибудь, или же иногда даже *настоящее*, истинное и прочное увлеченіе, разумѣется въ этомъ возрастѣ гораздо болѣе рѣдкое. Конечно, я лично отъ себя ничего не рѣшаюсь утверждать окончательно въ данномъ отношеніи, что̀ было бы, можетъ быть, слишкомъ смѣло; но въ прежнихъ статьяхъ я на страницахъ журналовъ имѣлъ случаи приводить отзывы о страсти Гоголя къ исторіи, слышанные мною отъ его школьнаго товарища Данилевскаго. Вотъ какъ *на основаніи его словъ* я старался охарактеризовать эту страсть: „По свидѣтельству друга Гоголя, покойнаго А. С. Данилевскаго, еще изъ школы вынесъ Гоголь не мало свѣдѣній по исторіи; но эти свѣдѣнія ему удалось пріобрѣсти помимо правильныхъ занятій и усидчиваго труда; они были схвачены имъ, такъ сказать на лету, при чемъ богатое воображеніе даровитаго отрока тотчасъ облекало пріобрѣтаемыя разрозненныя познанія въ яркіе, живые образы. Онъ могъ знать, впрочемъ, сравнительно и немного, но несомнѣнно, что все то, что̀ онъ узнавалъ, рисовалось ему въ характерныхъ своихъ признакахъ". Данилевскій признавалъ за своимъ нѣжинскимъ товарищемъ достаточныя познанія по исторіи, но въ научномъ отношеніи вообще отмѣчалъ несомнѣнную разницу между нимъ съ одной стороны и Рѣдкинымъ и Кукольникомъ съ другой, въ пользу послѣднихъ. Правда, что точныхъ разспросовъ о превосходствѣ познаній послѣднихъ *именно въ области исторіи* я не дѣлалъ; но у насъ есть другія данныя о Гоголѣ-ученикѣ. По словамъ А. С. Данилевскаго, въ старшемъ классѣ преподаватель исторіи Бѣлоусовъ сталъ отличать Гоголя отъ другихъ учениковъ, приглашалъ его къ себѣ на домъ и всячески поощрялъ его любознательность; [2]) но при всемъ томъ даже въ послѣднемъ году отмѣтки Гоголя и по этому любимому предмету *были весьма не высоки*. Въ оф

[1]) „Вѣстникъ Европы", [illegible] XII, 600. Оговорка въ концѣ приведенныхъ словъ имѣетъ въ виду возможное преувеличеніе степени историческихъ познаній въ устахъ пристрастнаго товарища, но не служитъ поправкой къ нимъ.

[2]) Объ этомъ см. между прочимъ „Истор. Вѣстн.", 1892, XII, стр. 695.

фиціальныхъ свѣдѣніяхъ объ успѣхахъ Гоголя въ Нѣжинской гимназіи высшихъ наукъ, сообщенныхъ въ 3-емъ приложеніи къ обстоятельной статьѣ профессора Лавровскаго, изъ приложенной къ ней таблицы, видимъ, что *даже передъ концомъ учебнаго курса,* когда Гоголь принялся за работу съ усиленной энергіей, онъ получалъ *только среднія отмѣтки по всѣмъ отдѣламъ исторіи, кромѣ средневѣковой, на которой имѣлъ даже прямо неудовлетворительные баллы, и только на окончательномъ экзаменѣ получилъ вездѣ высшую отмѣтку 4* [1]). Мы не хотѣли бы вносить такихъ мелочныхъ указаній въ наши „Матеріалы", да и вообще прибѣгаемъ къ столь неустойчивымъ даннымъ, какъ цифровыя отмѣтки, весьма неохотно; но кромѣ приведеннаго свидѣтельства Данилевскаго и этихъ отмѣтокъ, къ сожалѣнію, не имѣется никакихъ данныхъ для сужденія о настоящемъ вопросѣ. Во всякомъ случаѣ дѣлать противоположныя заключенія нѣтъ никакого основательнаго резона.

Позволимъ себѣ, однако, на основаніи слышанныхъ нами разсказовъ о Гоголѣ отъ Данилевскаго, пояснить приблизительно вынесенное изъ нихъ впечатлѣніе, съ той необходимой оговоркой, что развитіе мысли въ подробностяхъ принадлежитъ уже намъ и представляетъ наше *личное* предположеніе, которое имѣетъ за себя лишь общее сходство съ выше отмѣченнымъ нами сообщеніемъ покойнаго друга и товарища Гоголя. Прежде всего намъ припоминается въ связи съ характеристикой увлеченія исторіей у Гоголя, сдѣланной Данилевскимъ, общеизвѣстный фактъ еще болѣе сильнаго увлеченія его романами Вальтеръ Скотта. Еще подъ вліяніемъ разсказа Данилевскаго и такихъ яркихъ картинъ въ лекціи Гоголя о среднихъ вѣкахъ, какъ прекрасное изображеніе жилища алхимика, мы писали: „И во всемъ, что̀ слышалъ нѣкогда Гоголь на урокахъ исторіи, должны были дышать тѣ же полныя жизни и красокъ картины". Т. е., слушая разсказъ преподавателя, Гоголь иногда уносился мысленно въ отдаленныя страны и времена; поэтическое его воображеніе съ поразительной ясностью яркими красками рисовало ему всю обстановку дѣйствія, облекало возставшія передъ нимъ фигуры и живыхъ людей въ ихъ національный костюмъ и об-

[1]) См. „Извѣстія Историко-Филологич. Института", т. III, 1879, неоффиціальный отдѣлъ, стр. 243. Впрочемъ Гоголь иногда въ среднихъ классахъ имѣлъ хорошія отмѣтки по исторіи, но вообще отмѣтки его колебались.

ставляло, насколько это позволялъ уровень познаній Гоголя, всю картину характеристическими признаками вѣка, улавливая мелкія живописныя черты окружающаго ландшафта и доходя до яркой эффектной обрисовки общаго фона этой картины, до воспроизведенія мелочей, вродѣ человѣческихъ тѣлодвиженій, оживленныхъ жестовъ, загара лица, складокъ и покроя плаща. Торжественное или мрачное, оживленное или вялое настроеніе толпы, восточная пестрота или роскошь юга—все это, вѣроятно, также, какъ бы повинуясь какому-то волшебному жезлу, отчетливо рисовалось Гоголю. Однимъ словомъ, въ его воображеніи воскресалъ яркій внѣшній обликъ прежнихъ вѣковъ; все передъ нимъ какъ бы двигалось и дышало. Именно такіе яркіе и, такъ сказать, слившіеся въ одну картину образы, въ которыхъ въ высшей степени характерна всякая мелочь, должны были возникать въ воображеніи Гоголя-юноши, какъ будущаго художника, и проноситься передъ его умственнымъ взоромъ, когда онъ слушалъ преподаваніе или читалъ любопытныя историческія сочиненія. Но тутъ-же замѣтимъ, что интересъ Гоголя къ исторіи всегда поддерживался преимущественно этой прихотливой работой или игрой фантазіи, что, очевидно, исключало возможность сформированія въ немъ серьезнаго ученаго. Имѣя несомнѣнное преимущество передъ учеными спеціалистами въ тѣхъ случаяхъ, когда къ его услугамъ являлась игра богатаго воображенія, онъ въ остальное время, разумѣется, во всемъ уступалъ имъ. Слушая учителя, юноша-Гоголь на основаніи его словъ, по всей вѣроятности, представлялъ себѣ картины прошлаго гораздо живѣе, ярче и характернѣе самого разсказывающаго, и этой же своей способностью впослѣдствіи онъ поражалъ также и затмевалъ въ иныя минуты даже серьезныхъ спеціалистовъ и знатоковъ вродѣ Погодина. Но воображеніе, показывая нашему поэту прошлые вѣка словно въ волшебномъ фонарѣ, и развертывая передъ нимъ одну за другой чудныя картины, во-первыхъ представляло ихъ по необходимости не точно, и слѣдовательно *уже потому* Гоголь не могъ сдѣлаться *настоящимъ историкомъ*, и во-вторыхъ, дѣятельность фантазіи почти не находится въ нашемъ распоряженіи: сегодня она, воспламененная какой-нибудь искрой, работаетъ на славу и разсыпаетъ свои дары съ истинно царской щедростью, а завтра угасла и смотритъ неумолимымъ скупцомъ. Въ

этомъ-то и была, конечно, причина того, что Гоголь на однихъ и тѣхъ же людей производилъ въ разное время неодинаковое впечатлѣніе не только разными сторонами нравственной своей личности, но и въ силу неодинаковаго настроенія или воодушевленія.

III.

Далѣе г. Витбергъ довольно кстати указываетъ, что, еще бывши нѣжинскимъ гимназистомъ и пріѣзжая домой на каникулы, Гоголь, по собственной охотѣ, училъ сестеръ исторіи и географіи. Это, конечно, весьма важный фактъ, ясно свидѣтельствующій о любви его къ названнымъ предметамъ, а отчасти и къ педагогическимъ занятіямъ, хотя опять отъ этихъ юношескихъ порывовъ до истиннаго призванія еще очень и очень далеко. Но чтобы представить дѣло въ его настоящихъ размѣрахъ, необходимо тотчасъ же вспомнить, что все это говоритъ единственно о характерѣ его наклонностей, но еще *далеко не служитъ ручательствомъ за ихъ устойчивость и силу*. Мы уже знаемъ, что впослѣдствіи Гоголь самъ говорилъ о себѣ, что онъ не созданъ педагогомъ и что считалъ свое педагогическое прошлое одной изъ наиболѣе печальныхъ и крупныхъ ошибокъ своей жизни. Правда, Гоголь какъ будто интересовался уже на школьной скамьѣ собираніемъ историческихъ матеріаловъ, именно въ то время, когда у него начали складываться опредѣленные вкусы, (весьма важные, конечно, для его будущей нравственной физіономіи, хотя это были *пока только вкусы неустановившагося юноши*); но Гоголь въ то же время увлекался и театромъ, и изданіемъ школьнаго журнала, и многимъ другимъ, а думать серьезно начиналъ уже о блестящихъ успѣхахъ на поприщѣ государственной службы. Г. Витбергъ не правъ особенно въ томъ, что слишкомъ односторонне и преувеличенно выдвигаетъ въ данный и въ позднѣйшій періодъ именно историческія увлеченія Гоголя, иногда не уберегаясь отъ капитальныхъ натяжекъ, хотя, правда, внѣ своеобразной постановки вопроса статья его сразу потеряла бы совершенно занимательность и оригинальность. Кромѣ того, мы позволили бы себѣ сдѣлать особенное удареніе при обсужденіи даннаго вопроса на томъ, что вѣдь Гоголь вовсе не былъ такъ постояненъ и послѣдователенъ вообще въ своихъ

увлеченіяхъ, а въ частности и въ своемъ увлеченіи исторіей, какъ это воображается г. Витбергу, который не разъ совсѣмъ неудачно повторяетъ, что *сознательно* Гоголь съ увлеченіемъ въ первые годы петербургской жизни предавался занятіямъ исторіей, а безсознательно служилъ своей музѣ. [1])

Вполнѣ ли это такъ? Дѣйствительно ли Гоголь настолько отдавался исторіи? дѣйствительно ли совершенно опредѣленно онъ поставилъ себѣ цѣль, которой и оставался безусловно вѣренъ, пока не выяснилось окончательно его призваніе? Мы отвѣтили бы на это отрицательно. и вотъ почему: какъ въ Нѣжинѣ, такъ и потомъ Гоголь продолжалъ увлекаться по временамъ *въ разныхъ направленіяхъ:* онъ думалъ и о театрѣ, о живописи [2]), о путешествіи и о литературѣ,—какъ бы ни доказывалъ противное г. Витбергъ, исходящій изъ вѣрнаго основанія, но, какъ и въ остальныхъ случаяхъ, впадающій въ крайность. Только *однимъ* изъ увлеченій Гоголя было его увлеченіе исторіей, и это увлеченіе, не будучи исключительнымъ, не было также особенно устойчивымъ.

Собственно для болѣе знакомыхъ съ біографіей Гоголя это не требуетъ никакихъ поясненій, но для большой публики приведемъ хотя бы собственныя слова Гоголя, переданныя въ статьѣ г. Мундта: „На вопросъ, почему Гоголь желаетъ избрать сценическую карьеру, онъ такъ отвѣчалъ Храповицкому: „я человѣкъ не богатый, служба врядъ ли можетъ обезпечить меня; мнѣ кажется, что я не гожусь для нея; къ *тому же я чувствую призваніе къ театру*“. („С.-Петер. Вѣдомости“, 1861, № 235). Говоря эти слова, Гоголь, очевидно, и не думалъ о томъ, что *будто бы еще въ юности* опредѣленно и *сознательно* намѣтилъ своимъ признаніемъ изученіе исторіи (?!) Какъ ни перетолковывай эти слова, а они одни уже опровергаютъ г. Витберга. Мы бы привели и другія доказательства, но намъ кажется и безъ того непріятнымъ гораздо больше удѣлять мѣста опроверженіямъ нашего оппонента, нежели мы желали бы это допустить въ своей книгѣ...

Если бы мы захотѣли дать себѣ спокойный отчетъ въ томъ, какая была причина *по крайней мѣрѣ сравнительной устойчивости* увлеченія Гоголя исторіей, то едва ли не пришлось бы

[1]) „Истор. Вѣстн.“, 1892, VIII. стр. 392, 396 и проч.

[2]) См. „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 115.

признать, что большую роль играли здѣсь чисто внѣшнія обстоятельства и временное оффиціальное положеніе Гоголя. Лишь-только Гоголь оставилъ каѳедру, какъ это увлеченіе, не исчезая, впрочемъ, совсѣмъ, тотчасъ же отошло, однако, на дальній планъ [1]). И такъ это вовсе не было увлеченіе ровное и, такъ сказать, выдержанное, но скорѣе *подогрѣтое и раздутое*. По своему возрасту и темпераменту, по своей пылкой южной натурѣ, Гоголь былъ весьма склоненъ къ энтузіазму, и притомъ не только къ бурнымъ минутнымъ вспышкамъ, но и къ болѣе или менѣе продолжительному возбужденію, и все-таки порывы увлеченія въ немъ проходили и вновь пробуждались, какъ мы видѣли, въ весьма большой зависимости и отъ внѣшнихъ причинъ, вслѣдствіе чего дѣйствительно надо признать, согласно съ г. Витбергомъ, что его историческія увлеченія много поддерживались интересомъ къ исторіи у Жуковскаго, Пушкина, Плетнева и Погодина, но смотрѣть на этотъ фактъ слѣдуетъ иначе [2]). Мѣсто это самое дѣльное въ его статьѣ и мы охотно приводимъ его здѣсь.

„Знакомство съ Жуковскимъ и Пушкинымъ, оказавшее въ высшей степени благотворное вліяніе на поэтическое творчество Гоголя, поддержало въ немъ интересъ и къ историческимъ работамъ. Жуковскій, поглощенный своими обязанностями воспитателя наслѣдника русскаго престола, занялся вскорѣ составленіемъ для своего царственнаго питомца историческихъ таблицъ, а Пушкинъ, только-что окончившій и издавшій историческую пьесу: „Борисъ Годуновъ“, съ 1831 г. началъ работать въ архивахъ, собирая матеріалы для задуманной имъ исторіи Петра Великаго. Такимъ образомъ, Гоголь могъ съ обоими вести разговоры не только о предметахъ литературныхъ, но и историческихъ. Извѣстно, какое важное образовательное значеніе придавалъ Жуковскій исторіи, ко-

[1]) Гоголь почти до самой смерти, предаваясь преимущественно чтенію любимыхъ европейскихъ классиковъ и богословскихъ сочиненій, не оставлялъ и чтеніе историческое.

[2]) Г. Витбергъ основательно указываетъ на то, что интересъ къ исторіи долженъ былъ соединять Жуковскаго и Пушкина съ одной стороны и Гоголя съ другой. Онъ указываетъ въ подтвержденіе «Русск. Стар.», 1880. XXVII, 251 и Соч. Пушкина. т. V, 36. Мы еще прибавили бы ссылку на воспом. Лонгинова (въ „Совр“; 1854, III, стр. 88 и „Записки о жизни Гоголя“ т. I. стр. 85). ибо въ послѣднихъ источникахъ объ этомъ говорится какъ о фактѣ, а не предположеніи только.

торую онъ называлъ „сокровищницею просвѣщенія царскаго“ и считалъ, что она „должна быть главною наукою наслѣдника престола“ („Русская Старина“, 1880 г., XXVII, 251). Трудно предположить, чтобы, при такомъ интересѣ къ исторіи со стороны Гоголя и Жуковскаго, между ними не происходили бесѣды на историческія темы.

Что̀ касается разговоровъ Гоголя съ Пушкинымъ, то въ бумагахъ послѣдняго мы находимъ любопытный отрывокъ, имѣющій прямое отношеніе къ интересующему насъ вопросу. Между историческими замѣтками Пушкина попадается, между прочимъ, слѣдующая „программа“:

„Что̀ называется нынѣ Малороссія? Что составляло прежде Малороссію? Когда отторгнулась она отъ Россіи? Долго-ли находилась подъ владычествомъ татаръ? Отъ Гедимина до Сагайдачнаго, отъ Сагайдачнаго до Хмельницкаго, отъ Хмельницкаго до Мазепы, отъ Мазепы до Разумовскаго?“ Въ собраніи его сочиненій программа эта отнесена къ 1825 году (см. „Сочиненія“, изд. 8, V, 36), хотя Анненковъ, изъ „Матеріаловъ“ котораго она перепечатывается въ сочиненіяхъ Пушкина, опредѣленнаго года и не указываетъ. Годъ, впрочемъ, и не играетъ тутъ особенной роли. Когда бы ни была написана Пушкинымъ эта программа, она показываетъ, что онъ интересовался исторіей Малороссіи, и этотъ интересъ, независимо отъ множества другихъ историческихъ темъ, представлялъ готовый матеріалъ для историческихъ бесѣдъ съ нимъ Гоголя. Вдобавокъ, мы имѣемъ объ этихъ бесѣдахъ свидѣтельство самого Гоголя. Въ письмѣ его къ Пушкину отъ 23 декабря 1833 года находимъ такія строки: „Я восхищаюсь заранѣе, когда воображу, какъ закипятъ труды мои въ Кіевѣ. Тамъ я выгружу изъ-подъ спуда многія вещи, изъ которыхъ я не всѣ еще читалъ вамъ“ („Русскій Архивъ“ 1880 г., II, 513). Значитъ, онъ не только бесѣдовалъ съ Пушкинымъ на историческія темы, но и читалъ ему нѣкоторые свои историческіе наброски“ [1]).

Но чѣмъ больше было вокругъ Гоголя такихъ лицъ, тѣмъ бо́льшее значеніе получаютъ наши слова о вліяніи на него внѣшнихъ условій, съ той впрочемъ оговоркой, что эти внѣшнія условія *только тогда* имѣли силу, когда они находили

[1]) „Историч. Вѣстн.“, 1892, VIII, стр. 366—397.

естественный внутренній отголосокъ въ душѣ Гоголя. И, въ свою очередь, позднѣе его институтское преподаваніе отчасти могло научить учениць съ живымъ интересомъ и увлеченіемъ читать великую книгу исторіи.

Что Гоголь былъ способенъ *иногда* увлекать своихъ слушателей—юныхъ и взрослыхъ—совсѣмъ не удивительно, именно благодаря его колоссальному таланту, и собственному увлеченію, хотя и вспыхивавшему моментальной искрой во время его уроковъ, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ Плетневъ, и какъ мы знаемъ изъ разсказа о вступительной и еще другой лекціи Гоголя, на которой присутствовали Жуковскій и Пушкинъ. Но вѣдь это было пламя мелькающее, это былъ блескъ молніи, то ярко вспыхивающій и разомъ озаряющій погруженную во мракѣ окрестность, то совершенно слабый и замирающій. Самъ Гоголь въ данномъ случаѣ представлялъ натуру крайне неустойчивую. Ему нравились яркія краски, широкіе горизонты, и въ этомъ отношеніи въ немъ, безъ сомнѣнія, сказался южанинъ; но нравилась ему также, какъ мы говорили, и казацкая и общерусская отвага, побуждавшія его не слишкомъ церемониться съ скучными фактами и сухими подробностями науки.

Каковъ былъ Гоголь въ жизни, рекомендовавшій своимъ пріятелямъ почаще вспоминать о трынъ-травѣ, „совѣтовавшій одному изъ нихъ садиться въ дилижансъ и валять, чтобы какой-нибудь олухъ не влѣзъ на каѳедру“, а съ дѣлами поступать смѣлѣе: „одно по боку, другому киселя дай, и все кончено“ [1])! таковъ же онъ былъ и въ наукѣ. А надо сознаться, что отвага въ этомъ отношеніи была у Гоголя далеко не малая: не только наши историки, какъ Бантышъ-Каменскій, не внушали ему уваженія, но и европейскіе склонялись у него въ множественномъ числѣ („Герены“ [2])), а о книгахъ онъ даже попросту выражался: „чортъ возьми, если онѣ не служатъ теперь для тебя (Максимовича), только, чтобы отемнить твои мысли“. Со студентами же, какъ мы уже знаемъ, по его мнѣнію, лучше всего было бы поступать такъ: „бросить всѣ прежде читанныя лекціи и наталкивать ихъ *морду* (sic) на

[1]) «Соч. и письма Гоголя», т. V стр. 202 и 206, письма Гоголя къ Максимовичу, стр. 7—9.

[2]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, на стр. 226—228 отзывы Гоголя о Геренѣ, и въ самой вынужденной похвалѣ неуважительное множ. число: «Я бы отъ души былъ радъ, еслибы намъ *подавали* (sic!) побольше Гереновъ».

хорошее“ [1]). Этотъ размашистый тонъ вообще характеренъ для Гоголя (и именно больше всего въ эпоху, совпадающую съ его историческими занятіями), а это, конечно, ясно показываетъ, что передъ нами не истинный жрецъ науки. Г. Витбергъ очень мѣтко и вѣрно указалъ, что такой глубоко пренебрежительный, чуть не до цинизма, доходившій тонъ Гоголь употреблялъ часто, когда говорилъ объ оффиціальныхъ лицахъ, которыхъ считалъ иногда не очень-то заслуживающими уваженія, и, можетъ быть, не безъ основанія замѣтилъ, что иногда они того именно и стоили; *но наука и каѳедра никогда такого тона заслуживать не могутъ*. Наука потому и не далась между прочимъ Гоголю, что онъ приступалъ къ ней безъ должнаго уваженія, что, по нашей національной привычкѣ, онъ имѣлъ притязаніе и надежду схватить все сразу, не воспитавъ въ себѣ вообще никакого *культа науки*, которая съ своей стороны не терпитъ тѣхъ, кто обращается съ ней фамильярно, чтобы не употребить иного выраженія. А какъ обращался Гоголь къ наукѣ? Вступалъ ли онъ съ благоговѣніемъ въ ея святилище, подобно почтеннымъ представителямъ западно-европейской и особенно нѣмецкой науки? Отдавалъ ли Гоголь, подобно Бѣлинскому, святыя минуты восторга пламенной любви къ истинѣ? Чувствовалъ ли въ душѣ благородный трепетъ избранника музы исторіи? Конечно, нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. потому что иначе никогда бы онъ не былъ въ состояніи употребить выраженіе, что „расплевался съ университетомъ“, хотя бы и съ самымъ убогимъ и жалкимъ! Не только о вопросахъ карьеры, но и о наукѣ Гоголь говорилъ съ какимъ-то пренебрежительнымъ цинизмомъ, и очень жаль, что онъ встрѣчалъ этой своей чертѣ хотя бы молчаливое снисходительное поощреніе въ своихъ друзьяхъ-профессорахъ и—увы!—въ лучшей нашей національной гордости и красѣ—въ Пушкинѣ! Все это только лишній разъ показываетъ, что Европа еще долго должна быть нашимъ образцомъ, потому что для нея все это уже давнымъ-давно пережитой моментъ и она, что ни говори, сильно превосходитъ насъ культурностью и уваженіемъ къ наукѣ, мысли и знанію. Но еще разъ съ особеннымъ ударѳніемъ повторяю: у насъ за многое винятъ исключительно Гоголя, тамъ, гдѣ надо видѣть въ немъ только

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 215.

болѣе яркое проявленіе нашихъ общихъ грѣховъ. И въ данномъ отношеніи Гоголь, сынъ своего народа и племени, имѣлъ бы право грозно сказать намъ изъ гроба: „чему смѣетесь? надъ собою смѣетесь“! *Такъ не будемъ же это забывать.*

IV.

Въ доказательство высказанной нами мысли приведемъ подробныя данныя, касающіяся несравненно выше цѣнившаго знанія и науку, величайшаго поэта нашего Пушкина. Это объяснитъ намъ, насколько мы правы, взваливая всю вину на одного Гоголя, а равно и то, почему Пушкинъ могъ спокойно смотрѣть на извѣстную намъ роковую ошибку Гоголя.

Пушкинъ признавалъ, по словамъ его біографа (Анненковъ, „Матеріалы“, изд. 2, стр. 77), только одно воспитаніе,— „которое дается человѣку обстоятельствами его жизни и имъ самимъ. Другого воспитанія, говорилъ онъ, нѣтъ для существа, одареннаго душой“. Такимъ образомъ онъ какъ будто отвергалъ въ самомъ принципѣ педагогію въ смыслѣ воздѣйствія одного человѣка на другихъ, или, по крайней мѣрѣ, придавалъ ей весьма ограниченное значеніе, приписывая несравненно важнѣйшее и существеннѣйшее значеніе самообразованію. Этотъ основной взглядъ Пушкина на воспитаніе достаточно объясняетъ намъ, почему напрасно было бы ожидать отъ Пушкина внимательнаго отношенія къ педагогическимъ требованіямъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, и почему онъ, быть можетъ, былъ снисходителенъ къ педагогическимъ и профессорскимъ притязаніямъ Гоголя. Покойный профессоръ Никольскій, по поводу приведенныхъ выше словъ объ А. С. Пушкинѣ П. В. Анненкова, прибавилъ отъ себя: „Пушкинъ, очевидно, судилъ по себѣ, но къ нему эти слова могутъ быть примѣнены во всей справедливости. Воспитаніе, которое давалъ Пушкинъ самому себѣ, состояло въ упорномъ и неустанномъ трудѣ“. („Идеалы Пушкина“, стр. 37).

Еще во время своего пребыванія въ школѣ, благодаря отчасти быстрому преждевременному развитію, а особенно раннему выступленію на литературное поприще, Пушкинъ охотнѣе переносился мыслью къ будущему, нежели останавливался на настоящемъ. Въ своихъ отрывкахъ изъ лицей-

скихъ замѣтокъ онъ, какъ видно по набросанному плану, предполагалъ говорить гораздо больше о впечатлѣніяхъ жизни и событіяхъ политическихъ, нежели о прискучившемъ школьномъ обиходѣ. Подъ конецъ Пушкинъ сильно тяготился лицеемъ, который еще при самомъ вступленіи въ него шутливо сравнивалъ съ монастыремъ, откуда его влекло явиться разстригой въ Петербургъ и неожиданно предстать передъ любимой сестрой (См. посланіе „Къ сестрѣ“). Передъ оставленіемъ же лицея онъ довольно откровенно сознавался въ письмѣ къ князю П. А. Вяземскому: „Правда, время моего выпуска приближается; остался годъ еще. Но цѣлый годъ еще плюсовъ, минусовъ, правъ, налоговъ, высокаго, прекраснаго!“ [1])... (Замѣтимъ мимоходомъ, что послѣднія слова интересны, какъ косвенная оцѣнка оффиціальнаго преподаванія любимой Пушкинымъ отечественной литературы).

Своимъ воспитаніемъ Пушкинъ, по многимъ причинамъ, былъ вообще, какъ извѣстно, очень неудовлетворенъ: первоначальное домашнее воспитаніе, слишкомъ безпочвенное и такъ ярко охарактеризованное эпитетомъ „французское“, онъ называлъ обыкновенно „проклятымъ“; въ позднѣйшемъ лицейскомъ образованіи онъ находилъ также не менѣе крупные недостатки. Въ поданной императору запискѣ „О народномъ воспитаніи“ Пушкинъ имѣлъ въ виду, безъ сомнѣнія, преимущественно *личныя* воспоминанія, когда сѣтовалъ на то, что во многихъ училищахъ „дѣти занимаются литературой, составляютъ общества, даже печатаютъ свои сочиненія въ свѣтскихъ журналахъ“ [2]). Подобное отвлеченіе отъ главной и естественной цѣли занятій учебнаго возраста Пушкинъ въ зрѣлыхъ годахъ признавалъ крайне нежелательнымъ и вреднымъ для юношей. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, посвященныхъ лицею, онъ даетъ намъ мимоходомъ слѣдующую картину занятій товарищей-лицеистовъ:

„Они твердятъ томительный урокъ,
Или романъ украдкой пожираютъ,
Или стихи влюбленные слагаютъ,
Забывъ межъ тѣмъ полуденный рожокъ“.

Результаты лицейскаго образованія казались Пушкину

---

[1]) Соч. Пушкина, изд. Литерат. Фонда, т. VII, стр. 2.
[2]) Соч. Пушкина, изд. Литерат. Фонда, т. VII, стр. 46.

впослѣдствіи слишкомъ поверхностными и неудовлетворительными, хотя о томъ же лицеѣ онъ написалъ извѣстные прекрасные, проникнутые глубокимъ чувствомъ стихи:

„Да здравствуетъ Лицей!
Наставникамъ, хранившимъ юность нашу,
Всѣмъ честію, и мертвымъ, и живымъ,
Къ устамъ подъявъ признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадимъ".

Съ лицейскими учителями Пушкина мы знакомимся преимущественно изъ разныхъ другихъ источниковъ, но почти ничего не узнаемъ о нихъ изъ его произведеній и автобіографическихъ замѣтокъ. Въ посланіи „Моему Аристарху" подъ послѣднимъ поэтъ разумѣетъ преподавателя русской словесности Н. Ѳ. Кошанскаго и, повидимому, представляетъ его читателямъ не въ очень благопріятномъ свѣтѣ, говоря ему съ раздраженіемъ:

„Я знаю самъ свои пороки;
Не нужны мнѣ, повѣрь, уроки
Твоей учености сухой."

Гораздо полнѣе и ярче рисуется намъ, на основаніи посланій Пушкина, личность добродушнаго, но слабаго и распущеннаго профессора Галича: его портретъ въ стихотвореніяхъ Пушкина оказывается замѣчательно сходнымъ съ извѣстными намъ болѣе обстоятельными характеристиками этого наставника-эпикурейца. Кромѣ посланій къ Кошанскому и Галичу мы находимъ однажды у Пушкина бѣглое, но чрезвычайно сочувственное упоминаніе о Куницынѣ, извѣстномъ профессорѣ нравственной философіи и правовѣдѣнія, одномъ изъ самыхъ образованныхъ и талантливыхъ преподавателей не только лицея, но и вообще всей Россіи въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Пушкинъ съ негодованіемъ осыпаетъ цензора упреками за безтолковую строгость:

„Ты черными бѣлое по прихоти зовешь,
Сатиру—пасквилемъ, поэзію развратомъ,
Гласъ правды—мятежомъ, Куницына—Маратомъ!"
(Первое посл. цензору)".

Этимъ и ограничиваются стихотворныя воспоминанія Пушкина о бывшихъ своихъ учителяхъ и профессорахъ. Но, бро-

сая послѣдній взглядъ на лицейскія воспоминанія поэта, не можемъ не напомнить его прелестныхъ, проникнутыхъ глубокимъ чувствомъ стихотвореній по поводу празднованій лицейскихъ годовщинъ 19 октября. Нельзя не пожалѣть, что ни разу не случилось Пушкину остановиться въ своихъ прозаическихъ замѣткахъ на времени своего воспитанія, такъ какъ его „Лицейскія годовщины“ имѣютъ все-таки болѣе общій характеръ воспоминанія о счастливой порѣ юности и о тѣсномъ кругѣ школьнаго товарищества.

Замѣтимъ кстати, что если мы припомнимъ отношенія къ школѣ у Гоголя, то между ними окажется замѣтная разница: между тѣмъ какъ Гоголь, по многочисленнымъ воспоминаніямъ людей близко его знавшихъ, часто любилъ оживлять въ своей памяти разные, правда преимущественно комическіе эпизоды изъ давнихъ школьныхъ воспоминаній, что̀ давало ему иногда поводъ касаться въ интимной бесѣдѣ вопросовъ о воспитаніи и вызвало даже попытку изобразить въ „Мертвыхъ Душахъ“ личность идеальнаго педагога,—для Пушкина, наоборотъ, время лицейскаго ученія съ его оффиціальной стороны было, повидимому, совершенно забыто, и съ Царскимъ Селомъ у него были связаны исключительно воспоминанія о дѣтской рѣзвости и увлеченіяхъ юности среди плѣнительнаго приволья тѣнистыхъ садовъ. Въ художественныхъ произведеніяхъ, журнальныхъ статьяхъ и въ частной перепискѣ Пушкина мы находимъ много чрезвычайно глубокихъ и мѣткихъ отзывовъ и мыслей, касающихся исторіи, литературы, политики, но кромѣ статьи о народномъ воспитаніи, не находимъ ни слова о вопросахъ педагогическихъ [1]).

Пушкинъ былъ всегда очень далекъ отъ какого бы то ни было служенія обществу, кромѣ литературы. Онъ былъ вполнѣ сыномъ своей эпохи, когда служба для молодыхъ людей средняго круга была дѣломъ очень второстепеннымъ, о которомъ

[1]) Замѣтимъ между прочимъ слѣдующую не лишенную интереса параллель: Гоголь, какъ юмористъ, любилъ, вслѣдствіе чисто художническихъ побужденій, воспроизводить въ своей памяти навсегда запечатлѣвшіеся въ ней образы своихъ школьныхъ учителей, но, мало сознавая необходимость пополненія пробѣловъ, рѣдко вдавался въ серьезную критику полученнаго имъ воспитанія; Пушкинъ напротивъ меньше предавался воспоминаніямъ и меньше задумывался о вопросахъ, касающихся воспитанія въ ихъ частностяхъ и деталяхъ, но общій взглядъ его на воспитаніе былъ требовательнѣе, глубже и сознательнѣе.

думали и говорили *между прочимъ*, и которое, подобно молодому Владиміру Дубровскому въ извѣстной повѣсти Пушкина, съ легкимъ сердцемъ оставляли навсегда при первомъ представившемся случаѣ. Не имѣя вообще никогда и въ помышленіи службу—все равно, государственную или частную,—Пушкинъ, очевидно, ни на минуту не имѣлъ случая поставить себя въ положеніе педагога и не дожилъ до того времени, когда онъ былъ бы поставленъ въ это положеніе самой природой—единственный возможный случай, когда можно было бы болѣе или менѣе ожидать, что онъ принялъ бы на себя эту роль. Насколько трудно было бы представить себѣ обращеніе Пушкина къ педагогическимъ заботамъ внѣ этой возможности, каждый можетъ легко заключить по слѣдующимъ словамъ одного письма его къ брату, показывающаго, что даже говорить о перспективѣ для себя педагогической дѣятельности Пушкинъ могъ только, какъ о чемъ-то совершенно несбыточномъ, невѣроятномъ и ни съ чѣмъ несообразномъ: „Изъясни отцу моему, что безъ его денегъ я жить не могу. Жить перомъ мнѣ невозможно при нынѣшней цензурѣ; ремеслу же столярному я не обучался; *въ учителя не могу идти*, хоть я и знаю Законъ Божій и четыре первыя правила—но служу я не по волѣ своей — и въ отставку идти не возможно“... (Соч. Пушк., VII т., 52 стр.).

Какъ человѣкъ просвѣщенный, много думавшій вообще и работавшій въ продолженіе всей жизни надъ самообразованіемъ, Пушкинъ не могъ, разумѣется, не составить опредѣленныхъ представленій о современномъ воспитаніи, и ихъ-то онъ и высказалъ въ своей извѣстной запискѣ „О народномъ воспитаніи“, составленной по неожиданному требованію Императора Николая. Мы упоминали, что сильно сознаваемые недостатки школьнаго воспитанія уже давно побуждали Пушкина устремить вниманіе на энергическое восполненіе пробѣловъ, такъ что потомъ начатое имъ сызнова, почти тотчасъ по оставленіи стѣнъ лицея, самообразованіе уже никогда не прекращалось въ теченіе всей жизни. Тутъ, безъ сомнѣнія, не разъ представлялись случаи подумать и о вопросахъ образованія вообще. Академикъ Я. К. Гротъ, въ своей рѣчи при открытіи памятника Пушкину, разсматривая великаго поэта, какъ человѣка, и слѣдя за постепеннымъ развитіемъ его личности, не даромъ придавалъ особенное значеніе его постояннымъ и

напряженнымъ заботамъ о самовоспитаніи и самосовершенствованіи [1]). Покойный профессоръ Никольскій съ такою-же послѣдовательностью прослѣдилъ развитіе особенно религіозныхъ, гражданскихъ и политическихъ идеаловъ Пушкина и такъ же внимательно остановился на изслѣдованіи никогда не покидавшаго его стремленія учиться и расширять запасъ своихъ познаній [2]). Самъ поэтъ писалъ объ этомъ своему другу Чаадаеву въ посланіи къ нему въ 1821 году:

„Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ;
Ищу вознаградить въ объятіяхъ свободы
Мятежной младостью утраченные годы,
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ".

Въ запискѣ „О народномъ воспитаніи", составленной не столько съ цѣлью обсужденія общихъ педагогическихъ началъ, сколько въ виду практическихъ требованій минуты уяснить себѣ настоящее политическое положеніе дѣлъ внутри государства въ связи съ воспитаніемъ, отыскать путь къ устраненію возможности повторенія политическихъ волненій въ ближайшемъ будущемъ, — значительная часть ея посвящена, такъ сказать, злобѣ дня, что опять отнимаетъ у нея долю общаго педагогическаго значенія, такъ какъ даже въ случаяхъ однородныхъ, вслѣдствіе измѣненія посылокъ, представляемыхъ вѣчно измѣняющимися событіями, неминуемо должны существеннымъ образомъ измѣняться и самыя заключенія.

Переходя къ обзору содержанія записки, мы должны прежде всего отмѣтить, что Пушкинъ не безъ основанія указываетъ въ ней на нѣкоторую искусственность и безпочвенность ультра-либеральныхъ теченій мысли у насъ, сравнительно съ Западомъ, гдѣ они развивались органически на почвѣ, подготовленной вѣками, и видитъ одну изъ причинъ увлеченій ими въ „недостаткѣ просвѣщенія и нравственности".

Онъ отвергаетъ заговоры, кровавые перевороты, тайныя общества; винитъ во многомъ пагубный примѣръ европейскихъ сосѣдей и требуетъ усиленія просвѣщенія. Едва ли можно согласиться съ великимъ поэтомъ во взглядѣ его на вредъ „чужеземнаго идеалогизма": усвоивая и перенимая что-

[1]) „Вѣнокъ на памятникъ Пушкину", С.-Петербургъ. 1880, 233—243.
[2]) См. брошюру Никольскаго: „Идеалы Пушкина". Спб., 1887.

либо извнѣ, необходимо приступать къ этому дѣлу осмотрительно и съ извѣстной критикой—это истина азбучная, — и странно обвинять другихъ за собственное неумѣніе и ошибки; но указанная нами заключительная мысль первой части его трактата дѣлаетъ безусловно великую честь перу писателя не менѣе, чѣмъ лучшія его художественныя созданія. Въ этихъ словахъ мы узнаемъ поэта, который года за два передъ тѣмъ сказалъ:

„На поприщѣ ума нельзя намъ отступать".

Пушкинъ основательно вооружается далѣе въ своей запискѣ на черезчуръ раннее поступленіе большинства дворянъ на службу, и настаиваетъ на болѣе серьезной подготовкѣ къ ней. Но нельзя не отмѣтить съ удивленіемъ, что Пушкинымъ же были написаны слѣдующія строки въ цитируемомъ ниже письмѣ къ брату Льву Сергѣевичу (отъ 21 іюля 1822 года): „Что ты дѣлаешь? Въ службѣ ли ты? Пора, ей Богу пора! Тебѣ скажутъ: учись, служба не пропадетъ, а я тебѣ говорю: служи, ученье не пропадетъ" (VII т., стр. 36). Далѣе мы читаемъ въ запискѣ: „Въ другихъ земляхъ молодой человѣкъ кончаетъ курсъ ученія около двадцати пяти лѣтъ; у насъ онъ торопится вступить какъ можно ранѣе въ службу, ибо ему необходимо тридцати лѣтъ быть полковникомъ или коллежскимъ совѣтникомъ" (Соч. Пушк., т. VII, стр. 44). Здѣсь замѣчается поразительное совпаденіе самыхъ выраженій съ слѣдующими словами письма къ Льву Сергѣевичу: „въ русской службѣ должно непремѣнно быть въ двадцать шесть лѣтъ полковникомъ". Такимъ образомъ выходитъ, что Пушкинъ, желая движенія впередъ всего русскаго общества и видя одну изъ самыхъ дѣйствительныхъ мѣръ къ поощренію этого движенія въ наградѣ чинами, которую ради этого совѣтуетъ даже удержать, — въ примѣненіи къ судьбѣ собственнаго же брата предпочиталъ оставаться на почвѣ тѣхъ же практическихъ соображеній, мелочность и несостоятельность которыхъ хорошо сознавалъ. Это обстоятельство, казалось бы, должно было говорить совсѣмъ не въ пользу Пушкина; но оно можетъ быть объяснено и тѣмъ, что цитированное письмо на цѣлыхъ четыре слишкомъ года предшествовало составленію записки (поданной въ 1826 году), и въ продолженіе этого срока взгляды Пушкина могли измѣниться,

сдѣлаться серьезнѣе, глубже. Очень возможно впрочемъ и то, что, прекрасно понимая, какъ человѣкъ съ свѣтлымъ и сильнымъ умомъ, преимущества общей пользы основательнаго образованія, Пушкинъ готовъ былъ при случаѣ по разнымъ соображеніямъ допускать отступленія на практикѣ, по непривычкѣ къ строгому и неуклонному проведенію своихъ теоретическихъ воззрѣній. Подобныхъ противорѣчій вообще можно указать у Пушкина не мало, но самое крупное, самое капитальное противорѣчіе заключается въ мысли, высказанной не только въ частной бесѣдѣ, но даже передъ лицомъ Императора, что, будь онъ въ Петербургѣ, онъ непремѣнно принялъ бы участіе въ событіи 14 декабря. Хорошо извѣстно, что Пушкинъ убѣдился въ несостоятельности той политической партіи, которой долго прежде сочувствовалъ, но тогда какое же значеніе имѣлъ варіантъ заключительной строфы въ стихотвореніи „Пророкъ“, стихотвореніе „Аріонъ“ и многое другое?!

Относительно общественнаго воспитанія идеалъ Пушкина былъ слѣдующій: „Должно увлечь все юношество въ общественныя заведенія, подчиненныя надзору правительства; должно его тамъ удержать, дать ему время перекипѣть, обогатиться познаніями, созрѣть въ тишинѣ училищъ, а не въ шумной праздности казармъ“ [1]). Такимъ образомъ, здѣсь, согласно практическому характеру своей задачи, Пушкинъ имѣетъ въ виду исключительно настоящее и развѣ ближайшее будущее. То же слѣдуетъ замѣтить и о сдѣланной имъ характеристикѣ домашняго воспитанія. (Пушкинъ, согласно предложенной ему задачѣ, останавливается въ своей запискѣ не столько на образованіи, сколько собственно на воспитаніи, на которое отчасти смотритъ съ извѣстной, наперед намѣченной и предрѣшенной точки зрѣнія).

Многое съ тѣхъ поръ существенно измѣнилось: воспитаніе даже въ частныхъ пансіонахъ стоитъ теперь, во всякомъ случаѣ, безъ сравненія выше, нежели во времена Пушкина; оно уже и тамъ давно не оканчивается на шестнадцатилѣтнемъ возрастѣ воспитанниковъ, и образованіе также не ограничивается въ среднемъ кругѣ изученіемъ двухъ или трехъ новѣйшихъ языковъ. Такимъ образомъ въ частностяхъ замѣ-

---

[1]) Соч. Пушкина, изд. Литер. Фонда, т. V, стр. 44.

чанія Пушкина были бы, пожалуй, явнымъ анахронизмомъ теперь; но въ общемъ они, будучи вполнѣ достойны его геніальнаго пера, не только не утратили до сихъ поръ своего значенія, но даже трудно было бы найти человѣка, который усомнился бы подписаться подъ многимъ обѣими руками, даже, можетъ быть, почти подъ всѣмъ разсужденіемъ. Но все нами разсмотрѣнное приводитъ, кажется къ тому, что практическое отношеніе Пушкина къ наукѣ и педагогіи было неизмѣримо ниже его теоретическихъ взглядовъ и что въ жизни онъ нѣсколько легко относился иногда къ тому, важность чего хорошо понималъ въ теоріи. Слѣдовательно *авторитетомъ Пушкина нельзя оправдывать безпримѣрныя притязанія Н. В. Гоголя.*

Изъ всего сказаннаго вытекаетъ съ достаточной ясностью, что, несмотря на высокое развитіе Пушкина и острую проницательность его сужденій, мы ни въ какомъ случаѣ не можемъ приписывать его голосу важнаго значенія въ вопросѣ о томъ, основательно ли онъ признавалъ за Гоголемъ право на университетскую каѳедру и вообще на педагогическую дѣятельность.

Вообще сближеніе Гоголя съ Жуковскимъ и Пушкинымъ, при всемъ искреннемъ и доброжелательномъ отношеніи ихъ къ молодому собрату, въ сущности, въ силу случайнаго стеченія обстоятельствъ, можно сказать, было для нашего писателя *въ иныхъ* [1]) отношеніяхъ и довольно губительнымъ, сильно дѣйствуя на подъемъ его духа, маня его въ свѣтлую даль будущаго, но въ то же время не давая ему никакого прочнаго устоя въ жизни. Можно сказать больше: ихъ чрезмѣрная снисходительность и дружеское пристрастіе къ Гоголю, а можетъ быть, и недостаточное вниканіе въ сущность дѣла за множествомъ хлопотъ и треволненій житейскаго водоворота, въ одномъ случаѣ, и исключительное погруженіе въ отвѣтственныя заботы о воспитаніи наслѣдника престола,—въ другомъ дѣлали отчасти сближеніе ихъ съ Гоголемъ поневолѣ иногда нѣсколько поверхностнымъ.

Пушкинъ, очевидно, и самъ никогда не принималъ себя за авторитетъ въ вопросахъ педагогическихъ и всего менѣе

---

[1]) Только въ *иныхъ* отношеніяхъ; *во многомъ* же оно было очень и очень полезно.

претендовалъ на компетентность въ данномъ случаѣ. Гораздо труднѣе объяснить себѣ покровительство Гоголю при полученіи имъ каѳедры *со стороны Жуковскаго;* но здѣсь мы должны признаться, что это обстоятельство представляется намъ очень темнымъ и загадочнымъ, при всемъ извѣстномъ благодушіи Жуковскаго, хотя все-таки это нисколько не можетъ насъ поколебать въ мнѣніи, что на этотъ разъ Жуковскій немного легко взглянулъ на дѣло или, быть можетъ, просто ошибся. Виноватъ былъ во всемъ этомъ, конечно, и самъ Гоголь, потому что Жуковскій могъ бы, напримѣръ, безъ сомнѣнія, оказать ему весьма полезную помощь въ борьбѣ съ жизненными невзгодами, но, конечно, лишь въ томъ случаѣ, если-бы лучше было выбрано направленіе, въ которомъ слѣдовало дѣйствовать, и цѣль, которую надо было преслѣдовать. Жуковскій и Пушкинъ сдѣлали, повидимому, серьезную ошибку въ томъ именно, что дѣятельно помогали Гоголю въ его стараніяхъ, слѣдуя начертанной имъ программѣ и не подвергнувъ ее должной критикѣ.

Кромѣ того, непродолжительное и преждевременное довѣріе къ серьезности ученыхъ замысловъ Гоголя питали также люди, гораздо болѣе Пушкина и даже Жуковскаго близкіе къ наукѣ и дѣйствительно посвятившіе себя и всю свою жизнь неутомимому служенію ей. Мы говоримъ, напр., о покойномъ академикѣ Срезневскомъ и, пожалуй, объ А. В. Никинтенко, но больше всего—о другѣ Гоголя, М. П. Погодинѣ, знавшемъ Гоголя коротко уже въ серединѣ тридцатыхъ годовъ.

Остановимся еще на отношеніяхъ къ педагогической дѣятельности Гоголя его друзей. Жуковскій, Пушкинъ, Плетневъ, Погодинъ были въ большомъ восторгѣ отъ Гоголя какъ отъ писателя и какъ отъ историка; но не замѣчать вовсе его пробѣловъ, думаю, они не могли, а скорѣе не придавали имъ большой важности въ силу своего увлеченія геніальнымъ художникомъ. Плетневъ съ самаго начала, рекомендуя Гоголя Пушкину, именно на эту сторону въ личности Гоголя и обратилъ особенное вниманіе: „Онъ любитъ науки только для нихъ самихъ, и готовъ для нихъ подвергнуть себя лишенію всѣхъ благъ“. Но Гоголь же увлекался и деревенскимъ отдыхомъ въ Васильевкѣ въ 1832 году, до того, что цѣлыхъ

три мѣсяца запоздалъ къ исполненію своихъ служебныхъ обязанностей, наслаждаясь въ своей деревнѣ обаяніемъ роскошнаго лѣта, и жизнью на лонѣ чудной малороссійской природы и почти совсѣмъ позабывъ объ институтѣ, такъ что Плетневъ уже съ досадой говорилъ потомъ, какъ знаемъ, въ письмѣ къ Жуковскому: „Гоголь нынѣшнимъ лѣтомъ ѣздилъ на родину. Вы помните, что онъ въ службѣ [1]) и обязанъ о себѣ дать отчетъ. Какъ же онъ поступилъ? Четыре мѣсяца не было про него ни слуху, ни духу. Оригиналъ"! [2]) Этотъ поступокъ Гоголя былъ, нельзя не замѣтить, не совсѣмъ даже ловкимъ по отношенію къ Плетневу, какъ начальнику, всюду его рекомендовавшему.

Конечно, Гоголь названныхъ выше лицъ очаровалъ, какъ поэтъ; но какое онъ могъ производить на нихъ впечатлѣніе въ качествѣ историка? Жуковскій и Пушкинъ не были сами глубокими историками, и *если не во всѣхъ отдѣлахъ, то, говоря вообще,* были также скорѣе дилеттантами въ этой области. Сила Пушкина, какъ историка, отчасти какъ и Гоголя, заключалась въ его дарѣ геніальнаго проникновенія въ отжившій міръ, въ этомъ чудномъ дарѣ, доказанномъ его превосходными историческими созданіями, а отчасти также въ дарѣ мѣткой характеристики, и наконецъ въ умѣніи широко и въ высшей степени гуманно и здраво взглянуть на заслуги прежнихъ дѣятелей. Во всемъ этомъ онъ неизмѣримо выше стоитъ огромнаго множества спеціалистовъ-историковъ, но вѣдь и Гоголь владѣлъ также даромъ художественнаго проникновенія, и если онъ не даетъ намъ мѣткихъ и сжатыхъ Пушкинскихъ характеристикъ, то большія его картинныя характеристики также несомнѣнно драгоцѣнны и онъ же умѣлъ находить при

---

1) Какъ видимъ изъ этихъ словъ, Жуковскій былъ вообще дальше отъ Гоголя, чѣмъ Плетневъ, и потому мы продолжаемъ думать, что при первомъ знакомствѣ скорѣе послѣдній рекомендовалъ Гоголя Пушкину. Что касается высказаннаго г. Витбергомъ мнѣнія, будто бы въ маѣ Плетневу и Гоголю могли помѣшать экзамены, чтобы увидѣться съ Пушкинымъ, то, зная близко педагогическую среду и около двадцати лѣтъ принадлежа къ ней, можемъ смѣло увѣрить, что едва ли подобная причина можетъ быть признана рѣшительнымъ препятствіемъ къ исполненію предположенія и желанія Плетнева поскорѣе познакомить Пушкина и Гоголя. Экзаменаторъ бываетъ свободенъ по вечерамъ, не говоря уже о праздникахъ и табельныхъ дняхъ, слѣдовательно, какое же тутъ доказательство!...

2) Соч. Плетн., т. III, стр. 522.

обсужденіи историческихъ вопросовъ такія черты, за которыя ему могли быть благодарны сами историки, только это было не столько плодомъ изученія, сколько именно—природнаго дара, благодаря которому Гоголю удавалось иногда видѣть въ историческихъ вопросахъ дальше, напр., Погодина, и онъ таки давалъ послѣднему мѣткія указанія. Приведемъ одно мѣсто: „У васъ, не прогнѣвайтесь, иногда бояре умнѣе теперешнихъ нашихъ вельможъ. Какая смѣшная смѣсь во время Петра, когда Русь превратилась на время въ цирюльню, битком набитую народомъ! одинъ самъ подставлялъ свою бороду, другому насильно брили. Вообразите, что одинъ бранитъ антихристову новизну, а между тѣмъ самъ хочетъ сдѣлать новомодный поклонъ и бьется изъ силъ сковеркать ужимку француза кафтанника“ [1]).

За такія мѣткія мысли и указанія, очень вѣроятно, Погодинъ могъ быть не однажды чрезвычайно благодаренъ Гоголю.

V.

Не забудемъ, что Погодинъ писалъ также и пьесы въ драматическомъ родѣ, и здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, для него были настоящимъ кладомъ мѣткія и яркія характеристики, которыя Гоголю случалось, такъ сказать, мимоходомъ обронить въ его кабинетѣ. Вотъ почему Погодинъ, какъ думаемъ, и долженъ былъ сказать о немъ: „большая надежда, если возстановится его здоровье!“ [2]). Хотя Гоголь былъ, можно сказать, ребенкомъ передъ Погодинымъ въ отношеніи собственно учености, но это нисколько не мѣшало ему, благодаря указаннымъ причинамъ, нерѣдко первенствовать надъ пріятелемъ *даже* въ области исторіи. Огромная разница въ положеніи Гоголя въ кабинетѣ хотя бы ученѣйшаго историка и на университетскихъ лекціяхъ. Его дѣло было озарить неожиданнымъ свѣтомъ яркаго художественнаго представленія многое такое, чего никогда не дастъ ученое изслѣдованіе, и ему не нужно было, да и не въ характерѣ его было, играть почтительную фигуру передъ Погодинымъ въ кабинетѣ по-

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 167—168.—Въ послѣднемъ словѣ у г. Кулиша вѣроятно, опечатка, написано: „французакафтанника“.

[2]) „Жизнь и труды Погодина“, т. IV, стр. 113—114.

слѣдняго или безмолвно благоговѣть передъ нимъ. Напротивъ, многое могъ часто получать отъ него Погодинъ, и также несомнѣнно, что изъ взаимныхъ серьезныхъ бесѣдъ съ глаза на глазъ оба они выносили большое внутреннее духовное удовлетвореніе другъ другомъ, которое одно только, при коренной разницѣ характеровъ и вкусовъ, и могло быть причиной ихъ вначалѣ дѣйствительно интимнаго сближенія. У Гоголя нельзя въ самомъ дѣлѣ отрицать временныхъ увлеченій исторіей, которыя въ иныя минуты могли быть напряженнѣе болѣе спокойной и ровной любви къ своему спеціальному предмету Погодина. Весьма возможно, что иной разъ своимъ увлеченіемъ Гоголь заражалъ и воодушевлялъ самого Погодина, широко распахивая передъ нимъ необъятные горизонты и открывая ему внезапно толпою зароившіяся въ головѣ мысли; но все-таки и тутъ имѣло значеніе то, что онъ былъ по природѣ поэтъ, а ужъ никакъ не серьезныя его историческія занятія и познанія.

О лучшихъ сторонахъ университетскихъ чтеній Гоголя, объ его увлеченіи и даже нѣкоторомъ идеализмѣ мы имѣемъ ниже приводимое свидѣтельство одного изъ его слушателей, ускользнувшее отъ вниманія г. Витберга, но очень важное и для него, хотя оно, конечно, далеко не подтверждаетъ его преувеличивающихъ дѣло сужденій. Вотъ оно: „Гоголь *не былъ никогда научнымъ изслѣдователемъ, и* по преподаванію уступалъ спеціальному профессору исторіи Куторгѣ, но поэтическій свой талантъ, и даже нѣкоторый идеализмъ, а притомъ и особую прелесть выраженія, дѣлавшіе его несомнѣнно краснорѣчивымъ, онъ влагалъ и въ свои лекціи, изъ коихъ тѣ, которыя посвящены были идеальному быту и чистотѣ воззрѣній аѳинянъ [1]), имѣли на всѣхъ, а въ особенности на молодыхъ его слушателей, какое-то воодушевляющее къ добру и нравственной чистотѣ вліяніе. Жаль, что лекціи Гоголя были

[1]) Судя по этимъ словамъ Гоголь, хотя недолго, читалъ въ университетѣ и древнюю исторію. Эти слова согласны и съ сообщеніемъ въ письмѣ Гоголя къ Погодину отъ 14 декабря 1835 г.: „Я радъ, что ты наконецъ принялся печатать. Только мнѣ все не вѣрится. Ты мастеръ большой надувать; пришли пожалуйста лекціи хоть въ корректурѣ. Мнѣ очень нужны, тѣмъ болѣе, что на меня возволили теперь и *древнюю исторію*, отъ которой я прежде было съ руками и ногами, а теперь поставленъ въ такія обстоятельства, что долженъ взять поневолѣ послѣ новаго года. Такая бѣда! *А у меня столько теперь дѣлъ, что некогда и подумать о ней*». («Соч. и письма Гоголя», т. V, стр. 228—229).

непродолжительны". Но затѣмъ, нѣсколько строкъ спустя тотъ же сочувственный голосъ признаетъ все-таки, что „фигура Гоголя, а притомъ еще въ вицмундирѣ, производила впечатлѣніе бѣднаго, угнетеннаго чиновника, отъ котораго требовали (?!) непосильнаго съ его природными дарованіями труда; Гоголь прошелъ по каѳедрѣ, какъ метеоръ, съ блескомъ оную освѣтившій и вскорѣ на оной угасшій, но блескъ этотъ былъ настолько силенъ, что невольно врѣзался въ юной памяти" [1]).

Въ своихъ урокахъ Лонгиновымъ и въ классахъ Патріотическаго института, употребляя выраженіе г. Кулиша, „Гоголь все манилъ учениковъ впередъ; онъ пропускалъ мимо глазъ промежуточные предметы и заставлялъ ихъ съ напряженнымъ интересомъ всматриваться въ отдаленную перспективу, представляя имъ самимъ пополнять пробѣлы" („Зап. о жизни Гоголя", т. I, стр. 85). „Гоголь останавливаетъ вниманіе учениць больше на подробностяхъ предметовъ, нежели на ихъ связи и порядкѣ"—писалъ Погодину Плетневъ: „что́ касается до порядка въ исторіи, или какого-нибудь придуманнаго Гоголемъ облегченія—этого ничего нѣтъ. Онъ тѣмъ же *превосходитъ* товарищей своихъ, какъ учитель, чѣмъ выше сталъ многихъ, какъ писатель, т. е. силою воображенія, которое подъ его перомъ всему сообщаетъ чудную жизнь и увлекательное правдоподобіе" [2]). Само собою разумѣется, что ученицы, заслушавшись своего учителя и разлакомясь подносимымъ имъ десертомъ, не воспроизводили полученнаго ими впечатлѣнія на бумагѣ: это было бы трудно и не для нихъ только, но и для кого бы то ни было; также какъ можно было бы еще обрисовать въ талантливомъ очеркѣ сущность впечатлѣнія отъ игры артиста, но передать въ точности его тонъ, мимику, выраженіе лица, произведенное имъ настроеніе совершенно немыслимо. Значительная доля прелести увлекательнаго урока Гоголя заключалась, вѣроятно, и въ создаваемомъ мастерскимъ разсказомъ настроеніи класса, когда на оживленныхъ лицахъ слушательницъ были написаны интересъ и удовольствіе, а порой мѣткое выраженіе заставляло вдругъ всѣхъ встрепенуться или поднять дружный и сочув-

[1]) „Русская Старина", „Исторія моей жизни", (разсказъ бывшаго крѣпостного крестьянина" Н. Н. Шипова, 1881, т. V, стр. 157—158.

[2]) „Жизнь и труды Погодина„, т. IV, стр. 114.

ственный смѣхъ. Здѣсь Гоголь дѣйствовалъ не одинъ, но онъ былъ только, такъ сказать, управителемъ хора, въ которомъ принимали участіе и другіе исполнители, тѣ дѣти, передъ которыми онъ излагалъ свой предметъ, и уже всѣ вмѣстѣ составляли эффектный ансамбль. По крайней мѣрѣ, такъ всегда бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда одинъ человѣкъ увлекаетъ или потрясаетъ массу живыхъ существъ. И вѣроятно, чѣмъ живѣе было такое преподаваніе, тѣмъ торопливыя и неумѣлыя замѣтки ученицъ, развлекаемыхъ яркими образами и остроумными шутками преподавателя, должны были становиться спутаннѣе и безтолковѣе. Вся поэзія исчезала вмѣстѣ съ выходомъ Гоголя за дверь класса и искать слѣдовъ ея въ тетрадяхъ самыхъ старательныхъ ученицъ было бы невозможно и наивно. Но Гоголь и самъ не подозрѣвалъ такого плачевнаго результата въ отношеніи этихъ записей, что̀ и было отчасти причиной крушенія одной изъ его надеждъ. Способные люди часто преувеличиваютъ размѣры своихъ силъ и дарованій: то же случалось съ Гоголемъ. Надо было бы предварительно заглянуть въ записки ученицъ, чтобы рѣшить, *годенъ ли* этотъ матеріалъ безъ особой обработки для составленія книги „Земля и Люди“!. Но такую осмотрительность Гоголь считалъ излишней и предоставлялъ ее „толпѣ вялыхъ профессоровъ“, отношенія къ которымъ его такъ живо обрисовалъ въ своихъ воспоминаніяхъ Никитенко [2]).

VI.

Остановимся еще на одномъ вопросѣ.

Г. Витбергъ говоритъ и даже подчеркиваетъ это, что на литературное поприще Гоголь попалъ почти случайно, и *съ внѣшней стороны* это справедливо, потому что случайныя обстоятельства дѣйствительно сильно способствовали болѣе раннему выступленію его на это поприще. Но нельзя сомнѣваться, что истинное призваніе непремѣнно пробьетъ себѣ дорогу, а Гоголь талантъ первоклассный. Другое дѣло—дарованія меньшихъ размѣровъ, надъ которыми внѣшнія обстоятельства могутъ имѣть и роковую власть, какъ мы видимъ это хотя бы на примѣрѣ отца Гоголя.

[2]) „Русск. Стар.“, 1889, стр. 528.

Скажемъ наоборотъ: на ученое поприще Гоголь вступилъ совершенно случайно. Въ томъ письмѣ, гдѣ Гоголь говоритъ въ первый разъ о присылкѣ изъ дому этнографическихъ матеріаловъ, онъ прибавляетъ: „Еще прошу васъ выслать мнѣ двѣ папенькины малороссійскія комедіи: „Овца-Собака“ и „Романа съ Параскою“. *Здѣсь такъ занимаетъ всѣхъ все малороссійское*, что я постараюсь попробовать, нельзя ли одну изъ нихъ поставить на здѣшній театръ“ [1]). Итакъ, даже слѣдуя принципу безусловнаго довѣрія всѣмъ словамъ Гоголя, которымъ нельзя здѣсь и не довѣрять, мы прямо ставимъ вопросительный знакъ противъ смѣлаго курсива г. Витберга, что „собирать эти матеріалы Гоголь *началъ* для историческихъ трудовъ“ [2]). Въ судьбѣ Гоголя, какъ и всѣхъ людей, многимъ распоряжалась сама жизнь, и именно потому едва ли удобно выдвигать однѣ изъ сторонъ въ его перепискѣ въ ущербъ остальнымъ и категорически заявлять, что *вмѣсто исторіи Малороссіи* Гоголь написалъ даже „Вечера на Хуторѣ“, а не только „Миргородъ“ [3]). Едва ли, впрочемъ, можно согласиться, чтобы тревожное время неопредѣленныхъ блужданій въ 1830 *и особенно въ 1829 г.* могло быть временемъ систематическихъ начинаній Гоголя въ области исторіи; а что мысль объ историческихъ матеріалахъ у у него мелькала тогда и постепенно выяснилась, противъ этого никто, конечно, спорить не будетъ, и статья Гоголя „О преподаваніи географіи“ и также переводъ исторической статьи „О торговлѣ русскихъ въ концѣ XVI и началѣ XVII вѣка“ дѣйствительно показываютъ, что его прежніе вкусы и теперь продолжали проявляться. Но г. Витбергъ настойчиво говоритъ о двойственности увлеченій Гоголя въ разсматриваемый періодъ, тогда какъ необходимо признать *множественность* ихъ, если припомнить о театрѣ, занятіяхъ рисованіемъ и живописью въ Нѣжинѣ и послѣ о путешествіи [4]) (не только

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 82.

[2]) См. „Историч. Вѣстн.“, 1892, VIII, стр. 396. Курсивъ г. Витбергъ всего больше любитъ употреблять при парадоксахъ.

[3]) Тамъ же, стр. 396.

[4]) Упрекая меня въ томъ, что я назвалъ свою книгу „Матеріалами для біографіи Гоголя“, и всюду требуя категорическихъ рѣшеній въ моемъ трудѣ, г. Витбергъ какъ будто не соглашается съ тѣмъ, что зданіе біографіи Гоголя только строится, и вотъ теперь его же статья наводитъ меня на нѣкоторыя дальнѣйшія разъясненія.

въ 1829 г., но и въ 1836, потому что въ подобныхъ вопросахъ, гдѣ намѣреніе такъ часто зависитъ отъ обстоятельствъ, его нельзя пріурочивать именно къ тому времени, когда оно, наконецъ, осуществится), даже его мечты о службѣ. Вотъ въ этихъ второстепенныхъ, или такъ сказать, побочныхъ увлеченіяхъ Гоголя, случайности, правда, очень много значили, въ подтвержденіе чего, кажется, достаточно только упомянуть о сценѣ, на которую ему помѣшала выступить ограниченность театральныхъ чиновниковъ; и едва ли можно сомнѣваться, что на сценѣ онъ могъ бы быть больше на мѣстѣ, чѣмъ на каѳедрѣ. Такъ судили его современники, и это же признавалъ онъ самъ, говоря въ шутку, что „Щепкинъ не выгналъ бы его изъ своей труппы“ [1]). Данилевскій думалъ даже, что если бы его другъ не былъ Гоголемъ, то сдѣлался бы Щепкинымъ, т. е. первокласснымъ артистомъ [2]). Княжна Репнина по одному только мастерскому чтенію Гоголемъ драматическихъ пьесъ и отрывковъ, *ни разу не бывши въ театрѣ*, составила о послѣднемъ вполнѣ ясное и вѣрное представленіе [3]). По живой работѣ фантазіи у Гоголя можно допустить, что, вѣроятно, ему лучше далось бы наглядное изображеніе на сценическихъ подмосткахъ отдѣльныхъ моментовъ изъ жизни какой-либо исторической личности, нежели научное изложеніе систематическаго курса на лекціяхъ. Но это, конечно, только предположеніе. Множественность увлеченій Гоголя также была причиной того, что проѣздомъ въ 1832 г. черезъ Москву онъ поспѣшилъ завязать знакомства, удовлетворявшія или его интересамъ литературнымъ (Максимовичъ, Кирѣевскій), или историческимъ (Погодинъ), или, наконецъ, театральнымъ (Щепкинъ, Загоскинъ, Аксаковъ) [4]). Да и вообще интересъ къ театру у Гоголя имѣлъ тогда не только самостоятельное, но и преобладающее значеніе, и заслуживаетъ быть выдѣленнымъ изъ круга просто литературныхъ интересовъ.

Въ самую пору знакомства и сближенія съ Погодинымъ Гоголь преимущественно увлекался комедіей, а все остальное

---

[1]) См. „Вѣстникъ Европы“, 1889. X, стр. 454.

[2]) Тамъ же, 1890 г., т. I, стр. 79.

[3]) «Русскій Архивъ», 1890, X. Недавно мы снова нашли этому подтвержденіе въ разсказахъ Любича-Романовича о дѣтствѣ Гоголя («Историч. Вѣстн.», 1892, XII, статья г. Шевлякова: «Гоголь и Кукольникъ», стр. 696).

[4]) Обо всемъ этомъ подробно сказано выше.

тогда для него едва лишь существовало. Уже тогда Гоголь смотрѣлъ, такъ сказать, въ сторону отъ исторіи, и въ немъ рѣшительно одерживали верхъ иныя влеченія, хотя интересъ къ народнымъ пѣснямъ, и въ томъ числѣ историческимъ, въ немъ не угасалъ. Онъ также остылъ и къ преподаванію, и сестра его Елизавета Васильевна, впослѣдствіи такъ вспоминала объ этомъ: „Братъ часто пропускалъ свои уроки, частью по болѣзни, частью и просто по лѣни“ [1]). Увлеченіе исторіей, *кратковременное и неглубокое*, осталось уже позади, а тутъ же приходилось заботиться объ урокахъ и читать лекціи; поневолѣ, сложивъ съ себя благодаря обстоятельствамъ непосильную и подъ конецъ непріятную обузу, Гоголь съ радостью сказалъ, что онъ „вышелъ на свѣжій воздухъ“ и что „это освѣженіе нужно въ жизни, какъ цвѣтамъ дождь, какъ засидѣвшемуся въ кабинетѣ прогулка“ [2]). И полной грудью вздохнулъ онъ, когда онъ, наконецъ, сбросилъ съ себя профессорскій вицмундиръ и наскучившія обязательныя лекціи по исторіи, а затѣмъ ужъ никогда объ этомъ не было и помина [3]).

Итакъ, подобное увлеченіе нельзя, очевидно, назвать ни особенно серьезнымъ, ни тѣмъ болѣе сильнымъ. Когда Гоголь сознавался, что во время занятій историческимъ трудомъ передъ нимъ движется сцена, а въ концѣ письма упоминалъ о двухъ историческихъ вопросахъ, которыхъ онъ, однако, не дѣлалъ пока, то можетъ быть, это были вопросы о книгахъ, упоминаемыхъ въ слѣдующемъ письмѣ: если такъ, то это тѣмъ яснѣе показываетъ, что мысли объ исторіи отступали на дальній планъ, или, по безцеремонному выраженію Гоголя въ дружескомъ письмѣ„ летѣли къ чорту“ [4]). Впрочемъ, этотъ пріемъ, т. е. упоминаніе объ обѣщаемыхъ историческихъ вопросахъ, могъ быть у Гоголя и общимъ мѣстомъ, когда онъ хотѣлъ показать, что не забываетъ занятій исторіей. Въ письмѣ къ тому

---

[1]) «Русь», Отрывокъ изъ записокъ Елизаветы Васильевны Быковой, родной сестры Гоголя, 1883 г. № 26, стр. 7, первый столбецъ.

[2]) «Соч. и письма Гоголя», т. V, стр. 247.

[3]) Правда, Гоголь еще продолжалъ работать надъ „Тарасомъ Бульбой“ и драмой изъ быта запорожскихъ казаковъ, а съ другой стороны, все больше углубляясь въ „Мертвыя Души“ и почти оставивъ драму послѣ 1842 г., никогда не оставлялъ чтенія книгъ историч. содержанія, но въ *это время* интересъ его къ исторіи и г. Витбергъ не признаетъ уже серьезнымъ и сильнымъ увлеченіемъ.

[4]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 175.

же Погодину отъ 20 іюля онъ говоритъ: „Покамѣстъ еще только я отдыхаю. Впрочемъ, родились у меня двѣ крѣпкія мысли о нашей любимой наукѣ, которыми вамъ какъ-нибудь похвастаюсь“ [1]). Опять напоминаю, впрочемъ, что дѣйствительно нельзя привязываться къ каждому слову Гоголя, нельзя его ловить на каждомъ сорвавшемся съ языка выраженіи и составлять уголовный актъ по поводу почти нечаянно брошеннаго мимоходомъ въ письмѣ замѣчанія. Едва ли многіе изъ насъ пожелали бы для себя и нашли справедливымъ такое прокурорское изслѣдованіе каждаго слова, оставленнаго въ письмѣ или запискѣ; если мы приводимъ подобныя мѣста, то единственно въ противовѣсъ крайностямъ г. Витберга.

Полагая, что вопросъ о Гоголѣ какъ историкѣ, теперь достаточно раскрывается послѣ этихъ разъясненій, закончу свой разборъ статьи г. Витберга напоминаніемъ, что какъ ни заманчивы категорическія и прямолинейныя рѣшенія вопросовъ, но неумѣренное и необдуманное стремленіе къ нимъ можетъ вести и къ крупнымъ ошибкамъ, и хотя выставляемая г. Витбергомъ гипотеза объ истинности и правдивости непремѣнно всего сказаннаго Гоголемъ (до вѣры въ сочиненіе или переводъ его исторіи Малороссіи на иностранный языкъ), хотя эта гипотеза имѣетъ огромное преимущество простоты и ясности, всегда справедливо цѣнимыхъ во всѣхъ гипотезахъ, но все-таки, какъ учитъ насъ логика, простѣйшая гипотеза, къ сожалѣнію, не всегда бываетъ самой вѣрной.

Въ заключеніе разбора взглядовъ г. Витберга о Гоголѣ, какъ историкѣ, позволимъ себѣ привести справедливое мнѣніе о нихъ неизвѣстнаго намъ рецензента „Русской Мысли“.

„Г. Витбергъ говоритъ, что ни о какомъ самохвальствѣ Гоголя, ни о какомъ высокомъ его мнѣніи о своихъ ученыхъ достоинствахъ не можетъ быть и рѣчи; самая мысль о его профессурѣ пришла въ голову не ему, а его друзьямъ-профессорамъ; онъ только ухватился за нее и съ свойственнымъ ему увлеченіемъ стремился къ ея осуществленію. Гоголь не даромъ писалъ, что ничто такъ не успокаиваетъ, какъ исторія; историческія занятія его успокаивали, когда ослабѣвало

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 159.

поэтическое творчество, а творческія мечты являлись одна за другой. Относиться насмѣшливо къ историческимъ занятіямъ Гоголя нельзя, тѣмъ болѣе, что ему невозможно отказать ни въ большой начитанности, ни въ умѣньѣ обобщать въ одну общую картину мелкія историческія подробности" („Истор. Вѣстн.", 1892, VIII, стр. 415). Однако, отрицать, что Гоголь потерпѣлъ же полное крушеніе невозможно, несмотря на всѣ усилія г. Витберга. Потрясая установившійся у насъ взглядъ на историческія занятія Гоголя, г. Витбергъ старается вывести изъ употребленія и одинъ пріемъ, которымъ порою пользуются при изученіи Гоголя. Нужно бросить, говоритъ онъ, полемическое отношеніе къ Гоголю, манеру вступать съ нимъ самимъ въ полемику и придираться къ каждому его слову. Это до нѣкоторой степени справедливо; можно и снисходительнѣе отнестись къ историческимъ шалостямъ Гоголя; хотя намъ совсѣмъ непонятна цѣль выступленія съ преувеличенной апологіей Гоголя, какъ историка. Гоголь—поэтъ; съ восторгомъ поколѣніе за поколѣніемъ будетъ перечитывать „Ревизора" и „Мертвыя Души", лишь случайно, вскользь вспомнивъ, что онъ написалъ какую-то историческую статью и на минуту взобрался на каѳедру, которая была вовсе не по немъ. *Писать апологію надо было съ бо́льшимъ тактомъ и осмотрительностью*".

Совершенно справедливо! [1]).

---

[1]) „Русская Мысль", 1892, X, 480.

ТИПЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНІЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНІЯМЪ ГОГОЛЯ.

I.

Въ заключеніе нашей рѣчи о Гоголѣ, какъ педагогѣ, скажемъ объ изображеніи въ его произведеніяхъ воспитателей, причемъ, во избѣжаніе односторонности, коснемся слегка для сравненія также типовъ, встрѣчающихся въ произведеніяхъ Пушкина, что̀ можетъ имѣть значеніе въ виду слишкомъ большой случайности и недостаточности обрисовки соотвѣтствующихъ типовъ у Гоголя.

Хотя Пушкинъ не имѣлъ, очевидно, въ своихъ произведеніяхъ ни цѣли, ни даже повода представить намъ типы идеальныхъ воспитателей; но мы у него не находимъ даже и болѣе или менѣе сносныхъ представителей педагогическаго сословія—явное доказательство, что онъ былъ не вполнѣ удовлетворенъ не однимъ только собственнымъ, но и вообще современнымъ, а тѣмъ болѣе стариннымъ русскимъ образованіемъ. Страннымъ могло бы показаться съ перваго взгляда, однако, то обстоятельство, что единственные примѣры сколько-нибудь разумнаго обученія мы могли бы найти у него лишь въ минувшія эпохи, при описаніи старины, и притомъ не ближайшей, не второй половины XVIII вѣка, а, напротивъ, болѣе отдаленной. Изъ этого, конечно, никакъ нельзя было бы вывести заключенія, что Пушкинъ идеализировалъ старину или находилъ въ ней преимущества, что онъ относился съ пред-

убѣжденіемъ къ образованію въ позднѣйшее время, тѣмъ болѣе,—будто въ русскомъ обществѣ и въ русской педагогіи произошелъ явный регрессъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Но какимъ же образомъ Пушкинъ, который никогда не руководился пристрастіемъ къ древней Руси и вообще никакими предвзятыми тенденціями, изобразилъ образованіе въ ближайшее къ себѣ время въ менѣе выгодномъ свѣтѣ? Дѣло объясняется очень просто. Въ допетровскую эпоху образованіе было на Руси исключительнымъ явленіемъ, но не подневольнымъ, и потому, будучи воспринимаемо болѣе или менѣе сознательно и свободно, не сопровождалось еще тѣми, подчасъ въ высокой степени комическими, явленіями, которыя впослѣдствіи были порождаемы обыкновенно вынужденнымъ и насильственнымъ характеромъ обученія. Сдѣлавшись невольнымъ достояніемъ невѣжественной толпы, оно стало современемъ принимать нерѣдко самыя нелѣпыя, карикатурныя формы, отъ которыхъ освободиться, можетъ быть, далеко не такъ легко, какъ это кажется. Въ „Борисѣ Годуновѣ“ Пушкинъ не только безъ иронiи, столь обыкновенной у него при изображеніи педагоговъ и результатовъ воспитанія въ другихъ случаяхъ, всего чаще уродливыхъ и смѣшныхъ, — но, наоборотъ, съ любовью и несомнѣннымъ сочувствіемъ рисуетъ ученіе юнаго сына Годунова. Въ превосходной сценѣ, гдѣ Годуновъ представленъ среди домашней обстановки, въ высшей степени отрадное впечатлѣніе производитъ и маленькій царевичъ, который учится съ охотой и толкомъ, и его державный отецъ, съ истиннымъ наслажденіемъ видящій въ своемъ сынѣ осуществленіе лучшей части его завѣтныхъ надеждъ, которыя онъ питалъ относительно Россіи. Съ такимъ чувствомъ благороднаго воодушевленія могъ смотрѣть на успѣхи въ наукахъ своихъ дѣтей послѣ того развѣ самъ величайшій представитель русской націи, ея незабвенный преобразователь. Нигдѣ мы не найдемъ у Пушкина болѣе свѣтлой, болѣе привлекательной картины разумнаго и вполнѣ осмысленнаго ученія. На всѣ вопросы отца мальчикъ отвѣчаетъ бойко и удачно; ученіе не было для него, какъ для бо́льшей части почти современныхъ ему юношей, получавшихъ образованіе въ Кіевской академіи или братскихъ школахъ, „горькой школьной чашей“; оно было для него сознательнымъ средствомъ просвѣтить свой умъ и обогатить его

познаніями, необходимыми для разумнаго управленія Русью. Въ отцѣ своёмъ онъ находитъ достойнаго, истинно-просвѣщеннаго руководителя, который говоритъ ему:

„Учись, мой сынъ, и легче, и яснѣе
Державный трудъ ты будешь постигать".

Но нельзя забывать, что Пушкинъ взялъ здѣсь, очевидно, совершенно исключительный, можетъ быть, единственный случай изъ исторіи нашего просвѣщенія до Петра Великаго. Наоборотъ, заурядным явленіемъ въ ту эпоху были побѣги отъ тяжкой „школьной чаши" въ казачество и закапываніе въ землю букварей, какъ это дѣлалъ не разъ Остапъ въ повѣсти Гоголя „Тарасъ Бульба". Болѣе примѣнимую къ обыкновеннымъ, такъ сказать, типичнымъ случаямъ тогдашняго обученія характеристику мы находимъ уже у Гоголя въ слѣдующихъ строкахъ: „Тогдашній родъ ученія страшно расходился съ образомъ жизни. Эти схоластическія, грамматическія, риторическія и логическія тонкости рѣшительно не прикасались ко времени, никогда не примѣнялись и не повторялись въ жизни. Учившіеся имъ ни къ чему не могли привязать своихъ познаній, хотя бы даже менѣе схоластическихъ. Самые тогдашніе ученые болѣе другихъ были невѣжды, потому что вовсе были удалены отъ опыта" [1]). Такимъ образомъ, изображеніе въ сочувственномъ свѣтѣ исключительно воспитанія въ отдаленную старину было у Пушкина, безспорно, случайностью, хотя мы могли бы у него указать и другой примѣръ подобной случайности. Мы говоримъ объ Ибрагимѣ въ „Арапѣ Петра Великаго", гдѣ послѣдній представленъ человѣкомъ дѣльнымъ, сумѣвшимъ извлечь серьезную пользу изъ полученнаго имъ за-границею образованія и взявшимъ отъ школы то, что она могла ему дать. Что онъ не даромъ провелъ годы своего ученія, видно изъ того, что, по возвращеніи въ Петербургъ, онъ былъ въ состояніи немедленно сдѣлаться сотрудникомъ великаго Царя - Преобразователя. Но это опять если не исключеніе, то представитель весьма ограниченнаго меньшинства серьезныхъ молодыхъ людей, очень замѣтно выдѣлявшихся изъ пестрой толпы жалкихъ перенимателей евро-

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 258.

цейской внѣшности вродѣ франта Корсакова, который съ такимъ постыднымъ тупоуміемъ гордится своимъ щегольскимъ костюмомъ и изысканными манерами и который заслужилъ мѣткое прозваніе „заморской обезьяны“. Въ повѣсти снова лишь случайно, по требованіямъ собственно литературнымъ, въ качествѣ героя произведенія, сильно выдвигается разумный представитель основательнаго образованія, Ибрагимъ, тогда какъ дюжинный представитель толпы, ограниченный, самодовольный и невѣжественный Корсаковъ отступаетъ на дальній планъ. Генеалогическія или, лучше сказать, фамильныя соображенія явно играютъ здѣсь не маловажную роль, подобно тому, какъ въ „Борисѣ Годуновѣ“ слишкомъ выдвинутъ впередъ бояринъ Гаврила Пушкинъ, гораздо больше, нежели позволяетъ вѣрность исторіи. Но литературныя и иныя соображенія никогда не шли у Пушкина въ разрѣзъ съ историческими и не затемняли послѣднихъ, и едва ли можно сомнѣваться, что если бы повѣсть была окончена, то, вѣроятно, мы имѣли бы въ ней такое же полное изображеніе эпохи Петра Великаго, какъ полно представлена эпоха Бориса Годунова въ трагедіи того же названія.

Наконецъ, кромѣ двухъ указанныхъ нами примѣровъ, можно было бы отмѣтить еще Ленскаго въ „Евгеніи Онѣгинѣ“, образованіе котораго хотя очерчено и довольно поверхностно, но во всякомъ случаѣ скорѣе съ выгодной стороны. Пушкинъ вообще очень сочувственно относится къ только-что возвратившемуся изъ Германіи юному поэту, бывшему питомцу Геттингенскаго университета.

Но какъ бы то ни было, Ленскій продуктъ не отечественнаго воспитанія и потому въ настоящемъ случаѣ можетъ представлять для насъ только очень условный интересъ. Намъ важнѣе знать, какъ смотрѣлъ Пушкинъ на современное ему образованіе въ Россіи. Здѣсь мы должны начать съ извѣстной характеристики этого образованія въ „Евгеніи Онѣгинѣ“:

„Мы всѣ учились понемногу,
Чему-нибудь и какъ-нибудь;
Такъ воспитаньемъ, слава Богу,
У насъ немудрено блеснуть“.

Если бы мы захотѣли провѣрить эту характеристику по самымъ произведеніямъ поэта, то, безъ сомнѣнія, убѣдились бы,

что слова эти не случайно сорвались съ его языка подъ вліяніемъ пессимистическаго настроенія или преувеличенно-мрачнаго взгляда на тогдашнее воспитаніе; нѣтъ, они были, какъ оказывается, дѣйствительно примѣнимы къ обществу того времени. Въ томъ же произведеніи, но уже въ слѣдующей главѣ, написанной не ранѣе какъ черезъ годъ послѣ только-что приведенныхъ строкъ, Пушкинъ высказалъ сходный взглядъ на тотъ же предметъ уже совершенно по другому поводу:

„Намъ просвѣщенье не пристало,
И намъ досталось отъ него,
Жеманство—больше ничего".

И эта вторая характеристика опять находится въ полнѣйшемъ согласіи съ изображеніемъ въ произведеніяхъ Пушкина представителей образованнаго класса.

Слѣды нелѣпаго жеманства, явившагося плодомъ неразборчиваго и неумѣлаго перениманія у иностранцевъ, мы найдемъ у большинства Пушкинскихъ героевъ. Этотъ типъ, начиная съ кантемировскаго Медора, видоизмѣняясь, облагораживаясь или, по меньшей мѣрѣ, становясь приличнѣе, не умиралъ въ русской литературѣ до нашихъ дней. Въ произведеніяхъ Пушкина первымъ по времени и карикатурнымъ по своей безнадежной пустотѣ является уже названный нами Корсаковъ въ „Арапѣ Петра Великаго". Но оставляя теперь его въ сторонѣ и сосредоточивая свое вниманіе преимущественно на типахъ конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія, мы должны прежде всего отмѣтить и прослѣдить наиболѣе яркое отраженіе этого прививного жеманства въ женскихъ типахъ. Вотъ передъ нами почтенная половина Дмитрія Ларина, мать Татьяны и Ольги:

„Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтобъ Грандисона
Она Ловласу предпочла;
Но въ старину княжна Полина,
Ея московская кузина,
Твердила часто ей объ нихъ"...
. . . . „Она была одѣта
Всегда по модѣ и къ лицу"...
„Бывало писывала кровью

Она въ альбомы нѣжныхъ дѣвъ,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспѣвъ;
Корсетъ носила очень узкій,
И русскій Н., какъ N французскій,
Произносить умѣла въ носъ".

Всѣ эти гримасы Лариной были ею пріобрѣтены подъ вліяніемъ моды, изъ вторыхъ рукъ, отъ какой-то московской кузины. Но перевернемъ нѣсколько страницъ—и мы встрѣтимся у Пушкина съ настоящей „образованной дамой", получившей патентованное пансіонское воспитаніе. Эта дама — Наталья Павловна въ „Графѣ Нулинѣ". Здѣсь, характеризуя пустоту и пошлость современнаго женскаго воспитанія, Пушкинъ удивительно сходится съ Гоголемъ, коснувшимся того же предмета въ юмористической характеристикѣ Маниловой.

„Хозяйство", говоритъ Гоголь, „предметъ низкій, а Манилова воспитана хорошо, а хорошее воспитаніе, какъ извѣстно, получается въ пансіонахъ; а въ пансіонахъ, какъ извѣстно, три главные предмета составляютъ основу человѣческихъ добродѣтелей: французскій языкъ, необходимый для счастія семейственной жизни, фортепьяно, для доставленія пріятныхъ минутъ супругу, и, наконецъ, собственно хозяйственная часть: вязаніе кошельковъ и сюрпризовъ. Впрочемъ, бываютъ разныя усовершенствованія и измѣненія методовъ, особенно въ нынѣшнее время: все это болѣе зависитъ отъ благоразумія и способностей самихъ содержательницъ пансіона. Въ другихъ пансіонахъ бываетъ, такимъ образомъ, что прежде фортепьяно, потомъ французскій языкъ, а тамъ уже хозяйственная часть. А иногда бываетъ и такъ, что прежде хозяйственная часть, т. е. вязаніе сюрпризовъ, потомъ французскій языкъ, а потомъ уже фортепьяно. Разныя бываютъ методы" [1]).

Пушкинъ съ своей стороны такъ характеризуетъ пансіонское воспитаніе Натальи Павловны:

„Наталья Павловна совсѣмъ
Своей хозяйственною частью
Не занималася, затѣмъ
Что не въ отеческомъ законѣ
Она воспитана была,

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. III, стр. 22—23.

А въ благородномъ пансіонѣ
У эмигрантки Фальбала".

Начиная съ обученія танцамъ Натальи Гавриловны, дочери Гаврилы Аѳанасьевича Ржевскаго въ „Арапѣ Петра Великаго", которая хотя и была воспитана по старинному и даже не знала грамотѣ, но уже жаждала уроковъ „плясокъ нѣмецкихъ" до того, что строгій и съ упорнымъ пристрастіемъ державшійся старины отецъ принужденъ былъ уступить ея горячему желанію и прибѣгнуть къ услугамъ хромого шведскаго офицера, согласившагося сдѣлаться танцмейстеромъ,— начиная съ этого еще очень стариннаго проявленія жеманства, оно надолго вошло въ русскіе нравы, и изображеніе его мы находимъ всюду у Пушкина. Сама Татьяна въ „Евгеніи Онѣгинѣ" обязана особенностямъ вполнѣ индивидуальнымъ — своему далеко не дюжинному уму, замѣчательному такту, любви къ чтенію и въ высокой степени развитой любознательности,—что мы въ ней не находимъ ничего страннаго, не говоря уже о карикатурномъ. Но и она обучалась очень немногому, почти только однимъ танцамъ да французскому языку и научилась читать французскіе романы; но не могла притомъ отрѣшиться отъ самыхъ грубыхъ простонародныхъ суевѣрій. Но вѣдь Татьяна личность выдающаяся, исключительная. Не безъ намѣренія знакомя съ нею въ первый разъ читателей, Пушкинъ предпосылаетъ характеристику ея младшей сестры Ольги. Сначала онъ даетъ легкую, преимущественно внѣшнюю характеристику пустенькой, заурядной дѣвушки, о которой при ея крайней духовной безсодержательности, нечего и сказать, кромѣ того, что у нея

„Глаза, какъ небо, голубые,
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голосъ, легкій станъ", и проч.

Но нарисовавъ этотъ миловидный портретъ, Пушкинъ спѣшитъ перейти постепенно къ внѣшней же характеристикѣ Татьяны, а потомъ уже и къ внутренней. Не безъ причины внѣшняя характеристика и даже начало внутренней характеристики Татьяны ведется все еще въ связи съ характеристикой Ольги и состоитъ сначала изъ отрицательныхъ признаковъ: поэтъ, очевидно, хочетъ намъ дать почувствовать, что Татьяна не

походитъ на Ольгу и вообще на дюжинныхъ провинціальныхъ дѣвушекъ, которыхъ Ольга является болѣе или менѣе типичной представительницей. Самое расположеніе характеристики Татьяны, постепенно переходящей отъ менѣе значительныхъ чертъ къ такимъ, которыя доказываютъ богатство ея внутренняго міра, намекаетъ съ достаточною ясностью, что Татьяна—натура щедро одаренная, не похожая на большинство сверстницъ.

Всѣ названныя выше дѣвицы болѣе или менѣе знаютъ французскій языкъ, читали французскіе романы и, подъ вліяніемъ безпорядочнаго чтенія, ихъ разгоряченное воображеніе такъ настроено, что онѣ ищутъ героевъ собственнаго романа, часто заставляя себя рядить въ нихъ перваго попавшагося.

Немногимъ лучше было образованіе мужчинъ. Оставляя въ сторонѣ совершенно необразованныхъ капитановъ Мироновыхъ, обоихъ Гриневыхъ, станціонныхъ смотрителей, составителя исторіи села Горохина и проч., мы увидимъ, что нерѣдко, занятые своимъ образованіемъ и развитіемъ, люди могли гордиться, главнымъ образомъ, тѣмъ, что умѣли читать и говорить по-французски. Такъ, начиная съ представителей прошлаго столѣтія, отмѣтимъ Швабрина, у котораго „было нѣсколько французскихъ книгъ“. Изъ представителей нынѣшняго вѣка Пушкинъ говоритъ всего подробнѣе о воспитаніи Онѣгина, и то не столько о самомъ воспитаніи, сколько о его результатахъ. Но воспитаніе Онѣгина такъ часто разбиралось и характеризовалось, что мы не рѣшаемся снова поднимать этотъ вопросъ. Достаточно замѣтить, что воспитаніе Онѣгина было все сосредоточено на усвоеніи манеръ и тѣхъ верхушекъ знаній, которыя предназначались исключительно для эффекта, чтобы ослѣпить блескомъ, или, употребляя вульгарное выраженіе, „пустить пыль въ глаза“. И дѣйствительно, Онѣгинъ

. . . „по-французски
Могъ изъясняться и писалъ,
Легко мазурку танцовалъ
И кланялся непринужденно“.

Всѣми этими талантами, надо полагать, обладалъ и Владиміръ Дубровскій, выдававшій себя за француза, слѣдова-

тельно—довольно хорошо знавшій французскій языкъ и имѣвшій возможность свободно фигурировать въ качествѣ чуть не парижанина не въ особенно дикомъ захолустьѣ. Такимъ образомъ и мужчины въ тѣ времена заботились больше всего о французскомъ языкѣ и свѣтской развязности. И они, подобно прекрасному полу, благодаря привольной жизни, обезпеченной крѣпостнымъ трудомъ, проводили бо́льшую часть времени въ обществѣ, гдѣ предавались свѣтскимъ разговорамъ, играли въ любовь, увозили своихъ избранницъ, стрѣлялись на дуэли и вообще могли считаться предшественниками Печорина, не имѣя пока только самой яркой отличительной черты этого послѣдняго — его демоническаго разочарованія. Разочарованіе же Онѣгина было такой невысокой пробы, что оно можетъ, пожалуй, и вовсе не идти въ счетъ: онъ все же гораздо ближе къ молодому Дубровскому, нежели къ Печорину.

Двадцатые и тридцатые годы нынѣшняго столѣтія были по преимуществу временемъ, когда уживалось рядомъ самое старозавѣтное самодурство съ элементарными признаками внѣшняго лоска. Смѣшеніе французскаго съ нижегородскимъ господствовало не только въ языкѣ, но и въ самыхъ нравахъ. Тогда были возможны рядомъ личности Ивана Петровича Берестова, коренного, чисторусскаго стариннаго дворянина, и англомана Григорія Ивановича Муромскаго. Характеръ образованія въ высшихъ и среднихъ слояхъ имѣлъ много сходнаго; разница же была скорѣе количественная, нежели качественная. Всѣ наши аристократы, изображенные Пушкинымъ, всѣ эти личности — графиня въ „Пиковой Дамѣ“, Зинаида Вольская и Минскій въ отрывкѣ „Гости съѣзжались на дачу“ отличаются только тономъ и обстановкой отъ Марьи Кирилловны въ „Дубровскомъ“, Марьи Гавриловны въ повѣсти „Метель“, Лизы и Саши, а также Владиміра Z въ отрывкѣ „Романъ въ письмахъ“, Сильвіо въ „Выстрѣлѣ“, Германа въ „Пиковой Дамѣ“. Люди болѣе средняго круга бывали иногда смѣшны своимъ жеманствомъ, какъ Григорій Ивановичъ Муромскій въ „Барышнѣ-Крестьянкѣ“, который „развелъ англійскій садъ и тратилъ на него почти всѣ доходы“, одѣлъ конюховъ жокеями и обработывалъ поля по англійской методѣ. Конечно, дѣйствующія лица „Египетскихъ ночей“ и относящихся къ нимъ неконченныхъ отрывковъ гораздо изящнѣе; рѣзкія странности людей средняго круга въ нихъ сглажены постояннымъ обра-

щеніемъ въ большомъ свѣтѣ. Такіе львы и львицы, какъ Чарскій, Вольская, графиня К. и мужъ ея польскій графъ стоятъ, безъ сомнѣнія, на гораздо высшей ступени сравнительно съ Муромскимъ и ему подобными.

Во всякомъ случаѣ, весь складъ тогдашней жизни, характеръ образованія, обращеніе съ учителями, самая роль ихъ въ тѣхъ помѣщичьихъ и столичныхъ семьяхъ, гдѣ имъ было назначено судьбой воспитывать юныхъ птенцовъ, были таковы, что нельзя не повторить словъ Грибоѣдова: „Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ".

Достаточно вспомнить, что Троекуровъ, при своемъ дикомъ характерѣ, „съ учителями не церемонился и уже двоихъ засѣкъ до смерти". Мы видимъ тутъ явную связь между нравами первой половины нашего столѣтія и блаженной памяти временами Митрофана и Простаковой. Идти учителемъ въ домъ къ Троекурову могла заставить или крайняя, безвыходная нужда, какъ настоящаго Дефоржа, или пылкая романтическая страсть, подъ вліяніемъ которой мнимый Дефоржъ - Дубровскій не только переносилъ выходки капризнаго барина, но и забывалъ въ немъ ненавистнаго, смертельнаго врага. Ради этой страсти, Дубровскому пришлось вынести и устроенную для потѣхи Кириллы Петровича обидную аудіенцію съ голоднымъ медвѣдемъ.

И такъ на вопросъ, въ какомъ свѣтѣ являются практики-педагоги и самое воспитаніе въ произведеніяхъ нашей литературы начала нынѣшняго столѣтія приходится, къ сожалѣнію, отвѣтить констатированіемъ того прискорбнаго факта, что мы не находимъ у Пушкина ни одного положительнаго типа педагога, но исключительно отрицательные. Конечно, это должно быть объяснено неудовлетворительнымъ состояніемъ нашей педагогіи, бывшей въ началѣ нынѣшняго вѣка еще въ рукахъ слишкомъ извѣстныхъ каждому гувернеровъ-иностранцевъ; но надо обратить вниманіе и на другія обстоятельства. Такъ мы должны принять въ разсчетъ вообще весьма сильное преобладаніе отрицательныхъ типовъ въ нашей литературѣ.

Замѣчательно, кромѣ того, что всѣ приведенные у Пушкина педагоги исключительно иностранцы разныхъ націй, въ огромномъ большинствѣ случаевъ французы, но также и нѣмцы, шведы (плѣнный танцмейстеръ съ прострѣленной но-

гой въ повѣсти „Арапъ Петра Великаго“), и англичане (мы имѣемъ здѣсь собственно гувернантку - англичанку въ „Барышнѣ-Крестьянкѣ“). Единственными же русскими воспитателями являются невѣжественные дядьки. О дядькахъ упомянуто лишь вскользь уже въ «Запискахъ П. В. Нащокина“, представляющихъ изъ себя не повѣсть, а дѣйствительныя воспоминанія прошлаго (см. Соч. Пушк., т. IV, стр. 342); но зато къ этой группѣ принадлежитъ ярко очерченная личность Савельевича, дядьки Гринева. Этотъ симпатичный типъ вмѣстѣ съ няней Егоровной въ „Дубровскомъ“ и сѣдой Филиппьевной въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ принадлежитъ къ числу весьма привлекательныхъ по образцовой самоотверженности, безграничной преданности господамъ до послѣдней капли крови, по полнѣйшему безкорыстію, наконецъ по совершенному отсутствію сознанія собственныхъ заслугъ. Эти типы, конечно, должны быть признаны положительными, не смотря на нѣкоторыя смѣшныя стороны. Но это все-таки не настоящіе воспитатели. А воспитатели въ произведеніяхъ Пушкина всѣ далеко не идеальные гувернеры - иностранцы. Кого же мы встрѣчаемъ въ ряду этихъ послѣднихъ?

Въ этой толпѣ можно было бы насчитать не мало „воспитателей двухъ поколѣній: предшествовавшаго Пушкину и современнаго ему. Къ первымъ принадлежитъ прежде всего классическая фигура страстнаго любителя спиртныхъ напитковъ, невѣжественнаго Бопре, этого „канальи - француза“, спавшаго сномъ невинности въ тотъ злополучный часъ, когда Андрей Петровичъ Гриневъ засталъ его воспитанника клеившимъ змѣй изъ соблазнившей его своей добро́той географической карты и прилаживавшимъ хвостъ къ мысу Доброй Надежды, и еще тотъ упорный французъ, который, если не злонамѣренно, то по неизвинительной оплошности „научилъ пьянству“ мальчика Нащокина. Но это все еще, такъ сказать, старозавѣтные французы, которые были возможны только въ прошедшемъ столѣтіи и то преимущественно въ глухихъ захолустьяхъ. За ними постепенно слѣдуютъ: madame, ходившая за Евгеніемъ Онѣгинымъ, и смѣнившій ее „французъ убогій“ monsieur l'Abbé, мамзель Мишо и французъ Дефоржъ въ „Дубровскомъ“, содержательница пансіона Фальбала, въ которомъ получила воспитаніе Наталья Павловна въ „Графѣ Нулинѣ“, жеманная англичанка въ „Барышнѣ-Крестьянкѣ“,

и проч. Все это, кромѣ Деформа, типы въ высокой степени комическіе. Называя ихъ, нельзя не отмѣтить вѣрное воспроизведеніе у Пушкина исторической черты: дѣйствительно, въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтій, всю Россію, чему-нибудь учившуюся, коверкали на всѣ лады эти иноземные гости, которыхъ затронулъ въ своихъ безсмертныхъ басняхъ и незабвенный дѣдушка Крыловъ (напр. въ „Червонцѣ“). Безчисленные примѣры подобныхъ иностранцевъ мы могли бы найти въ разныхъ воспоминаніяхъ, печатавшихся и продолжающихъ печататься въ нашихъ историческихъ журналахъ, а также ихъ изображенія нерѣдки, конечно, и въ литературныхъ произведеніяхъ, которыхъ сюжеты относятся къ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія. Такъ, напр., и у Грибоѣдова въ „Горе отъ ума“ Фамусовъ говоритъ дочери о ея бывшей воспитательницѣ:

„Мать умерла — умѣлъ я приманять
Въ мадамъ Розье вторую мать“...

Сами наши писатели первой половины нынѣшняго вѣка, въ противоположность своимъ предшественникамъ на литературномъ поприщѣ, обучались непремѣнно у иностранныхъ гувернеровъ: Жуковскій у какого-то нѣмца Якима Ивановича, мучившаго его и ознаменовавшаго свое пребываніе въ Мишенскомъ комическими проявленіями своей оригинальной страсти къ кузнечикамъ (см. Загарина, „В. А. Жуковскій и его произведенія“, т. I, стр. 4), у Христіана Филипповича Роде, содержателя пансіона въ Тулѣ, Грибоѣдовъ у Петрозиліуса и Іона (оба они, а особенно послѣдній, впрочемъ, далеко не походили на большинство своихъ собратій); первоначальными учителями Пушкина были Монфоръ, Русло, Шедель и Шиллеръ, учителями Лермонтова — Жандро, Леви и Винсонъ...

Въ произведеніяхъ Гоголя мы уже почти не найдемъ этой иноземной арміи; единственный иностранецъ учитель у него жившій нѣкогда въ антресоляхъ дома Плюшкина учитель-французъ, „который славно брился и былъ большой стрѣлокъ: приносилъ всегда къ обѣду тетерекъ или утокъ, а иногда одни воробьиныя яйца, изъ которыхъ заказывалъ себѣ яичницу, потому что больше въ цѣломъ домѣ никто ея не ѣлъ“ [1]). Кромѣ

[1]) Соч. Гог.. изд. X, т. III, стр. 115.

этого француза мы встрѣчаемъ еще у Гоголя тутъ же, при описаніи прежней жизни Плюшкина, также жившую на антресоляхъ компатріотку его, наставницу двухъ дѣвицъ, и еще только упомянутыхъ, но не обрисованныхъ гувернеровъ всѣхъ націй, гуляющихъ съ своими питомцами въ батистовыхъ воротничкахъ по Невскому проспекту. Гоголь изображаетъ ихъ такъ: „Англійскіе джонсы и французскіе коки идутъ подъ руку съ ввѣренными ихъ родительскому попеченію питомцами и съ приличною солидностью изъясняютъ имъ, что вывѣски надъ магазинами дѣлаются для того, чтобы можно было посредствомъ ихъ узнать, что находится въ самыхъ магазинахъ. Гувернантки, блѣдныя миссы и розовыя славянки, идутъ величаво позади своихъ легенькихъ, вертлявыхъ дѣвчонокъ, приказывая имъ поднимать нѣсколько выше плечо и держаться прямѣе“ („Невскій Проспектъ“)[1]). Изъ этихъ строкъ мы снова убѣждаемся, что иностранный элементъ среди воспитателей дѣтей средняго и высшаго слоевъ общества былъ преобладающимъ, хотя здѣсь упомянуты уже и „розовыя славянки“. Какъ ни бѣгло коснулся Гоголь этихъ гувернеровъ-иностранцевъ, но передъ нашими глазами, на основаніи этого легкаго очерка, весьма живо рисуются жеманные педанты, которыхъ мудрость состоитъ преимущественно во внѣшней выправкѣ и муштрованіи и въ весьма легковѣсныхъ объясненіяхъ, которыя немного или вовсе не отличаются отъ самодовольныхъ толкованій молодого шляхтича, съ большимъ аппломбомъ разъяснявшаго своей коханкѣ Юзысѣ, что народъ собрался на площади, чтобы смотрѣть, какъ будутъ казнить преступниковъ, а тотъ, который держитъ въ рукахъ сѣкиру, палачъ, и, наконецъ, что „какъ начнетъ палачъ колесовать и дѣлать другія муки, то преступникъ будетъ еще живъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ, душечка, сейчасъ и умретъ“ [2]).

Но если этими немногими выписанными выше строками исчерпывается все, что имѣетъ въ сочиненіяхъ Гоголя какое-нибудь отношеніе къ иностранцамъ-воспитателямъ и къ часто изображаемому Пушкинымъ жеманству, то мы находимъ у него зато ярко обрисованнымъ не одного отечественнаго захолустнаго пѣстуна. Самый характерный изъ нихъ учитель

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. V, 253.
[2]) Соч. Гог., т. I, стр. 355—356.

Чичикова, большой любитель „тишины“, не терпѣвшій Крылова за то, что онъ сказалъ: „по мнѣ хоть пей, да дѣло разумѣй“, и не любившій живыхъ и бойкихъ мальчиковъ, потому что ему казалось, что они могутъ надъ нимъ посмѣяться. Далѣе слѣдуютъ: смотритель уѣзднаго училища Лука Лукичъ Хлоповъ съ своимъ штатомъ учителей, изъ которыхъ одинъ не можетъ обойтись, чтобы, входя на каѳедру и расклaниваясь съ учениками, не сдѣлать убійственную гримасу, а другой, разсказывая съ жаромъ объ Александрѣ Македонскомъ, ломаетъ казенные стулья. Самъ Лука Лукичъ—человѣкъ запуганный до послѣдней степени, какъ огня боящійся ревизій, причемъ ему особенно досадно, что „всякій мѣшается, всякому хочется показать, что онъ тоже умный человѣкъ“. Наконецъ, занимающую насъ фалангу можно заключить учителемъ дѣтей Манилова, обучившаго своихъ питомцевъ названіямъ главныхъ городовъ въ европейскихъ государствахъ.

Такимъ образомъ мы получаемъ изъ сочиненій Гоголя знакомство съ дѣйствовавшимъ въ его время поколѣніемъ воспитателей, хотя и менѣе разностороннее, нежели изъ сочиненій Пушкина. У обоихъ писателей, какъ это и естественно, находятся очень близкія точки соприкосновенія въ изображеніи представителей той же эпохи; указанная же нами существенная разница въ преимущественномъ выборѣ однихъ типовъ педагоговъ передъ другими опять вполнѣ объясняется тѣмъ кругомъ, въ которомъ имѣли больше случаевъ производить свои наблюденія оба наши величайшіе писателя. Гоголь мало изображалъ аристократическій и даже средній кругъ. Поэтому же мы чаще встрѣчаемъ у него изображеніе людей, не получившихъ почти вовсе образованія, особенно въ повѣстяхъ съ сюжетами изъ малороссійскаго быта: Солопій Черевикъ, Оксана, кузнецъ Вакула, Левко, старосвѣтскіе помѣщики, Иванъ Ивановичъ Перерепенко и Иванъ Никифоровичъ Довгочхунъ — все это люди, которые и слыхомъ не слыхали объ ученіи и наукахъ, или же совсѣмъ о нихъ не заботились и не вспоминали. Большинство помѣщиковъ въ „Мертвыхъ Душахъ“ и чиновниковъ въ „Ревизорѣ“ едва возвысились надъ простой грамотностью, хотя нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ понятіе о „Юріи Милославскомъ“ Загоскина и знаютъ по имени Пушкина.

Но Гоголь, хотя и неравномѣрно, все же затрогиваетъ всѣ

ступени образованія въ Россіи отъ высшаго университетскаго до бурсы включительно. Всѣмъ хорошо извѣстно, какъ представлена Гоголемъ система современнаго ему женскаго пансіонскаго образованія, какъ Гоголь смѣется надъ его пустотой, надъ ограниченными взглядами содержательницъ пансіоновъ и надъ продуктами ихъ воспитанія вродѣ Маниловой и проч. Въ иномъ, но также юмористическомъ свѣтѣ рисуетъ Гоголь и образованіе мужчинъ: онъ представляетъ намъ профессоровъ съ „новыми взглядами и новыми точками воззрѣній", „забрасывающихъ своихъ слушателей мудреными терминами и прочитывающихъ въ три года только введеніе да развитіе общинъ какихъ-то нѣмецкихъ городовъ" [1]). Въ повѣсти „Вій" Гоголь вводитъ читателей уже въ будничный обиходъ средней школы, живо представляя пеструю толпу грубыхъ и полуголодныхъ бурсаковъ, и самое устройство бурсы съ авдиторами и ликторами, раздѣленіе ея на богослововъ, философовъ, риторовъ и грамматиковъ, наконецъ, развлеченія школьниковъ, вродѣ кулачныхъ боевъ, обычай сѣченія и уклоненія отъ него, періодическія странствованія домой на лѣтнія каникулы и проч. Вообще вся внѣшняя сторона быта и самая жизнь бурсы изображены Гоголемъ замѣчательно живо и ярко. Питомцы бурсы, богословъ Холява и философъ Хома Брутъ, вкусили уже отъ плода школьнаго ученія, испробовали преимущественно всю горечь корней его съ неизбѣжной нѣкогда спутницей его лозой, но знанія ихъ не глубокія; едва ли они даже многимъ превосходили въ этомъ отношеніи бурсаковъ прежнихъ поколѣній, Остапа и Андрія, знавшихъ, что̀ такое бурса и римская республика, но оставшихся и по наружности, и на самомъ дѣлѣ, такими же простыми и невѣжественными людьми, какъ и вся окружавшая ихъ толпа обыкновенныхъ запорожцевъ. Въ противоположность большинству получившихъ какое-нибудь образованіе героевъ Пушкина, они не имѣютъ никакого понятія о свѣтскомъ лоскѣ.

Какъ юмористъ, Гоголь выставляетъ преимущественно пошлость и въ представителяхъ столицы, въ лицѣ Хлестакова, Тряпичкина, майора Ковалева и другихъ, представляющихъ собою продукты извращеннаго воспитанія, иногда также не безъ слѣдовъ жеманства. Единственно два художника, Черт-

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. III, стр. 284 и 286; 3-е изд. послѣд., т. III, стр. 281.

ковъ и Пискаревъ, являются у него не только людьми не чуждыми образованія, но даже до нѣкоторой степени благородными носителями идеаловъ—по крайней мѣрѣ въ началѣ.

Но не одни отрицательные типы неумѣлыхъ педагоговъ и уродливо воспитанныхъ ими людей находимъ мы у Гоголя: среди указанныхъ нами лицъ, большею частью затронутыхъ имъ только вскользь, мы встрѣчаемъ у него идеальнаго педагога Александра Петровича въ началѣ второй части „Мертвыхъ Душъ“. Впрочемъ, эта личность уже гораздо менѣе удачно обрисована авторомъ, какъ и всѣ созданныя его воображеніемъ, а не взятыя изъ дѣйствительнаго міра. Гоголь самъ говорилъ о себѣ въ „Авторской Исповѣди“, что онъ „никогда не создавалъ въ воображеніи и не имѣлъ этого свойства“ и что у него „только то и выходило хорошо, что̀ было взято изъ дѣйствительности, изъ данныхъ извѣстныхъ ему“. Замѣтимъ кстати, что у Пушкина мы совсѣмъ не находимъ соотвѣтствующаго Александру Петровичу воображаемаго педагога, что̀ и понятно, такъ какъ онъ никогда не насиловалъ своего творчества и не задавался намѣреніемъ рисовать ходульныхъ героевъ.

Въ заключеніе обзора той части педагогическихъ взглядовъ Гоголя, которая касается общественнаго воспитанія, не можемъ не указать на одну точку соприкосновенія его статей съ замѣтками Пушкина о народномъ воспитаніи. Этимъ звеномъ можно считать общую имъ обоимъ мысль о томъ, какъ достигнуть главной цѣли воспитанія—чтобы „воспитанники были всегда вѣрны отечеству и государю“. Въ статьяхъ Гоголя съ этой мыслью тѣсно соединена еще другая: въ своемъ планѣ преподаванія онъ ставитъ вездѣ во главу угла познаніе „непостижимаго Зодчаго міра“ [1]). Съ другой стороны, отмѣтимъ и существенную разницу во взглядахъ нашихъ писателей на воспитаніе: Гоголь, какъ всегда и во всемъ, задавался слишкомъ широкими цѣлями, создавалъ грандіозные идеалы, осуществить которые часто былъ не въ силахъ, и притомъ онъ пытался изобразить отвлеченный типъ образцоваго педагога; Пушкинъ представлялъ только то̀, что̀ наблюдалъ въ дѣйствительности, а въ своей педагогической замѣткѣ посвятилъ вниманіе не общимъ, а частнымъ, животре-

1) Соч. Гог., изд. X, т. V, стр. 295.

пещущимъ педагогическимъ вопросамъ, имѣвшимъ непосредственное отношеніе къ извѣстному времени и извѣстнымъ обстоятельствамъ.

Переходя къ анализу взглядовъ Гоголя на домашнее воспитаніе, замѣтимъ прежде всего, что и они сложились не столько подъ вліяніемъ упорнаго систематическаго труда педагога по профессіи, сколько являются отраженіемъ и переработкой того богатаго запаса впечатлѣній, который былъ вынесенъ Гоголемъ изъ практической жизни. Какъ во всѣхъ статьяхъ педагогическаго характера, вышедшихъ изъ-подъ пера Гоголя, мы замѣчаемъ нѣкоторую устойчивость во взглядахъ, такъ напримѣръ мысли, высказанныя въ 1829 году, т. е. тотчасъ по оставленіи Гоголемъ гимназіи высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ, повторяются приблизительно въ сходной формѣ въ 1834 г., и Гоголь-профессоръ придерживался въ общихъ чертахъ тѣхъ же мнѣній, какія имѣлъ еще Гоголь-абитуріентъ лицея: какъ въ этихъ статьяхъ Гоголь ратуетъ за цѣльное и яркое представленіе преподаваемаго, такъ и въ своихъ педагогическихъ сужденіяхъ, касающихся первоначальнаго и дальнѣйшаго домашняго воспитанія, онъ невольно устремлялъ главное вниманіе на ту сторону духовнаго, которая, по его внутреннему признанію, всего больше казалась ему цѣлесообразною по воспоминаніямъ собственной дѣтской жизни. Его непосредственное чувство громко говорило въ пользу картинности и увлекательности развертываемыхъ передъ учащимися образовъ, и причину этого взгляда слѣдуетъ искать, во всякомъ случаѣ, не столько въ твердо сложившихся убѣжденіяхъ, благодаря строгому анализу и напряженной головной работѣ, сколько въ свѣжемъ сознаніи когда-то пережитого и перечувствованнаго. Помня, что въ его душу всего сильнѣе и глубже западало все то, что дѣйствовало на его воображеніе, онъ, безъ сомнѣнія, искренно и безъ фразъ настаиваетъ на воздѣйствіи именно на эту способность. Какъ при изученіи географіи, по убѣжденію Гоголя, воспитанникъ не долженъ вовсе имѣть учебника, потому что книга „какая бы она ни была, будетъ сжимать и умерщвлять воображеніе“ и слѣд. передъ ученикомъ „должна быть одна только карта“: такъ въ томъ же самомъ духѣ высказывался онъ въ письмѣ къ матери о религіозномъ воспитаніи бдной изъ своихъ младшихъ сестеръ:

„Говорите ей поболѣе о будущей жизни, опишите всѣми возможными и нравящимися для дѣтей красками тѣ радости и наслажденія, которыя ожидаютъ праведныхъ, и какія ужасныя, жестокія муки ждутъ грѣшныхъ. Ради Бога, говорите ей почаще объ этомъ, при всякомъ ея поступкѣ, хорошемъ или дурномъ. Вы увидите, какія благодѣтельныя это произведетъ слѣдствія. *Нужно сильно потрясти дѣтскія чувства*, тогда они надолго сохранятъ все прекрасное. *Я испыталъ это на себѣ*“ [1]).

Другая отличительная особенность педагогическихъ взглядовъ Гоголя, касающихся домашняго воспитанія,—ихъ узкая практичность. Съ этой стороной ихъ мы знакомимся изъ его интимной переписки съ родными. Гоголю случалось иногда давать совѣты матери, сестрѣ, знакомымъ о воспитаніи ихъ дѣтей или племянниковъ, и здѣсь-то онъ становился обыкновенно на самую обыденную, практическую почву. Въ воспитаніи женщины онъ цѣнилъ больше всего ея хозяйственныя познанія и умѣнье быть полезной въ домашнемъ обиходѣ. Отдавая одну изъ сестеръ (окончившую, впрочемъ, уже курсъ въ Патріотическомъ институтѣ) на попеченіе своей знакомой П. И. Раевской, онъ въ слѣдующихъ словахъ формулировалъ свои надежды и желанія: „Съ моей стороны, я бы желалъ, чтобы моя сестра выучилась вотъ чему: 1-е, умѣть быть довольною совершенно всѣмъ; 2-е, быть знакомой больше съ нуждою, нежели съ обиліемъ; 3-е, знать, что̀ такое терпѣніе, и находить наслажденіе въ трудѣ. Назначеніе женщины—семейная жизнь, а въ ней много обязанностей разнородныхъ. Здѣсь женщина является гувернанткою и нянькою, и домоводкою, и казначейшею, и распорядительницею, и рабою, и повелительницею. Вы можете поручить ей какія-нибудь отдѣльныя части домашняго хозяйства; не мѣшало бы ей давать разныя порученія: купить что-нибудь, расплатиться, или разсчитаться, свести приходъ и расходъ. Она дѣвушка бѣдная, у ней нѣтъ ничего. Если она выйдетъ замужъ, то это ей будетъ вмѣсто приданаго, и, вѣрно, мужъ ея, если только онъ будетъ человѣкъ не глупый, будетъ за него больше благодарить, нежели за денежный капиталъ“. (Соч. Гоголя, изд. Кулиша, т. V, стр. 404—405).

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 186.

Кромѣ того Гоголь придавалъ чрезвычайно важное значеніе физическому воспитанію женщины: онъ настаивалъ на томъ, чтобы женщина никогда не была безъ дѣла, но чтобы работала съ перерывами; чтобы какъ можно больше была на воздухѣ, чаще прогулиналась и вообще была въ движеніи (см. цитированное письмо къ П. И. Раевской и еще письмо къ сестрѣ Аннѣ Васильевнѣ — соч. Гог., изд. Кул., т. V, стр. 442). О прогулкахъ и необходимости дѣлать почаще движенія Гоголь говоритъ даже не одинъ разъ (см. также еще V т., стр. 447, въ письмѣ къ Аннѣ Васильевнѣ: „Дѣлай частыя прогулки, но старайся, чтобы имъ назначить какую-нибудь цѣль“ и проч.).

Въ воспитаніи мальчика Гоголь ставилъ на первый планъ развитіе наблюдательности, потому что только „тогда изъ него выйдетъ человѣкъ; безъ этого же свойства онъ будетъ просто *ничто*“. Для мальчиковъ Гоголь считаетъ наиболѣе полезнымъ чтеніе историческихъ сочиненій и всестороннее знакомство съ родиной: они должны „узнавать собственную землю, географію Россіи, исторію Россіи, путешествія по Россіи“. Но этого мало: чтобы сдѣлаться хорошимъ чиновникомъ и полезнымъ слугой отечества, мальчикъ долженъ знакомиться подробнѣе съ жизнью каждаго сословія. Сестрѣ своей, взявшей на себя воспитаніе ихъ общаго племянника, Н. П. Трушковскаго, Гоголь совѣтовалъ: „въ первую ярмарку, какая случится у васъ, вели ему высмотрѣть хорошенько, какихъ товаровъ больше и какихъ меньше, и записать это на бумажкѣ. Потомъ пусть запишетъ, откуда и съ какихъ мѣстъ больше привезли товаровъ и чьи люди больше торгуютъ и больше привозятъ“ (Соч. Гог., изд. Кул., т. VI, стр. 416). Съ этими словами можно сравнить слѣдующія строки въ письмѣ къ Шевыреву по поводу того же мальчика: „На сто рублей ассигнаціями накупи книгъ такого рода, которыя могли бы отрока, вступающаго въ юношескій возрастъ, познакомить сколько-нибудь съ Россіею (отрока лѣтъ тринадцати), какъ то: путешествія по Россіи, исторія Россіи и всѣ такія книги, которыя безъ скуки могутъ познакомить собственно со статистикой Россіи и бытомъ въ ней живущаго народа, всѣхъ сословій“. (Соч. Гог., изд. Кул., т. VI, стр. 435).

Не только въ образованіи этихъ взглядовъ самое большое значеніе имѣлъ для Гоголя собственный опытъ, такъ какъ и

своимъ развитіемъ онъ былъ несравненно больше обязанъ наблюдательности и впечатлѣніямъ жизни, нежели школѣ и книжному ученію; но можно думать, что и въ остальное время жизни ему съ одной стороны много помогала и его практическая смѣтливость и оригинальность сильнаго ума, хотя съ другой стороны тѣ же качества причиняли ему огромный вредъ, порождая въ немъ излишнюю самоувѣренность и стремленіе опираться всегда на собственныя силы, не придавая особеннаго значенія вычитанному изъ книгъ чужому уму. Благодаря неудовлетворительному образованію, полученному въ школѣ, и замѣчательнымъ способностямъ, затушевавшимъ пробѣлы и позволявшимъ смотрѣть свысока на настоящее знаніе, въ Гоголѣ выработался типъ самоучки, какимъ его изображаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Л. И. Арнольди. (См. „Воспоминанія о Гоголѣ“ Арнольди въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ за 1862 г., I). Поэтому же въ изображеніи системъ воспитанія мы находимъ у него всегда мѣткія, но случайныя характеристики.

Заканчиваемъ нашъ очеркъ замѣчаніемъ, что если Гоголь и Пушкинъ не были педагогами въ общепринятомъ значеніи слова, то, являясь великими учителями всего русскаго народа, они оставили въ своихъ произведеніяхъ могучее средство для того, чтобы благотворнымъ образомъ вліять на подрастающія поколѣнія. Не говоря уже о неоцѣнимыхъ эстетическихъ достоинствахъ ихъ безсмертныхъ созданій, напомнимъ, что не только изящество каждой строки, вышедшей изъ-подъ пера Пушкина, не только „живая прелесть стиховъ“, но особенно благородство высоко-гуманнаго содержанія нѣкоторыхъ избранныхъ его стихотвореній должны находить откликъ въ воспріимчивомъ чувствѣ молодежи. Поэзія Пушкина должна съ особенной силой пробуждать сочувствіе къ людямъ, какъ и глубокая скорбь юмориста по поводу человѣческихъ несовершенствъ въ произведеніяхъ Гоголя. У Гоголя молодежью должны быть особенно оцѣнены прямо относящіяся къ ней золотыя слова: „Забирайте съ собою въ путь, выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесточающее мужество, забирайте съ собою всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогѣ — не подымете потомъ! Грозна,

страшна, грядущая впереди старость, и ничего не отдаетъ назадъ и обратно! Могила милосерднѣе ея, на могилѣ напишется: „Здѣсь погребенъ человѣкъ“; но ничего не прочитаешь въ хладныхъ, безчувственныхъ чертахъ безчеловѣчной старости“ [1]). Въ этихъ немногихъ словахъ нашъ великій писатель далъ такой богатый содержаніемъ нравственный урокъ, что съ нимъ по образовательному значенію не сравнятся многіе обширные педагогическіе трактаты. Если бы юноша почувствовалъ во-время глубокое значеніе этихъ словъ во всю ихъ силу, то это одно уже оберегло бы его нравственную чистоту и стремленіе спасти въ себѣ въ жизненной борьбѣ отъ неблагопріятнаго давленія тяжелыхъ обстоятельствъ лучшія стороны своего человѣческаго существа.

---

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. III, стр. 125.

ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ ГОГОЛЯ.

(Замѣтки и наблюденія).

ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ ГОГОЛЯ.

(Общія замѣчанія).

I.

Талантъ Гоголя, какъ извѣстно, былъ не менѣе великъ въ драмѣ, нежели въ эпосѣ. Его изумительная способность почти мгновенно схватывать и съ яркимъ, неподражаемымъ комизмомъ воспроизводить не только голосъ, жесты, пріемы, самый складъ рѣчи наиболѣе близкихъ ему лицъ, но часто даже едва уловимыя внутреннія ихъ черты,—рано или поздно не могла не увлечь его въ область драматической поэзіи. Создавать изъ предполагаемыхъ разговоровъ живыя, глубоко комическія сцены и положенія — во всю жизнь, съ самаго дѣтства, было потребностью и любимымъ развлеченіемъ нашего писателя. Въ многочисленныхъ воспоминаніяхъ о немъ безпрестанно встрѣчаются разсказы о томъ, какъ онъ юношей превосходно копировалъ своихъ профессоровъ, разныхъ знакомыхъ своей матери, а въ зрѣлыхъ годахъ съ необычайною легкостью рисовалъ передъ своими собесѣдниками во весь ростъ людей, чѣмъ-нибудь остановившихъ на себѣ его вниманіе, отъ знаменитаго итальянскаго ученаго Меццофанти до послѣдняго полового на постояломъ дворѣ [1]) Часто при этомъ, благодаря мимикѣ и другимъ способамъ непосредственной передачи множества мелкихъ, но характеристиче-

[1]) См., напр., „Записки о жизни Гоголя“, т. II, стр. 6, „Воспоминанія и критическіе очерки“ Анненкова, т. I, стр. 211—212, „Русскій Архивъ“, 1890, VIII, стр. 19.—Мастерскими разсказами и чтеніемъ Гоголя любовался, между прочимъ, и Бѣлинскій („Литерат. воспом.“ Панаева, стр. 399).

скихъ оттѣнковъ рѣчи изображаемыхъ лицъ, послѣднія съ такою яркостью выступали передъ глазами слушателей, что неизвѣстныя или даже вымышленныя лица представлялись имъ давними знакомцами. Мысль воспользоваться этимъ счастливымъ даромъ впервые блеснула Гоголю послѣ его перваго успѣшнаго литературнаго дебюта въ началѣ тридцатыхъ годовъ. Съ этихъ поръ онъ не оставлялъ комедіи до времени исключительнаго погруженія въ главную задачу своей жизни— въ созданіе „Мертвыхъ Душъ".

При изученіи драматическихъ произведеній Гоголя, служившихъ всегда отраженіемъ накопившихся въ душѣ его художественныхъ образовъ, захваченныхъ его памятью въ разное время и при различныхъ обстоятельствахъ, весьма существенную трудность представляетъ недостатокъ вполнѣ точныхъ хронологическихъ данныхъ о томъ, въ какой послѣдовательности и какъ именно создавались и обработывались они авторомъ. Такія трудности почти вовсе неизвѣстны изслѣдователямъ Пушкина и большинства другихъ писателей и объясняются прежде всего неопредѣленностью датъ, указываемыхъ въ разныхъ мѣстахъ самимъ Гоголемъ, а часто даже и совершеннымъ ихъ отсутствіемъ. При такихъ условіяхъ неудивительно, что даже послѣ прекрасныхъ и вполнѣ обстоятельныхъ примѣчаній къ сочиненіямъ Гоголя академика Н. С. Тихонравова, вопросъ все-таки не можетъ считаться безусловно исчерпаннымъ, и мы позволимъ себѣ поэтому высказать съ своей стороны нѣсколько новыхъ соображеній о времени появленія драматическихъ пьесъ изъ-подъ пера автора и ихъ отношеній къ другимъ произведеніямъ нашего писателя. Намъ кажется, что на помощь въ данномъ случаѣ можно до нѣкоторой степени призвать послѣдовательность въ появленіи въ разныхъ произведеніяхъ Гоголя одинаковыхъ или сходныхъ художественныхъ образовъ, *преимущественно* занимавшихъ въ тотъ или другой періодъ его творческую фантазію, также пересмотръ матеріаловъ для заимствованныхъ имъ сюжетовъ, и, наконецъ, не слѣдуетъ забывать, что, подобно другимъ произведеніямъ, и драматическія пьесы Гоголя создавались постепенно изъ тѣхъ первоначальныхъ отрывочныхъ набросковъ, которые сохранились въ записныхъ книжкахъ автора. Намѣтивъ здѣсь довольно широкую, можетъ быть, программу для изслѣдованій о Гоголѣ въ данномъ направле-

нiи, мы не принимаемъ на себя, однако, нелегкаго труда исполнить ее во всемъ объемѣ, и ограничимся только *указаніемъ* нѣкоторыхъ соображеній.

Комедія, начиная съ 1832 г., надолго становится любимымъ предметомъ и главной задачей творчества Гоголя. Къ лѣту этого года, какъ мы знаемъ изъ воспоминаній Аксакова, у него сложился уже вполнѣ опредѣленный и замѣчательно вѣрный взглядъ на задачи и сущность этого рода поэзіи, безъ всякаго сомнѣнія, не только подсказанный свѣтлымъ инстинктомъ художника, но зрѣло обдуманный и серьезно выработанный упорнымъ и сознательнымъ трудомъ мысли. Соображенія, высказанныя Гоголемъ Аксакову случайно и мимоходомъ, при всей ихъ простотѣ и непритязательности, произвели на этого опытнаго и умнаго литератора впечатлѣніе какого-то новаго слова, какого-то художественнаго откровенія. Съ другой стороны, въ набросанныхъ Гоголемъ въ 1832 г. „Матеріалахъ общихъ“ мы находимъ такія мысли, которыя проливаютъ нѣкоторый свѣтъ на то направленіе, въ какомъ онъ предполагаетъ создавать свои комедіи, выработанное, въ свою очередь, жизненнымъ опытомъ и наблюденіями автора. Въ „Матеріалахъ общихъ“ у Гоголя значится: „Старое правило: уже хочетъ достигнуть, схватить рукою, какъ вдругъ помѣшательство и отдаленіе желаемаго предмета на огромное разстояніе“ [1]). Эти незначительныя, повидимому, слова являются, въ самомъ дѣлѣ, программой для всей драматической дѣятельности Гоголя и вездѣ они примѣняются къ главному герою комедіи. Вспомнимъ городничаго, Ихарева и чиновника, помѣшавшагося отъ неполученія ожидаемаго ордена. Мало того: и въ эпическихъ произведеніяхъ Гоголя нерѣдко повторяется то же самое („Шинель“, „Мертвыя Души“). Также всецѣло могутъ быть отнесены къ каждой изъ комедіи Гоголя слѣдующія затѣмъ строки въ общихъ матеріалахъ: „Внезапное или неожиданное открытіе, дающее вдругъ всему дѣлу новый оборотъ или озарившее его новымъ свѣтомъ“. Указанное обстоятельство даетъ намъ право оста-

[1]) Соч. Гоголя, изд. X, т. II, стр. 734 и 451. См. факсимиле въ № 5 „Артиста“. Выраженіе одного изъ набросковъ: „фуфайку, надобно вамъ знать, сударыня, я ношу лосинную: она гораздо лучше фланелевой“ почти безъ измѣненія вошло въ текстъ комедіи (стр. 451), но сказано самому Ивану Петровичу, а не женѣ его, какъ первоначально предполагалось („сударыня“).

новиться на нѣкоторыхъ общихъ особенностяхъ всѣхъ драматическихъ пьесъ Гоголя.

II.

Главной особенностью натуры Гоголя была его глубокая оригинальность, рѣзко выдѣлявшая его изъ толпы и оставившая яркій отблескъ на его сочиненіяхъ. Всегда и вездѣ онъ оставался въ строгомъ смыслѣ слова самимъ собой, съ своей характерной, чисто-національной украинской нравственной физіономіей, нисколько не принимая того спеціальнаго отпечатка, который налагаютъ почти на каждаго профессія, обстановка, условія жизни. При встрѣчѣ каждый видѣлъ въ немъ прежде всего малороссіянина; но трудно было бы замѣтить въ его характерной малороссійской фигурѣ отраженіе какихъ-либо типическихъ признаковъ бывшаго чиновника, профессора или писателя [1]). Такимъ же оригинальнымъ самородкомъ являлся Гоголь въ своей литературной дѣятельности, въ своемъ творчествѣ, по глубоко-справедливому замѣчанію одного критика, находившаго что „въ развитіи своемъ Гоголь былъ независимѣе отъ посторонннихъ вліяній, нежели какой-либо другой изъ первоклассныхъ писателей". Эту-то самобытность его натуры и таланта необходимо имѣть въ виду прежде всего, въ какомъ бы мы отношеніи ни стали разсматривать Гоголя.

Какъ писатель драматическій, кромѣ обычныхъ его свойствъ тонкой наблюдательности, умѣнія въ высокой степени правдиво, просто и ярко воспроизводить окружающую жизнь, Гоголь отличается еще тѣмъ, что у него комическое положеніе дѣйствующихъ лицъ обыкновенно создается не внѣшними

[1]) Въ одномъ мѣстѣ своихъ воспоминаній И. С. Тургеневъ замѣтилъ, что „въ осанкѣ Гоголя, въ его тѣлодвиженіяхъ, было что то не профессорское, а учительское, напоминавшее преподавателей въ провинціальныхъ институтахъ и гимназіяхъ" (соч. И. С. Тургенева, т. I, стр. 69),—но, во-первыхъ, этотъ отзывъ остается одинокимъ во всей обширной литературѣ о Гоголѣ, во-вторыхъ—относится къ позднѣйшимъ годамъ его жизни, когда Гоголь давно уже оставилъ свою непродолжительную преподавательскую дѣятельность, да и самъ Тургеневъ былъ далекъ отъ мысли ставить свое летучее наблюденіе въ связь съ предшествующей дѣятельностью Гоголя. О впечатлѣніи, производимомъ Гоголемъ въ послѣдніе годы, см. также въ воспоминаніяхъ Берга („Русск. Стар.", 1872, 1, 119, 120).

условіями и не одной только въ нихъ комической стороной, какъ-то: алчностью, невѣжествомъ, хвастовствомъ; въ комическое положеніе не *фатально* попадаютъ дѣйствующія лица, становясь жертвой судьбы или обмана со стороны другихъ людей, но, напротивъ, они сами ставятъ себя въ него безпрестанно какими-нибудь нелѣпыми поступками и соображеніями. Какъ бы наблюдая ихъ съ особенно выгодной позиціи, авторъ видитъ ихъ сразу со всѣхъ сторонъ, тогда какъ обыкновенному взору были бы доступны лишь нѣкоторыя. Комизмъ безпрестанно поддерживается и возвышается во все продолженіе дѣйствія явной неспособностью дѣйствующихъ лицъ смотрѣть на свое положеніе просто и разумно, тогда какъ, благодаря тонкой проницательности автора и искусному руководству имъ зрителей, это становится легко для самаго заурядnаго изъ послѣднихъ. Верхъ совершенства представляетъ въ этомъ отношеніи извѣстная встрѣча Хлестакова и городничаго; но съ не менѣе поразительной яркостью выступаетъ это искусство во всей пьесѣ „Театральный Разъѣздъ“, гдѣ мнѣнія и толки, не только возможные, но существовавшіе на самомъ дѣлѣ и даже не казавшіеся въ свое время особенно уродливыми и безобразными, эти самые безцвѣтные и пустые толки, озаренные могучей силой истиннаго комизма, безъ всякой натяжки и, тѣмъ болѣе, карикатуры, выдаютъ головой тѣхъ, кѣмъ они высказывались; мало того, во многомъ они должны быть признаны имѣющими *до извѣстной степени* общечеловѣческое значеніе и возможными всюду и во всѣ времена, такъ какъ, передавая ихъ въ художественной формѣ, авторъ вмѣстѣ съ тѣмъ умѣлъ схватить вообще типическія черты взглядовъ и сужденій пестрой толпы, высказываемыхъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ спектакля.

Другой, не менѣе важной отличительной особенностью драматическихъ произведеній Гоголя можно считать то, что заблужденія комическихъ лицъ представляются у него послѣднимъ тѣмъ убѣдительнѣе и несомнѣннѣе, чѣмъ невѣроятнѣе кажутся они при нормальномъ взглядѣ на вещи,—и при всемъ томъ Гоголь ни мало не впадаетъ въ карикатуру и ни на шагъ не отступаетъ отъ требованій самаго строгаго реализма. Во многихъ герояхъ Островскаго единственнымъ или значительно преобладающимъ источникомъ комизма служитъ ихъ самодурство, забитость и проч.; у Гоголя комизмъ Хлеста-

кова или городничаго заключается не въ одномъ хвастовствѣ и легкомыслiи перваго или въ преступной корыстности послѣдняго, но оба они, кромѣ того, различнымъ образомъ безпрестанно обращены къ зрителямъ съ комическихъ сторонъ, такъ какъ имъ не удается прямо взглянуть на вещи и увидѣть ихъ въ настоящемъ свѣтѣ, какъ это часто бываетъ и въ жизни, но лишь раскрывается въ ней слишкомъ поздно. Вообще, конечно, эта способность толково и просто взглянуть на дѣло встрѣчается въ дѣйствительности несравненно рѣже, нежели какъ это могло бы казаться съ перваго взгляда, и изображенiемъ этого, въ высокой степени жизненнаго и реальнаго, явленiя пользовался Гоголь въ своихъ комедiяхъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. „Не грозная дѣйствительность“ — говоритъ Бѣлинскiй о городничемъ — „а призракъ, фантомъ, или, лучше сказать, тѣнь отъ страха виновной совѣсти, должны были наказать человѣка призраковъ“ [1]). Жертвы обмановъ въ комедiяхъ Гоголя попадаютъ въ свое жалкое положенiе обыкновенно не въ силу чьего-либо злого умысла, который если и бываетъ иногда въ наличности, то не иначе, какъ играя второстепенное значенiе въ ходѣ пьесы, но въ силу цѣлаго естественнаго сцѣпленiя обстоятельствъ и возбуждаемыхъ ими недоразумѣнiй, главнымъ же образомъ, по винѣ *собственной* порочности и оплошности дѣйствующихъ лицъ. Что этотъ пріемъ имѣетъ далеко не случайное, но, напротивъ, самое существенное и глубоко обдуманное значенiе въ „Ревизорѣ“, ясно уже изъ того, что также и въ другихъ пьесахъ Гоголя комическiя лица видятъ себя въ концѣ пьесы одураченными и опозоренными *непремѣнно по собственной винѣ*. Какъ въ „Ревизорѣ“ для городничаго не остается больше никакого утѣшенiя, кромѣ расточаемыхъ имъ самому себѣ брани и упрековъ, такъ точно въ „Игрокахъ“ Ихаревъ принужденъ сознаться, что положенiе каждаго мошенника, разсчитывающаго на свою „тонкость ума и развитiе“, благодаря которымъ онъ надѣется всѣхъ обмануть и не быть обманутымъ самому, всегда непрочно, потому что того и гляди „тутъ же, подъ бокомъ, отыщется плутъ, который тебя переплутуетъ, мошенникъ, который за одинъ разъ по-

---

[1]) См. разборъ „Горе отъ ума“ (и „Ревизора“) въ 3 томѣ сочиненiй Бѣлинскаго, стр. 476 (изд. 1884 г.).

дорветъ строеніе, надъ которымъ работалъ нѣсколько лѣтъ“ [1]). Этого недостаточно; онъ принужденъ сознаться, что дѣла поправить невозможно: винить некого и жаловаться онъ не имѣетъ права, такъ что совершенно напраснымъ оказывается его отчаянный и безсильный вопль: „законъ! законъ! законъ призову!“ Въ этомъ убійственномъ сознаніи своей вины и безпомощности какъ городничаго, такъ и Ихарева, и заключается глубокая нравственная идея, положенная авторомъ въ основу обѣихъ комедій. Въ комедіи „Владиміръ 3-й степени“ также, по первоначальному замыслу Гоголя, мнимодѣловой человѣкъ, Иванъ Петровичъ, долженъ былъ кончить сумасшествіемъ, когда всплывшія наружу его нечистыя продѣлки убили въ немъ надежду на вожделѣнную награду, и онъ съ горя вообразилъ себя самого не доставшимся ему, несмотря на всѣ старанія, орденомъ [2]). Въ развязкѣ всѣхъ этихъ комедій Гоголя въ самомъ дѣлѣ является „неожиданное открытіе, дающее вдругъ всему дѣлу новый оборотъ и озаряющее его новымъ свѣтомъ“, но всего ярче это видно въ „Ревизорѣ“ и „Игрокахъ“.

---

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 422 и 447.

[2]) См. примѣч. Н. С. Тихонравова, въ концѣ 2 тома X изд. сочиненій Гоголя.

КОМЕДІЯ ГОГОЛЯ „ЖЕНИТЬБА".

I.

Еще въ „Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки" повѣствовательная форма нерѣдко смѣнялась у Гоголя діалогомъ, и уже тогда Плетневъ замѣчалъ, что его въ этихъ „сказкахъ всегда поражали драматическія мѣста" [1]). По выходѣ въ свѣтъ „Вечеровъ", помыслы Гоголя преимущественно устремились на созданіе комедій, но исполниться имъ суждено было нескоро; много времени прошло, пока богатыя и разнородныя, но еще отрывочныя, наблюденія стали слагаться у него въ опредѣленный драматическій рисунокъ. Какъ могъ приблизительно происходить предполагаемый нами процессъ работы у Гоголя, покажутъ слѣдующіе примѣры. Кромѣ матеріаловъ общихъ, въ записной книгѣ автора находимъ также и матеріалы частные. Послѣдніе имъ вскорѣ были употреблены въ дѣло, но они, вѣроятно, не сразу заняли свои окончательныя мѣста въ разныхъ комедіяхъ, а скорѣе, подобно именамъ собственнымъ, переставлялись и исправлялись въ нѣсколько пріемовъ. Тѣмъ не менѣе, уже въ начатой въ 1833 г. комедіи „Владиміръ 3-й степени" мы находимъ отчасти лишь намѣченныя раньше мысли, отчасти же просто внесенныя почти безъ перемѣны цѣлыя фразы. Таковы, напр., слова неизвѣстнаго лица въ одномъ изъ набросковъ: „Что̀ вамъ сталъ вицъ-мундиръ? Почемъ суконцо?"—„Да, да! Ну, а разскажите.—

[1]) Соч. Плетнева. т. III. стр. 522.

Да, объ чемъ, бишь, вы говорили?“ [1]). Все это, какъ нетрудно догадаться, вошло цѣликомъ въ „Утро дѣлового человѣка“ въ томъ мѣстѣ, гдѣ Александръ Ивановичъ, передавая своему сослуживцу Ивану Петровичу вымышленный разговоръ съ его „высокопревосходительствомъ“ и затрудняясь придумать продолженіе рискованнаго разсказа, неожиданно перебиваетъ себя вопросомъ о томъ, на чей счетъ расписаны потолки у Ивана Петровича, на свой или хозяйскій, тогда какъ онъ не могъ не знать, что квартира его пріятеля была казенная. Онъ до тѣхъ поръ пытается уклониться отъ продолженія прерваннаго разсказа, пока нетерпѣливый собесѣдникъ настойчивыми вопросами не возвращаетъ его къ оставленной темѣ. Совершенно такой-же неумѣстный вопросъ, съ такой же явной натяжкой, въ „Коляскѣ“ дѣлаетъ Чертокуцкій объ экипажѣ для верховой лошади. Отсюда, конечно, нельзя вывести заключенія, будто въ приведенномъ выше черновомъ наброскѣ Гоголь имѣлъ въ виду матеріалъ именно для указанной сцены, но совершенно наоборотъ: онъ скорѣе послѣ воспользовался уже готовымъ штрихомъ для исполненія уже созрѣвшей въ его фантазіи новой картины [2]). Такія отрывочныя наблюденія нерѣдко входили, въ различной группировкѣ, какъ составная часть, въ произведенія, принадлежащія къ одному и тому же времени, и если они были мелочныя, то забывались со временемъ навсегда, въ противномъ случаѣ, повторялись иногда очень долго.

Въ 1833 году Гоголемъ была написана значительно передѣланная позднѣе пьеса „Женитьба“, озаглавленная первоначально „Женихи“. Дата, указанная авторомъ, не подлежитъ сомнѣнію по сходству многихъ мѣстъ пьесы съ другими одновременными произведеніями и по своей безспорной принадлежности къ тѣмъ художественнымъ замысламъ поэта, кото-

---

[1]) Соч. Гоголя, изд. X, т. II, стр. 734.

[2]) Подобные примѣры часто находимъ у Гоголя; такъ, въ черновой редакціи „Мертвыхъ Душъ“ читаемъ: „время, неугомонный живописецъ, расписываетъ весь родъ человѣческій и что ни есть на свѣтѣ, и въ томъ числѣ мужскія и женскія лица“ и проч.,—выраженіе, взятое изъ прежнихъ сочиненій и затѣмъ уже замѣненное въ окончательной редакціи. (См. „Русск. Стар.“, 1885, XII, 570 и соч. Гоголя, изд. X, т. I, стр. 10, т. V, стр. 52).

рыя предшествовали произведеніямъ съ широкой общественной идеей. Въ планѣ и построеніи „Женитьбы“ ясны слѣды сходства съ наиболѣе ранними опытами Гоголя: такъ, положенный въ основу комедіи внѣшній пріемъ сильно напоминаетъ еще „Ночь передъ Рождествомъ“, которая, въ свою очередь, въ томъ мѣстѣ, гдѣ Солоха принимаетъ гостей, имѣетъ поразительное сходство съ „Сорочинской Ярмаркой“, представляя въ сущности лишь болѣе сложное развитіе интриги въ сравненіи со сценой, гдѣ Хивря, въ отсутствіе мужа, тайкомъ принимаетъ поповича, и обѣ эти сцены были, очевидно, подсказаны соотвѣтствующимъ комическимъ положеніемъ еще въ комедіи Гоголя-отца „Романъ и Параска“. Наконецъ, „Женитьба“ въ смыслѣ развитія интриги и яркой обрисовки дѣйствующихъ лицъ стоитъ еще ступенью выше, если послѣднее выраженіе не слишкомъ умаляетъ достоинство этого уже значительно болѣе зрѣлаго произведенія.

II.

Недавно появившійся въ печати первоначальный набросокъ „Женитьбы“ позволяетъ намъ сдѣлать нѣсколько поясни тельныхъ замѣчаній о томъ процессѣ, которому слѣдовала творческая фантазія Гоголя при созданіи этой комедіи.

Благодаря вновь изданнымъ матеріаламъ становится вполнѣ очевиднымъ, что піеса не только имѣла самое близкое отношеніе преимущественно къ двумъ повѣствовательнымъ произведеніямъ первоначальной поры творчества Гоголя („Ночь передъ Рождествомъ“ и „Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка“), но даже перерабатывалась и постепенно сложилась именно подъ вліяніемъ тѣхъ художественныхъ образовъ, которые возникали въ фантазіи автора при одновременныхъ трудахъ надъ нѣсколькими занимавшими его сюжетами.

Внимательно всматриваясь въ первоначальный набросокъ, мы прежде всего останавливаемся на ремаркѣ автора: „комедія въ трехъ дѣйствіяхъ“. Возникаетъ вопросъ, была ли дѣйствительно готова, хотя бы въ черновомъ видѣ, *вся* комедія въ 1833 г., къ которому несомнѣнно относится первоначальный набросокъ, или же *только* сохранившіяся одиннадцать явленій перваго акта. Мы положительно склоняемся въ пользу второго предположенія, не только въ виду того, что и въ окон-

чательной редакціи число всѣхъ дѣйствій не доведено до трехъ, но *преимущественно* на основаніи сравненія отдѣльныхъ сценъ обѣихъ редакцій. Намъ кажется, что, предположивъ написать комедію приблизительно въ трехъ дѣйствіяхъ, авторъ сначала успѣлъ обработать лишь бо́льшую часть перваго дѣйствія, въ которой уже исчерпалъ весь приготовленный пока матеріалъ, послѣ чего надолго остановился въ работѣ, еще не предвидя, что̀ именно должно было составлять продолженіе его комедіи, а затѣмъ, уже позднѣе, подъ вліяніемъ накопившихся новыхъ наблюденій и значительно измѣнившагося замысла піесы, не оканчивая прежней работы, принялся за коренную переработку и за возсозданіе въ иномъ видѣ всей піесы. Въ самомъ дѣлѣ, общій характеръ и всѣ подробности передѣлки, благодаря которой въ комедію внесено нѣсколько новыхъ лицъ и отчасти измѣнено общественное положеніе прежнихъ, совершенно исключаетъ возможность сомнѣнія въ томъ, что комедія въ началѣ работы далеко не представлялась автору съ опредѣленнымъ планомъ и съ строго обозначившимся содержаніемъ. Сличеніе удостовѣряетъ, что въ первоначальномъ замыслѣ автора совершенно отсутствовало представленіе о будущей роли Подколесина, явившагося позднѣе главнымъ дѣйствующимъ лицомъ піесы, а также не возникло еще и мысли о перенесеніи дѣйствія изъ малороссійской помѣщичьей среды въ сферу столичныхъ купчихъ и чиновниковъ. Очевидно, всѣ эти перемѣны позднѣйшаго происхожденія и вызваны впечатлѣніями жизни автора въ Петербургѣ. Такимъ образомъ, какъ „Женихи“ соотвѣтствуютъ малороссійскимъ повѣстямъ, такъ „Женитьба“ примыкаетъ уже къ такъ называемымъ повѣстямъ петербургскимъ. Здѣсь мы имѣемъ слѣдовательно любопытный примѣръ видоизмѣненія подробностей художественнаго замысла въ зависимости отъ чисто мѣстныхъ условій, въ разное время окружавшихъ автора [1]). Припомнивъ затѣмъ, что, въ отношеніи робкаго и нерѣшительнаго сватовства, прототипомъ Подколесина былъ не кто иной, какъ Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька, мы можемъ

[1]) Большую трудность представляетъ однако, точное разъясненіе процесса возникновенія позднѣе у Гоголя великорусскихъ провинціальныхъ типовъ, такъ какъ для изученія ихъ великій писатель имѣлъ гораздо менѣе времени и удобныхъ случаевъ, а между тѣмъ въ ихъ изображеніи наиболѣе блистательнымъ образомъ проявился его геній.

наглядно наблюдать постепенный переходъ въ творчествѣ Гоголя отъ варіацій на старыя, уже не въ первый разъ эксплоатируемыя, темы къ произведенію, получившему вполнѣ оригинальный характеръ и въ значительной мѣрѣ новую, самостоятельную обработку. Внесеніе въ піесу личности Подколесина, могло явиться, очевидно, лишь по прошествіи значительнаго промежутка времени, когда настоятельная внутренняя потребность въ яркомъ воспроизведеніи (и притомъ въ драматическомъ дѣйствіи) личностей черезчуръ рѣшительнаго и развязнаго свата и застѣнчивыхъ, робкихъ любовниковъ, заставила автора пренебречь „Иваномъ Ѳедоровичемъ Шпонькой“ и пожертвовать въ интересахъ комедіи матеріаломъ, приготовленнымъ для повѣсти. При этомъ роли Василисы Кашпаровны и Ивана Ѳедоровича передаются Кочкареву и Подколесину, а подъ вліяніемъ уже достаточно обрисовавшагося въ воображеніи автора характера благонравной дѣвицы Марьи Гавриловны существенно измѣненъ характеръ невѣсты первоначальнаго наброска. При этомъ соединеніи въ одной піесѣ дѣйствующихъ лицъ, взятыхъ изъ двухъ произведеній, оказалась удержанной изъ первоначальнаго наброска и сваха, которая дѣйствуетъ здѣсь уже на одномъ полѣ съ импровизированнымъ сватомъ въ лицѣ Кочкарева. Но самое существенное измѣненіе, послѣ внесенія въ піесу новаго главнаго героя, касается, какъ мы сказали, характера невѣсты: Авдотья Гавриловна первоначальной редакціи представляетъ собою, по нашему мнѣнію, какъ бы посредствующее звено между личностями Хиври въ „Сорочинской Ярмаркѣ“, а также смѣлой, разбитной Солохи въ „Ночи передъ Рождествомъ“ съ одной стороны—и съ другой стороны—съ робкой и застѣнчивой личностью Агаѳьи Тихоновны въ „Женитьбѣ“. Съ Хиврей и съ Солохой Авдотья Гавриловна имѣетъ что-то общее въ мужелюбивой основѣ своей грубой натуры. Въ параллель Солохѣ и въ противоположность Агаѳьѣ Тихоновнѣ она совершенно развязно и свободно принимаетъ гостей, нисколько не стѣсняясь неловкой исключительностью своего положенія невѣсты, безцеремонно и явно отыскивающей женіховъ. Послѣдніе также безъ дальныхъ околичностей говорятъ ей, что она „благое дѣло вздумала, что рѣшилась упрочить судьбу свою“ [1]). Развязность ея бросается въ глаза даже такимъ же

[1]) „Царь Колоколъ“, 1892, III, стр. 12.

нихамъ, и одинъ изъ нихъ тотчасъ же обращаетъ вниманіе на это. Только-что она оставила на минуту гостей однихъ, какъ первое замѣчаніе о ней оказалось слѣдующее: „невѣста впрочемъ довольно развязная“. Правда, Авдотья Гавриловна совершенно искренно восклицаетъ въ первомъ явленіи: „ухъ! и страшно, какъ подумаешь: „ну, вотъ пріѣдетъ женихъ“! У меня сердце такъ и бьется“—но сію же минуту она прибавляетъ дальше: „да ничего, пусть пріѣзжаетъ: не будетъ страшно“ [1]). Нетерпѣливое стремленіе выдти поскорѣе замужъ въ Агаѳьѣ Тихоновнѣ уже значительно смягчено ея стыдливостью, но нѣкоторые слѣды вліянія первоначальнаго наброска отразились, напр., въ сдѣланномъ ею возраженіи свахѣ Ѳеклѣ Ивановнѣ: „Нѣтъ! мнѣ эти субтильные какъ-то не того... не знаю... Я ничего не вижу въ нихъ“. Это, очевидно, сдержанный отголосокъ наивнаго безстыдства ея предшественницъ и особенно Авдотьи Гавриловны, безстыдства, проявляющагося у послѣдней въ безпрестанныхъ вопросахъ: „А сколько ихъ, жениховъ, душенька ты моя?“ „Разскажи же, моя голубушка, какіе они, „женихи?“ [2]) и проч.

Впрочемъ, Авдотья Гавриловна представлялась самому автору еще недостаточно выяснившимся характеромъ, созданнымъ не столько на основаніи живыхъ наблюденій, сколько отвлеченныхъ предвзятыхъ намѣреній писателя, сдѣлавшаго пока только попытку перенести знакомый, но вымышленный сюжетъ изъ міра полуфантастическаго на почву вполнѣ реальную и изъ простонародной среды въ сферу помѣщичью. Для лучшаго выполненія задачи понадобились новыя наблюденія, но обстоятельства уже заставили искать ихъ въ столицѣ, вслѣдствіе чего типъ помѣщицы по необходимости долженъ былъ замѣниться какимъ-нибудь другимъ.

Авдотья Гавриловна—помѣщица и притомъ бывшая или, по крайней мѣрѣ, желавшая казаться хорошей хозяйкой. На замѣчаніе Яичницы: „мы слышали, что вы изволили принаряжаться“, она не безъ своеобразнаго разсчета возражаетъ: „уже Ѳекла изволила провраться! Нѣтъ, только-что подралась съ кухаркой“. Эти послѣднія слова брошены какъ будто безъ цѣли, но Яичница тотчасъ же понимаетъ ихъ въ томъ

[1]) Тамъ же, стр. 6.

[2]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 368.

[3]) „Царь Колоколъ“, 1892, III, стр. 6 и 7.

смыслѣ, въ какомъ они были сказаны. „О, хозяйка!“ тотчасъ же съ удовольствіемъ говоритъ онъ самому себѣ. Впрочемъ, надо сознаться, что комизмъ подобной оригинальной рекомендаціи является здѣсь очень натянутымъ. Это одно изъ тѣхъ пятенъ, отъ которыхъ Гоголь заботливо очищалъ потомъ комедію въ дальнѣйшихъ редакціяхъ. Какъ заботливая хозяйка, Авдотья Гавриловна, заслышавъ звонокъ, извѣщающій о пріѣздѣ новыхъ гостей, спѣшитъ хлопотать и распоряжаться: „Ахъ, Боже мой! пойти заказать хоть ватрушки!“ [2]) Вообще, какъ помѣщица, она представляетъ до нѣкоторой степени отдаленное сходство съ цѣлымъ рядомъ изображенныхъ прежде или слегка очерченныхъ Гоголемъ малороссійскихъ помѣщицъ, особенно въ этихъ словахъ ея женихамъ: „если бы я знала о вашемъ пріѣздѣ, я бы приготовила рыбій соусъ или хоть бараній бокъ съ кашей, но вмѣсто того за столомъ будутъ только кислыя щи да кулебяка, да грибы жареные, да драченое. Право, мнѣ ужъ и совѣстно!“ [3]) Но очевидно, что Гоголю, уже мало обращавшемуся въ началѣ тридцатыхъ годовъ въ помѣщичьей средѣ, недоставало красокъ и наблюденій, чтобы придать яркость и выпуклость фигурѣ Авдотьи Гавриловны. Вслѣдствіе этого должны были подвергнуться замѣнѣ или исключенію всѣ тѣ мѣста, которыя имѣли непосредственное отношеніе къ деревенской обстановкѣ дѣйствія въ первоначальномъ наброскѣ; наприм., слова Яичницы: „скажи мнѣ, сколько за ней крѣпостного, движимаго и рухлядей?“ [4]) Затѣмъ въ окончательной редакціи измѣнены также слѣдующія частности: въ первоначальномъ наброскѣ Яичница представленъ не освѣдомленнымъ заранѣе въ подробностяхъ о приданомъ невѣсты, но онъ обо всемъ разспрашиваетъ у Марѳы Саввичны до появленія невѣсты. По тѣмъ же соображеніямъ Яичница изъ помѣщиковъ и отставныхъ портупей-юнкеровъ превращенъ въ экзекуторы. Но, главнымъ образомъ, подверглась измѣненію вся внѣшняя обстановка: въ первоначальномъ наброскѣ женихи одинъ за другимъ пріѣзжаютъ изъ города въ деревню Авдотьи Гавриловны, и при этомъ Жевакинъ сохраняетъ даже на своемъ

[1]) „Царь-Колоколъ“, 1892, III, стр. 12.
[2]) Тамъ же, стр. 20.
[3]) Тамъ же, стр. 12.
[4]) Тамъ же, стр. 7

костюмѣ слѣды поѣздки, совершенной по проселочной дорогѣ: „Я сидѣлъ въ телѣгѣ, ковра-то не было, такъ я думаю, сѣнца-то довольно ко мнѣ пристало. Вонъ тамъ сними, пожалуйста, пушинку“ [1]). Правда, эта послѣдняя подробность съ нѣкоторымъ измѣненіемъ удержана и въ позднѣйшей редакціи, по которой Жевакинъ предстаетъ передъ зрителями въ такомъ же неряшливомъ видѣ, хотя пришелъ только изъ отдаленной части того же города; но эта мелочь вполнѣ согласуется съ странностями и угловатыми манерами моряка, этого „трухлаго кочана капусты“ [2]) по первоначальной редакціи, и должна была сохраниться, чтобы своею противоположностью лучше оттѣнить изысканную щепетильность Анучкина съ его претензіей на хорошій тонъ и манеры высшаго общества. Потому же при передѣлкѣ удержано также все то, что̀ Жевакинъ разсказываетъ о своемъ мундирѣ. Зато комическое увѣреніе, что плѣшь явилась у него отъ лихорадки и что волосы скоро опять выростутъ, въ позднѣйшей редакціи вложено въ уста по-своему заботливаго о своей внѣшности Жевакина, тогда какъ въ первоначальной редакціи ихъ произноситъ Яичница [3]).

Указаннымъ болѣе существеннымъ перемѣнамъ въ ходѣ и составѣ піесы соотвѣтствуютъ далѣе нѣкоторыя второстепенныя. Такъ, мы сказали, что вмѣсто застѣнчивой и конфузливой Агаѳьи Тихоновны въ первоначальномъ наброскѣ передъ нами развязная Авдотья Гавриловна: это обстоятельство въ тѣсной и несомнѣнной связи съ тѣмъ, что послѣдняя рѣшилась послать Марѳу Саввичну на ярмарку за женихами, а, можетъ быть, именно этой первоначальной простотѣ замысла и нѣкоторой традиціи въ развитіи сюжетовъ въ извѣстномъ направленіи, Авдотья Гавриловна собственно и обязана приданнымъ ей качествомъ развязности, которое такимъ образомъ въ данномъ случаѣ изображалось, такъ сказать, не съ натуры, но именно по предвзятому намѣренію автора. Зато слѣдующія затаенныя мечты ея о будущемъ женихѣ: „былъ бы только дворянинъ да порядочной фамиліи“ [4]), только вскользь промелькнувшія здѣсь, которымъ, повидимому, и самъ авторъ не придавалъ пока никакого особеннаго значе-

[1]) Тамъ же, стр. 16.
[2]) Стр. 21.
[3]) Ср. Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 394. и „Царь-Колоколъ“, 1892, III, 12.
[4]) „Царь-Колоколъ“, 1892, III, стр. 6.

нія—такъ естественны были они въ устахъ помѣщицы, нисколько не являясь какой-либо комической претензіей,—эти мечты при обрисовкѣ личности Агаѳьи Тихоновны выступаютъ уже на первый планъ въ ея упорной погонѣ за женихами изъ дворянъ. Впослѣдствіи, именно для того, чтобы ярче оттѣнить эту черту ея, Гоголь счелъ нужнымъ включить въ комедію новыя лица изъ купеческой среды: Арину Пантелеймоновну, желавшую выдать племянницу за купца, и новую личность жениха изъ купцовъ—Алексѣя Дмитріевича Старкова. При этомъ роль Арины Пантелеймоновны почти только и состоитъ въ спорахъ съ Агаѳьей Тихоновной и Ѳеклой Ивановной о преимуществахъ купцовъ передъ дворянами, хотя искусство даровитаго автора придало и этой позднѣе и почти лишь эпизодически введенной личности ярко очерченный характеръ: ея заботливая любовь къ племянницѣ во всей піесѣ и особенно горячее заступничество за Агаѳью Тихоновну въ концѣ піесы сообщаютъ глубокую жизненность и рельефность и этому, такъ сказать, мимоходомъ вставленному типу. Только-что указанные споры при сличеніи обѣихъ сравниваемыхъ редакцій оказываются также почти механически вдвинутыми въ середину діалоговъ и, однако, это нисколько не замѣтно при непосредственномъ чтеніи исправленнаго текста. Въ тринадцатомъ явленіи перваго дѣйствія, почти безъ передѣлокъ перенесеннаго изъ первоначальнаго наброска, Аринѣ Пантелеймоновнѣ принадлежитъ только единственное замѣчаніе о женихахъ, до небесъ расхваленныхъ свахой: „ну ужъ, чай, хорошихъ приманила!“[1]). Гоголь здѣсь съ большимъ тактомъ, незначительной вставкой, сумѣлъ сдѣлать безъ дальнѣйшихъ усилій живымъ и естественнымъ молчаливое пока присутствіе Арины Пантелеймоновны при сценѣ заочнаго ознакомленія свахой ея племянницами съ ожидаемыми женихами. Еще больше виденъ художественный тактъ автора въ томъ, что боязливое опасеніе о нетрезвости одного изъ жениховъ, высказанное въ первоначальной редакціи Авдотьей Гавриловной, въ позднѣйшей редакціи вложено уже въ уста опытной въ жизни Арины Пантелеймоновны. Вотъ что́ обыкновенно называлъ Гоголь послѣднимъ ударомъ кисти.

---

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 367.

III.

Далѣе, при разсмотрѣніи обѣихъ редакцій, замѣчаемъ существенную разницу въ изображеніи внѣшняго положенія свахи. Дѣло въ томъ, что въ первоначальномъ наброскѣ. Марѳа, повидимому, является только импровизированной, а никакъ не профессіональной свахой, хотя недостаточная обрисовка и этой личности мѣшаетъ совершенно опредѣленному заключенію въ указанномъ отношеніи; кажется, что и здѣсь точное значеніе ея роли не вполнѣ выяснилось въ первоначальномъ наброскѣ для самого автора. Съ одной стороны, Марѳа совершенно такъ же усердно расхваливаетъ невѣстѣ рекомендуемыхъ ею жениховъ и наоборотъ, какъ это дѣлаютъ обыкновенно всякія записныя свахи въ родѣ Ѳеклы Ивановны въ „Женитьбѣ“; такъ, она говоритъ о нихъ: „Славные, хорошіе такіе всѣ, аккуратные. Напримѣръ, первый— Дороѳей Валтазаровичъ Жевакинъ. Такой славный! На флотѣ служитъ, и такой учтивый. А Иванъ-то Петровичъ? То такой помѣщикъ, что и приступу нѣтъ“ [1]). Какъ будто намекомъ на привычныя занятія свахи могутъ также служить слѣдующія слова Авдотьи Гавриловны Марѳѣ: „О, нѣтъ, Марѳа Ѳоминична! знаю я этихъ субтильныхъ, нѣтъ, ты подавай того, который пожирнѣе“ [2]). Съ другой стороны Марѳа Ѳоминична является несомнѣнно въ качествѣ домашней прислуги Авдотьи Гавриловны, которую она называетъ „барышней“ и о которой послѣдняя говоритъ: „Я послала Марѳу Ѳоминичну, не сыщетъ ли жениха на ярмаркѣ“ [3]). Также несомнѣнно на деревенскую обстановку всего дѣйствія и на положеніе крѣпостной, занимаемое Марѳою по отношенію къ Авдотьѣ Гавриловнѣ, указываютъ и слѣдующія слова ея: „Охъ, позволь, матушка, съ духомъ собраться! За твоими порученіями такъ изъѣздилась, такъ изъѣздилась, что и поясница и бокъ, и все болитъ. Два раза кони били: такіе звѣри! Засѣдатель— обывательскихъ: таратайка моя такъ вся и разсыпалась“ [4]). На разспросы Яичницы Марѳа отвѣчаетъ: „Все есть, батюш-

[1]) „Царь-Колоколъ“, 1892, III, стр. 7.
[2]) Тамъ же.
[3]) Тамъ же, стр. 6.
[4]) Тамъ же.

ка, *у насъ*“—какъ домашняя, а не какъ пришлая сваха, и всюду она обращается къ Авдотьѣ Гавриловнѣ, какъ къ помѣщицѣ, а послѣдняя, въ свою очередь, третируетъ ее, какъ служанку („Сударыня, сударыня! еще одни пріѣхали“—„Ѳекла Ѳоминична, посмотри въ окно, что́ собаки лай-то подняли“) [1]). Пріѣзжіе гости также относятся къ ней въ томъ же тонѣ, какъ обыкновенно говорятъ съ домочадцами знакомыхъ хозяевъ, и она отвѣчаетъ имъ такъ же; напр., „стой! стой! не уходи! а что́ жъ, барышня?“ говоритъ ей Яичница въ началѣ третьяго явленія; но иногда тонъ разговора какъ будто указываетъ на болѣе продолжительное знакомство ея съ женихами барышни, чѣмъ можно было бы ожидать по содержанію хода піесы; такъ, Анучкинъ и Жевакинъ спрашиваютъ у нея уже о здоровьѣ и о томъ, какъ она „поживаетъ“, хотя, разумѣется, такіе вопросы странны въ устахъ людей, только-что за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ въ первый разъ встрѣченныхъ Ѳеклой на ярмаркѣ, тѣмъ болѣе, что почти рядомъ съ этимъ Яичница высказываетъ гораздо болѣе умѣстное удивленіе по поводу скораго возвращенія ея съ ярмарки: „А, а! Ты уже здѣсь! Эка легкая какая!“ [2]), что́ опять, можетъ быть, не совсѣмъ соотвѣтствуетъ названію ея старухой, которое дается ей нѣсколько минутъ спустя тѣмъ же Яичницей въ припадкѣ досады за сообщенныя ею недостовѣрныя свѣдѣнія о невѣстѣ. Все это указываетъ, конечно, на недостаточную обработку произведенія, представлявшаго пока только брульонъ.

Первое дѣйствіе вновь переработанной комедіи вплоть до тринадцатаго явленія представляетъ рядъ сценъ, въ которыхъ весь интересъ сосредоточенъ на Подколесинѣ и отчасти на Кочкаревѣ. Здѣсь же является слуга Степанъ, въ разговорѣ котораго съ бариномъ находимъ пріемы, съ внѣшней стороны сильно напоминающіе разговоръ Черткова съ слугою въ „Портретѣ“, тѣ же отрывистые, короткіе отвѣты, то же повтореніе въ отвѣтѣ словъ, бывшихъ въ вопросѣ барина. Слѣдующія явленія до двадцатаго почти вполнѣ сходны съ первоначальнымъ наброскомъ, но конецъ наброска измѣненъ довольно сильно. Гоголь, конечно, хорошо сознавалъ, что въ его первоначальномъ наброскѣ встрѣчались неловкія по-

[1]) Стр. 10, 13, 20, 8.
[2]) Стр. 9.

вторенія, излишества, натяжки, и особенно въ послѣднихъ сценахъ, напр. въ спорѣ Яичницы съ Жевакинымъ о дуэли— и онъ рѣшился это существенно измѣнить и передѣлать. Вѣдь онъ, какъ видно уже изъ переданнаго Аксаковымъ разговора, относящагося еще къ 1832 г., стремился въ комедіи къ правдивому и яркому изображенію повседневной жизни, того, „что ежедневно передъ очами, но чего не зрятъ равнодушныя очи“, а вовсе не къ изображенію исключительныхъ случаевъ и внѣшне комическихъ положеній. Само собой ясно, что всѣ эти подробности, въ которыхъ такъ или иначе сказалось несовершенство, недодѣланность піесы были устранены, лишь-только явился болѣе удачный и благодарный матеріалъ. Отмѣтимъ только, что въ первоначальномъ наброскѣ разочарованіе въ красотѣ невѣсты является у жениховъ совершенно естественно и самостоятельно вслѣдствіе рѣзкой разницы съ тѣмъ, что наговорила имъ Марѳа Саввична; въ позднѣйшей редакціи указаніе недостатковъ невѣсты вкладывается въ уста Кочкареву, уже преслѣдующему при этомъ заднюю мысль; но такая же задняя мысль приписывается въ первоначальномъ наброскѣ Яичницѣ („Позвольте, я съ вами не могу согласиться“. „Да впрочемъ, чего я спорю?)“. Сильно передѣлана также вторая половина пятаго явленія первоначальнаго наброска, такъ какъ слишкомъ безцеремонное расхваливаніе своихъ преимуществъ женихами передъ невѣстой отличается еще слишкомъ неумѣреннымъ внѣшнимъ комизмомъ въ духѣ Фонвизина и даже представляетъ довольно замѣтное сходство съ одной изъ сценъ „Недоросля“. „Мужъ долженъ быть утонченный“, замѣчаетъ Анучкинъ. „Да, *утонченный и собою поплотнѣе*“, вторитъ по своему Яичница [1]). Кромѣ этого въ разныхъ мѣстахъ піесы замѣтны слѣды устраненія однообразныхъ пріемовъ, явившихся сначала естественнымъ результатомъ неясности и неполноты первоначальнаго замысла. Такъ при передачѣ Марѳой сужденій и требованій жениховъ встрѣчаются явныя повторенія; ср. слова Яичницы: *„ты мнѣ не толкуй пустяковъ, что невѣста такая и такая;* ты, Марѳа, мнѣ скажи, сколько за ней крѣпостного, движимаго

[1]) „Царь-Колоколъ“, 1892, III, стр. 13. Ср. у Фонвизина въ „Недорослѣ“. пятое явленіе третьяго дѣйствія („Коль есть въ глазахъ дворянинъ малый молодой“ — „Изъ ребятъ давно ужъ вышелъ“—„У кого достаточекъ хоть и небольшой“) и проч.

и рухляди?", и слова Анучкина: „*Мнѣ нужно не то, чтобы невѣста была такая и растакая*, а чтобы хороша собой, воспитанная и чтобы по-французски умѣла говорить" [1]). Начало послѣдней фразы совершенно не во вкусѣ и не въ стилѣ жеманнаго Анучкина и могло быть оставлено лишь до тѣхъ поръ, пока авторъ не подыскалъ болѣе счастливой и соотвѣтствующей характеру своего героя формы выраженія.

Этимъ мы оканчиваемъ сличеніе первоначальнаго наброска съ окончательной редакціей. Укажемъ только на одинъ гоголевскій пріемъ въ обработкѣ еще не готовыхъ піесъ: неожиданныя слова Яичницы Жевакину: „Любезнѣйшій! кажется, изъ одного горшка хотимъ щи хлѣбать?" и изумленіе Жевакина, самый такъ удивившій ударъ его Яичницей по плечу— все это было въ измѣненномъ видѣ перенесено Гоголемъ позднѣе въ комедію „Игроки", въ той сценѣ, гдѣ Швохневъ и Утѣшительный такъ же непредвидѣнно ударяютъ Ихарева по плечу и Утѣшительный говоритъ ему: „Да полно вамъ тратить по пусту заряды?"—„Да что тутъ толковать, свой своего развѣ не узналъ?" [2])

Второе дѣйствіе было почти все вплоть вновь создано Гоголемъ; здѣсь только насмѣшки Кочкарева надъ фигурой Жевакина (въ 8 явленіи) представляютъ варіацію подобныхъ же насмѣшекъ Яичницы (явл. 9 первонач. наброска) и разговоръ между Агаѳьей Тихоновной и Подколесинымъ является развитіемъ небольшой комической сцены объясненія Ивана Ѳедоровича Шпоньки съ „благонравной дѣвицей Марьей Гавриловной",—сцены, послужившей зерномъ, изъ котораго возникъ самый замыселъ „Женитьбы" въ ея позднѣйшей редакціи. Намъ остается еще отмѣтить, что выраженія Яичницы и Жевакина—„Лично будучи подвигнутъ добродѣтелями вашего пола, пріѣхалъ изъявить готовность съ своей стороны" и „Сударыня! я почелъ за долгъ лично засвидѣтельствовать вамъ мое почтеніе" встрѣчаются въ измѣненномъ видѣ, съ варіаціями, въ „Мертвыхъ Душахъ", (въ устахъ Чичикова), а безцеремонное ухаживаніе Жевакина („Вы имѣете, сударыня, такую свѣжесть румянца, такой розанчикъ") нашло себѣ отголосокъ въ изображеніи ухаживанія Хлестакова [3]).

---

[1]) Тамъ же, стр. 7.

[2]) Тамъ же, стр. 20 и Соч. Гог., изд. X, т. II, 418—419.

[3]) „Царь-Колоколъ", 1892, III, стр. 12 и 19.

IV.

Обращаясь къ типамъ вновь введеннымъ въ пьесу, замѣтимъ, что при выборѣ невѣсты Подколесинъ, типъ, принадлежащій нѣсколько болѣе интеллигентной средѣ, является передъ нами уже съ разносторонними, сравнительно, требованіями, касающимися происхожденія, приданаго и наружности невѣсты. Наивные ухаживатели малороссійскаго захолустья въ этомъ отношеніи не могутъ идти въ параллель съ представителемъ хотя бы мелкаго петербургскаго чиновничества. Впрочемъ, Подколесинъ отличается въ данномъ случаѣ также и отъ каждаго изъ своихъ соперниковъ, въ лицѣ которыхъ авторъ спеціально оттѣняетъ нѣкоторые отдѣльные, наиболѣе часто встрѣчающіеся, мотивы и побужденія, какими обыкновенно руководятся люди извѣстной среды при вступленіи въ бракъ. Такъ, Яичница олицетворяетъ собой голый разсчетъ и безстыдную погоню за деньгами, желая получить уже въ приданое къ нимъ невѣсту, хотя-бы и завѣдомо глупую; морякъ Жевакинъ, совершенно отдаваясь грубымъ животнымъ инстинктамъ, готовъ видѣть въ каждой юбкѣ олицетвореніе красоты или такъ-называемый имъ „розанчикъ“, предпочитая, однако же, тѣхъ, которыя „въ тѣлѣ“; наконецъ, Анучкинъ, пропитанный весь хлестаковскимъ стремленіемъ по возможности тянуться за свѣтомъ, требуетъ если не утонченныхъ манеръ, то знанія непонятнаго и ненужнаго ему французскаго языка. Объединеніе въ извѣстной, менѣе рѣзкой степени всѣхъ указанныхъ чертъ въ Подколесинѣ объясняется, конечно, тѣмъ, что въ его личности авторъ имѣлъ въ виду сосредоточить комизмъ на его забавной, доходящей до крайностей, нерѣшительности въ такомъ, правда, роковомъ вопросѣ, какъ бракъ, въ чемъ, къ слову сказать, онъ сходится также и съ своей невѣстой, но только отчасти. Въ недраматическихъ произведеніяхъ Гоголя мы снова встрѣчаемъ у разныхъ его героевъ то проявленіе какихъ-нибудь отдѣльныхъ требованій при выборѣ невѣсты во вкусѣ указанныхъ выше; такъ, подобно поручику Пирогову, и маіоръ Ковалевъ „былъ не прочь и жениться, но только въ такомъ случаѣ, когда за невѣстой случится двѣсти тысячъ капиталу“ [1]), или соединеніе тѣхъ

[1]) См. Соч. Гоголя, 3-е изд. наслѣдниковъ, т. III, стр. 301 и съ небольшими перемѣнами изд. X, т. III, стр. 307.

притязаній, которыя распредѣлены порознь между дѣйствующими лицами „Женитьбы“. Такъ, напр., Чичикову при мысли о будущей женѣ тотчасъ же „представлялась молодая, свѣжая. бѣлолицая бабенка изъ купеческаго или другого богатаго сословія, которая бы даже знала и музыку“ [1]).

Женскія лица вообще немногочисленны въ произведеніяхъ Гоголя; небогаты ими и драматическія его произведенія. За исключеніемъ прекрасныхъ, но сильно идеализированныхъ типовъ молодыхъ казачекъ въ „Вечерахъ на Хуторѣ“ и панночки въ „Миргородѣ“, онѣ всегда представляютъ у Гоголя только разныя варіаціи однихъ и тѣхъ же излюбленныхъ авторомъ типовъ пустой свѣтской дамы съ молоденькой и пустенькой дочерью. Такъ, эти личности повторяются съ измѣненіями въ „Ревизорѣ“, „Портретѣ“, и проч., даже мимоходомъ въ повѣсти „Носъ“, гдѣ маіоръ Ковалевъ, разсматривая товары на гостиномъ дворѣ, неожиданно замѣтилъ „подошедшую пожилую даму, всю убранную кружевами, и съ нею тоненькую, въ бѣломъ платьѣ, очень мило рисовавшемся на ея стройной таліи, въ палевой шляпкѣ, легкой, какъ пирожное“ [2]). Но эти типы принадлежатъ столичной или уѣздной quasi-аристократіи; въ „Женитьбѣ“ же, гдѣ изображены низшіе слои петербургскаго общества, потребовались иные типы: Ѳеклы, Арины Пантелеймоновны, Агаѳьи Тихоновны, причемъ послѣдняя, съ ея безотчетнымъ, но сильнымъ стремленіемъ выйти не иначе, какъ за „благороднаго“, является прямой предшественницей Липочки Большовой, подобно тому какъ Ѳекла — не повторяющимся болѣе у Гоголя типомъ свахи въ родѣ Устиньи Наумовны, а Замухрышкинъ въ „Игрокахъ“ — единственнымъ въ его произведеніяхъ типомъ подъячаго [3]). Впрочемъ, въ роли свата выступаетъ Кочкаревъ, своимъ рѣшительнымъ образомъ дѣйствій соотвѣтствуя мужеподобной Василисѣ Кашпаровнѣ (въ повѣсти „Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька“), которой, судя по словамъ одного письма Гоголя къ Данилевскому, предстояло въ неоконченной повѣсти обвѣнчать примѣрнаго племянника съ благонравной дѣвицей

[1]) См. Соч. Гоголя, изд. X, т. II, стр. 7—8.

[2]) Тамъ же, стр. 10.

[3]) По крайней мѣрѣ, Иванъ Антоновичъ „Кувшинное рыло“ и другіе прказные совершенно иначе обрисованы Гоголемъ.

Марьей Гавриловной [1]). Возвращаясь къ Агаѳьѣ Тихоновнѣ, прибавимъ еще, что типъ ея, вѣроятно, былъ приблизительно намѣченъ одновременно съ „Невскимъ Проспектомъ“, судя по слѣдующимъ словамъ: „Молодые люди“ (подобные поручику Пирогову)—„достигаютъ, наконецъ, до того, что женятся на купеческой дочери, умѣющей играть на фортепіано, съ сотней тысячъ, или около того, наличныхъ и съ кучей брадатой родни. Однако-жъ, этой чести они не прежде могутъ достигнуть, какъ выслужившись, по крайней мѣрѣ, до полковничьяго чина, потому что русскія бородки, несмотря на то, что отъ нихъ еще сильно отзывается капустой, никакимъ образомъ не хотятъ видѣть дочерей своихъ ни за кѣмъ, кромѣ генераловъ, или, по крайней мѣрѣ, полковниковъ“ [2]). Но подробнѣе обрисовать эту среду выпало на долю уже иного великаго писателя.

Такимъ образомъ изъ указаннаго, надѣемся, достаточно наглядно представляется связь „Женитьбы“ съ другими произведеніями Гоголя, создавшимися въ промежутокъ отъ 1830 до 1834 г. включительно. Но, кромѣ того, еще однимъ критикомъ въ шестидесятыхъ годахъ было отмѣчено, что «въ простомъ очеркѣ характера Ивана Ѳедоровича Шпоньки таится уже зерно глубокаго созданія характера Подколесина“, а нѣкоторыми своими чертами тотъ же Подколесинъ представляетъ несомнѣнное сходство даже съ поручикомъ Пироговымъ и маіоромъ Ковалевымъ. Отличаясь отъ послѣднихъ въ основѣ своего характера, онъ поразительно сходится съ ними въ томъ забавномъ благоговѣніи, которое каждый изъ нихъ питаетъ къ своему въ сущности даже невысокому чину. Такъ, Подколесинъ носится съ своимъ чиномъ надворнаго совѣтника. „Да вѣдь я потому тебя спрашиваю“—„говоритъ онъ свахѣ—„что я—надворный совѣтникъ“ и самодовольно разсуждаетъ самъ съ собой: „Я того мнѣнія, что черные фраки какъ-то солиднѣе. Цвѣтные больше идутъ секретарямъ, *титулярной и прочей мелюзгѣ*—молокососно что-то. Тѣ, которые чиномъ повыше, должны наблюдать, какъ говорится этого... вотъ

1) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 44.

2) Т. V, стр. 276. О стремленіи купцовъ тянуться за высшими сословіями есть замѣчаніе также въ „Игрокахъ“: „Вѣдь купецъ какъ воспитываетъ сына?—или чтобы онъ ничего не зналъ, или чтобы зналъ то, что̀ нужно дворянину, а не купцу“ (т. II, стр. 443).

позабылъ слово! и хорошее слово, да позабылъ!" [1]) Онъ имѣетъ претензію и на репутацію въ „хорошемъ обществѣ": „Кажется, пустая вещь сапоги, а вѣдь, однако-же, если дурно сшиты, да рыжая вакса, ужъ въ хорошемъ обществѣ и не будетъ такого уваженія". Не меньше озабоченъ тѣмъ, чтобы не уронить своего достоинства и чина, и маіоръ Ковалевъ, который наказываетъ продавщицамъ: „ты приходи ко мнѣ на домъ; квартира моя въ Садовой; спроси только: „здѣсь живетъ „*маіоръ*" Ковалевъ?"—О Ковалевѣ авторъ замѣчаетъ, что онъ „чрезвычайно обидчивый человѣкъ. Онъ могъ простить все, что̀ ни говорили о немъ самомъ, но никакъ не извинялъ, если это относилось къ чину или званію" [2]). Поручикъ Пироговъ, съ своей стороны, также никакъ не могъ утерпѣть, чтобы не сдѣлать замѣчанія невѣжливому встрѣчному, что „передъ нимъ *поручикъ*, а не другой какой офицеръ" [3]). Нѣтъ сомнѣнія, что указанная черта была дана Гоголю наблюденіями надъ русской жизнью вообще и была чрезвычайно распространена у насъ въ началѣ текущаго столѣтія, но всего больше она бросалась въ глаза нашему писателю во время его петербургской жизни и особенно подъ впечатлѣніями департаментской службы. Когда впослѣдствіи, вернувшись въ первый разъ изъ-за границы, Гоголь, какъ говорятъ, на вопросъ о первомъ поразившемъ его на родинѣ впечатлѣніи, отвѣтилъ, что прежде всего онъ услышалъ пословицу: „чинъ чина почитай",—то эта шутка имѣла основаніемъ, конечно, давнія впечатлѣнія. Соотвѣтствующія проявленія ограниченнаго самодовольства подмѣчались имъ, впрочемъ, въ самыхъ различныхъ сферахъ, напр., даже въ портномъ Петровичѣ въ „Шинели", который, заломивъ высокую цѣну, „былъ доволенъ, что и себя не уронилъ, да и портного искусства тоже не выдалъ". Вспомнимъ также слѣдующія строки въ первой части „Мертвыхъ Душъ": Чичиковъ, *чтобы не сдѣлать дворовыхъ людей свидѣтелями соблазнительной сцены и* вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуя, что держать Ноздрева было безполезно, выпустилъ его руки" [4]). Но здѣсь въ Чичиковѣ говоритъ уже чувство самолюбія помѣщичьяго и дворянскаго. Это мѣсто,

[1]) Т. II, стр. 356.
[2]) Тамъ же, стр. 17.
[3]) Т. V, стр. 277.
[4]) Т. III, стр. 83; т. II, стр. 95.

въ свою очередь, напоминаетъ слова Подколесина Кочкареву: „Въ своемъ-ли ты умѣ? Тутъ стоитъ крѣпостной человѣкъ, а онъ при немъ бранится“ [1]), и то мѣсто въ „Запискахъ Сумасшедшаго“, гдѣ Поприщинъ, гордясь тѣмъ, что онъ—дворянинъ, разсуждаетъ самъ съ собой, что „если какой-нибудь простой мѣщанинъ или даже крестьянинъ—и вдругъ открывается, что онъ какой-нибудь вельможа или баронъ, или какъ его. Когда изъ мужика иногда выходитъ этакое, то что же можетъ выйти изъ дворянина“ [2]). Возвращаясь теперь къ малороссійскимъ повѣстямъ Гоголя, мы не можемъ не отмѣтить, что въ послѣднихъ гораздо чаще встрѣчается изображеніе наивнаго страха или благоговѣнія передъ головой или комиссаромъ, нежели самодовольное упоеніе собственнымъ положеніемъ. Примѣръ послѣдняго можетъ быть, однако, и тамъ указанъ въ личности головы въ повѣсти „Майская Ночь“, но тутъ была особая, исключительная причина: „о чемъ бы ни говорили съ нимъ, голова всегда умѣетъ поворотить на то, какъ онъ везъ царицу и даже удостоился сидѣть на козлахъ съ царицынымъ кучеромъ“ [3]). Въ позднѣйшихъ же произведеніяхъ, написанныхъ Гоголемъ за-границей, т.-е. въ „Мертвыхъ Душахъ“, „Театральномъ Разъѣздѣ“ и проч., чинопочитаніе и довольство ограниченности, если изображается Гоголемъ, то гораздо рѣже, въ иной формѣ и съ иной точки зрѣнія. Такимъ образомъ частые случаи изображенія чинопочитанія именно въ петербургскій періодъ находятъ себѣ естественное объясненіе въ нравахъ современнаго ему общества, тогда какъ позднѣе не подновляемыя въ указанномъ направленіи во время его жизни за-границей впечатлѣнія потускнѣли и стали понемногу забываться. Заключая рѣчь объ изображеніи чинопочитанія въ „Женитьбѣ“ и другихъ одновременныхъ произведеніяхъ, мы должны оговориться, что, будучи строгимъ консерваторомъ и гнушаясь даже названіемъ либерала, Гоголь, при изображеніи указанной черты, отнюдь не руководился какими-либо посторонними чистому искусству соображеніями; но это тѣмъ болѣе показываетъ, сколько матеріала для сатиры невольно накоплялось у безпристрастнаго наблюдателя современныхъ ему бюрократическихъ сферъ, и

[1]) Т. II, стр. 365.
[2]) Т. V, стр. 357.
[3]) Т. I, стр. 60.

насколько этотъ-то обильный матеріалъ самъ собой просился подъ перо художника, приведеннаго глубоко запавшими въ его душу живыми, яркими образами къ произведеніямъ уже съ серьезной общественной идеей. Но прежде, чѣмъ говорить о послѣднихъ, позволимъ себѣ указать еще нѣкоторыя, менѣе важныя, параллели между отдѣльными лицами „Женитьбы“ и другихъ одновременныхъ произведеній Гоголя.

Мы указывали выше сходство между Кочкаревымъ и Василисой Кашпаровной въ повѣсти „Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька“ относительно роли ихъ въ сватовствѣ Шпоньки и Подколесина. Съ другой стороны, своей беззастѣнчивой и размашистой натурой Кочкаревъ представляетъ отмѣченное еще Бѣлинскимъ сходство съ Ноздревымъ: *онъ „добрый и пустой малый, нахалъ и разбитная голова“* [1]). Но тотъ же Кочкаревъ своей смѣлой ложью и отчаянно-самоувѣренной импровизаціей приближается къ Собачкину и Хлестакову. Всѣ трое, во вкусѣ Загорѣцкаго, слишкомъ легко выходятъ изъ затрудненія, когда имъ приходится показывать видъ, что имъ все извѣстно. Приведемъ примѣры.

Кочкаревъ. Агаѳья Тихоновна Брандахлыстова?

Ѳекла. Анъ нѣтъ—Купердягина.

Кочкаревъ. Въ Шестилавочной, что-ли, живетъ?

Ѳекла. Ужъ вотъ нѣтъ; будетъ поближе къ Пескамъ.

Или:

Кочкаревъ. *(Агаѳьѣ Тихоновнѣ)* Однако-жъ, припомните: вы меня, вѣрно, гдѣ-нибудь видѣли.

Агаѳья Тихоновна. Право не знаю. Ужъ развѣ не у Бирюшкиныхъ-ли?

Кочкаревъ. Именно, у Бирюшкиныхъ.

Агаѳья Тихоновна. Ахъ, вы не знаете: съ ней вѣдь исторія случилась.

Кочкаревъ. Какъ-же, вышла замужъ.

Агаѳья Тихоновна. Нѣтъ, это бы еще хорошо, а то переломила ногу.

Кочкаревъ. Да кто-то, я помню, что-то было: „или вышла замужъ, или переломила ногу“ [2]).

---

[1]) Соч. Бѣлинскаго, т. III, стр. 445.

[2]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 377; ср. также на стр. 361.

Ср. въ „Отрывкѣ“:

Марья Александровна. Скажите, вы вѣрно знаете, есть какой-то Александръ Александровичъ Одосимовъ?

Собачкинъ. Одосимовъ?.. Одосимовъ... Одосимовъ... Знаю, есть гдѣ-то Одосимовъ, а впрочемъ, могу справиться [1]).

Такъ какъ всѣ упомянутыя лица являются въ повѣстяхъ, написанныхъ въ промежутокъ отъ 1833 по 1835 г. („Носъ“. „Невскій Проспектъ“, „Записки Сумасшедшаго“), а въ послѣднемъ начаты и первыя главы „Мертвыхъ Душъ», то связь ихъ съ „Женитьбой“ несомнѣнна. Сходство же Кочкарева съ Ноздревымъ особенно ярко подтверждается слѣдующимъ мѣстомъ въ первой части „Мертвыхъ Душъ“: „Ноздревъ былъ рѣшительный человѣкъ, для котораго затрудненій не существовало вовсе. Онъ отвѣчалъ на всѣ пункты, даже не заикнувшись; объявилъ, что Чичиковъ накупилъ мертвыхъ душъ на нѣсколько тысячъ“ [2]) и проч. Такимъ образомъ, „Женитьба“ нѣкоторыми отдаленными звеньями имѣетъ отношеніе даже къ этому величайшему произведенію Гоголя.

Еще одно замѣчаніе: „Женитьба“, вѣроятно, почти исключительно поглотила вниманіе Гоголя въ 1833 г., потому что вѣдь въ это время его литературные труды подвигались вяло, такъ же какъ и въ слѣдующіе года, когда онъ былъ въ значительной степени отвлеченъ учительскими и профессорскими трудами, литературнымъ результатомъ которыхъ явились потомъ „Арабески“, и притомъ въ то же время онъ не переставалъ упорно работать надъ повѣстями, составлявшими продолженіе „Вечеровъ“ и получившими названіе „Миргорода“. Такимъ образомъ, благодаря усиленной дѣятельности въ иномъ направленіи, Гоголь не имѣлъ возможности сосредоточиться на драмѣ и откладывалъ давно задуманные сюжеты, ограничиваясь пока черновыми набросками. Такъ оставалась неоконченной начатая въ первыхъ мѣсяцахъ 1833 г. комедія „Владиміръ 3-й степени“.

---

1) Тамъ же, стр. 476.

2) Т. III, стр. 208. — Впрочемъ, одна черта Кочкарева повторена и въ Чичиковѣ, въ слѣдующихъ его словахъ: „Что глядѣть на то, что человѣкъ плюется“. (Ср. т II, стр. 389, и III т., стр. 309).

КОМЕДІЯ „ВЛАДИМІРЪ 3-й СТЕПЕНИ“.

I.

Первымъ произведеніемъ въ ряду тѣхъ, въ которыхъ Гоголь задается серьезной общественной идеей, является уже комедія „Владиміръ 3-й степени“. Въ этой пьесѣ поэтъ намѣревался изобразить одно должностное лицо не въ томъ ложномъ, выгодномъ для него, свѣтѣ, въ какомъ оно старалось выставить себя на показъ передъ начальствомъ и подчиненными, а съ его настоящей, закулисной стороны, со всѣми его недостатками и въ значительной мѣрѣ пошлостью. Работая надъ этой комедіей, Гоголь не безъ основанія опасался затрудненій со стороны цензуры: хотя уцѣлѣвшіе отъ нея отдѣльные отрывки представляются сравнительно очень невинными, но въ цѣломъ комедія должна была явиться рѣзкимъ и, быть можетъ, безпримѣрнымъ въ то время обличеніемъ недостатковъ среднихъ оффиціальныхъ сферъ, подобно тому, какъ вскорѣ болѣе скромныя служебныя сферы были изображены въ „Ревизорѣ“. Никто, кромѣ друзей Гоголя, и то лишь *отчасти*, не подозрѣвалъ истиннаго значенія комедіи, такъ какъ въ отрывкахъ утрачивалась соль произведенія; даже Бѣлинскій смотрѣлъ на нихъ только какъ на нѣчто весьма талантливое, но неважное по содержанію, какъ это ясно изъ слѣдующихъ его словъ: „эти сцены нельзя назвать комедіями по ихъ объему; онѣ относятся къ комедіи, какъ повѣсть относится къ роману. Всѣ эти сцены носятъ на себѣ рѣзкую печать таланта автора „Ревизора“ и, подобно ему, до сихъ поръ остаются въ нашей литературѣ

уединенными памятниками среди широкой песчаной степи, гдѣ не видно ни деревца, ни былинки“ [1]). Такимъ образомъ, даже Бѣлинскій, разсматривая эти отрывки *исключительно съ эстетической точки зрѣнія*, не могъ и подозрѣвать *общественнаго значенія* разорванной по клочкамъ піесы, хотя въ то время, когда писалъ этотъ отзывъ, онъ былъ уже склоненъ особенно цѣнить послѣднее. Въ отрывкахъ же была извѣстна эта комедія и друзьямъ Гоголя. Погодинъ записалъ однажды въ дневникѣ: „Гоголь читалъ мнѣ *отрывки* изъ двухъ своихъ комедій: одну подъ заглавіемъ „Комедія“, другая— „Провинціальный женихъ“. Изъ дальнѣйшихъ словъ: „Какіе чиновники на сценѣ, *какіе канцелярскіе служители!*“ [2]) можно предположить, что предыдущія строки относятся скорѣе къ комедіи „Владиміръ 3-й степени“. Послѣ этого неудивительно, что менѣе знавшій пока Гоголя Аксаковъ только въ комедіи „Ревизоръ“ видѣлъ проявленіе его таланта „въ новомъ и глубокомъ значеніи“. Между тѣмъ, если сопоставить всѣ четыре сохранившіеся отрывка комедіи между собой и съ другими произведеніями Гоголя, то даже изъ этихъ фрагментовъ, особенно послѣ обстоятельныхъ примѣчаній Н. С. Тихонравова, выясняется, что въ „Владимірѣ 3-й степени“ на ряду съ пошлой чиновнической страстишкой распекать низшихъ, единственно ради показанія своей силы и власти, представлены непроходимая пустота и бездѣлье иныхъ должностныхъ лицъ, занимающихъ даже замѣтныя мѣста и прикрывающихъ свое полное ничтожество личиной будто бы неусыпнаго усердія къ дѣлу, проявляемаго, впрочемъ, исключительно въ пустомъ соблюденіи формъ до такихъ мелочей, какъ недопущеніе въ переносѣ титула *сіятельство* и проч. [3]).

„Утро дѣлового человѣка“, прямо вводящее читателя въ сферу изображаемаго дѣйствія, должно было, безъ сомнѣнія, служить началомъ комедіи „Владиміръ 3-ей степени“: у Гоголя всегда находимъ завязку въ первыхъ же строкахъ комедіи, а такая завязка, какъ та, какую видимъ въ этой пьесѣ, должна была сразу же выставить передъ зрителями на показъ возмутительное противорѣчіе между служебной недобросовѣстностью и совершеннымъ отсутствіемъ сознанія долга

[1]) Соч. Бѣлинскаго, т. XII, стр. 273.

[2]) „Жизнь и труды Погодина“, т. IV, стр. 267.

[3]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 451, 452 и 454.

въ Иванѣ Петровичѣ съ одной стороны, и его обширными притязаніями на незаслуженныя награды съ другой. Завязка заключается собственно въ словахъ Ивана Петровича: „Господи Боже мой, ну что̀, если бы его превосходительство сказалъ: „такого-то Барсукова, въ уваженіе тѣхъ и прочихъ заслугъ его, представляю“ [1]) и проч. Далѣе необходимо обратить вниманіе на слова Ивана Петровича: „Мнѣ бы теперь одного только хотѣлось... если бы получить хоть орденокъ на шею. Не потому, чтобы это слишкомъ занимало, но единственно, чтобы видѣли только вниманіе ко мнѣ начальства“. Въ этихъ послѣднихъ словахъ нельзя не замѣтить явнаго сходства съ подобными же разсужденіями городничаго въ „Ревизорѣ“: „Господи, Боже ты мой, какъ бы такъ устроить, чтобы начальство увидѣло мою ревность и было довольно. Наградитъ-ли оно, или нѣтъ, конечно, въ его волѣ, по крайней мѣрѣ, я буду спокоенъ въ сердцѣ“ [2]), и въ другомъ мѣстѣ: „ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалѣешь ничего, а награда неизвѣстно еще когда будетъ“ [3]). Какъ городничій, вмѣсто справедливаго наказанія, желалъ и надѣялся получить награду за мнимые неусыпные труды, заговаривая о ней даже въ минуту сильнѣйшаго страха взысканій за свои „грѣшки“, такъ и Иванъ Петровичъ въ „Утрѣ дѣлового человѣка“, несмотря на то, что, не интересуясь службой, онъ безпрестанно развлекался картами и даже по цѣлымъ часамъ безъ свидѣтелей забавлялся у себя дома съ какой-нибудь комнатной собачкой, считаетъ себя въ правѣ разсчитывать на полученіе Владиміра 3-ей степени — за то собственно, что будто бы „по̀томъ и кровью“ достигъ въ канцеляріи такого порядка, что стоитъ взять въ руки бумагу и „душа радуется, духъ торжествуетъ“ [4]). Такимъ образомъ, избравъ завязкой чиновничье честолюбіе Ивана Петровича, Гоголь, очевидно, еще въ самомъ началѣ своихъ работъ надъ комедіей, держался уже взгляда, высказаннаго имъ въ „Театральномъ Разъѣздѣ“, что „болѣе имѣютъ электричества чинъ, денежный капиталъ, выгодная женитьба, чѣмъ любовь“ [5]). Далѣе

1) Тамъ же, стр. 452.
2) Тамъ же, стр. 453 и 236.
3) Тамъ же, стр. 227.
4) Стр. 453.
5) Стр. 457.

собесѣдникъ Ивана Петровича въ первой сценѣ, другой мнимодѣловой человѣкъ, Александръ Ивановичъ, въ своемъ разговорѣ съ нимъ, играетъ роль, соотвѣтствующую въ „Ревизорѣ“ ролямъ Добчинскаго и Бобчинскаго—въ томъ, впрочемъ, единственномъ отношеніи, что, сплетничая и передавая невѣрные слухи, онъ невольно способствуетъ вступленію главнаго лица на ложный путь помысловъ и дѣйствій.

Въ отношеніи къ подчиненнымъ Иванъ Петровичъ является любителемъ начальническихъ выговоровъ и распеканій. Такъ, во второмъ явленіи „Утра дѣлового человѣка“ незаслуженному выговору подвергается молодой и образованный чиновникъ Шрейдеръ. Здѣсь мы находимъ наглядный образецъ распеканій, изображенныхъ отчасти также въ „Шинели“ при объясненіи Акакія Акакіевича съ однимъ „значительнымъ лицомъ“. Эту же слабость нѣкоторыхъ начальствующихъ лицъ Гоголь представляетъ „вполнѣ опредѣлившеюся возможностью“ [1]) даже въ Хлестаковѣ, когда послѣдній уже видитъ себя въ своемъ разгоряченномъ воображеніи чиновнымъ Юпитеромъ, распрaвляющимся съ воображаемыми подчиненными [2]). Точно также, наконецъ, „честолюбивое стремленіе Тентетникова осадилъ съ самаго начала его дядя, дѣйствительный статскій совѣтникъ Онуфрій Ивановичъ. Онъ объявилъ, что главное дѣло въ хорошемъ почеркѣ, а не въ чемъ-либо другомъ, что безъ этого не попадешь ни въ министры, ни въ государственные сановники“ [3]).

Познакомивъ читателей съ пустотой и пошлостью Ивана Петровича, Гоголь не забываетъ обрисовать мимоходомъ и жалкій уровень его познаній и развитія, когда первый такъ забавно смѣшиваетъ значеніе малопонятныхъ ему иностранныхъ словъ. Та же черта была потомъ повторена въ „Ревизорѣ“, но лишь въ его первоначальномъ наброскѣ, тогда какъ въ исправленномъ текстѣ эти мѣста пропущены. Приводимъ ихъ по тексту комедіи въ изданіи проф. Тихонравова: „Вы все говорите нарочно такое“ (обращается къ Хлестакову въ 3-емъ дѣйствіи Марья Антоновна), котораго я не понимаю. Я думаю, вы въ Петербургѣ тамъ часто бываете въ театрѣ. Я думаю, тамъ какъ хорошо играютъ комедіи!“

---

1) Выраженіе Бѣлинскаго, сказанное о городничемъ. (Соч., т. III, стр. 394).

2) „Ревизоръ“, изд. Н. С. Тихонравова, „Предувѣдомленіе“, LV.

3) Соч. Гог., изд. X, т. III, стр. 287.

Хлестаковъ. Комедіи? А что такое комедіи? *Марья Антоновна.* Вотъ ужъ будто вы не знаете? *Хлестаковъ.* Право не знаю. *Марья Антоновна.* О, какъ будто я не знаю, что вы нарочно такъ говорите. *Хлестаковъ.* Право, я не знаю знать (sic), что такое комедія. Это, вѣрно, звѣрь какой-нибудь или чиновникъ" [1]). Далѣе оказывается, что Хлестаковъ уже смѣшиваетъ слово комедія съ словомъ артиллерія. Другое подобное мѣсто находится въ пропущенной сценѣ разговора между Хлестаковымъ и докторомъ Гибнеромъ: прося у Христіана Ивановича денегъ взаймы, Хлестаковъ говоритъ ему: „вы мнѣ giebt теперь, а я вамъ послѣ назадъ отгибаю" [2]).

Кончается „Утро дѣлового человѣка" негодованіемъ Александра Ивановича на незаслуженныя притязанія Ивана Петровича (хотя объ обоихъ можно смѣло сказать, что они стоятъ другъ друга): „Какая противная физіономія! И разнѣжился; ему совсѣмъ не хотѣлось бы, но только для того, чтобы показать вниманіе начальства. Еще просить, чтобы я замолвилъ за него! Да, нашелъ кого просить, голубчикъ! Я таки тебѣ удружу порядочно, и ты таки ордена не получишь! не получишь!" [3]). Отсюда можно догадываться, что Александръ Ивановичъ былъ главнымъ виновникомъ неудачи и происшедшаго отъ нея помѣшательства Ивана Петровича. Нельзя не замѣтить также, что какъ притворная преданность Александра Ивановича Ивану Петровичу, такъ и его негодованіе изъ-за угла сильно напоминаетъ такую же фальшивую радость и скрытую зависть чиновниковъ къ городничему въ той сценѣ „Ревизора", въ которой гости поздравляютъ послѣдняго съ неожиданнымъ счастьемъ.

Вотъ всѣ главныя черты, которыя могутъ быть разъяснены въ „Утрѣ дѣлового человѣка" по сопоставленіи съ другими произведеніями Гоголя, если прибавить къ сказанному, что такое-же чиновничье честолюбіе было изображено также въ „Запискахъ Сумасшедшаго" въ лицѣ отца Софи, который, по наблюденіямъ собачки Меджи, говоритъ очень рѣдко, но недѣлю назадъ безпрестанно говорилъ самъ съ собой: „Получу или не получу?" Возьметъ въ одну руку бумажку, дру-

[1]) „Ревизоръ", изд. Н. С. Тихонравова, „Очеркъ исторіи текста комедіи „Ревизоръ", XXI.

[2]) Тамъ же, стр. 201.

[3]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 454.

гую сложитъ пустую и говоритъ: „Получу или не получу?“ [1]).

Второй сохранившійся отрывокъ изъ комедіи „Владиміръ 3-й степени“, впослѣдствіи озаглавленный авторомъ „Тяжба“, въ общемъ ходѣ комедіи долженъ былъ, очевидно, служить необходимымъ звеномъ для того, чтобы дать возможность Александру Ивановичу (иначе Пролетову, какъ онъ чаще называется въ „Тяжбѣ“) составить планъ дѣйствій, направленныхъ ко вреду для Ивана Петровича [2]). Въ настоящемъ своемъ видѣ, правда, отрывокъ этотъ не вполнѣ, повидимому, подтверждаетъ сказанное: въ немъ Пролетовъ собирается дѣйствовать противъ Бурдюкова (или Барсукова комедіи „Утро дѣлового человѣка“; см. примѣчанія Н. С. Тихонравова), именно разсерженный тѣмъ, что послѣднему уже *удалось* получить награду, но, какъ ясно изъ примѣчаній Н. С. Тихонравова, первыя двѣ сцены были прибавлены авторомъ впослѣдствіи, когда потребовалось выдѣлить остальное въ особый драматическій отрывокъ, тогда какъ сперва онъ начинался собственно словами, слѣдующими за фразой третьяго явленія: „нельзя было думать, чтобы вы были путный человѣкъ“, сказанными Бурдюковымъ Пролетову. Но и изъ этихъ двухъ присочиненныхъ впослѣдствіи сценъ для разъясненія первоначальнаго значенія комедіи могутъ пригодиться слова: „Каковъ Бурдюковъ? а? Вотъ кого, не говоря дальнихъ словъ, упряталъ бы въ Камчатку. Съ большимъ наслажденіемъ, признаюсь, нагадилъ бы ему хоть сію минуту, да вотъ до сихъ поръ нѣтъ да и нѣтъ случая“ [3]). Это размышленіе Пролетова совершенно тождественно по смыслу съ тѣмъ, которымъ заканчивается „Утро дѣлового человѣка“. Итакъ, ясно, что интрига держалась на томъ, что одинъ чиновникъ-карьеристъ старался подставить ногу другому, пользуясь, можетъ быть, впрочемъ, въ числѣ другихъ способовъ, компрометтирующимъ его соперника скандалезнымъ дѣломъ, которое раскрыла тяжба. На послѣднее

---

[1]) Т. V, стр. 364.

[2]) Въ „Тяжбѣ“ онъ названъ Павломъ Петровичемъ; см. примѣч. г. Тихонравова. Любопытно, что въ словахъ Ивана Петровича въ „Утрѣ дѣлового человѣка“: „Я васъ буду просить, этакъ, при случаѣ, натурально мимоходомъ, намекнуть“ и пр. есть сходство съ письмами самого Гоголя. („Соч. и письма Гог.“, т. V, стр. 206 или „Русскій Архивъ“, 1880, 2, 513).

[3]) Т. II, стр. 456.

указываетъ, повидимому, еще одинъ фрагментъ, приведенный въ примѣчаніяхъ Н. С. Тихонравова, въ которомъ нѣкто Закатищевъ говоритъ: „Жаль, если бы я не заговорился съ этимъ степнякомъ, я бы его засталъ. Однакожъ, я даромъ ему не скажу объ этомъ сюрпризѣ, который готовитъ ему родной братецъ“ [1]). Г. Тихонравовъ совершенно справедливо считаетъ Закатищева прототипомъ будущаго Собачкина, между прочимъ, на основаніи послѣднихъ сказанныхъ имъ въ діалогѣ словъ, обращенныхъ къ горничной Аннушкѣ: „Лжешь, плутовка: влюблена въ меня! Признайся, по уши влюблена? А, закраснѣлась!“ [2]). Но съ одной стороны, нѣкоторые типы у Гоголя обособлялись и дифференцировались при дальнѣйшей обработкѣ, причемъ, весьма часто получали въ каждой позднѣйшей редакціи новыя имена и фамиліи, и, слѣдовательно, Закатищевъ, несмотря на сходство съ Собачкинымъ, могъ до извѣстной степени соотвѣтствовать Александру Ивановичу. Съ другой стороны, желаніе Закатищева добиться отъ Ѳомы Ѳомича (личность однородная или даже тождественная съ Иваномъ Петровичемъ Барсуковымъ или Павломъ Петровичемъ Бурдюковымъ) представленія къ наградѣ мало вяжется съ независимымъ, повидимому, отъ него положеніемъ Александра Ивановича. Любопытно, что одна черта Собачкина была первоначально придана прямо Подколесину и уже потомъ перенесена на перваго. (Ср. въ первоначальной редакціи „Женитьбы“: „А, вѣдь, рожица-то смазливая, ей Богу смазливая! Чортъ возьми, никакъ не заведу, чтобы бакенбарды съѣхали немного пониже со щеки, какъ теперь носятъ“ [3]) и въ „Отрывкѣ“: „вотъ не знаю, какъ запустить бакенбарды: такъ-ли, чтобы рѣшительно вокругъ было бахромкой, какъ говорятъ — сукномъ обшить, или выбрить все гольемъ, а подъ губой завести что-нибудь, а?“ [4]) Такимъ образомъ, хотя указанное г. Тихонравовымъ сходство Закатищева съ Собачкинымъ не подлежитъ сомнѣнію, но вполнѣ разъяснить его по сохранившимся фрагментамъ едва-ли возможно. Укажемъ кстати другую, впрочемъ, незначительную черту сходства между ними, не отмѣченную г. Тихонраво-

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 740.

[2]) Тамъ-же, стр. 741.

[3]) „Русская Старина“, 1879, II, 329.

[4]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 481.

вымъ: оба они съ наслажденіемъ мечтаютъ о щегольской колясκѣ: Закатищевъ: „Эхъ куплю славныхъ рысаковъ. *Только и рѣчей будетъ по городу, что про лошаденку Закатищева. Хотѣлось бы и колясочку*, только ужъ зеленую: желтаго цвѣта никакъ не хочу“; Собачкинъ: „А я сдѣлаю вотъ какъ: скоро будетъ гулянье; колясочка моя хоть и новая, ну, да ее всякій уже видѣлъ и знаетъ, а есть, говорятъ, у Іохима только-что отдѣланная, послѣдней моды, еще онъ даже никому не показываетъ ее. Если прибавлю эти двѣ тысячи къ моей колясκѣ, задамъ тогда эффекту! *Можетъ быть, на всемъ гуляньѣ всею и будетъ одна или двѣ такія коляски. Такъ обо мнѣ всѣ заговорятъ*“...

Третья пьеса „Лакейская“, судя по только-что приведенному намеку въ ея первоначальной редакціи на предшествующее содержаніе пьесы, должна была бы слѣдовать за „Тяжбой“. Сдѣланное академикомъ Н. С. Тихонравовымъ сличеніе первоначальной и окончательной редакціи этого отрывка показываетъ, что все начало пьесы было совершенно передѣлано Гоголемъ въ то время, когда онъ приготовлялъ къ печати эти „драматическіе кусочки“; для него Гоголь, очевидно, воспользовался также началомъ „Утра дѣлового человѣка“, въ которомъ тоже представлена лѣнь и небрежность слугъ, но онъ развиваетъ здѣсь нѣсколько начальныхъ строкъ названнаго отрывка въ цѣлыя сцены. Такимъ образомъ, въ качествѣ позднѣйшихъ, эти сцены не могутъ имѣть никакого значенія для знакомства съ первоначальной редакціей комедіи „Владиміръ 3-ей степени“, и, напротивъ, онѣ даже отвлекаютъ вниманіе читателей отъ главной цѣли автора, которую онъ нашелъ нужнымъ потомъ тщательно замаскировать вслѣдствіе цензурныхъ соображеній. Напротивъ, выдѣляя первоначальный набросокъ, легко можно убѣдиться, что въ комедіи предполагалась слѣдующая послѣдовательность. Интрига начинается завистью, возбужденной, какъ мы узнаемъ изъ „Утра дѣлового человѣка“, Иваномъ Петровичемъ въ его собесѣдникѣ Александрѣ Ивановичѣ; потомъ эти, сначала безсильныя, злоба и зависть находятъ себѣ богатую пищу въ неожиданно представившемся случаѣ раскрыть мошенничество Ивана Петровича. Здѣсь начинается драматическое дѣйствіе, интрига. Далѣе Закатищевъ является къ своему начальнику съ извѣстіемъ о „сюрпризцѣ“ и уже со-

ставляетъ планъ требовать себѣ награды [1]), но не застаетъ его дома, потому что тотъ уѣхалъ къ своей сестрѣ Марьѣ Петровнѣ (впослѣдствіи– Марьѣ Александровнѣ), героинѣ четвертаго отрывка, оставшагося безъ особаго названія, но первоначально озаглавленнаго: „Семейныя сцены“ [2]). Между прочимъ, въ сценѣ „Лакейская“ авторъ пользуется случаемъ для того, чтобы познакомить зрителей съ другими непригляднными сторонами жизни и обстановки такихъ въ извѣстной средѣ вліятельныхъ чиновниковъ, какъ Иванъ Петровичъ или Ѳома Ѳомичъ.—Какъ Некрасовъ въ „Размышленіяхъ у парадnаго подъѣзда“, такъ и Гоголь въ „Лакейской“ задался несомнѣнной цѣлью раскрыть нѣкоторыя, такъ сказать, трущобныя тайны недостойныхъ представителей оффиціальнаго міра и, кромѣ того, обрисовать всю закулисную подноготную ихъ служебныхъ отношеній. Зритель воочію убѣждается, что лакейская пользующагося извѣстнымъ вѣсомъ чиновника имѣетъ иногда въ своемъ родѣ не менѣе важное значеніе, нежели его пріемный кабинетъ. Здѣсь изображены, съ одной стороны, зазнавшіеся слуги, готовые чуть не въ глаза бранить „сволочью“ унижающихся до панибратскихъ отношеній съ ними чиновниковъ, и устраивающіе въ складчину балы, въ которыхъ послѣдніе принимаютъ участіе довольно охотно и даже, быть можетъ, не безъ нѣкоторой гордости; съ другой стороны, толпу чиновниковъ, входящихъ въ лакейскую своего начальника съ затаеннымъ страхомъ и оставляющихъ ее съ надеждой, или,—какъ Петрушевичъ,—въ отчаяніи (см. первоначальную редакцію въ примѣчаніяхъ г. Тихонравова). Все это показываетъ, какой обширный замыселъ созрѣвалъ въ головѣ автора, хорошо понимавшаго, однако, что осуществить его совершенно невозможно по цензурнымъ условіямъ. Послѣ этого становятся вполнѣ понятны слова его Погодину. «Я помѣшался на комедіи. Она, когда я былъ въ Москвѣ (въ 1832 г.), въ дорогѣ и когда я пріѣхалъ сюда, не выходила изъ головы моей; *но до сихъ поръ я ничего не написалъ* (т. е. до 20 февраля 1833 г.). Ужъ и сюжетъ, было, на-днях началъ составляться, уже и заглавіе написалось на бѣлой толстой тетради: „Владиміръ 3-ьей степени“, и сколько злости,

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 740.

[2]) Такъ сначала назвалъ пьесу Гоголь, но потомъ заглавіе было измѣнено по совѣту Прокоповича (См. Русское Слово“, 1859, 1, 123).

смѣху, соли!... Но вдругъ остановился, увидѣвши, что перо такъ и толкается объ такія мѣста, которыя цензура ни за что́ не пропуститъ“ [1]).

Намъ остается разсмотрѣть „Отрывокъ“. По нашему предположенію, онъ долженъ былъ занимать мѣсто въ промежуткѣ между „Утромъ дѣлового человѣка“ и другими слѣдующими за нимъ сценами. Мнѣніе это мы основываемъ на томъ мѣстѣ сохранившагося первоначальнаго наброска, по которому непосредственно передъ третьей сценой второго акта (по предположенію Н. С. Тихонравова, соотвѣтствующей позднѣйшему отрывку „Тяжба“), стоятъ слѣдующія слова: Марья Александровна въ разговорѣ съ каретникомъ, распоряжаясь, чтобы карета съ фамильными гербами Павлищева и княжны Шлепохвостовой была отдѣлана какъ можно лучше,—въ концѣ этого діалога восклицаетъ: „Ухъ, до сихъ поръ не могу успокоиться!“ [2]). Это, очевидно, относится все еще къ тому волненію, въ которое она пришла, когда услышала признаніе своего тридцатилѣтняго Миши (въ первоначальной редакціи—Павлищева) о его любви къ дочери незначительнаго чиновника Одосимова, человѣка совсѣмъ не аристократическаго происхожденія, тогда какъ она желала, чтобы сынъ ея былъ женатъ на княжнѣ Шлепохвостовой. Судя по отрывку, приведенному въ примѣчаніяхъ Н. С. Тихонравова, безхарактерный и комически послушный Миша не только соглашается на перемѣну службы, какъ это видимъ уже въ пьесѣ, но въ концѣ концовъ также женится на княжнѣ Шлепохвостовой, что́, наконецъ, и успокоиваетъ сильно разстроившуюся Марью Александровну. Здѣсь настойчивость Марьи Александровны и безпредѣльная покорность Миши представляютъ новую варіацію въ отношеніяхъ дѣйствующихъ лицъ, сравнительно съ отношеніями Ивана Ѳед. Шпоньки и его тетушки. Въ такомъ случаѣ порядокъ сохранившихся сценъ долженъ быть слѣдующій: сперва „Утро дѣлового человѣка“, далѣе „Отрывокъ“ (или „Семейная сцена“—по прежнему названію), затѣмъ „Тяжба“ и, наконецъ, „Лакейская“. Первыя двѣ пьесы составляли, вѣроятно, первое, а послѣднія—второе дѣйствіе уничтоженной комедіи.

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 175 и „Ревизоръ“, изд. г. Тихонравова, „Очеркъ исторіи текста комедіи“, IV.

[2]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 737.

Хотя комедія „Владиміръ 3-ей степени“ была уничтожена авторомъ, но всѣ близкіе друзья Гоголя, какъ мы говорили, были болѣе или менѣе знакомы въ отрывкахъ съ ея содержаніемъ, а Погодинъ утверждалъ даже, что она была написана именно только въ двухъ дѣйствіяхъ. Комедіей заинтересовались Плетневъ и Жуковскій, но особенно Пушкинъ, который въ одну изъ частныхъ непродолжительныхъ отлучекъ своихъ изъ Петербурга освѣдомлялся о ней въ письмѣ къ Одоевскому: „Кланяюсь Гоголю. Что̀ его комедія, въ ней же есть закорючка?“ [1]). Можетъ быть, ту же комедію читалъ потомъ Гоголь на вечерѣ у Дашкова въ маѣ 1834 г., о чемъ Пушкинъ отмѣтилъ въ своемъ дневникѣ такъ, какъ будто рѣчь шла объ извѣстной и преимущественно интересовавшей пьесѣ („Гоголь читалъ у Дашкова свою комедію“). Гоголь же, какъ извѣстно, самъ придавалъ долго особенное значеніе комедіи „Владиміръ 3-ей степени“, почему и у Пушкина могла потомъ явиться вполнѣ естественная мысль передать ему сюжетъ сходнаго съ ней обличительнаго характера [2])... И такъ, эта послѣдняя пьеса была, вѣроятно, уже третьимъ по хронологическому порядку драматическимъ произведеніемъ Гоголя. Это была безсмертная комедія „Ревизоръ“ [3]).

---

[1]) Соч. Пушкина, изд. Лит. Фонда, томъ VII, стр. 332.

[2]) См. „Русскую Старину“, 1889, X, стр. 134.

[3]) Первую идею „Ревизора“ подалъ ему Пушкинъ, разсказавъ о Павлѣ Свиньинѣ, какъ онъ, въ Бессарабіи, выдавалъ себя за какого-то важнаго чиновника и только, зашедши уже далеко, когда сталъ, было, брать прошенія отъ колодниковъ, былъ отставленъ. („Жизнь и Труды Погодина“, т. IV, стр. 334 и „Сборникъ Любителей Общества Россійской Словесности“ на 1891 годъ. стр. 118).

КОМЕДІЯ „РЕВИЗОРЪ“.

I.

Припомнимъ сначала, при какихъ обстоятельствахъ и подъ какими впечатлѣніями создалась эта комедія. Въ то время, какъ судьба злобно издѣвалась надъ настойчивыми попытками Гоголя завоевать себѣ почетное и достойное его положеніе, когда онъ отчаянно напрягалъ всѣ силы, чтобы орлинымъ взмахомъ крыльевъ вдругъ подняться на заманчивую высоту, на которой можно было бы спокойно предаваться вдохновенному творчеству и свободнымъ научнымъ трудамъ,— его геній въ тиши кабинета торжествовалъ надъ тиной житейскихъ мелочей и открывалъ передъ поэтомъ цѣлый міръ чудныхъ образовъ. Въ этой сферѣ онъ сознавалъ себя уже не пробивающимъ дорогу, хотя и не совсѣмъ беззащитнымъ, пролетаріемъ, а могучимъ чародѣемъ, властителемъ думъ. Изъ его скромнаго кабинета, изъ-подъ пера горемыки-неудачника въ сферѣ практической жизни, предстояло вырваться на свѣтъ Божій страстнымъ рѣчамъ обличенія, передъ которыми должны были содрогнуться всякаго рода „существователи“ и низкіе дѣльцы, не исключая и тѣхъ, которымъ судьба приготовила лакомые куски на шумномъ праздникѣ жизни. Отъ проницательнаго взора поэта не ускользала окружавшая его подчасъ непроходимая пошлость, въ распоряженіи его былъ могучій художественный талантъ для изображенія этой пошлости—и этого было достаточно, чтобы Гоголь почувствовалъ внутри себя исполинскую силу, съ которой нельзя было не считаться. Неопредѣленное положеніе Гоголя, его постоянная борьба съ жизнью и тяжелыя неудачи, наряду съ огромными успѣхами

и еще роскошнѣйшими ожиданіями, должны были держать его постоянно въ какомъ-то тяжеломъ нравственномъ напряженіи. Отчаянный борецъ за то положеніе въ жизни, на которое онъ признавалъ за собой полныя права, гордый, самонадѣянный человѣкъ, но въ то же время безпрестанно испытывавшій жестокіе оскорбленія и толчки, Гоголь ни на минуту не терялъ надежды занять въ этой борьбѣ съ судьбой надежную позицію и сломить всѣ досадныя помѣхи и препятствія, казавшіяся пока лишь временной задержкой его близкаго торжества. Странны были жизненныя условія Гоголя въ серединѣ тридцатыхъ годовъ: съ одной стороны, теперь, казалось, быстро и покорно отступалъ назадъ грозный призракъ „черной неизвѣстности", передъ которымъ онъ содрогался и трепеталъ въ юности въ тяжелыя минуты внезапно овладѣвавшихъ имъ порою сомнѣній, и туманъ загадочнаго будущаго, повидимому, разсѣивался; съ другой стороны, напротивъ, посреди этихъ несомнѣнныхъ успѣховъ, являлись вдругъ неожиданныя затрудненія, колебавшія энергію и какъ бы готовыя отнять у него завоеванную уже позицію. Въ кабинетахъ Жуковскаго и Пушкина, въ бесѣдахъ съ почетнѣйшими представителями литературы, въ полученномъ доступѣ въ тѣ помѣщенія дворца, гдѣ жили фрейлины (тамъ Гоголь встрѣчалъ въ числѣ другихъ гостей также одного изъ великихъ князей), нашъ поэтъ былъ желаннымъ и признаннымъ гостемъ, тамъ онъ находилъ просторъ лучшимъ силамъ своего ума и благороднѣйшимъ движеніямъ сердца. Въ обществѣ Жуковскаго, Пушкина, Вяземскаго онъ сознавалъ себя человѣкомъ, съ высокими нравственными задатками и богатыми дарованіями духа, которыя неотъемлемо принадлежали ему и которыя должны были бы показать его потомству въ безукоризненномъ лучезарномъ блескѣ, если бы суровая школа жизни не готовила на пути его на каждомъ шагу подводныхъ камней въ видѣ всевозможныхъ мелочныхъ дрязгъ и тяжелыхъ испытаній. Но въ молодости нашего писателя райское обаяніе вдохновенной творческой мечты и отрадныхъ сношеній съ Жуковскимъ и Пушкинымъ только ласкало его мгновенными счастливыми грезами, за которыми обыкновенно слѣдовало обидное торжество убогой дѣйствительности и надрывающей душу житейской пошлости. Нельзя достаточно сожалѣть, что до насъ дошло такъ мало извѣстій именно объ этой свѣтлой и благо-

роднѣйшей долѣ впечатлѣній Гоголя, которыя онъ переживалъ въ кабинетахъ своихъ великихъ друзей, а съ ними отъ насъ, можетъ быть, навсегда ускользаютъ и лучшія, благороднѣйшія проявленія его геніальной личности, безъ сомнѣнія, недаромъ связавшія его тѣсными узами съ Жуковскимъ и Пушкинымъ еще въ первой половинѣ тридцатыхъ годовъ и возвѣщавшія ему тогда свѣтлую зарю славной будущности. Намъ приходилось не разъ указывать такія черты въ Гоголѣ, которыя не могутъ иногда возбуждать къ нему сочувствіе; но нельзя забывать, что названныя черты представляютъ только, такъ сказать, изнанку его нравственнаго существа, необыкновенно сложнаго и не легко исчерпываемаго.

Даже въ часы искренняго увлеченія историческими трудами Гоголь несомнѣнно переживалъ прекрасныя, безкорыстныя наслажденія, возвышавшія его надъ тѣми тусклыми, унылыми сумерками, которыя наступали въ промежуткахъ вдохновенной работы; но все это было, конечно, совершенно ничѣмъ въ сравненіи съ священнымъ трепетомъ чистаго и безпредѣльнаго восторга, загоравшагося въ душѣ его, когда въ ней роились творческіе замыслы художника, смѣло бичевавшаго житейскую грязь, въ полномъ сознаніи важности и величія своего призванія. Но и тутъ, только-что начиналъ онъ предаваться вдохновенію, только-что, вдали отъ житейскихъ дрязгъ, начиналъ забываться среди свѣтлаго океана поэзіи, какъ со всѣхъ сторонъ его обступали тревоги и сомнѣнія и онъ съ ужасомъ вспоминалъ, что „перо такъ и толкается объ такія мѣста, которыя цензура ни за что не пропуститъ“. „Что изъ того“, съ глубокой скорбью восклицалъ тогда Гоголь, „если пьеса не будетъ играться? Драма живетъ только на сценѣ. Безъ нея, она какъ душа безъ тѣла. Какой же мастеръ понесетъ на показъ народу неконченное произведеніе? Мнѣ больше ничего не остается, какъ выдумать сюжетъ самый невинный, которымъ даже квартальный не могъ бы обидѣться. Но что комедія безъ правды и злости“ [1]). Эти слова Гоголя невольно наводятъ на слѣдующія грустныя размышленія: во первыхъ, нельзя не признать,—соображая всю совокупность біографическихъ данныхъ, относящихся къ занимающему насъ вре-

[1]) «Ревизоръ», изд. Н. С. Тихонравова, Очеркъ исторіи текста комедіи Гоголя «Ревизоръ», стр. IV.

мени,—что много пришлось вообще пережить и перестрадать Гоголю и что даже въ уединенномъ святилищѣ творчества за нимъ гнались и настигали его враждебные призраки, отъ которыхъ холодѣла кровь, опускались руки и содрогалось все существо связаннаго по рукамъ и по ногамъ художника; во-вторыхъ, эти слова даютъ намъ убѣдительное доказательство того, что Гоголь чувствовалъ непреодолимое влеченіе къ художественному творчеству, которое не всегда останавливалось даже передъ сдавливавшими его свинцовыми гирями внѣшнихъ препятствій, тогда какъ напр. мимолетныя вспышки воодушевленія во время историческихъ работъ обыкновенно быстро проносились и остывали сами собой, безъ всякаго внѣшняго давленія. Но какъ ни угнетала Гоголя суровая нужда и неумолимая строгость цензуры, онѣ не въ силахъ были лишить его той великой отрады, какую можетъ вкушать въ своемъ творчествѣ только истинный художникъ. Гоголь не увѣренъ былъ въ томъ, что пьеса его можетъ тотчасъ появиться на сценѣ, но за будущее онъ готовъ былъ почти ручаться. „Печать пустяки: все будетъ въ печати“ [1]), говорилъ онъ впослѣдствіи Анненкову, и такое убѣжденіе, вѣроятно, сложилось у него еще задолго до того, какъ оно было высказано. Сознаніе полной невозможности видѣть на сценѣ ту или иную піесу или сцену, конечно, сильно парализировало успѣшность труда; доказательствомъ служитъ, кромѣ приведенныхъ словъ, общеизвѣстный фактъ неоконченности комедіи „Владиміръ 3-ей степени“, разсыпавшейся въ концѣ концовъ на мелкіе кусочки; но оно не могло совершенно остановить творчество даже въ этихъ безнадежныхъ случаяхъ, не вырывало пера изъ рукъ художника, оживлявшагося, чуть только блеснетъ бывало ему отрадный лучъ надежды на успѣхъ. Мы узнаемъ это изъ его собственныхъ словъ: „Уже не дѣтскія мысли, не ограниченный прежній кругъ моихъ свѣдѣній, но высокія, исполненныя истины и ужасающаго величія мысли волновали меня... Миръ вамъ, мои небесныя гостьи, наводившія на меня божественныя минуты въ моей тѣсной квартирѣ, близкой къ чердаку! Васъ никто не знаетъ, васъ вновь опускаю на дно души моей до новаго пробужденія, когда вы исторгнетесь съ бо́льшей силой, и не посмѣетъ

[1]) «Воспоминанія и критическіе очерки» П. В. Анненкова, т. I, стр. 199.

устоять безстыдная дерзость ученаго невѣжи, ученая и не ученая чернь, всегда соглашающаяся публика и пр. и пр.“ [1]).

Очевидно, за творческой работой Гоголь забывалъ о возможныхъ неудачахъ цензурныхъ мытарствъ, ожидавшихъ его пьесы, забывалъ и о дѣйствительныхъ и частью уже успѣвшихъ разразиться надъ его головой жизненныхъ невзгодахъ и испытаніяхъ, и приносилъ на алтарь искусства плодъ самыхъ чистѣйшихъ своихъ помысловъ и стремленій. Онъ, надо думать, совершенно такъ же беззавѣтно отдавался полету своей фантазіи и увлекавшимъ его мечтамъ о служеніи родинѣ, какъ нерѣдко герои его произведеній въ минуты восторженнаго обаянія любви или на порогѣ открывавшагося передъ ними величія загробной жизни забывали все, кромѣ безгранично любимаго существа—въ первомъ случаѣ—и боготворимой отчизны—во второмъ. Въ тиши скромнаго кабинета, среди вороха писанной бумаги, Гоголь совершенно перерождался, сбрасывая съ себя пыльный грузъ обыденныхъ впечатлѣній и какъ бы чувствуя передъ собою вдохновляющій образъ великаго Пушкина. Въ эти чудныя минуты въ немъ умиралъ карьеристъ и весь онъ дышалъ святымъ желаніемъ одной только пользы людямъ. Когда мать его однажды сказала у Аксаковыхъ, что „Николенька въ то время какъ писалъ „Мертвыя Души“, желалъ только добра людямъ“ [2]), то это была, конечно, безусловная истина. Намъ вовсе нѣтъ причины сомнѣваться въ этомъ, на томъ только основаніи, что въ натурѣ Гоголя были также иныя, не совсѣмъ симпатичныя стороны, да вѣдь и въ развитіи этихъ несимпатичныхъ сторонъ виновна была та же липкая житейская тина, сохраниться свободнымъ отъ прикосновенія которой было не легко Гоголю, такъ какъ онъ находился постоянно въ самыхъ безпощадныхъ условіяхъ...

Все это мы находимъ необходимымъ напомнить теперь, чтобы, нисколько не впадая въ панегирическое преувеличеніе и отнюдь не умалчивая о невыгодныхъ сторонахъ характера Гоголя (это, какъ мы надѣемся, ясно изъ предшествующаго изложенія), вмѣстѣ съ тѣмъ не впасть въ другую, худшую ошибку — несправедливаго освѣщенія пре-

---

1) «Соч. и письма Гоголя», т. V, стр. 247.

2) „Русскій Архивъ“, 1890, VIII, 67.

имущественно невыгодныхъ сторонъ въ ущербъ тѣмъ, благодаря которымъ мы имѣемъ въ Гоголѣ великаго, безсмертнаго писателя. Не скрывать темныя пятна долженъ біографъ; но, думается намъ, онъ обязанъ на ряду съ ними указать и дать почувствовать то истинно - прекрасное, что̀, можетъ быть, не такъ ясно и осязательно обрисовывается въ грудѣ прозаическихъ данныхъ о писателѣ, въ родѣ, напр., его писемъ или разрозненныхъ разсказовъ о проявленіяхъ его личности въ обыденныхъ случаяхъ,—указать то прекрасное и свѣтлое начало, которое, несомнѣнно, должно быть предполагаемо и было дѣйствительно въ душѣ нашего героя. Задача эта очень трудная, но дать хотя намекъ на то, что̀ она должна бы рѣшить въ совершенствѣ, мы считаемъ здѣсь для себя безусловно обязательнымъ.

Указавъ всѣ названныя соображенія, которыми по необходимости приходится пополнять въ высшей степени невыгодный для памяти Гоголя пробѣлъ, касающійся недостающихъ свѣдѣній о подробностяхъ интимныхъ бесѣдъ его съ Жуковскимъ и Пушкинымъ, мы надѣемся по крайней мѣрѣ объяснить, что̀, по нашему мнѣнію, роднило между собой этихъ великихъ людей и открывало немногимъ избраннымъ въ личности Гоголя то самое привлекательное и глубокое, чего не постигали въ немъ люди толпы. Въ воспоминаніяхъ о Гоголѣ близко знавшихъ его лицъ намъ приходилось часто слышать какія-то восторженно - умилительныя ноты, и притомъ отъ такихъ, которыя цѣнили въ немъ, какъ, напр., покойная княжна Репнина, именно человѣка, а не писателя. Въ признаніи за Гоголемъ чего-то величественнаго и прекраснаго сходились они всѣ, но подтвердить этого фактически или облечь свое впечатлѣніе въ строго опредѣленную рамку, никто изъ нихъ не могъ, не исключая, быть можетъ, также и Анненкова. Причину этого, кажется намъ, слѣдуетъ видѣть въ томъ, что только близкое общеніе съ личностью, особенно съ такою загадочною и скрытною, какъ Гоголь, можетъ знакомить насъ съ тѣми сторонами въ ней, которыя отъ множества посторонннихъ глазъ ускользаютъ и которыя, вмѣстѣ съ тѣмъ, живо чувствуются непосредственно, но переданы другимъ быть не могутъ. Вообще въ непосредственныхъ впечатлѣніяхъ можетъ быть много неуловимаго, не подлежащаго холодной, разсудочной провѣркѣ. Позволимъ себѣ взять примѣръ всѣмъ па-

мятный и очень яркій: извѣстная рѣчь Достоевскаго на пушкинскихъ праздникахъ въ 1880 г. произвела, какъ извѣстно, огромное и потрясающее дѣйствіе на слушателей, заставивъ ихъ проникнуться до глубины души мыслями и чувствами воодушевленнаго оратора, вдругъ получившаго, благодаря энергіи чувства и вдохновенія, непреодолимую волшебную власть надъ всѣми присутствующими, тогда какъ мертвая бумага не даетъ рѣшительно никакого представленія о томъ неотразимомъ обаяніи, которое произвела самая рѣчь, и о вызванномъ ею единодушномъ восторгѣ; даже перечитывая слышанное нѣкогда изъ устъ Достоевскаго, нельзя уже воскресить, хотя бы въ незначительной степени, когда-то испытаннаго дѣйствія той же самой рѣчи. Да проститъ намъ читатель это небольшое отступленіе. Но припомнимъ отзывъ Пушкина о Гоголѣ, припомнимъ собственный разсказъ Гоголя о впечатлѣніи, какое онъ способенъ былъ производить, въ свою очередь, на Пушкина—и все нами сказанное уже не покажется преувеличеннымъ. Несомнѣнно, повторяемъ, сердце каждаго изъ обоихъ поэтовъ чутко отзывалось на каждый звукъ, вырывавшійся изъ глубины души другого, и они умѣли находить одинъ въ другомъ самыя сочувственныя струны. Оттого, быть можетъ, Пушкинъ, а также и Жуковскій, *никогда* не возбуждали въ Гоголѣ ни малѣйшей насмѣшки или осужденія; передъ ними, особенно передъ первымъ, храня благодарную память о томъ, какъ Пушкинъ поддерживалъ и лелѣялъ въ немъ священное пламя поэзіи, Гоголь могъ только благоговѣть. Всѣ друзья Гоголя были связаны съ нимъ или чистыми воспоминаніями дѣтства, или разными случайными житейскими отношеніями,—при чемъ иныхъ онъ сильно любилъ, но позволялъ себѣ, если не смѣяться, то дружески шутить надъ ними (примѣры увидимъ послѣ); наконецъ, на иныхъ, самыхъ любимыхъ и дорогихъ, онъ могъ иногда раздражаться (на Данилевскаго, Прокоповича, Смирнову и проч.); но чувства уваженія къ Жуковскому и *особенно къ Пушкину были для него всегда святыней*.

Поэтому и сюжеты, данные Гоголю Пушкинымъ, внушали ему чуть ли не какой-то благоговѣйный культъ, что̀ всего лучше видно изъ письма Гоголя къ Плетневу тотчасъ по полученіи отъ него извѣстія о кончинѣ Пушкина: „Все наслажденіе моей жизни, все мое высшее наслажденіе исчезло вмѣстѣ

съ нимъ. Ничего не предпринималъ я безъ его совѣта. Ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собою. Что̀ скажетъ онъ, что̀ замѣтитъ онъ, чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое—вотъ что́ меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепетъ невкушаемаго на землѣ удовольствія обнималъ мою душу... О Боже! нынѣшній трудъ мой" („Мертвыя Души"), „внушенный имъ, его созданіе... я не въ силахъ продолжать его. Нѣсколько разъ принимался за перо—и перо падало изъ рукъ моихъ. Невыразимая тоска!"... [1]).

Въ этихъ горячихъ, прочувствованныхъ строкахъ мы единственно должны искать указаній на процессъ созданія „Ревизора" и „Мертвыхъ Душъ", и, только руководясь ими, можемъ хотя немного надѣяться заглянуть въ ту святую тайну творческаго духа, благодаря которой мы имѣемъ величайшія созданія Гоголя. Въ горькихъ словахъ сожалѣнія объ утратѣ Пушкина намъ слышится глубокое, истинно человѣческое чувство, какъ еще разъ насъ невольно останавливаетъ на себѣ и поражаетъ полная задушевности скорбь Гоголя по поводу смерти юнаго Іосифа Вельгорскаго, вылившаяся въ его чудныхъ „Ночахъ на виллѣ". Но въ разработкѣ сюжета Гоголь могъ кромѣ канвы, намѣченной Пушкинымъ, руководиться отчасти и другими источниками.

II.

Сюжетъ „Ревизора" данъ былъ Пушкинымъ; но, кромѣ того, въ нашей литературѣ не разъ указывалось, повидимому, поразительное, но въ сущности лишь внѣшнее сходство между „Ревизоромъ" и пьесой Квитки: „Пріѣзжій изъ столицы". Сходство это было подробно разсмотрѣно покойнымъ Г. П. Данилевскимъ въ его „Украинской Старинѣ" [2]) и г. Петровымъ въ „Очеркахъ украинской литературы", гдѣ, между прочимъ, читаемъ: „У Квитки такъ же, какъ и въ „Ревизорѣ", дѣйствіе происходитъ въ уѣздномъ городѣ, въ домѣ городничаго, куда тотчасъ приводятъ мнимаго ревизора; мни-

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 286—287.

[2]) См. «Историческій Вѣстникъ», 1881, VIII, стр. 702 и «Кіевскую Старину», 1883, т. VI, стр. 204—205.

мый ревизоръ также мальчишка, не окончившій ученья и не надежный въ службѣ. Другія лица здѣсь такія же: и судья Спальникъ, и почтовый экспедиторъ Печаталкинъ, который, какъ и у Гоголя, въ концѣ развязываетъ всю пьесу, и смотритель уѣзднаго училища Ученосвѣтовъ, и частный приставъ Шоринъ, напоминающій Держиморду (??), и, *наконецъ, двѣ пріятныя дамы* — сестра городничаго Трусилкина и племянница его, которыя также влюбляются въ „милашку ревизора“. Но, прерывая пока нашу выписку, замѣтимъ, что ни судья, ни почтмейстеръ, ни особенно смотритель уѣзднаго училища въ комедіяхъ Квитки и Гоголя, кромѣ одинаковаго названія должностей, не имѣютъ ни малѣйшаго сходства [1]), какъ равно и юный возрастъ мнимаго ревизора въ обѣихъ пьесахъ нисколько не доказываютъ заимствованія или—самое бо́льшее—могутъ подать поводъ къ предположенію о внѣшнемъ заимствованіи, не имѣющемъ ровно никакого значенія. „Здѣсь также“—продолжаетъ г. Петровъ—„вся кутерьма происходитъ отъ полученнаго городничимъ темнаго и сбивчиваго извѣстія изъ губернскаго города; чиновники также представляются ревизору, и онъ у нихъ занимаетъ деньги. Здѣсь такъ же, какъ и у Гоголя, дамы толкуютъ *о храмѣ изящества и о томъ, какъ печально изъ столицы вкуса быть брошену въ такую уединенную даль*“ [2]). Во всемъ этомъ сходство при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается совершенно случайнымъ и незначительнымъ; но есть одинъ фактъ, въ самомъ дѣлѣ, довольно поразительнаго и важнаго совпаденія между обѣими комедіями—это ея развязка *и еще болѣе завязка*. Гоголь говорилъ Аксакову, что онъ слышалъ о комедіи Квитки, и въ первомъ дѣйствіи „Ревизора“ есть дѣйствительно много общаго съ „Пріѣзжимъ изъ столицы“; но нельзя забывать, что подобныя частичныя совпаденія всегда возможны, и ихъ легко указать во многихъ крупнѣйшихъ произведеніяхъ самыхъ замѣчательныхъ представителей всемірной литературы. Такъ типы Плавта повторяются потомъ во французской комедіи, сюжеты Шекспира внѣшнимъ образомъ были бо́льшей частью заимство-

[1]) Впрочемъ, нѣкоторые современники Гоголя находили, что какъ въ „Ревизорѣ“, такъ и въ „Мертвыхъ Душахъ“ изъ должностныхъ лицъ, имѣющихъ значеніе въ губерніи, пропущены: стряпчій, казначей, исправникъ. („Русск. Арх.“, 1890, VIII, 71).

[2]) Курсивъ подлинника.

ванные, а изъ русской литературы достаточно слѣдующихъ примѣровъ: въ концѣ третьяго дѣйствія „Горе отъ ума“ Грибоѣдова, въ внезапномъ, нѣсколько комическомъ съ внѣшней стороны, открытіи Чацкаго среди монолога, въ самомъ пылу увлеченія, что его давно уже перестали слушать и оставили одного, можно, пожалуй, усмотрѣть нѣкоторое внѣшнее сходство съ концомъ забытой теперь пьесы Хмельницкаго „Говорунъ“; наконецъ, чтеніе почтмейстеромъ и другими дѣйствующими лицами письма Хлестакова въ „Ревизорѣ“ опять съ внѣшней стороны представляетъ много сходнаго съ комедіей Крылова „Пирогъ“ и проч. Но не въ томъ дѣло: было-ли здѣсь внѣшнее вліяніе, или нѣтъ, не имѣетъ никакого значенія въ томъ случаѣ, когда блѣдный образецъ безконечно превзойденъ внушеннымъ имъ великимъ художественнымъ созданіемъ. „Тотъ художникъ является собственно и творцомъ извѣстнаго мотива характера или положенія, который сильнѣй его выразилъ и запечатлѣлъ въ словѣ“ („Кіевск. Стар.“, 1891, III, 531).

Первое капитальное различіе обѣихъ сравниваемыхъ комедій заключается въ томъ, что, согласно извѣстной теоріи Гоголя, высказанной имъ въ „Театральномъ Разъѣздѣ“, комедія у него „вяжется сама собой, всей своей массой въ одинъ большой узелъ“ [1]). Такъ это и есть въ „Ревизорѣ“. Кромѣ того, въ развязкѣ обѣихъ комедій есть несомнѣнное внѣшнее сходство; но у Квитки мнимый ревизоръ попадаетъ врасплохъ и несетъ заслуженное наказаніе, тогда какъ Гоголь не могъ этого допустить, вслѣдствіе несравненно болѣе глубокаго пониманія сущности комедіи; иначе смыслъ комедіи въ томъ видѣ, какъ она была задумана, былъ бы потерянъ. По объясненію Гоголя, Хлестаковъ, по окончаніи разыгранной имъ роли, долженъ исчезнуть, какъ призракъ: „Это фантасмагорическое лицо, которое, какъ лживый олицетворенный обманъ, унеслось вмѣстѣ съ тройкой Богъ знаетъ куда“ [2]). Притомъ цѣль Гоголя была представить городничаго наказаннымъ, уничтоженнымъ и поруганнымъ не только обще-

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 487.

[2]) „Ревизоръ“, изд. Н. С. Тихонравова, „Предувѣдомленіе для тѣхъ, которые пожелали-бы сыграть, какъ слѣдуетъ“ „Ревизора“, стр. 1, VI. Такимъ образомъ, Гоголь не механически измѣнилъ развязку, какъ можно было бы ожидать въ случаѣ простого заимствованія.

ственнымъ мнѣніемъ и не одной карой закона, но также, и главнымъ образомъ, собственнымъ внутреннимъ сознаніемъ. Для этого было необходимо, чтобы онъ не сдѣлался случайной жертвой злостнаго, сознательнаго обмана, но, напротивъ, запутался бы самымъ позорнымъ образомъ въ собственныхъ плутняхъ и грѣшкахъ. То же соображеніе побудило Гоголя придать почтмейстеру характеръ необычайной наивности, соединенной съ почти дѣтскимъ любопытствомъ, и создать Хлестакова пустымъ и глупымъ фатомъ или, по выраженію Гоголя, щелкоперомъ, но отнюдь не сознательнымъ обманщикомъ.

Кромѣ указанныхъ соображеній, личность Хлестакова не только получила совершенно иныя черты подъ вліяніемъ идеи Гоголя, но и вообще не имѣетъ почти ничего общаго съ соотвѣтствующимъ героемъ комедіи Квитки, представляющимъ въ значительной степени блѣдный сколокъ съ княжнинскаго Хвастуна [1]). Напротивъ, Хлестаковъ кромѣ хвастовства, обладаетъ многими качествами, принадлежащими цѣлому ряду другихъ Гоголевскихъ героевъ. Своимъ тщеславіемъ и безпредѣльной пустотой онъ — близкая родня Пирогову, Ковалеву, Кочкареву, Ноздреву [2]) и Собачкину. Мѣстами попадаются поразительныя черты сходства между нимъ и Собачкинымъ. Оба они имѣютъ, напримѣръ, мелкую страстишку порисоваться и пофорсить въ разговорѣ съ дамами, оба—ничтожные и пустые хвастуны. Такъ, на вопросъ Марьи Александровны, почему Собачкинъ не женился на влюбившейся въ него будто бы безъ памяти богатой невѣстѣ, послѣдній съ совершенно хлестаковской развязностью отвѣчаетъ: „Ну, да нельзя, Марья Александровна, право нельзя, все какъ-то... Ну, понимаете... станутъ говорить: „Ну, вотъ женился, чортъ знаетъ на комъ“ и затѣмъ хвастаетъ не хуже Хлестакова: „Вѣдь по вскрытіи Невы всегда находятъ двухъ-трехъ утонувшихъ женщинъ,—я ужъ только молчу, потому что въ такую еще впутаешься исторію“... [3]). У обоихъ, наконецъ, одинаковые или чрезвычайно сходные вкусы и стремленія (оба

[1]) Такъ, напр., у обоихъ не сходитъ съ языка выраженіе: „мы, знатные“ (Ср. Драматич. соч. Квитки, II, 318 и соч. Княжнина, изд. Смирдина, I, 497 и проч.).

[2]) Припомнимъ, напр., что Ноздревъ хвалился, будто у него есть мадера, „лучше которой не пивалъ самъ фельдмаршалъ“.

[3]) Т. II, стр. 477.

бредятъ каретой или колясской отъ Іохима [1]) и проч.). Совершенно такое же значеніе какого-то моднаго украшенія имѣли для Хлестакова его претензіи на образованность, знакомство съ литераторами. Эти черты также часто изображалъ Гоголь въ другихъ своихъ комедіяхъ. Такъ, въ этомъ отношеніи Хлестаковъ представляетъ замѣтное сходство уже съ Ихаревымъ, Маниловымъ [2]) и даже отчасти съ капитаномъ Копѣйкинымъ.

Съ другой стороны, въ городничемъ находимъ типъ плута, соединившій въ себѣ отдѣльныя черты, разбросанныя въ разныхъ произведеніяхъ Гоголя предшествующей поры или одновременныхъ, какъ, безъ сомнѣнія, онѣ же повторились потомъ, разумѣется, въ сильно измѣненномъ видѣ, и въ Чичиковѣ. У городничаго есть много общаго даже съ Ихаревымъ и Утѣшительнымъ. Готовясь къ встрѣчѣ мнимаго ревизора, городничій разсуждаетъ: „Молодого скорѣе пронюхаешь. Бѣда, если старый чортъ, а молодой весь на верху“ [3]); такъ точно у Ихарева мгновенно вспыхнула уже угасавшая надежда на выигрышъ, когда мнимый Гловъ рѣшается оставить своего юнаго сына на попеченіе Утѣшительнаго. Ихареву извѣстны также люди, подобные городничему и Чичикову, которымъ ихъ притворное благочестіе и милосердіе нисколько не мѣшаетъ быть отъявленными мошенниками. („Я знаю одного“— говоритъ Ихаревъ,—„который наклоненъ къ передержкамъ и къ чему хотите, но нищему онъ отдастъ послѣднюю копѣйку“) [4]). Такой же типъ чистокровнаго плута и подлеца, старающагося, однако, выказать себя жрецомъ добродѣтели, находимъ и въ Утѣшительномъ, о которомъ Ихаревъ замѣчаетъ про себя: „Ну, нѣтъ, пріятель! Знаемъ мы тѣхъ людей, которые увлекаются и горячатся при словѣ обязанность. У тебя, можетъ быть, и кипитъ желчь, да только не въ этомъ случаѣ“ [5]). Отсюда уже недалекъ былъ для Гоголя переходъ къ типу Чичикова, патетически восклицающему: „законъ... я нѣмѣю передъ закономъ“! и говорившему о добродѣтели со слезами на глазахъ. Всѣ эти черты, повторяющіяся во мно-

[1]) Ср. т. II, стр. 306 и 478.

[2]) Такъ Маниловъ мечталъ о хорошемъ обращеніи (т. III, стр. 72), „слѣдить какую-нибудь этакую науку“ (т. III, стр. 25).

[3]) Т. III, стр. 216.

[4]) Т. II, стр. 422.

[5]) Тамъ-же, 417.

гихъ произведеніяхъ и у разныхъ героевъ Гоголя, были, безъ сомнѣнія, вынесены изъ его зоркихъ и неослабныхъ наблюденій надъ русской жизнью еще до отъѣзда за-границу. Но, кромѣ того, задавшись въ „Ревизорѣ“ цѣлью раскрыть преимущественно наиболѣе обычныя служебныя злоупотребленія, Гоголь, несомнѣнно, собиралъ для этого особыя свѣдѣнія (какъ и для „Игроковъ“ ему былъ необходимъ спеціально собранный матеріалъ), и эти свѣдѣнія были имъ переданы, главнымъ образомъ, въ началѣ комедіи и въ четвертомъ дѣйствіи въ жалобахъ на городничаго, такъ же какъ, по свидѣтельству А. С. Данилевскаго [1]), онъ самъ во время одной изъ поѣздокъ устроилъ своеобразную импровизированную репетицію „Ревизора“ на постоялыхъ дворахъ, а по словамъ С. Т. Аксакова, собиралъ выписки изъ статистическихъ книгъ и дѣловыхъ реестровъ для перваго тома „Мертвыхъ Душъ“ [2]). Безъ сомнѣнія, на основаніи такихъ же наблюденій Гоголь изображалъ особенно излюбленный пріемъ мелкихъ плутовъ — разузнавать все необходимое для нихъ и вообще дѣйствовать черезъ слугъ; такова сцена между городничимъ и Осипомъ; но точно также и Бобчинскій съ Добчинскимъ за свѣдѣніями о заинтересовавшемъ ихъ мнимомъ ревизорѣ обратились къ буфетчику гостиницы. Нечего напоминать при этомъ о подобныхъ пріемахъ Чичикова, и что тотъ же пріемъ на каждомъ шагу практикуется героями „Игроковъ“. Наконецъ, къ нему же рѣшились обратиться чиновники губернскаго города NN, чтобы разузнать получше о Чичиковѣ. „Господа чиновники прибѣгнули еще къ одному средству, не весьма благородному, но которое, однако же, иногда употребляется, то есть стороною, посредствомъ разныхъ лакейскихъ знакомствъ, разспросить людей Чичикова, не знаютъ-ли они какихъ подробностей насчетъ прежней жизни и обстоятельствъ барина“ [3]).

Не рѣшая окончательно вопроса объ отношеніяхъ комедій Квитки и Гоголя, напомнимъ лишь, что Гоголю легче давалось яркое изображеніе жизни и созданіе характеровъ, нежели изобрѣтеніе самостоятельныхъ сюжетовъ, почти всегда повторяющихся или заимствованныхъ.

[1]) „Вѣстникъ Европы“, 1890, I, 106; также см. I т., стр. 364.

[2]) „Русскій Архивъ“, 1890, VIII, 77.

[3]) Т. III, стр. 196.

III.

Какъ въ другихъ драматическихъ произведеніяхъ Гоголя, такъ и въ „Ревизорѣ“, въ каждомъ изъ дѣйствующихъ лицъ выставлена какая-нибудь наиболѣе распространенная черта мелкой пошлости или мошенничества. Такъ какъ главной цѣлью комедіи было обличеніе взяточничества, то, кромѣ выставленія его на позоръ, почти во всѣхъ дѣйствующихъ лицахъ, наиболѣе ярко клеймится оно въ городничемъ. Позднѣе мы находимъ отчасти дальнѣйшее развитіе этой темы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ „Мертвыхъ Душъ“. Такъ, нѣкоторое сходство съ городничимъ представляетъ въ послѣднемъ произведеніи полицеймейстеръ, который „сидѣлъ, какъ говорится, на своемъ мѣстѣ и должность свою постигалъ въ совершенствѣ“ и „навѣдывался въ лавки и гостиный дворъ, какъ въ собственную кладовую“ [1]). Затѣмъ въ „Мертвыхъ Душахъ“ мы встрѣчаемъ слѣдующее разсужденіе одного изъ чиновниковъ: „Вѣдь извѣстно, зачѣмъ берешь взятку и покривишь душей: для того, чтобы женѣ достать на шаль, или на разные роброны, провалъ ихъ возьми, какъ ихъ называютъ! А изъ чего? Чтобы не сказала какая-нибудь Подстёга Сидоровна, что на почтмейстершѣ лучше было платье, — да изъ-за нея бухъ тысячу рублей!“ [2]). Женская пустота и пошлость также обличаются одинаково въ обоихъ произведеніяхъ. Такъ, „пріятная дама“ съ такимъ же нетерпѣливымъ любопытствомъ относится къ новостямъ, какъ и Анна Андреевна въ „Ревизорѣ“. „Всякій домъ казался ей длиннѣе обыкновеннаго; бѣлая каменная богадѣльня съ узенькими окнами тянулась нестерпимо долго, такъ что она, наконецъ, не вытерпѣла не сказать: „Проклятое строеніе, и конца нѣтъ!“ [3]).

Далѣе для хода пьесы и, слѣдовательно, успѣха Хлестакова, было необходимо, чтобы всѣ чиновники и остальныя дѣйствующія лица были захвачены врасплохъ и не только не были въ состояніи помочь другъ другу выйти изъ общаго затруднительнаго положенія, но еще больше запутывали бы себя безтолковыми догадками и соображеніями. Для этого,

---

[1]) Т. III, стр. 418.
[2]) Т. III, стр. 173, 174.
[3]) Т. III, стр. 177.

кромѣ сознанія своихъ „грѣшковъ“, которое подѣйствовало особенно роковымъ образомъ на городничаго, для развитія пьесы послужили и пустота и страсть къ сплетнямъ въ лицѣ Добчинскаго и Бобчинскаго, несчастная слабость Аммоса Ѳедоровича къ хитроумнымъ догадкамъ и совершенная забитость и бозцвѣтность такихъ робкихъ людей, какъ Лука Лукичъ. Кромѣ того, по мысли автора „у каждаго изъ дѣйствующихъ лицъ *зрителямъ долженъ быть виденъ* постоянный предметъ его мыслей, вѣчный гвоздь, сидящій у него въ головѣ“ [1]). Такъ, судья имѣетъ двѣ страсти: онъ—записной охотникъ и неисправимый резонеръ. Подобно большинству уѣздныхъ умниковъ, онъ вѣчно любитъ пускаться въ фантастическія разсужденія о политикѣ, о которой имѣетъ самое смутное и наивное представленіе и которую толкуетъ по-своему, доходя до всего своимъ умомъ. Эту несчастную слабость къ смѣлымъ догадкамъ Гоголь давно уже клеймилъ въ полуобразованныхъ провинціалахъ; такъ, въ „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ“ находимъ разсказъ о томъ, что когда истощались болѣе доступныя и любопытныя для собесѣдниковъ темы, то „гость, весьма рѣдко выѣзжавшій изъ деревни, часто съ значительнымъ видомъ, съ таинственнымъ выраженіемъ лица, выводилъ свои догадки и возвѣщалъ, что французъ тайно согласился съ англичаниномъ выпустить опять на Россію Бонапарта“ или въ повѣсти о томъ, „Какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ первый не безъ нѣкотораго апломба передаетъ своему пріятелю курьезный слухъ о томъ, что „три короля объявили войну царю нашему и хотятъ, чтобы мы всѣ приняли турецкую вѣру“ [2]). Въ подобныя догадки пускаются и чиновники губернскаго города относительно Чичикова, неудачно предполагая, что онъ—переодѣтый разбойникъ, дѣлатель фальшивыхъ монетъ [3]) и проч.

Слѣдующее дѣйствующее лицо, попечитель богоугодныхъ заведеній, Артемій Филипповичъ Земляника, представляетъ

---

[1]) „Ревизоръ“, изд. г. Тихонравова. „Предувѣдомленіе“, стр. XLV. Сходную мысль см. въ „Мертвыхъ Душахъ“ (т. III, стр. 20, 21).

[2]) Изд. X, т. I, стр. 236 и 416.

[3]) Ср. „Слово *Мертвыя Души* такъ раздалось неопредѣленно, что стали подозрѣвать даже, ужъ нѣтъ ли здѣсь какого намека на скоропостижно погребенныя тѣла“ (т. III, стр. 193).

типъ записного плута, наушника, человѣка каверзы. Изъ другихъ произведеній единственный примѣръ и притомъ весьма отдаленнаго сходства въ общихъ подьическихъ пріемахъ можно видѣть развѣ въ Замухрышкинѣ въ „Игрокахъ“. Но любопытно, что во время созданія „Ревизора“ авторъ былъ занятъ типомъ ябедника, для чего искалъ даже соотвѣтствующаго знакомства [1]), и хотя это происходило уже незадолго до окончанія „Ревизора“ и нужно было автору, вѣроятно, для „Мертвыхъ Душъ“, но несомнѣнно должно было отразиться и на дальнѣйшей обработкѣ характера Артемія Филипповича. При сличеніи первоначальной редакціи первой сцены четвертаго дѣйствія съ окончательной, оказывается, что роли судьи и попечителя богоугодныхъ заведеній въ ней какъ бы переставлены: такъ, первая мысль дать взятку мнимому ревизору въ первоначальной редакціи приходитъ судьѣ, а въ окончательной — Земляникѣ, тогда какъ судья является тамъ, напротивъ, уже въ роли предостерегателя. Это, конечно, доказываетъ, что, подобно многимъ другимъ, и характеръ Земляники лишь постепенно выяснился для автора, такъ что вполнѣ можно допустить, что на послѣдней редакціи сцены могли отразиться слѣды наблюденій, которыя Гоголь предполагалъ дѣлать надъ ябедниками еще въ концѣ 1835 г.

Лука Лукичъ Хлоповъ, по объясненію Гоголя, „ничего больше, какъ только напуганный человѣкъ частыми ревизовками и выговорами, неизвѣстно за что“. Но, какъ мы уже видѣли, подобныя жертвы постоянныхъ несправедливыхъ начальническихъ распеканій, хотя не въ окончательно обработанныхъ типахъ, встрѣчаются и въ другихъ произведеніяхъ Гоголя.

Изъ мелочныхъ чертъ сходства между „Ревизоромъ“ и другими произведеніями Гоголя можно указать еще слѣдующее: въ городничемъ и Утѣшительномъ другія дѣйствующія лица поражаются ихъ безстыднымъ притворствомъ. Такъ, при увѣреніи городничаго, что онъ не играетъ въ карты и считаетъ за грѣхъ убивать на это драгоцѣнное время, Лука Лукичъ замѣчаетъ въ сторону: „А у меня, подлецъ, выпонтировалъ вчера сто рублей“. Точно также при словахъ Утѣ-

[1]) „Русскій Архивъ“, 1880, II, 514.

шительнаго: „Слышь, Швохневъ, карты, а? Сколько лѣтъ“... Ихаревъ говоритъ про себя: „Да полно тебѣ корчить!“ [1]). Въ изображеніи ужаса присутствующихъ при входѣ жандарма Гоголь уже не въ первый разъ обратилъ вниманіе на изображеніе впечатлѣній цѣлой толпы; уже въ „Тарасѣ Бульбѣ“ онъ имѣлъ въ виду сходную задачу при описаніи казни казаковъ. Люди, подобные Бобчинскому и Добчинскому, находящіеся бо́льшею частью на заднемъ планѣ, въ довольно сходныхъ чертахъ представлялись Гоголю еще во времена „Миргорода“. Ср. въ „Предувѣдомленіи для тѣхъ, которые пожелали бы сыграть, какъ слѣдуетъ, „Ревизора“: „у однихъ надежда на правосудіе, на избавленіе отъ дурныхъ городничихъ и всякаго рода хапугъ. У другихъ паническій страхъ при видѣ того, что главнѣйшіе сановники и передовые люди общества въ страхѣ. *У прочихъ же, которые смотрятъ на всѣ дѣла міра спокойно, чистя у себя въ носу*, любопытство не безъ нѣкоторой тайной боязни увидѣть, наконецъ, то лицо, которое причинило столько тревогъ и, стало быть, неминуемо должно быть слишкомъ необыкновеннымъ и важнымъ лицомъ“ [2]).

---

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. II, стр. 236 и 417.

[2]) „Ревизоръ“, изд. Тихонравова, стр. LIV.

Подобные примѣры часто встрѣчаются и въ другихъ произведеніяхъ Гоголя. Такъ, въ „Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“, при описаніи общаго изумленія, вызваннаго внезапной ссорой двухъ пріятелей, читаемъ: „Вся группа представляла сильную картину: Иванъ Никифоровичъ, стоявшій посреди комнаты въ полной красотѣ своей, безъ всякаго украшенія! Баба, разинувшая ротъ и выразившая на лицѣ самую безсмысленную, исполненную страха мину! Иванъ Ивановичъ съ поднятою вверхъ рукою, какъ изображались римскіе трибуны! Это была необыкновенная минута, спектакль необыкновенный! И, между тѣмъ, только одинъ былъ зрителемъ: это былъ мальчикъ въ неизмѣримомъ сюртукѣ, который стоялъ довольно покойно и чистилъ пальцемъ свой носъ“. Также въ „Віи“: „Собравшіеся вокругъ философа потупили головы, услышавъ такія слова. Даже небольшой мальчишка, котораго вся дворня считала въ правѣ уполномочивать вмѣсто себя, когда дѣло шло къ тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этотъ бѣдный мальчишка тоже разинулъ ротъ“. Въ „Мертвыхъ Душахъ“: „Смѣются вдвое въ отвѣтъ (на шутку начальника) обступившіе его приближенные чиновники; смѣются отъ души тѣ, которые, впрочемъ, нѣсколько плохо услышали произнесенныя имъ слова, и, наконецъ, стоящій далеко у дверей у самаго выхода, какой-нибудь полицейскій, отъ роду не смѣявшійся во всю жизнь свою и только-что показавшій передъ тѣмъ народу кулакъ, и тотъ, по неизмѣннымъ законамъ отраженія, выражаетъ на лицѣ своемъ какую-то улыбку“ (См. соч. Гог., изд. X, т. I, стр. 355, 398 и 418).

Ср. въ „Тарасѣ Бульбѣ“: „Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали пари; *но бо́льшая часть была тѣхъ, которые на весь міръ и на все, что̀ ни случается въ свѣтѣ, смотрятъ ковыряя пальцемъ въ своемъ носу*“.

Но особенно любопытны въ „Ревизорѣ“ не разъ встрѣчающіеся доводы ad hominem, которыми однимъ дѣйствующимъ лицамъ, часто совершенно неожиданно, удается склонить другихъ въ пользу своего мнѣнія. Эти рискованные доводы, при всей своей явной нелѣпости, оказываются вполнѣ убѣдительными для людей съ извѣстными извращенными взглядами и въ извѣстномъ положеніи. Въ одномъ изъ самыхъ раннихъ своихъ юношескихъ писемъ Гоголь напоминалъ своему бывшему школьному товарищу Высоцкому: „Глупости людскія уже рано сроднили насъ; вмѣстѣ мы осмѣивали ихъ и вмѣстѣ обдумывали планъ будущей нашей жизни“ [1]). И вотъ, не одни только пороки, но и эти съ ранней юности замѣчаемыя „глупости людскія“ являются главнымъ предметомъ комическаго изображенія въ пьесахъ Гоголя. Самый блистательный образецъ тонкаго пониманія подобныхъ „глупостей людскихъ“ можно видѣть въ непостижимомъ съ нормальной точки зрѣнія и вполнѣ естественномъ для Сквозниковъ-Дмухановскихъ волшебномъ дѣйствіи на городничаго словъ, сказанныхъ Добчинскимъ о мнимомъ ревизорѣ: „*Онъ! и денегъ не платитъ и не ѣдетъ!* Кому же быть, какъ не ему? И подорожная прописана въ Саратовъ“.—„Понимаете-ли вы“,—замѣчаетъ по этому поводу Бѣлинскій,—„хотя въ возможности эту чудную логику, эти резоны, эти доводы? На какихъ законахъ разума основаны они? Вотъ онъ — вотъ источникъ комическаго и смѣшного“. Такой же аргументъ и въ словахъ Осипа, который, будучи не въ силахъ убѣдить своего легкомысленнаго барина доводами разсудка, что послѣднему необходимо скорѣе уѣхать изъ уѣзднаго города, неожиданно достигъ своей цѣли словами: „Такъ бы, право, закатили славно! А лошадей бы важныхъ здѣсь дали!“ [2]) Но нигдѣ въ данномъ отношеніи комизмъ у Гоголя не возвышается до такой поразительной яркости, какъ въ совѣтѣ Кочкарева Агаѳьѣ Тихоновнѣ остановиться въ своемъ выборѣ суженаго

[1]) „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 44.

[2]) Ср. въ «Мертвыхъ Душахъ» неожиданное дѣйствіе на Коробочку лжи Чичикова о подрядахъ.

на Подколесинѣ. На ея вопросъ о преимуществахъ послѣдняго передъ другими женихами Кочкаревъ съ эффектной развязностью принимается убѣждать: „Да вы только посудите, сравните только: это, какъ бы то ни было,—Иванъ Кузьмичъ! А вѣдь то, что̀ ни попало: Иванъ Павловичъ, Никаноръ Ивановичъ, чортъ знаетъ, что̀ такое!“ [1]). И въ самомъ дѣлѣ, эти слова мгновенно оказываютъ самое рѣшительное дѣйствіе на наивную до послѣдней степени дѣвушку [2]).

Въ связи съ указанной чертой необходимо отмѣтить вообще въ пьесахъ Гоголя часто повторяющіеся примѣры рѣшительнаго дѣйствія чужихъ мнѣній на людей, не отличающихся самостоятельностью. Всего ярче и притомъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ представлено это въ „Театральномъ Разъѣздѣ“: люди, которымъ въ сущности нравится комедія, не смѣютъ въ этомъ признаться и, прислушиваясь къ толкамъ, по ихъ мнѣнію, авторитетныхъ судей, тотчасъ перемѣняютъ свой взглядъ (таковы: первый офицеръ, господинъ П. и проч. [3]). Въ „Ревизорѣ“ всѣ чиновники въ значительной степени живутъ умомъ городничаго; но, кромѣ того, Бобчинскій и Добчинскій, передавая чужую рѣчь, часто по-своему искажаютъ ея смыслъ и показываютъ неспособность уловить сущность дѣла, вмѣсто которой схватываютъ лишь незначительныя подробности въ разговорѣ. Въ „Женитьбѣ“, въ двухъ послѣднихъ сценахъ перваго дѣйствія, Гоголь живо изобразилъ также неустойчивость мнѣній Подколесина, который, наслушавшись невыгодныхъ отзывовъ о невѣстѣ, тотчасъ же почти дословно повторяетъ ихъ, хотя только-что отъ души восхищался ею [4]). То же повторяется въ толкахъ о Чичиковѣ губернскихъ

---

[1]) Т. II, стр. 384, 385.

[2]) Любопытные примѣры наивностей встрѣчаются также въ словахъ Растаковскаго, спрашивающаго Хлестакова: „Не изволите-ли вы знать: Гвоздевъ Петръ Васильевичъ?—*Хлестаковъ.* „Гвоздевъ? Какой это?“—*Растаковскій.* „Петръ Васильевичъ“. Ср. также въ „Портретѣ“: „Кто этотъ Ноль?“—спросилъ художникъ.—„Мосьё Ноль! Ахъ, какой талантъ!“ Изъ другихъ мелкихъ чертъ, встрѣчающихся въ повѣсти „Портретъ“ и повторенныхъ въ «Ревизорѣ“, можно напомнить отвѣтъ, полученный Чартковымъ на вопросъ о свѣчѣ, весьма сходный съ отвѣтомъ Осипа Хлестакову о табакѣ, и проч.

[3]) Т. II, стр. 434, 495—497, и проч.

[4]) Тамъ-же, стр. 380 и 381. Еще яснѣе это въ первоначальной редакціи, гдѣ Подколесинъ говоритъ о себѣ: „Самъ-то я не знатокъ: никакъ не разберешь, которая выглядитъ, какъ слѣдуетъ“ („Русск. Стар.“, 1874, II, 324).

львицъ: „Распустили слухи, что онъ хорошъ, а онъ совсѣмъ нехорошъ, и носъ у него... самый непріятный носъ“ [1]).

Мы не будемъ здѣсь останавливаться на обзорѣ постепенной переработки текста „Ревизора“, которой Гоголь былъ занятъ въ теченіе 1836—1842 г., такъ какъ подробное объясненіе этого вопроса читатель можетъ найти въ превосходныхъ трудахъ Н. С. Тихонравова. Относительно же такъ называемой „Развязки Ревизора“ рѣчь еще впереди.

---

[1]) Т. III, стр. 181.

КОМЕДІЯ „ИГРОКИ".

Для опредѣленія времени, когда были написаны „Игроки", при совершенномъ почти отсутствіи какихъ-либо положительныхъ данныхъ, не мѣшаетъ, по нашему мнѣнію, обратить вниманіе на слѣдующія соображенія.

Въ 1833 году Гоголь былъ занятъ двумя пьесами: „Женитьбой" и „Владиміромъ 3-ей степени", но и въ слѣдующемъ году имъ не была совершенно окончена ни одна изъ этихъ комедій, хотя какъ тогда, такъ и послѣ авторъ не покидалъ своей работы надъ отдѣлкой уже начатыхъ трудовъ. Такъ продолжалось и до лѣта 1835 г., когда его планы и намѣренія внѣ литературной сферы были крайне неустойчивы, что̀ не могло, въ свою очередь, не отразиться задержкой на дальнѣйшей обработкѣ все еще ожидавшихъ болѣе благопріятной поры произведеній. Въ половинѣ іюня онъ писалъ матери: „Это лѣто я живу въ городѣ и не переѣзжаю на дачу. Если буду къ вамъ, то не раньше августа" [1]). Но вскорѣ онъ почувствовалъ утомленіе и для поправленія здоровья отправился въ Крымъ, откуда предполагалъ проѣхать на Кавказъ, какъ вдругъ, за недостаткомъ денегъ, вынужденъ былъ направить путь въ родную Васильевку. Во время путешествія Гоголь обдумалъ много новыхъ литературныхъ плановъ. Въ іюлѣ онъ уже изъ деревни писалъ Жуковскому: „Сюжетовъ и плановъ нагромоздилось во время ѣзды ужасное множество, такъ что если бъ не жаркое лѣто, то много бы изошло теперь у меня бумаги и перьевъ; но жаръ вдыхаетъ страшную лѣнь,

---

[1]) „Соч. и письма Гоголя", т. V, стр. 241.

и только десятая доля положена на бумагу и жаждетъ быть прочитанною вамъ“ [1]). Между этими замыслами, кромѣ повѣсти „Шинель“ и другихъ, былъ, безъ сомнѣнія, „Ревизоръ“, мысль о которомъ не оставляла Гоголя, когда на обратномъ пути въ Петербургъ, уже въ концѣ лѣта, онъ заѣхалъ въ Кіевъ къ Максимовичу, а оттуда двинулся черезъ Харьковъ и Москву съ своимъ неизмѣннымъ спутникомъ Данилевскимъ. Между этими замыслами, которыхъ было „множество“, могли быть и „Игроки“. Съ другой стороны, къ нимъ могутъ относиться и слѣдующія строки Гоголя въ одномъ письмѣ къ Пушкину: „Сдѣлайте милость, дайте какой-нибудь сюжетъ, хоть какой-нибудь смѣшной или несмѣшной, но русскій чисто анекдотъ. *Рука дрожитъ написать тѣмъ временемъ комедію.* Если жъ сего не случится, то у меня пропадетъ даромъ время, и я не знаю, что̀ дѣлать тогда съ моими обстоятельствами“ [2]). Такъ какъ въ томъ же письмѣ Гоголь уже говоритъ выше о „Женитьбѣ“ и еще о другой комедіи, которую предполагалъ *поставить на сцену* и какою могъ быть, слѣдовательно, только „Ревизоръ“, и такъ какъ, наконецъ, комедія „Владиміръ 3-ьей степени“ была начата и частью написана гораздо раньше,— то, въ случаѣ осуществленія мысли Гоголя, плодомъ ея могла быть только комедія „Игроки“, если и начатая раньше, то теперь обогащенная новымъ матеріаломъ, тѣмъ болѣе, что она-то именно и была, можетъ быть, основана на анекдотѣ [3]).

Далѣе — издавая въ свѣтъ свои драматическія произведенія въ 1842 г., Гоголь поручилъ Прокоповичу сначала напечатать, какъ болѣе крупныя и законченныя вещи, „Ревизоръ“ и „Женитьбу“, а затѣмъ уже помѣстить остальныя подъ общимъ заглавіемъ: „Драматическіе отрывки и отдѣльныя сцены съ 1832 по 1837 годъ“ [4]), и изъ нихъ выдвинуть, опять вѣроятно въ качествѣ болѣе или менѣе цѣлой пьесы, „Игроки“. Искать здѣсь какихъ-либо намековъ на хронологическую послѣдовательность нѣтъ никакой возможности, потому что

[1]) „Русск. Арх.“, 1871, 4,5, стр. 948. Но непонятно, какимъ образомъ *еще въ маѣ* Гоголь писалъ Прокоповичу изъ Полтавы, будто бы на перепутьѣ на Кавказъ или въ Крымъ. („Русское Слово“, 1859. I, 86).

[2]) „Русскій Архивъ“, 1880, II, стр. 514.

[3]) См. толки публики въ воспоминаніяхъ Аксакова о Гоголѣ: «Игроки»— старинный анекдотъ, да и всѣ разсказы «Игроковъ» извѣстныя происшествія» („Русск. Арх.“, 1890, VIII, 91).

[4]) „Русское Слово“, 1859, I, 120.

авторъ, очевидно, вовсе не руководился ею и при расположеніи пьесъ имѣлъ совершенно иныя основанія. Но какъ бы то ни было, въ одномъ мы не имѣемъ никакого повода сомнѣваться, — что общая дата, выставленная на заглавномъ листѣ передъ мелкими драматическими пьесами (отъ 1832 г. по 1837), должна быть вѣрна и что автору не было никакой цѣли прибѣгать въ данномъ случаѣ къ мистификаціи. Допустивъ это, мы тѣмъ самымъ неизбѣжно должны отнести комедію „Игроки“ къ самому концу петербургскаго періода и къ началу заграничной жизни Гоголя. Но послѣдній годъ жизни Гоголя въ Петербургѣ былъ почти всецѣло поглощенъ „Ревизоромъ“, и только сохранившіеся отъ того времени черновые наброски „Игроковъ“ являются доказательствомъ, что пьеса *была начата* въ Петербургѣ, а окончена была, вѣроятно, уже заграницей въ 1837 году [1]). Кромѣ этихъ соображеній, есть еще нѣсколько мелочныхъ; такъ, напр., въ сравненіи Утѣшительнымъ сыра съ квартирмейстеромъ слышится несомнѣнный отголосокъ обычныхъ шутокъ Гоголя съ Щепкинымъ преимущественно во время ихъ свиданій въ Москвѣ въ 1835 г., тогда какъ самая пьеса оставалась совершенно неизвѣстною М. С. Щепкину до конца 1842 г. [2]). Со всѣми остальными пьесами Гоголь его болѣе или менѣе познакомилъ во время личныхъ свиданій до отъѣзда за-границу. Изъ мелкихъ чертъ сходства „Игроковъ“ съ другими произведеніями Гоголя отмѣтимъ только упражненія Ноздрева „въ подбираніи изъ нѣсколькихъ десятковъ дюжинъ картъ одной таліи, но самой мѣткой, на которую можно было бы понадѣяться, какъ на вѣрнѣйшаго друга“ [3]).

---

[1]) См. въ письмѣ Гоголя Прокоповичу: «Посылаемую нынѣ пьесу „Игроки“ насилу собралъ. *Черновые листы такъ были уже давно и неразборчиво написаны,* что дали мнѣ работу страшную разбирать» («Рус. Слово», 1859, I, 120).

[2]) См. соч. Гоголя, т. III, стр. 207 и „Библіотека для Чтенія“, 1864, II, статья Аѳанасьева „М. С. Щепкинъ и его записки“ и „Русскій Архивъ“, 1888, IV, 557, и соч. Гоголя, V, 504. Мы уже не разъ приводили выше подобные случаи включенія Гоголемъ какой-нибудь мѣткой остроты или характернаго выраженія въ его произведенія. Вотъ еще примѣръ, относящійся къ комедіи „Ревизоръ“. Въ своихъ воспоминаніяхъ артистъ Алексѣевъ отмѣчаетъ внесеніе Гоголемъ въ пьесу имени отца Прохорова и словъ: „онъ къ дѣлу не можетъ быть употребленъ“ („Историч. Вѣстн.“, 1892, VI, 681). О внесеніи заключительной фразы въ комедію „Женитьба“ см. выше, стр. 204.

[3]) Т. III, 207.

По отъѣздѣ за-границу. Гоголь не прекращалъ своихъ работъ надъ написанными комедіями, но занимался ими только урывками, преимущественно приготовляя ихъ къ печати незадолго передъ отправленіемъ рукописей въ Петербургъ къ Максимовичу. О новыхъ пьесахъ, написанныхъ имъ за-границей, за исключеніемъ одной переводной, мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній; но достовѣрно, что въ 1839—1840 гг. Гоголь началъ было писать драму изъ малороссійской жизни, временъ казачества. Пьеса эта вскорѣ была уничтожена и ею окончились навсегда труды Гоголя въ этой области.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

24—55

Къ стр. 24—27. Приводимъ изъ статьи г. Сумцова перечень народныхъ преданій, имѣющихъ отношеніе къ „Вію“ Гоголя.

1) *Иванов*. „Народные разсказы о вѣдьмахъ и упыряхъ“, въ 3 томѣ. „Сборника харьковскаго историко-филологическаго Общества“, 1891 г., стр. 202—204.

2) *Манжура*. Сказки, пословицы и пр. 1890 г.; на стр. 136—137 сказка о чтеніи надъ вѣдьмой псалтыри въ церкви парубкомъ въ теченіе трехъ ночей.

3) Podbereski. Materiały do demonologii ludu ukrainskiego въ „Zbiór wiadomos'ci do antropologii krajowej“.

4) Добровольскій, Смоленскій этнографическій сборникъ, 1891, I, стр. 130.

5) Karłowicz Podania i bajki ludowe, zebranie na Litwie, въ Zbiór wiadomos'ci do antropologii krajowej.

6) Аѳанасьевъ. Народныя русскія сказки, изд. 2, 1873, т. III, № 208.

7) Худяковъ. Великорусскія сказки, 1860 г., 11 ч. № 104.

8) Chełchowski, Powiesci i opowiadania ludowe, 1889, I, стр. 21—28.

9) Kozłowski, lud, piesni, podania, 1869, стр. 350.

10) Kolberg, lud VIII (krakowskie), стр. 138.

11) Kulda, Moravske narodne pohadky a povesti, 1854, стр. 560—574.

12) Mabinogion, trad. en. français par Zoth, въ „Cours de

litterature celtique“ par d' Arboie de Suboinville et p. Zoth, 1889 г.

13) Въ „Великомъ Зерцалѣ“ П. В. Владимірова см. пересказъ легенды о томъ, какъ „волшебницу демоны извлекали изъ церкви, въ ней же погребена бысть“, стр. 23.

Изъ всѣхъ приведенныхъ г. Сумцовымъ варіантовъ сказки всего ближе къ гоголевскому „Вію“ подходитъ, повидимому, варіантъ, напечатанный въ 1891 г. Ивановымъ, но для объясненія того, какъ слились два разсказа о старухѣ-вѣдьмѣ и о вѣдьмѣ красавицѣ онъ не даетъ ничего новаго. Въ остальномъ этотъ варіантъ представляетъ лишь подтвержденіе выше изложеннаго. Такъ, подобно тому, какъ дьяку помогаетъ совѣтами баба, такъ здѣсь старуха помогаетъ внучку. Опредѣлить положительно, какимъ именно варіантомъ пользовался Гоголь, пока невозможно, но это едвали имѣетъ особенное значеніе при большомъ сходствѣ варіантовъ.

Въ данномъ же варіантѣ особенно любопытны слѣдующія строки:

„Уже винъ на ней (купцивнѣ) йздывъ, йздывъ, йздывъ и по лисахъ, и по ярахъ, и по буграхъ, то такъ ій выйздывъ, шо зъ ней мыло впало и повернувъ до дому. Прійхавъ до двору до ій,—вона упала коло воритъ и переробылась на дівку и здохла“.

Превращеніе вѣдьмы въ кобылицу въ данномъ варіантѣ нѣсколько отдаляетъ его отъ повѣсти Гоголя, такъ же, какъ и та подробность, что по этому варіанту купецъ (отецъ „купцивны“) приглашаетъ „бабушкина внука“ читать псалтырь, какъ завѣдомаго убійцу его дочери. — Наконецъ въ немъ не выдѣляется вовсе изъ толпы мертвецовъ, преслѣдующихъ „бабушкина внука“, ни одной личности, которая соотвѣтствовала бы вію.

Къ стр. 110. Начало знакомства Гоголя съ Максимовичемъ А. Н. Пыпинъ, на основаніи словъ г. Кулиша, относитъ къ 1829 г. („Вѣстн. Европы“, 1885, VIII, 769); по словамъ г. Барсукова, оно совпало приблизительно со временемъ уничтоженія Гоголемъ экземпляровъ „Ганца Кюхельгартена“, но сдѣланная имъ ссылка на „Біографическій Словарь Московскаго Университета“ по справкѣ оказывается невѣрной („Жизнь и труды Погодина“, т. II, стр. 389).

Къ стр. 238. Свѣдѣніе это заимствуемъ изъ статьи В. П.

Гаевскаго („Совр.“, 1852, № 10, смѣсь, стр. 145), въ общей характеристикѣ профессорской дѣятельности Гоголя, совершенно согласной со всѣми другими источниками:

„Какъ преподаватель, Гоголь не имѣлъ большихъ достоинствъ. Сначала онъ горячо принялся за исполненіе обязанностей своего званія; онъ смотрѣлъ на свою обязанность не какъ на средство къ жизни, но какъ на цѣль, какъ на призваніе; онъ хотѣлъ даже совершенно посвятить себя ученому званію, но дѣятельность его, требовавшая другого поприща, ослабѣла; онъ чувствовалъ себя не въ своей сферѣ и долженъ былъ навсегда раздѣлаться съ несвойственнымъ и наскучившимъ ему занятіемъ. Лекціи Гоголя, по словамъ присутствовавшихъ на нихъ, не отличались особеннымъ знаніемъ дѣла или новостью взгляда, но блестящее изложеніе и умѣніе владѣть вниманіемъ слушателей были главными достоинствами молодого адъюнкта. Какого мнѣнія о своихъ лекціяхъ былъ самъ Гоголь,—не знаемъ, но вотъ фактъ, доказывающій, что онъ не слишкомъ довѣрялъ себѣ въ этомъ отношеніи. Говорятъ, что Гоголь просилъ Пушкина и Жуковскаго пріѣхать какъ-нибудь къ нему на лекцію. Оба поэта, очень долго собиравшіеся воспользоваться приглашеніемъ, явились въ университетъ. Поэты нашли полную аудиторію студентовъ, но Гоголя еще не было; они рѣшились его дожидаться, но прождали напрасно, потому что Гоголь вовсе не явился“. Слѣдовательно, Жуковскій и Пушкинъ дважды пріѣзжали въ университетъ для слушанія Гоголя.

Къ стр. 46—47 перваго тома. Дополняемъ указанный г. Пѣтуховымъ пробѣлъ въ цитатахъ. На стр. 46 слова „одинъ суровый критикъ“ и проч. относятся къ г-жѣ Марусѣ К. („Русск. Сцена“, 1865, № 6 и 7, стр. 29 и 35). На стр. 47 приводится другой отзывъ, „гораздо болѣе авторитетный“— П. А. Кулиша („Основа“, 1862, Лютій (февраль), стр. 20—21).

Къ стр. 297, 2-ое примѣч. См. развитіе и доказательство сказаннаго нами въ статьѣ г. Витберга: „Н. В. Гоголь въ 1831 г.“ („Историч. Вѣстникъ“, 1892, VI, 663—667). О посѣщеніи Гоголемъ литературныхъ вечеровъ Дельвига см. статью Гаевскаго „Дельвигъ“ („Современникъ“, 1854, IX, 7—8).

Кстати можно отмѣтить, въ дополненіе къ сближеніямъ отдѣльныхъ мѣстъ и выраженій изъ повѣсти „Портретъ“, самое общее сходство письма о Брюловѣ Общества поощренія художниковъ съ газетной статьей о Чертковѣ, указанное г. Стасовымъ („Вѣстникъ Европы“, 1880, I, 117), а къ тѣмъ мѣстамъ, въ которыхъ выражается убѣжденіе Гоголя, что на житейскія непріятности слѣдуетъ смотрѣть съ точки зрѣнія „трынъ-травы“, можно отнести также отрывокъ письма къ Иванову отъ 30 августа 1842 г. („Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 493).

Общеизвѣстные факты, касающіеся „Ревизора“, какъ, напр., что піеса была разрѣшена къ представленію и печатанію съ согласія самого императора Николая и что на первомъ представленіи онъ выразилъ свое впечатлѣніе въ восклицаніи: „Ну, пьеска! всѣмъ досталось, а всего болѣе мнѣ самому“, и проч., а равно и всѣ данныя, касающіяся впечатлѣній Гоголя при первомъ представленіи „Ревизора“, читатель найдетъ въ слѣдующемъ томѣ, гдѣ будутъ изложены причины, побудившія Гоголя предпринять новую за-граничную поѣздку.

ПО ПОВОДУ БРОШЮРЫ Г. ВИТБЕРГА: „Н. В. ГОГОЛЬ И ЕГО НОВЫЙ БІОГРАФЪ“.

„Tu l'as voulu, George Dandin!“
Molière [1]).

Мы упомянули въ началѣ книги въ перечнѣ критическихъ статей и замѣтокъ, вызванныхъ первымъ томомъ настоящаго труда, о рецензіи г. Витберга въ „Историческомъ Вѣстникѣ“ и о выпущенной имъ отдѣльно брошюрѣ подъ заглавіемъ: „Н. В. Гоголь и его новый біографъ“. Какъ рецензія, такъ и брошюра преисполнены всевозможныхъ мелочныхъ и невѣжественныхъ придирокъ, лучшимъ опроверженіемъ которыхъ послужило бы простое сопоставленіе ихъ съ отзывами другихъ гг. рецензентовъ. Правда, въ нашей печати брошюра г. Витберга не обратила на себя абсолютно никакого вниманія, кромѣ опроверженія въ замѣткѣ „Библіографическихъ Записокъ“ (1892, VI); но уже въ виду того, что нельзя ожидать самостоятельной и вѣрной оцѣнки ея отъ лицъ, не получившихъ литературнаго образованія, съ нею все-таки приходится считаться, тѣмъ болѣе, что сущность дѣла въ брошюрѣ основана на искаженіяхъ, передержкахъ и наконецъ просто на грубомъ непониманіи написаннаго, непониманіи, совершенно невѣроятномъ въ человѣкѣ, рѣшающемся выступить съ печатнымъ разборомъ книги. Нѣкоторыя изъ менѣе несостоятельныхъ и притомъ не безусловно мелочныхъ возраженій г. Витберга были уже опровергнуты нами выше,

[1]) Эпиграфъ относится къ вызову, сдѣланному мнѣ г. Витбергомъ въ „Библіографическихъ Запискахъ“, 1892, VII.

въ самомъ текстѣ книги; но намъ необходимо отразить и остальныя. Чтобы дать въ немногихъ словахъ достаточное понятіе о томъ, съ какимъ возражателемъ мы имѣемъ дѣло въ настоящемъ случаѣ, любопытно указать предварительно слѣдующія курьезныя строки на страницѣ 24 брошюры, гдѣ, по поводу нѣсколькихъ мимоходомъ сказанныхъ нами въ подстрочномъ примѣчаніи словъ объ одномъ изъ довольно неудачныхъ разсужденій г. Витберга, послѣдній выражается такъ: „это опять говоритъ за насъ г. Шенрокъ“, (т. е. за Гоголя и за г. Витберга, при чемъ эти скромныя и исполненныя глубокаго такта и смысла слова „за насъ“ даже внушительно подчеркнуты г. Витбергомъ). Къ сожалѣнію, нашъ уважаемый противникъ не догадался, когда писалъ и подчеркивалъ эти слова, въ какомъ карикатурномъ свѣтѣ онъ выставилъ ими самого себя, отрекомендовавшись передъ своими читателями съ довольно двусмысленной стороны, и не подумалъ, что подобное эффектное приравниваніе себя къ Гоголю можетъ напомнить имъ скорѣе о нѣкоторомъ сходствѣ г. Витберга (если ужъ онъ хочетъ непремѣнно равняться съ знаменитыми или извѣстными людьми) съ Сумароковымъ, который, какъ всѣ знаютъ, не задумывался ставить свое имя рядомъ съ именемъ Вольтера. Не подумалъ г. Витбергъ и о томъ, что, написавъ нѣсколько статей о Гоголѣ, онъ не совсѣмъ скромно и умѣстно упрекаетъ меня въ „широкихъ замыслахъ“, совѣтуя мнѣ ограничиться однимъ *напечатаніемъ найденныхъ мною документовъ*, — тогда какъ самъ онъ, г. Витбергъ, явно разрѣшаетъ себѣ ту самую обработку опубликованныхъ *другими* матеріаловъ, которую хотѣлъ бы запретить мнѣ по отношенію къ тому, что̀ *собрано и найдено мною*. Это, конечно, и основательно и безпристрастно. Въ своей рецензіи, помѣщенной въ „Историческомъ Вѣстникѣ“, г. Витбергъ также крайне необдуманно упрекаетъ меня въ поразительной, по его словамъ, *скудости* собранныхъ мною матеріаловъ о Гоголѣ, *почти равняющейся будто бы ихъ полному отсутствію въ моемъ трудѣ* [1]). Онъ спѣшитъ съ первыхъ же словъ предупредить читателей, что они жестоко ошибутся, если „*вообразятъ*“ (*просимъ замѣтить это слово!*) „при взглядѣ на довольно объемистую книгу, что *най-*

[1]) Таковъ общій смыслъ его словъ въ самомъ началѣ рецензіи, напечатанной г. Витбергомъ въ „Историч. Вѣстникѣ“, 1892, IV.

дутъ въ ней цѣлый томъ новыхъ, нигдѣ не напечатанныхъ и весьма цѣнныхъ документовъ о Гоголѣ". Безпристрастный судья упускаетъ изъ виду, что мой трудъ, предполагавшійся, какъ ему извѣстно, въ объемѣ трехъ томовъ, никакъ не можетъ состоять исключительно изъ сообщенія новыхъ документовъ [1]), и что такое требованіе было бы равносильно требованію клада, что̀ въ наше время, когда чудесъ не бываетъ, не совсѣмъ легко осуществить. Такое суровое сужденіе могло бы быть со стороны г. Витберга законно развѣ въ томъ случаѣ, если бы онъ самъ, какъ извѣстно, также занимающійся Гоголемъ, могъ указать на *собственныя*, достаточно успѣшныя находки, или, ужъ куда ни шло, если бы онъ нашелъ *хоть одинъ, единственный новый документикъ!* Кромѣ того, г. Витбергъ своимъ заявленіемъ выказалъ крайнее неуваженіе къ тѣмъ, смѣю сказать, вполнѣ почтеннымъ изданіямъ, гдѣ нѣсколько лѣтъ сряду печатались мною новые документы о Гоголѣ, о которыхъ человѣку, пишущему статьи объ авторѣ „Мертвыхъ Душъ" и въ частности „рецензенту" біографическаго труда о немъ, не знать совершенно не извинительно, а не зная о ихъ существованіи, слишкомъ опрометчиво и рискованно утверждать, будто совсѣмъ не найдено мною никакихъ матеріаловъ о Гоголѣ [2]). Притомъ вѣдь г. Витбергъ, будучи снисходителенъ къ себѣ, косвеннымъ образомъ находитъ возможнымъ требовать отъ меня совершенно исключительной удачи, въ родѣ той, какая нѣкогда въ дѣлѣ собиранія былинъ выпала на долю покойныхъ Рыбникова и Гильфердинга. Даже примѣръ г. Кулиша, полагаю, не можетъ служить мнѣ укоромъ, потому именно, что мнѣ пришлось посвятить свой трудъ тому же дѣлу почти сорокъ лѣтъ *спустя*, тогда какъ за весь этотъ промежутокъ времени въ нашей литературѣ *почти безъ перерыва*, тамъ или здѣсь, появлялись новые письма и документы, касающіеся Гоголя. Жалѣю единственно о томъ,

[1]) Да вѣдь на первой же страницѣ я предупреждаю, что бо̀льшую часть книги составляютъ перепечатки моихъ статей въ „Вѣстникѣ Европы" и другихъ журналахъ. И это надо напоминать г. Витбергу!

[2]) Приблизительно г. Витбергъ говоритъ это въ своей рецензіи, хотя не рѣшается дать своимъ намекамъ совершенно опредѣленную форму; во всякомъ случаѣ цѣль его была показать, что матеріаловъ мало собрано. Этимъ замѣчаніемъ мы и ограничились бы; но г. Витбергъ не только выпустилъ свою брошюру, о которой теперь идетъ рѣчь, но и своимъ письмомъ въ редакцію „Библіографическихъ Записокъ" сдѣлалъ намъ вызовъ, на него мы и отвѣчаемъ.

что какое-то непонятное для меня чувство яростнаго недоброжелательства помѣшало г. Витбергу отнестись спокойнѣе къ моему труду и внушило ему даже какой-то неблагородный намекъ чуть ли не на шарлатанство съ моей стороны, которое можно будто бы усмотрѣть въ данномъ моей книгѣ заглавіи. Въ противоположность академику К. Н. Бестужеву-Рюмину, находящему наше заглавіе скромнымъ, г. Витбергъ, осуждая въ книгѣ *рѣшительно все*, обрушивается и на самое заглавіе. Правда, г. Витбергъ былъ вынужденъ послѣ нашего отвѣта ему въ „Историческомъ Вѣстникѣ“ (1892, V) взять свои слова обратно и заявить, что онъ будто и не думалъ приписывать мнѣ недобросовѣстности, а приписывалъ-де только небрежность; но вѣдь улика-то на лицо: вѣдь уже начальныя строки его неблаговидной рецензіи въ „Истор. Вѣстникѣ“ совершенно ясно показываютъ, что онъ, желая полнаго и безусловнаго неуспѣха нашему труду, не отступилъ и передъ довольно недобросовѣстными заявленіями; такъ, у него хватило духу сказать приведенныя слова въ своей рецензіи: „Если читатель, пріобрѣтая книгу почти въ 400 страницъ, *вообразитъ*“ и проч. Какія же могутъ быть оправданія послѣ этого „*вообразитъ*“*?!* Не показываютъ ли уже одни эти слова, насколько г. Витбергъ способенъ быть справедливымъ и компетентнымъ рецензентомъ моихъ работъ о Гоголѣ.

Зная по опыту, съ какой неохотой нѣкоторые издатели помѣщаютъ у себя самыя законныя и совершенно необходимыя опроверженія напечатанныхъ у нихъ статей, мы въ весьма умѣренномъ тонѣ возражали г. Витбергу въ майской книгѣ „Историческаго Вѣстника“. Вотъ что́ мы тамъ сказали:

„Во-первыхъ, г. рецензентъ отмѣтилъ мнимое противорѣчіе въ двухъ рядомъ стоящихъ предложеніяхъ, гдѣ, непосредственно послѣ замѣчанія о высокомъ мнѣніи Гоголя о себѣ, сказано будто бы о его врожденной скромности. Очень жаль, что, указывая точно страницу, гдѣ допущено такое по истинѣ вопіющее противорѣчіе, г. рецензентъ не заглянулъ въ перечень опечатокъ, гдѣ онъ нашелъ бы указаніе, что слово *скромность* напечатано вмѣсто *скрытность*. Опечатокъ въ книгѣ немного, и онѣ были тщательно провѣрены; но г. рецензентъ случайно нападалъ] именно на типографскія погрѣшности: указанная имъ неточность даты на страницѣ 232 представляетъ также опечатку, какъ въ томъ можно убѣдиться изъ

сличенія этого мѣста настоящаго изданія съ предыдущимъ изданіемъ [1]) („Ученическіе годы Гоголя", Москва, 1887 года, стр. 114). Не могу также признать противорѣчіе въ характеристикѣ отношеній Гоголя къ матери: я считаю искреннимъ только *чувство любви къ ней со стороны Гоголя*, но это нисколько не обязываетъ меня вѣрить *каждому слову* въ его письмахъ, въ чемъ со мною согласились многіе другіе гг. рецензенты, отчасти полагающіе, впрочемъ, вопреки г. Витбергу, что я въ своемъ довѣріи къ Гоголю иду дальше, нежели слѣдовало. Уже существованіе такого разногласія показываетъ спорность сдѣланнаго мнѣ упрека.

Наконецъ, г. рецензентъ возражаетъ противъ отнесенія мною нѣсколькихъ выдержекъ изъ дневника А. О. Смирновой (рожденной Россетъ) къ 1830 году, тогда какъ онъ самъ относитъ ихъ къ 1829—1831 годамъ. Но на страницѣ 324 моей книги, въ 4 примѣчаніи и объяснено именно, что эти выдержки относятся къ указаннымъ тремъ годамъ *обладательницей дневника*, [2]) г-жей О. Н. Смирновой; мною же отнесена къ 1830 году только первая выдержка, и мнѣ непонятно, какимъ образомъ г. Витбергъ нашелъ возможнымъ приписать мнѣ ошибочныя хронологическія указанія объ остальныхъ выдержкахъ, которыя мною не пріурочиваются къ какой-либо строго опредѣленной датѣ (такъ какъ это и *не нужно было* для установленія года знакомства Гоголя съ Смирновой), кромѣ небольшой выдержки на стр. 327, прямо *отнесенной мною къ 1829, а не къ 1830* г.

Съ однимъ замѣчаніемъ г. Витберга я совершенно согласенъ. Я вполнѣ раздѣляю его недовольство количествомъ собранныхъ мною матеріаловъ о жизни Гоголя и желаніе видѣть въ печати несравненно больше данныхъ, нежели сколько находится въ моей книгѣ. Въ свое оправданіе, позволю себѣ только сказать, что я положилъ на это дѣло, и не безъ нѣкотораго, хотя, быть можетъ, очень скромнаго успѣха много труда, волненій, затратъ и времени, и что находить новыя цѣнныя и любопытныя данныя о Гоголѣ далеко не такая легкая вещь, какъ это можетъ казаться, а, можетъ быть, эти ма-

1) Въ послѣднемъ случаѣ, по крайней мѣрѣ, есть неточность, указанная г. Витбергомъ и нынѣ исправленная.

2) Теперь все это скоро окончательно разъяснится, такъ какъ дневникъ будетъ напечатанъ въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ".

теріалы уже почти исчерпаны. Во всякомъ случаѣ, я очень желалъ бы, чтобы другимъ изслѣдователямъ Гоголя посчастливилось доказать на дѣлѣ неосновательность послѣдняго предположенія и обогатить русскую литературу капитальнымъ вкладомъ".

По поводу нашего разъясненія объ опечаткахъ, г. Витбергъ неожиданно заявилъ въ своей брошюрѣ: „Н. В. Гоголь и его новый біографъ", что хотя это и справедливо, но что ему яко бы *„не пришло въ голову* заглянуть въ опечатки", потому де, что вся книга „наполнена неточностями и противорѣчіями".,Мы уже достаточно показали выше, что обыкновенно противорѣчія эти оказываются только мнимыми и основанными единственно на томъ, что г. Витбергу *„не пришло въ голову"* то то, то другое; ниже разберемъ и опровергнемъ и остальныя возраженія. Но какое въ самомъ дѣлѣ прекрасное объясненіе: не догадался, *„не пришло въ голову"* [1]).

На стр. 36 своей брошюры г. Витбергъ между прочимъ указываетъ у меня и *„самое капитальное противорѣчіе"*. Въ чемъ же оно состоитъ? Приведемъ слова нашего единственнаго въ своемъ родѣ аристарха:

„На страницѣ 157 авторъ говоритъ, что Гоголь пріѣхалъ въ Петербургъ, съ извѣстнымъ міросозерцаніемъ и сложившимися взглядами на назначеніе своей жизни и будущей дѣятельности,—міросозерцаніемъ, составлявшимъ, *каково бы ни было его дѣйствительное достоинство*, внутреннее содержаніе юноши. То же самое находимъ и на стр. 170. А на страницѣ 191 уже оказывается, что при неопредѣленномъ и неустановившемся положеніи Гоголя въ Петербургѣ, у него и міросозерцаніе было нѣсколько *смутное*; а далѣе, на стр. 192, говорится о *туманности* нѣкоторыхъ мѣстъ „Исповѣди", явившейся „естественнымъ слѣдствіемъ *туманности самыхъ воззрѣній автора*" [2]) и проч. Ну и что́ же изъ всего этого? Да вѣдь и раньше же было сказано: *„Каково ни было* дѣйствительное

[1]) Въ своихъ возраженіяхъ мнѣ г. Витбергъ *не разъ* употребляетъ это свое излюбленное выраженіе.

[2]) Мы здѣсь позволили себѣ измѣнить курсивъ въ выпискѣ изъ брошюры г. Витберга, ибо всѣ недоразумѣнія выходятъ бо́льшею частью изъ-за того, что г. Витбергъ по недогадливости употребляетъ курсивъ именно тамъ, гдѣ не слѣдуетъ, и не умѣетъ поставить его тамъ, гдѣ это было бы умѣстно. Мы это же показывали и раньше, въ самомъ текстѣ книги.—Ссылка на 170 стр. невѣрна·

достоинство этого міросозерцанія?" Слѣд. достоинство его было *не особенно высокое. Неужели и это надо разъяснять?!* Все сказанное мною я готовъ повторить и теперь; впрочемъ, вѣдь, все дѣло въ томъ, что г. Витбергу *„не пришло въ голову"*, что *извѣстное* міросозерцаніе совсѣмъ не значитъ *ясное*, и вотъ въ чемъ заключалось *„самое капитальное* противорѣчіе!" Но что̀ же мнѣ-то дѣлать, если г. Витбергъ такъ затрудняется пониманіемъ самыхъ простыхъ вещей? Неужели изъ-за этой *будто бы уважительной* причины я обязанъ подробно разъяснять такія вещи, которыя, безъ сомнѣнія, покажутся избитыми каждому не вовсе не развитому школьнику. Не въ правѣ ли, напротивъ, я спросить съ своей стороны: гдѣ же наконецъ предѣлъ этой невѣроятной недогадливости г. Витберга?! И кто же здѣсь виноватъ: авторъ ли книги, или *единственный* изъ всѣхъ его рецензентовъ, оказывающійся недогадливымъ, да еще на каждомъ шагу?! А недогадливость и опрометчивость г. Витберга по истинѣ изумительны и безпредѣльны. Позволю себѣ остановиться еще на одномъ примѣрѣ. Въ рецензіи на брошюру г. Витберга, напечатанной въ 6 № „Библіографическихъ Записокъ" за 1892 г., было совершенно справедливо указано, что г. Витбергъ неправильно понялъ мои слова въ выраженіи: „Плетневъ является въ перепискѣ довѣреннымъ посредникомъ обоихъ писателей" (Пушкина и Гоголя). „Ясно"—читаемъ мы далѣе въ замѣткѣ „Библіогр. Записокъ",—„что приведенныя слова имѣли смыслъ: *какъ видно или насколько можно судить по перепискѣ*". Но г. Витбергъ и такого объясненія не беретъ въ толкъ и въ слѣдующемъ же № „Библіограф. Записокъ" комично заявляетъ: *„Не буду спорить, правильно или нѣтъ понялъ я слова г. Шенрока"*, (вотъ тебѣ разъ! хорошъ критикъ!) [1] „но, даже имѣя и тотъ смыслъ, какой даетъ имъ г. рецензентъ, они оказываются несогласными съ фактами, ибо вовсе не существуетъ такой переписки, изъ которой бы можно было заключить о посредничествѣ Плетнева между Гоголемъ и Пушкинымъ въ маѣ и вообще лѣтомъ 1831 г., а объ этомъ именно времени и идетъ только рѣчь (?) [2]), такъ какъ это *небывалое посредничество слу-*

---

1) Г. Витбергу никакъ не „приходитъ въ голову", что онъ *обязанъ* понимать разбираемое!

2) Да кто же это сказалъ г. Витбергу? Здѣсь г. Витбергъ умудрился понимать мои слова такъ, какъ ихъ совершенно невозможно понимать.

жить для т. Шенрока однимъ изъ доказательствъ того, что Гоголь познакомился съ Пушкинымъ въ маѣ 1831 г.“ Но вотъ что́: г. Витбергъ опять не догадался, въ чемъ дѣло, и почему-то вообразилъ, будто я утверждаю, что существуетъ переписка, „изъ которой можно заключить о посредничествѣ Плетнева между Гоголемъ и Пушкинымъ *въ маѣ и вообще лѣтомъ 1831 г.* (курсивъ г. Витберга). На самомъ же дѣлѣ ни о чемъ подобномъ у меня нѣтъ рѣчи, и сказано буквально слѣдующее: „*Плетневъ, конечно, не замедлилъ воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы познакомить Пушкина съ Гоголемъ, который и представился именно по пріѣздѣ Пушкина въ Петербургъ; притомъ Плетневъ, остававшійся лѣтомъ въ Петербургѣ*, или, если жившій въ окрестностяхъ его, то развѣ въ другомъ мѣстѣ, напр. Лѣсномъ, гдѣ онъ не разъ проводилъ каникулы,—является въ перепискѣ“ NB. (*вообще въ перепискѣ, а вовсе не именно въ маѣ или лѣтомъ*) „довѣреннымъ посредникомъ“ и проч. [1]).

Какъ же такъ, г. Витбергъ? Гдѣ же у меня сказано, что Плетневъ является посредникомъ „въ перепискѣ Гоголя и Пушкина“ (?) въ маѣ или вообще лѣтомъ 1831 г. [2]) (?!) На стр. 2-ой вы совѣтуете мнѣ „не смотрѣть на читателя, какъ на неразумнаго ребенка, а на дѣлѣ безпрестанно побуждаете поступать противоположнымъ образомъ, ибо кто же можетъ поручиться, что не найдется и еще какой-нибудь иной читатель, который также все перепутаетъ? Впрочемъ, можетъ быть, перестановка въ данномъ примѣрѣ главнаго и придаточнаго предложеній будетъ цѣлесообразнѣе въ слѣдующемъ изданіи и тогда будетъ устраненъ малѣйшій поводъ къ какому бы то ни было недоразумѣнію, если фраза получитъ такой видъ: „Плетневъ, являющійся въ перепискѣ довѣреннымъ посредникомъ обоихъ писателей, оставался лѣтомъ въ Петербургѣ“ и проч. Впрочемъ намъ кажется, что г. Витбергъ въ сущности больше притворяется непонимающимъ, хотя и довольно правдоподобно, такъ какъ въ другихъ его работахъ мы не замѣтили

---

[1]) См. I томъ, стр. 346.—Эту именно страницу цитируетъ и г. Витбергъ, но, очевидно, не понявъ ея смысла, въ чемъ могутъ убѣдиться читатели по самой приведенной выдержкѣ.

[2]) *Никогда ничего подобнаго* я не говорилъ и даже не думалъ, и изумляюсь, откуда все это почерпнулъ г. Витбергъ?! Жаль, что, будучи пунктуаленъ въ цитатахъ, на этотъ разъ онъ обошелся безъ цитаты.

такой опрометчивости. Такимъ образомъ, капитальное противорѣчіе послѣ провѣрки является просто плодомъ черезчуръ комическаго недоразумѣнія со стороны г. Витберга.

Прежде чѣмъ перейти къ разъясненію и опроверженію другихъ мнимыхъ противорѣчій въ нашей книгѣ, приведемъ нѣсколько возраженій, сдѣланныхъ г. Витбергу въ „Библіогр. Запискахъ“:

„На стр. 11 г. Витбергъ правильно указываетъ на неточность въ словахъ г. Шенрока: „въ д. Модераха (на Малой Морской), Гоголь оставался все время до отъѣзда за-границу“. Г. Витбергъ справедливо возражаетъ, что въ 1835 г. Гоголь жилъ также на Малой Морской, но въ д. Лепена [1]). Справедливо также замѣчено на стр. 6 объ одномъ письмѣ Гоголя, что оно было написано не по возвращеніи его изъ за-границы, но когда онъ, возвращаясь, остановился на нѣсколько дней въ Любекѣ [2]). Вѣрно также, что на стр. 152, въ передачѣ разсказа А. С. Данилевскаго, слѣдовало бы оговорить въ примѣчаніи, что выраженіе „Гоголь съ Данилевскимъ повидались съ нѣкоторыми товарищами и между прочимъ съ неуспѣвшимъ выѣхать изъ Петербурга же Прокоповичемъ“, не вполнѣ точно, такъ какъ Прокоповичъ кончилъ курсъ годомъ позднѣе—подробность, которую А. С. Данилевскій могъ позабыть [3]).

Съ другой стороны, г. Витбергъ ошибается, считая сомнительной любовь Данилевскаго къ Э. А. Шанъ-Гирей на ос-

---

[1]) Быть можетъ даже, это былъ одинъ и тотъ же домъ, принадлежавшій сперва одному, а потомъ другому хозяину; можетъ быть также, Гоголь изъ одного дома переѣхалъ въ сосѣдній. Впрочемъ, кромѣ указываемыхъ г. Витбергомъ адресовъ Гоголя, на одномъ письмѣ Данилевскому, читаемъ еще: Офицерская, д. Брунста („Вѣстн. Евр.“, 1890, I, стр. 96); но, быть можетъ, нѣкоторые адресы были и временные. Сестры Гоголя также говорятъ о его переѣздахъ съ одной квартиры на другую. Во всякомъ случаѣ, покойный А. С. Данилевскій могъ смѣшать эти неважныя подробности, а разъяснить ихъ всего удобнѣе было бы г. Витбергу, живущему въ Петербургѣ и интересующемуся даннымъ вопросомъ; мы же отъ этого отказываемся. *В. Ш.*

[2]) Здѣсь въ рецензіи „Библіогр. Записокъ“ оказалась неточность, указанная потомъ г. Витбергомъ, но общій характеръ мелочной критики его отмѣченъ вѣрно. *В. Ш.*

[3]) Впрочемъ, та же неточность повторяется и въ недавнемъ сообщеніи г. Шевлякова въ „Историч. Вѣстникѣ“ (1892, XII) со словъ Любича-Романовича. Но, конечно, это вполнѣ дѣльное и, кажется, единственно дѣльное указаніе г. Витберга. *В. Ш.*

нованіи слѣдующаго соображенія: „Сколько же ей лѣтъ было въ 1841 г., если она уже десять лѣтъ назадъ кружила голову такимъ красавцамъ, какъ А. С. Данилевскій?“ Изъ статьи „Русскіе писатели и писательницы, умершіе въ 1891 г.“ [1]) можно видѣть, что Э. А. Клингенбергъ (впослѣдствіи Шанъ-Гирей) родилась въ 1815 г., *смѣд. въ 1831 г. ей было уже 16 лѣтъ, а въ 1841 — 26, и, конечно, она могла блистать въ продолженіе десятилѣтняго промежутка времени* [2]). Нельзя также согласиться со многими хронологическими поправками г. Витберга. Такъ онъ говоритъ: „подъ 1830 г. въ дневникѣ Смирновой разсказывается о первомъ посѣщеніи ея Гоголемъ, приведеннымъ къ ней Жуковскимъ и Пушкинымъ“. Цитируется страница, гдѣ сказано: „Затѣмъ слѣдуетъ нѣсколько страницъ о событіяхъ послѣ революціи 1830 г., потомъ снова любопытное мѣсто о Гоголѣ“ и проч. Отъ предыдущаго отрывка все это отдѣлено не только чертой, показывающей наглядно, что рѣчь касается уже другого предмета, но и цѣлымъ объяснительнымъ замѣчаніемъ, которое первыми же строками ясно показываетъ, что хронологическія соображенія, относящія первую выписку изъ дневника къ 1830 г., окончены; а далѣе, на стр. 345, знакомство Гоголя съ Пушкинымъ ясно отнесено къ маю 1831 г., а не къ 1830 г. Также невѣрно указано, что на стр. 324 „Смирнова разсказываетъ, будто въ томъ же 1830 (?!) г. Жуковскій говорилъ съ ней о Гоголѣ: на цитируемой страницѣ нѣтъ никакого пріуроченія выдержки именно къ 1830 г. На стр. 346 г. Витбергъ неправильно понимаетъ смыслъ предложенія: „Плетневъ является въ перепискѣ довѣреннымъ посредникомъ обоихъ писателей“, спрашивая: „о какомъ посредничествѣ Плетнева въ перепискѣ Гоголя съ Пушкинымъ говоритъ г. Шенрокъ?“ Ясно, однако, что приведенныя слова имѣли смыслъ: *какъ видно или насколько можно судить по перепискѣ*. Затѣмъ г. Витбергъ, по нашему мнѣнію, находитъ мнимыя противорѣчія въ характеристикѣ отношеній Гоголя къ матери у г. Шенрока, такъ какъ искренняя любовь къ матери и сравнительная откровенность съ ней не мѣшали Гоголю, подъ вліяніемъ созна-

---

[1]) „Библіографич. Записки“, 1892, I, стр. 38 и „Новое Время“, 1891, № 5636. Маленькій фельетонъ. Нѣчто о Лермонтовѣ. Ст. Ив. Захарьина.

[2]) Странно въ самомъ дѣлѣ, что г. Витбергъ и этого не сообразилъ! *В. Ш.*

ваемой имъ вины во время его первой поѣздки за-границу, стараться представить дѣло болѣе извинительнымъ для него образомъ. Вообще, какъ намъ кажется, трудно требовать безусловнаго категорическаго признанія искренности или неискренности всѣхъ поступковъ и словъ Гоголя. Также напрасно г. Витбергъ находитъ противорѣчія въ выраженіяхъ: „Гоголь пріѣхалъ въ Петербургъ съ извѣстнымъ міросозерцаніемъ“ и „міросозерцаніе у Гоголя было нѣсколько смутное“: вѣдь извѣстное міросозерцаніе совсѣмъ не значитъ ясное. Далѣе, если г. Шенрокъ находитъ не разъясненнымъ и преувеличеннымъ у г. Кулиша различіе между нравственнымъ состояніемъ Гоголя въ Нѣжинѣ и въ Петербургѣ, не соглашаясь признать отсутствіе какихъ-либо точекъ соприкосновенія между двумя послѣдовательными періодами жизни Гоголя, то это еще никакъ не можетъ обязать его не замѣчать въ разсматриваемое время ровно никакой перемѣны въ характерѣ Гоголя.

На стр. 8—9 г. Витбергъ упрекаетъ г. Шенрока за то, что онъ пытается „установить приблизительно, что интересъ къ труду надъ „Вечерами“ возникъ у Гоголя въ апрѣлѣ 1829 г., постепенно возрасталъ до поѣздки за-границу и затѣмъ на время значительно ослабѣваетъ“. Но о томъ, что Гоголь собиралъ матеріалы для „Вечеровъ“ уже въ апрѣлѣ 1829 г., можно видѣть изъ письма отъ 30 апрѣля, гдѣ онъ проситъ прислать описаніе малороссійскихъ обычаевъ, костюмовъ и проч.; а что Гоголю во время заграничной поѣздки было не до литературнаго труда [1]), ясно само собой, подтверждается содержаніемъ относящихся къ этому времени писемъ и особенно отсутствіемъ въ нихъ прежнихъ упоминаній и просьбъ о матеріалахъ, которые ему доставляли между прочимъ изъ дому его родные».

Къ этимъ вполнѣ вѣрнымъ замѣчаніямъ, какъ не исчерпывающимъ все-таки всѣхъ пунктовъ, о которыхъ говоритъ г. Витбергъ, прибавимъ нѣсколько словъ. На стр. 5 г. Витбергъ упрекаетъ меня въ томъ, что я „не только не собралъ

[1]) Да это же говоритъ и г. Витбергъ въ статьѣ: „Н. В. Гоголь въ 1831 г.“: „тревожная жизнь ничѣмъ не обезпеченнаго человѣка (въ 1829 г.), безъ всякихъ служебныхъ и литературныхъ связей, *конечно*, мало благопріятствовала свободному и спокойному художественному творчеству“. („Истор. Вѣстн.“, 1892, V, 670). Новая очевидная придирка. *В. Ш.*

всего извѣстнаго матеріала о Гоголѣ, но не воспользовался, какъ слѣдуетъ, и тѣмъ, на который ссылаюсь въ своей книгѣ". На это замѣчу, что, во-первыхъ, г. Витбергъ ограничивается голословнымъ заявленіемъ о неполнотѣ собраннаго мною матеріала, и во-вторыхъ, что исполнить такую обширную задачу не такъ легко, какъ легко этого требовать; главное же, что я и самъ не сомнѣваюсь, что послѣ моего труда могутъ оказаться нѣкоторые пробѣлы, иначе я и не назвалъ бы свой трудъ „Матеріалами". Слѣдовательно, все это, очевидно, *самыя пустыя придирки*, съ какой стороны на нихъ ни смотрѣть. Во-вторыхъ замѣтимъ, что пробѣлъ о свѣдѣніяхъ, касающихся поступленія Гоголя на службу, указанный на стр. 6—7, теперь уже пополненъ нами во второмъ томѣ. Затѣмъ на стр. 9—11 мы находимъ цѣлый рядъ самыхъ безцеремонныхъ передержекъ, или же самаго невѣроятнаго непониманія; такъ, тамъ замѣчено, будто подъ 1830 г. (?!) [1]) въ дневникѣ Смирновой разсказано о первомъ посѣщеніи ея Гоголемъ, при чемъ г. Витбергъ цитируетъ въ подтвержденіе своихъ словъ страницу 323 моей книги, гдѣ—просимъ замѣтить это—1830 г. *ни разу даже не упоминается*, а говорится тамъ напротивъ о событіяхъ, происходившихъ *послѣ* 1830 г., *что̀ ясно изъ конца предыдущей страницы*. Такое извращеніе смысла всего приведеннаго мѣста и такая неудачная цитата по истинѣ изумительны. Далѣе, въ брошюрѣ замѣчено, что „Смирнова разсказываетъ, будто въ *томъ же 1830 г.* (?!) [2]) Жуковскій говорилъ съ ней о Гоголѣ", но изъ моей книги нигдѣ не видно, что этотъ фактъ относится Смирновою именно къ 1830 г.; перепутать же и не понять можно положительно что̀ угодно, и ни одинъ авторъ не можетъ имѣть противъ этого гарантіи. Совершенно не понятно, откуда беретъ все это г. Витбергъ! Послѣ этого всѣ обличительныя замѣчанія о томъ, будто я „не твердъ въ гоголевской хронологіи" и что вышла путаница, въ которой я „запутался въ хронологическихъ показаніяхъ А. О. Смирновой", падаютъ сами собой, являясь или потѣшнымъ плодомъ непониманія, или же безсовѣстной выдумкой, разсчитанной на то, что едва ли-де кто потрудится все это провѣрить! [3])

---

[1]) Неправда: этого *вовсе не сказано!*

[2]) *И это также придумано авторомъ брошюры (или же не понято имъ).*

[3]) Настоящей причиной всѣхъ этихъ придирокъ было, кажется, несогла-

На стр. 11, г. Витбергъ, возражая мнѣ, весьма тонко и замѣчательно глубокомысленно изумляется: „какимъ образомъ май оказался лѣтнимъ мѣсяцемъ—непонятно“. Но вотъ что́ странно: въ своемъ возраженіи мнѣ въ „Библіогр. Запискахъ“ (1892, VII) онъ самъ называетъ май лѣтнимъ мѣсяцемъ. Конечно, послѣднее я указываю лишь въ шутку, вполнѣ сознавая основательность названнаго выше возраженія и принося повинную: май въ самомъ дѣлѣ весенній мѣсяцъ по календарю; г. Витбергъ на этотъ разъ правъ.

На стр. 12 мой почтенный возражатель утверждаетъ, что Плетневъ не могъ видѣться въ Петербургѣ съ Гоголемъ и Пушкинымъ лѣтомъ 1831 г., на томъ основаніи, что онъ писалъ 19 іюля, что слишкомъ мѣсяцъ не былъ въ Петербургѣ; но что́ же изъ этого? да вѣдь въ маѣ-то и въ началѣ іюня онъ былъ же тамъ! Это ужъ совсѣмъ, какъ говорится, изъ рукъ вонъ.

На стр. 14 г. Витбергъ обрушивается на меня за слова о Гоголѣ, что онъ не любилъ воспитавшую его школу, „тогда какъ тутъ же, въ примѣчаніи, я указываю на письмо его къ Н. Д. Бѣлозерскому, свидѣтельствующее какъ-разъ о противоположномъ“. Но указываемое здѣсь мнимое противорѣчіе какъ нельзя проще объясняется психологически: будучи школьникомъ, Гоголь тяготился лицеемъ и не долюбливалъ

сіе напечатаннаго мною отрывка изъ дневника А. О. Смирновой съ шаткими предположеніями г. Витберга, на основаніи которыхъ была построена статья его „Н. В. Гоголь въ 1831 г.“, напечатанная въ іюньской книгѣ „Историч. Вѣстника“ за 1892 г. Въ этой статьѣ г. Витбергъ съ помощью многочисленныхъ гипотезъ опредѣляетъ время знакомства Гоголя съ Пушкинымъ, относя его къ 17—27 числамъ іюня 1831 г., тогда какъ изъ напечатаннаго мною отрывка дневника Смирновой (см. I т., стр. 323) ясно, что это знакомство состоялось *не въ Царскомъ Сел и не въ іюл, а въ Петербург и гораздо ранѣе іюля*. Этимъ объясняется, думаю, вообще раздраженіе г. Витберга противъ моей книги, но это напрасно, потому что статья г. Витберга составлена добросовѣстно, хотя и *опрометчиво*. (На стр. 18 г. Витбергъ также напрасно выражаетъ обиду на то, что я не придалъ значенія его догадкѣ о литературныхъ отношеніяхъ Гоголя къ Свиньину, основанной также на сплошныхъ гипотезахъ). Всѣ нападки на неточности хронологіи въ дневникѣ Смирновой были преждевременны; теперь же этотъ дневникъ вскорѣ будетъ напечатанъ въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“. Какъ видно изъ словъ О. Н. Смирновой („Сѣверн. Вѣстн.“, 1893, февраль) точной хронологіи въ дневникѣ А. О. Смирновой нѣтъ, но факты говорятъ сами за себя и отрывки, помѣщенные у меня въ I томѣ, все же ясно опровергаютъ какъ г. Витберга, такъ и г-жу Черницкую.

его, впослѣдствіи же это чувство съ годами смягчилось и улеглось или даже и совсѣмъ исчезло. Такіе примѣры встрѣчаются въ жизни сплошь и рядомъ и удивляться этому, разумѣется, вовсе нечего. Впрочемъ, далѣе на стр. 15, г. Витбергъ самъ признаетъ эту нелюбовь Гоголя къ школѣ, говоря, что въ неблагопріятномъ впечатлѣніи, какое она произвела на лучшихъ изъ учениковъ заключается источникъ того недовольства, той „нелюбви“ къ школѣ,—которую авторъ указываетъ въ Гоголѣ. И такъ все дѣло было въ придиркѣ.

На стр. 16 г. Витбергъ, упрекая меня въ бездоказательности того, что Гоголю во время заграничной поѣздки некогда было сосредоточиться на обработкѣ своихъ произведеній (см. „Н. В. Гоголь и его новый біографъ“, стр. 16), пишетъ: „весьма возможно, что мысль о „чужихъ краяхъ“, явившаяся въ Петербургѣ у товарища Гоголя Высоцкаго и съ такимъ увлеченіемъ воспринятая Гоголемъ, находится въ связи съ этимъ впечатлѣніемъ“ (отъ нѣжинской исторіи). На это мы должны сказать, что еще болѣе возможно, что мысль о „чужихъ краяхъ“ *совсѣмъ* не находилась въ связи съ нѣжинской исторіей, и что возражать слѣдуетъ на основаніи *фактовъ*, *а не наобумъ*. Прибавлю еще, что покойный А. С. Данилевскій, другъ и постоянный спутникъ въ путешествіяхъ Гоголя до сороковыхъ годовъ, ничего подобнаго догадкѣ г. Витберга мнѣ не сообщалъ, и если г. Витбергъ безъ всякаго основанія не довѣряетъ словамъ Данилевскаго, то еще менѣе можно довѣрять мутнымъ призракамъ его собственнаго воображенія [1]).

На стр. 18 г. Витбергъ находитъ невѣрными мои слова, что Гоголь сдѣлалъ гораздо меньше того, къ чему былъ призванъ, и притомъ сдѣлалъ это въ значительной мѣрѣ благодаря Бѣлинскому, сумѣвшему взростить брошенныя имъ сѣмена и дать имъ новую жизнь“. Г. Витбергъ возражаетъ: „Что Бѣлинскій взростилъ брошенныя Гоголемъ сѣмена, это

---

[1]) Г. Витбергъ вообще преувеличиваетъ на основаніи *апріорныхъ* соображеній нравственное участіе Гоголя въ нѣжинской исторіи, такъ какъ ни Данилевскій, ни Любичъ Романовичъ („Историч. Вѣстн.“, 1892, XII) и вообще никто изъ товарищей Гоголя не даетъ на это никакихъ указаній. Вообще г. Витбергъ часто забываетъ, что въ школѣ Гоголь вовсе не былъ такимъ развитымъ, какъ онъ хочетъ это доказать; ссылаюсь опять на Данилевскаго, Романовича и проч. и проч.

до нѣкоторой степени вѣрно; но это вовсе не относится къ литературной дѣятельности самого Гоголя. Это важно для исторіи развитія художественнаго пониманія въ русскомъ обществѣ, передъ которымъ Бѣлинскій, дѣйствительно, явился истолкователемъ гоголевскихъ созданій. Тѣмъ не менѣе это еще не даетъ намъ права говорить о вліяніи Бѣлинскаго на самого Гоголя и *на характеръ и содержаніе его поэтическаго творчества*". На это отвѣтимъ, что г. Витбергъ возражаетъ въ концѣ своей тирады лишь на собственное невѣрное пониманіе моихъ словъ. На стр. 19—20 г. Витбергъ отрицаетъ, что письма Гоголя 1829—1830 г. проникнуты мистическими размышленіями о своей участи, о дѣйствіи Промысла и проч. Противъ слова „*мистически*" г. Витбергъ совершенно неумѣстно ставитъ знаки вопроса и восклицанія, которые доказываютъ только смутное пониманіемъ дѣла, ибо нѣкоторыя размышленія Гоголя ужъ тогда были въ самомъ дѣлѣ мистическія.

На стр. 20 г. Витбергъ придирается къ одному ничтожному стилистическому недосмотру, выхваченному изъ „объемистой", по его же выраженію, моей книги, тогда какъ самъ онъ въ своей не „объемистой" брошюрѣ *на первой же страницѣ* и *въ первыхъ же строкахъ* выражается положительно безграмотно: „указавъ на главнѣйшія погрѣшности въ этой книгѣ", говоритъ г. Витбергъ,—„я заявилъ, что въ *виду этого*" [ихъ?] (чего же этого?! того, что г. Витбергъ указалъ какія-то погрѣшности?), „ее слѣдуетъ подвергнуть болѣе подробному и обстоятельному разсмотрѣнію" и проч. Также въ *первыхъ строкахъ* одной маленькой статейки онъ даетъ блестящіе образцы своего „витберговскаго слога": *появившіеся* четыре года тому назадъ „Очерки" г. Морозова, „*превратившіеся*" и прочее. И этотъ г. Витбергъ толкуетъ о стилѣ!

На стр. 21—22 мнѣ сдѣланъ упрекъ, что я сказалъ: „Не слыхавъ, вѣроятно, о происхожденіи своей фамильной прибавки, Гоголь впослѣдствіи отбросилъ ее, говоря, что онъ не знаетъ, откуда она взялась, что ее поляки выдумали".—Какъ

---

[1]) „Русск. Стар.", 1892, XII, 596. Но вотъ еще образецъ стиля и глубокомыслія г. Витберга: „Что касается до явленій не идеализируемыхъ, но (?!) это такія, которыя можно назвать отрицательными, въ которыхъ нѣтъ абсолютной сущности, или, иначе говоря, которыя произошли отъ отсутствія сущности абсолютной и существованіемъ своимъ свидѣтельствуютъ объ этомъ отсутствіи". („Русское Обозрѣніе", 1892, XII, 739—740).

Итакъ, главной, бросающейся въ глаза особенностью критики моего труда у г. Витберга является упорное желаніе во что бы то ни стало навязать мнѣ несуществующія противорѣчія, вслѣдствіе чего весьма возможно, что и въ предлагаемомъ томѣ онъ будетъ, при помощи всевозможныхъ натяжекъ, отыскивать ихъ и даже, быть можетъ, выпуститъ еще брошюру подъ заглавіемъ: „Н. В. Гоголь и второй томъ его новой біографіи“. Въ виду того, что продолженіе полемики только портило бы страницы нашего труда, заявляемъ теперь же, что мы не считаемъ ее впредь для себя обязательной, въ особенности въ случаѣ повторенія подобнаго же непониманія, соединеннаго съ несокрушимой самоувѣренностью, которая поневолѣ заставляетъ насъ безъ особой деликатности указывать г. Витбергу его комическіе промахи. Быть можетъ, и въ предлагаемомъ томѣ г. Витбергъ осудитъ противорѣчіе, состоящее въ томъ, что на стр. 154-й, согласно имѣющимся въ литературѣ даннымъ, я говорю, что у Жуковскаго литературные вечера были по субботамъ, а на стр. 203 привожу безъ оговорокъ показаніе покойнаго графа Соллогуба о томъ, что собранія эти происходили по пятницамъ. Не имѣя времени и данныхъ для устраненія этого ничтожнаго противорѣчія, предоставляю любознательности г. Витберга доискаться, ошибся ли Соллогубъ, въ противность всѣмъ другимъ свѣдѣніямъ, называя по памяти пріемнымъ днемъ Жуковскаго пятницу, или же вечера у Жуковскаго бывали сначала по пятницамъ, а позднѣе по субботамъ, или же, можетъ, наоборотъ. Можетъ быть также, г. Витбергъ, не обративъ вниманія на наши разъясненія, что Гоголь постепенно пріобрѣталъ въ Петербургѣ житейскую опытность, выпишетъ, въ качествѣ противорѣчивыхъ, такія выраженія въ нашей книгѣ, какъ: „Гоголь не могъ сначала даже установить необходимый масштабъ своихъ расходовъ и въ самомъ перечисленіи неизбѣжныхъ тратъ указываетъ многое, противъ чего можно было бы возразить“ (стр. 9), и замѣчаніе на стр. 20 о томъ, что, послѣ уже пріобрѣтенія извѣстной степени опытности, „траты его были умѣренныя“. Между обоими этими замѣчаніями есть еще третье, на стр. 15, гдѣ сказано, что „Гоголь *постепенно* научился отказывать себѣ въ томъ, что̀ казалось ему заманчивымъ и необходимымъ“. Также г. Витбергъ, прочитавъ на стр. 51 слѣдующія слова: „Гоголь въ кружкѣ нѣжинцевъ

являлся истинно добрымъ товарищемъ", усмотритъ въ нихъ, быть можетъ, „*капитальное противорѣчіе*" съ моимъ возраженіемъ его утвержденію, будто „характеръ Гоголя былъ *вполнѣ открытымъ и вполнѣ искреннимъ*". Но нельзя же, во избѣжаніе подобныхъ недоразумѣній, объяснять на каждой страницѣ самыя элементарныя вещи, что напр. открытымъ можно назвать человѣка, котораго искренность является вообще господствующей чертой характера въ его сношеніяхъ съ людьми, или что самый скрытный человѣкъ иногда и при извѣстныхъ условіяхъ можетъ быть *сравнительно* откровеннымъ.

Прибавлю еще, что г. Витбергъ напрасно принялъ на свой счетъ мое замѣчаніе, что не слѣдуетъ, касаясь интимной жизни писателя, „переходить отъ разъясненія къ суду". Онъ могъ бы, справившись, убѣдиться, что слова эти перепечатаны изъ моего возраженія г-жѣ Бѣлозерской [1]) въ „Историческомъ Вѣстникѣ", 1889, II, стр. 386, когда я совсѣмъ ничего не зналъ о г. Витбергѣ: такимъ образомъ и здѣсь онъ выказалъ проницательность, достойную гоголевскаго Аммоса Ѳедоровича [2]).

Отмѣчу въ заключеніе не малый курьезъ: въ „Русской Жизни" (1891, № 39) г. Витбергъ хотѣлъ навязать мнѣ несуществующія противорѣчія относительно датъ, опредѣляющихъ начало знакомства Гоголя съ Пушкинымъ, о чемъ я съ удивленіемъ упомянулъ въ 3-ьемъ примѣчаніи на стр. 345 перваго тома. Замѣчаніе мое г. Витбергъ оставилъ безъ отвѣта; но въ статьѣ своей: „Н. В. Гоголь въ 1831 г." онъ отмѣчаетъ слова мои, *показавшіяся ему противорѣчивыми, уже какъ тождественныя*, ссылаясь рядомъ на тѣ же самыя страницы, между которыми прежде усматривалъ противорѣчіе. (Ср. „Русская Жизнь", 1891, № 39 и „Историч. Вѣстникъ", 1892, VI, 671 примѣч.). Не есть ли это явное доказательство *одного только желанія придираться во что бы то ни стало?!*

---

[1]) Вполнѣ уважаемой мною, но сдѣлавшей ошибку въ оцѣнкѣ Гоголя въ статьѣ: „М. И. Гоголь".

[2]) Я оставляю безъ возраженія единственно разсужденія г. Витберга о двухъ-трехъ выдержкахъ изъ его статьи, такъ какъ значеніе этихъ выдержекъ черезчуръ преувеличено имъ, такъ что вмѣсто спора удобнѣе просто выразить сожалѣніе, что ихъ поздно теперь исключить изъ книги.

ОПЕЧАТКИ.

Стр.:	*Строка:*	*Напечатано:*	*Слѣдуетъ читать:*
X	5 снизу	такое	также
20	9 сверху	умѣренные	уже умѣренные
39	16 »	поставленномъ	поставленнымъ
55	21 »	*послѣ словъ*: въ мемуарахъ	*пропущено*: и изустныхъ разсказахъ
50	17 »	горичихъ ея послѣдователей,	горячихъ послѣдователей
53	12 »	описывая	сообщая
62	15 снизу	съ куреннымъ	къ куреннымъ
67	20 сверху	*послѣ словъ*: не перины	*пропущено:* нужны
70	18 »	скорѣе	болѣе
86	15 снизу	неисправный	неисправимый
90	11 сверху	горькаго	тяжелаго
106	2 снизу	уличной толкотни	уличной толкотни,
109	3 »	личностей	личностяхъ
114	16 сверху	на первомъ визитѣ	при первомъ визитѣ
139	11 снизу	(примѣч.) служитъ	шутитъ
169	10 »	(примѣч.) но во всякомъ случаѣ	во всякомъ случаѣ
169	1 »	стр. 518	стр. 513
172	6 »	нашихъ	его,
189	17 сверху	очень	очень
193	3 снизу	наше	наши
200	1 »	Охлаи	Орлаи
221	5 сверху	изъ практики	изъ жизни
		На стр. 230 не отдѣлены двѣ выписки проф. Васильева, при чемъ не указано, что первая взята изъ „Исторіи Спб. Университета“ № 93.	
242	17 »	черты вѣка	такие черты вѣка
332	7 »	племянницами	племянницы.
354	7 »	частныхъ	частыхъ
366	3 снизу	восклицающему	восклицающаго
399	15 сверху	пониманіемъ	пониманіе имъ

Кромѣ того на стр. 139, 3 примѣч. сдѣлана ссылка на неизданное письмо А. О. Смирновой отъ 30 янв. 1845 г.; нынѣ оно напечатано

въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“, 1893, 1, стр. 243, а на стр. 110 по ошибкѣ переставлены 2 и 3-е примѣчаніе.

Пропускъ: въ перечнѣ цитатъ, касающихся повѣсти „Вій“ и „О томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ слѣдуетъ прибавить указаніе на статью г-жи Бѣлозерской: „В. Т. Нарѣжный“ („Русская Старина“, 1888—1891 г.).

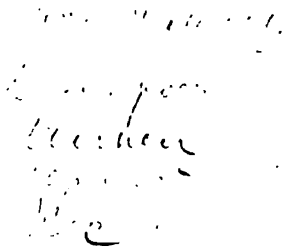
На стр. 390 послѣ словъ: „каково бы ни было достоинство этого міросозерцанія“, пропущено: „почти тотчасъ за этими словами у меня прямо было сказано: „Стремленія его были не глубоки, смутны и *туманны*“, слѣд. г. Витбергъ, удивляясь, что въ другихъ мѣстахъ также идетъ рѣчь о „туманности воззрѣній Гоголя“ и находя въ этомъ противорѣчіе сказанному на стр. 157, еще разъ блистательнымъ образомъ доказалъ просто свою неспособность понимать читаемое.

ВЪ ПЕРВОМЪ ТОМѢ:

Стр.:	*Строка:*	*Напечатано:*	*Слѣдуетъ читать:*
3	15 сверху	сознательно	болѣе сознательно
30	13 »	лишнія слова: что онъ не знаетъ, откуда она взялась	
151	5 снизу	лишнія слова: съ неуспѣвшимъ выѣхать въ Петербургъ	
186	3 сверху	по возвращеніи	до возвращенія
304	5 »	неточность: Н. В. Станкевичъ оставилъ томъ сочиненій, изданныхъ его племянникомъ, А. И. Станкевичемъ.	
352	7 »	Верзилиной	Клингенбергъ
362	18 »	все время	нѣкоторое время

Въ „Указателѣ къ письмамъ Гоголя“ (2 изд.) В—VI, 81 - Викулинъ.

В—VI, 84—Вагнеръ, мужъ Маріи Петровны Вагнеръ, рожденной Балабиной

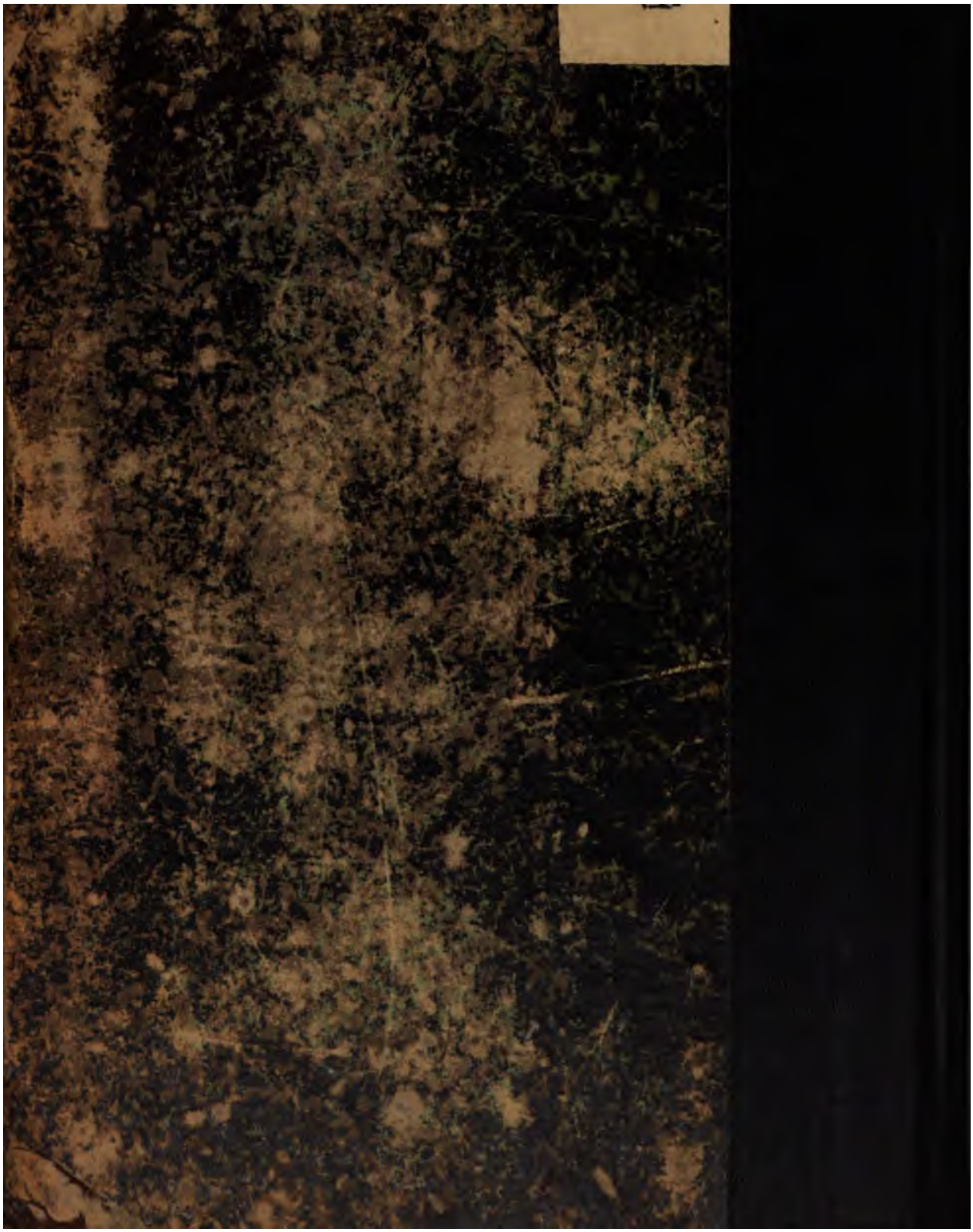


Stanford University Libraries
3 6105 001 340 913

PG
3335
S5
v.2

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

JUN 30 1997
MAY